

Военные  
Приключения

# ЗОЛОТО

ГОРКИ ГОРЬКОВЫ

Борис Полевой

Золото

Часть первая

1

Мысль не покидать родного города появилась у Митрофана Ильича Корецкого неожиданно для него самого.

Последние дни были так полны горестных забот, что некогда было думать о личной судьбе. В городском отделении Госбанка спешно делали последние подсчеты, инвентаризировали, упаковывали ценности, приводили в порядок текущие архивы и во всех печах жгли вперемешку с торфом старые бумаги, которые не стоило брать с собой. Все «дела», в том числе и текущие, были уже уложены. Днем, когда отделение работало, нужные папки вынимали, а на ночь складывали обратно так, чтобы, в случае чего, оставалось только завязать мешки, забить ящики, засургучить и грузить в машины.

Хлопот в эти дни у служащих было много. Но это не была та живая, даже веселая страда, какая обычно наступала в конце операционного года, когда подводили баланс. Работали молча, без страстных пререканий, без шуток в свободную минуту. Эта сосредоточенная суета напоминала почему-то Митрофану Ильичу ту, что царила в его домике в последние минуты перед выносом тела его покойной жены.

Митрофан Ильич был внешне спокоен. Трудился он с обычной сноровкой и деловитостью, но сослуживцы примечали, что с ним творится что-то неладное. Педантичная чистоплотность старшего кассира с давних пор служила предметом добродушного подтрунивания. Шутники утверждали, что он, должно быть, так и родился в накрахмаленном воротничке, с аккуратно подстриженными усиками, с четким пробором, с апельсиновым румянцем на тщательно выбритых щеках. И действительно, даже самые старые ветераны не помнили его иным. А тут он как-то сразу сдал, перестал бриться, забывал причесываться, ходил вовсе без воротничка, в мятом, выпачканном мелом пиджаке и у всех на глазах из подтянутого человека неопределенных лет превратился вдруг в неряшливого, рассеянного старика. Проводив на восток дочь с внуком, он перестал ходить домой даже на ночь и спал на письменном столе, подложив под голову пухлую папку со старыми делами и прикрыв ноги развернутым листом городской газеты. Впрочем, сотрудники, из числа тех, кто находился на казарменном положении, видели, как неспокоен сон старшего кассира. Он кряхтел, вздыхал, охал, точно от боли, ворочался с боку на бок и все что-то шептал. С лица его и ночью не сходило недоуменное выражение.

Иногда кто-нибудь, пожалев старика, начинал рассказывать ему все одну и ту же ободряющую новость. В город прибыла часть полковника Теплова. Начфин этой части, открывавший в банке текущий счет, намекал по секрету, что у них хватит и пушек и танков и что врага они к городу никоим образом не подпустят. Митрофан Ильич рассеянно смотрел на

говорившего, и трудно было понять, слушает он или нет.

Под утро, измаявшись от бессонницы, он сползал со своего жесткого ложа, неверным шагом, задевая за стулья и стучаясь об углы столов, проходил через анфиладу банковских комнат, выбирался на балкон и, прислонившись спиной к стене, так и стоял до зари, тревожно поглядывая на запад. Далеко за городом, погруженным во тьму, по небу, где еще не угасли слоистые перламутровые полосы заката, вспыхивали багровые отсветы далеких разрывов. Губы старика, взятые в скобки двумя глубокими горькими складками, шептали:

— Что же это? Как же так? Что же будет?

Банковские комсомольцы — дежурные противовоздушной обороны — с участием поглядывали на старика. Кто-нибудь выносил на балкон табуретку, предлагал присесть. Митрофан Ильич рассеянно благодарил и продолжал стоять рядом с табуреткой...

Днем и ночью через площадь, мимо отделения банка, громыхали пыльные грузовики, нагруженные ящиками, тюками, мебелью. Тянулись усталые люди с мешками, с узлами, с молчаливыми детьми на руках. Все это двигалось к станции. И милиционер на перекрестке, раньше ловко, как капельмейстер, управлявший с помощью белого жезла двусторонним движением, теперь стоял, как монумент, в полной неподвижности, пропуская два потока машин, двигавшихся в одном направлении. Один за другим закрывали в банке свои счета уезжавшие на восток заводы, институты, учреждения. Появлялась новая клиентура — воинские части, госпитали. Отделение банка должно было работать до полной эвакуации города.

Днем среди массы срочных дел, связанных с отъездом старых клиентов, Митрофан Ильич точно, но как-то автоматически выполнял свои обязанности: щелкал арифмометром, с изяществом и быстротой фокусника пересчитывал пачки денег, аккуратно выводил на счетах свою подпись с затейливым росчерком. Но иногда в разгаре работы он впадал в такую задумчивость, что не слышал ни сирен, объявлявших воздушную тревогу, ни дробного боя зениток. Массивное здание вздрагивало от разрывов, чернильницы подскакивали и плескались, люстра под потолком начинала раскачиваться, а старый кассир сидел за своим столом над раскрытой приходо-расходной книгой, уставив рассеянный взгляд в распахнутое окно, на площадь, обезлюдившую, точно перед грозой.

Начальник отделения банка Чередников наказал комсомольцам из бухгалтерии опекать старшего кассира. Теперь с объявлением воздушной тревоги они насильно уводили старика во двор и заставляли спускаться в зигзагообразную земляную траншею, черной молнией рассекавшую клумбы скверика на банковском дворе.

— Подумать только, как быстро может сдать человек! — удивлялись сослуживцы, глядя на Митрофана Ильича.

Так, в тоскливом ожидании чего-то невероятного, настолько страшного, что трудно было даже представить, прожил Митрофан Ильич до той самой ночи, когда был получен приказ окончательно свернуть дела и как можно быстрее двигаться на восток. Последние автомобили уже нагружались во дворе банковским имуществом, когда Чередников — высокий сухой старик в полувоенной гимнастерке, с пустым рукавом, аккуратно заправленным за пояс, — натолкнулся на Митрофана Ильича, бесцельно бродившего по опустевшим комнатам, гудевшим и дрожавшим от близкой канонады.

— Митрофан, ты что здесь делаешь? — спросил он.

— Что?

— Где твои вещи? Ты же что-нибудь берешь с собой? Не на рыбалку едем! Кто знает, сколько

пространствовать придется.

Даже сейчас, в грустной суете последнего эвакуационного часа, управляющий не потерял своей обычной деловитой напористости.

— Вещи? Какие? Зачем вещи? — точно сквозь сон переспросил Митрофан Ильич. — Ах да, мои вещи... У меня нет вещей... Зачем? Теперь все равно. Пускай...

— Ты с ума сошел! У тебя ж даже смены белья не будет. Кто тебя снабдит? У страны и так обе руки войной заняты. — Чередников посмотрел на свои серебряные часы-луковицу, знаменитые часы, которые, как все в банке знали, управляющий когда-то получил за храбрость из рук самого Василия Ивановича Чапаева. — Вот что: у тебя час времени, сию же минуту — аллюром три креста марш, марш домой! Уложишь самое необходимое — и сюда! Учти: не с бреднем на реку идем — что нужно, все захватывай. Учти: в десять трогаемся... Ну, ступай!

— Хорошо. Я пойду...

Митрофан Ильич покорно двинулся к выходу. Постепенно он шел все быстрее и быстрее, будто приходил в себя после долгого забытья, шел и с удивлением осматривался по сторонам, как бы не узнавая улиц, по которым одним и тем же маршрутом из дома на службу и со службы домой ходил ежедневно вот уже около тридцати лет.

На западной окраине города второй день горела нефтебаза, подожженная вражескими бомбардировщиками. Бурый дым, окутывавший все, был таким густым и тяжелым, что в нем расплывались очертания даже самых ближних домов. В этом дыму, до краев наполнявшем русла улиц, двигался поток гремучих, ревущих клаксонами грузовиков, скрипучих, тяжело груженных подвод, торопливо шли люди, таща на плечах тяжелые узлы, волоча за руки испуганных ребят. Солнце едва обозначалось в небе небольшим тускло-багровым пятном со светящимися краями. Все это было так необычно и так не походило на то, что за тридцать лет привык здесь видеть Митрофан Ильич, что он остановился и с минуту беспомощно оглядывался кругом, пока наконец не вспомнил, как ему ближе пройти до дому.

Кассир жил на окраине, в Заречье, в собственном деревянном домике, прятавшемся за четырьмя лохматыми липками. Жена его умерла лет десять назад. Трое сыновей еще с финской войны были в армии и теперь где-то, наверное, уже сражались. Дочь с внуками, приехавшую погостить, он сразу, как только город был объявлен на осадном положении, отправил на Урал к свату, работавшему там доменщиком. Проводив их в далекий путь, Митрофан Ильич прямо с вокзала пришел в банк, да так там и остался, избегая одиночества. И вот теперь, торопливо отомкнув затейливые замки входной двери, он с тоскливым страхом переступал родной порожек, в котором за долгие годы он сам, его жена, сыновья и внуки вытоптали заметное углубление.

Крепкий деревянный домик весь дрожал от близкой канонады и гудел, как коробка старой гитары. В дверях Митрофан Ильич остановился, вцепился рукой в косяк. Сердце сжалось при виде запустения, царившего в квартире. Серая лохматая пыль покрыла за эти дни мутной вуалью картины, занавески, кресла в чехлах, всю обстановку комнат, обычно радовавших уютной чистотой. Острые желтые солнечные лучи, проникая в щели ставен, наискось прокалывали холодный полумрак и, мерцая роями пылинок, освещали трехколесный велосипед, на котором сидел потертый плюшевый мишка, и маленькую, как ореховая скорлупа, детскую туфельку, валявшуюся на полу.

Митрофан Ильич поднял ее, обдул пыль и вдруг отчетливо представил себе, как маленькая Аришка, Вовик и их мать, точно листья, сорванные осенней бурей и подхваченные течением быстрой реки, несутся в огромном, движущемся на восток человеческом потоке. Он подумал, что вот сейчас буря эта сорвет и его, сорвет, закружит, понесет невесть куда, по неведомым,

бесконечным дорогам. Старик почувствовал вдруг такую слабость, что тувфелька выскользнула из рук, и он принужден был опереться о стену, чтобы не упасть. Так, по стене, цепляясь за спинки зачехленных кресел, за дверные косяки, за перила террасы, выбрался он в сад.

Сад этот уже давно являлся предметом забот и гордости своего хозяина. Здесь, на тихой окраине, у неширокой реки, которая посверкивала сразу же за изгородью, в темной зелени старых, лохматых ветел, дыма почти не было. Солнце, еще не поднявшееся в зенит, щедро обливало землю теплыми лучами, и от этого листва яблонь и ботва овощей лоснились, точно отлакированные. Густо пахло влажной жирной землей, медом, укропом, острым ароматом помидорной ботвы, крепким чесночным духом. Скворцы, не обращая на старика внимания, нагло суетились в густом вишеннике, склевывая необобранную перезрелую ягоду. Пчелы деловито сновали над разноцветными домиками ульев, покачивались на ажурных зонтиках укропа, вились над лапчатыми листьями огуречных плетей, перевертываясь залезали в ярко-желтые цветочные рюмочки. Им не было никакого дела до белесых столбов дыма, подпиравших небо, до зловещих, скребущих звуков чужих самолетов в солнечной выси, до печальных человеческих потоков там, на улицах. Их не пугало, что земля дрожит от грохота близкого боя, который, как говорили, идет уже где-то в районе железнодорожной станции.

Вопреки тому страшному, что творилось кругом, тут, за дощатым забором, все было привычно, все дышало покоем. Митрофан Ильич не заметил, как очутился в заветном уголке сада, точно ноги сами принесли его сюда.

Здесь, положив на деревянные рейки узловатые локти, лоснясь на солнце ярко-зеленым узорчатым листом, тянулись лозы — первые виноградные лозы в этом городе. Под листьями кое-где уже виднелись гроздья матово-зеленых ягод.

Около четверти века кропотливого, упорного труда понадобилось банковскому кассиру, чтобы приручить солнцелюбивого южанина, заставить его расти и плодоносить в этих прохладных краях. Старик выписывал черенки винограда из разных краев и, скрещивая сорта, стремился вывести новый, морозоустойчивый. Он состоял в деятельной переписке со многими опытными станциями. Однажды, в дни очередного отпуска, он добрался даже до самого Ивана Владимировича Мичурина, подарившего скромному опытнику два черенка из своего питомника. Только теперь, на склоне лет, Митрофану Ильичу удалось впервые в здешних краях снять хороший урожай винограда. Выращенные им гроздья, пышные и сладкие, прошлой осенью демонстрировались на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке и вызвали большой интерес у знатоков. Сельские садоводы из центральных областей с завистью смотрели на тяжелые, прозрачные, зеленые с желтинкой, точно солнцем налитые гроздья. Смотрели, благоговейно вздыхали, а в уме уже прикидывали все солнечные, «красные», как говорили в этих краях, яры, где можно было бы развести столь замечательную ягоду.

Митрофан Ильич невольно остановился здесь, в заветном уголке своего сада, куда хаживал каждое утро смотреть, как растет, как цветет, как завязывается и наливается виноград «аринка». Так назвал он свой лучший сорт в честь внучки. Вот они, эти лозы, в которые вложено столько труда! Они уже готовы выйти за забор его тесного садика, на просторы колхозных земель. А он должен бросить их на произвол судьбы, во власть жестоких морозов, бросить, чтобы самому бежать невесть куда!

Митрофан Ильич присел прямо на теплую грядку. Зелень закрыла от него все окружающее. Маленький клочок земли, превращенный его руками в самый цветущий уголок во всем Заречье, казался ему и сейчас таким же чудесным, как и в счастливые дни, когда жена ходила меж яблонь с большой зеленой лейкой, когда сыновья были еще мальчуганами. Старик осторожно сорвал пожелтевший виноградный листок и ласково прижал его к щеке шершавой тыльной стороной. Студенистое, прозрачное марево зыбилося меж деревьев.

Возбужденно орали скворцы, ветер лениво перебирал жесткие листья яблонь, озабоченно гудели пчелы. Одна из них запуталась в седых взъерошенных волосах. Митрофан Ильич бережно освободил ее и заботливо проследил, как она долетела до своего улья.

И вдруг этот маленький, залитый солнцем сад показался старику тихим островком среди необозримых пространств, затопленных грозным военным половодьем.

Вот тут-то и мелькнула у него мысль: а что, если не ехать в эвакуацию? Мысль эта была так неожиданна, что он даже вскочил и вслух удивленно переспросил:

— То-есть, позвольте, как это не ехать?

Но уже в следующее мгновение он оправдывал это свое малодушие. Ну да, ведь он уже стар, болен. Вряд ли он даже перенесет тяготы пути. Сердце шалит все эти последние дни. Ну, а если, допустим, он и преодолеет дорогу, какая и кому, скажите на милость, от него будет польза? Что он может сделать для войны? Кассиров там, в тылу, и без него хватит. Снаряды он точить не умеет, да и нет уже для этого сил. А тут еще, чего доброго, сердце подведет, придется отрывать от дела и без того по горло занятых людей, чтобы они его опекали. Быть обузой — что может быть хуже для человека в такие дни!..

«Но все честные люди уходят на восток, даже больные, даже вон матери с грудными младенцами, с кучами ребятишек», — возразил он сам себе.

А не все ли равно, где умирать! Впрочем, умирать, конечно, лучше здесь, в родном городе, в этом вот домике, где прожита вся жизнь. Нет, ему не следует ехать, он не поедет.

Решив это, Митрофан Ильич поднялся и, осторожно переступая через гряды, стараясь не потревожить нежные огуречные плети, заторопился к калитке. По улицам он почти бежал, не замечая ни близкой стрельбы, ни зловещего гуденья чужих бомбардировщиков, ни сильных разрывов, то и дело потрясавших город. Он замедлял шаг лишь тогда, когда колотье в сердце становилось непереносимым. Думал же он только о том, как лучше сообщить товарищу Чередникову о своем неожиданном решении.

Старшего кассира связывали с управляющим не только служебные отношения, но и давняя дружба, возникшая еще в дни их молодости на берегу речки, где они встречались у закинутых удочек. Чередников был тогда щеголеватым слесарем с маслозавода, ходил в сатиновой рубаше, в лихо замятом картузе с лаковым козырьком. Митрофан Ильич служил младшим статистиком в местном отделении Русско-Балтийского банка и получал оклад содержания 23 рубля 50 копеек. Молодые люди часами сидели рядом, следя за тонкой зыбью, дрожавшей вокруг поплавок. Свершилась Октябрьская революция, и скромный банковский статистик с удивлением узнал в известном, как тогда говорили, «яром большевике», громившем на шумных митингах местных меньшевиков и эсеров, своего знакомого по рыбалкам. Вскоре Чередников по партийной мобилизации уехал на фронт и вернулся оттуда с серебряными часами, полученными за храбрость, и с пустым рукавом, пристегнутым булавкой к старому френчу с заношенным воротником.

Потом Чередников работал в городе на разных руководящих должностях. Уже реже старые знакомцы встречались с удочками на берегу реки, но теперь, сойдясь на рыбалке, они не молчали, как прежде, а вели неторопливые беседы о жизни, о городских делах. Наконец судьба свела их окончательно в городском отделении Госбанка, куда Чередников был направлен управляющим и где Митрофан Ильич работал уже старшим кассиром.

Несмотря на пустой рукав и на седые виски, в характере Чередникова стойко сохранились черты, за которые когда-то звали его «ярым большевиком». Рассказывали, как в первый день войны управляющий бушевал в военкомате, тыча в нос усталому комиссару серебряные часы с надписью «За храбрость и отличную службу в войсках революции», и требовал немедленно

направить на фронт. Потом его видели в горкоме. Он обходил по очереди секретарей и убеждал послать его в леса, в партизанский отряд, формировавшийся из партийного актива. Он осаждал телефонными звонками область и смирился только тогда, когда получил от первого секретаря обкома сердитую телеграмму: ему категорически приказывали остаться при исполнении служебных обязанностей, обеспечить работу банка до последнего часа и планомерную эвакуацию ценностей.

Теперь, спеша по задымленным улицам, Митрофан Ильич мучительно думал о том, как он скажет этому неистовому человеку о своем намерении. «Ты пойми... — мысленно убеждал он Чередникова. — Ты пойми, что в общем балансе военных усилий я — величина отрицательная, минусовая, меня в пассив записать надо... Ты меня знаешь, я не подведу, может быть даже окажусь полезным партизанам или подпольщикам... А умереть придется — что ж, умру достойно, не обману вашего доверия, не запятнаю фамилию Корецких... Только пусть уж умру тут, дома, где родился, где жизнь прошла».

Весь охваченный ожиданием тягостного разговора с начальником и другом, Митрофан Ильич добрался наконец до Советской площади. Поднявшийся ветер отнес в сторону дым. Странно и горько было видеть этот залитый солнцем, обычно шумный и веселый городской центр безлюдным, каким он бывал только после полуночи. Здания были пусты, двери и окна распахнуты. Ветер гонял по асфальту какие-то бланки, обрывки бумаги, пепел и смерчем завывал все это в столбах пыли. Отзвук своих шагов старик слышал далеко впереди.

С трудом преодолев одышку и острое колотье в боку, Митрофан Ильич пересек площадь, вбежал во двор банка и ахнул: машин уже не было. Цепляясь за перила, он с трудом поднялся на железное крылечко. Неужели все уехали, неужели так и не удастся повидать Чередникова, обсудить с ним свое намерение? Оpozдал!.. Они ждали, а он не явился!.. Что будут думать теперь о нем люди, с которыми он работал, которые всегда так ему доверяли, избирали его в президиум на торжественных заседаниях, посылали своим депутатом в райсовет?...

Остановившись на крыльце, старик беспомощно огляделся: «Что же теперь делать? Что?»

2

Просторное пустое помещение одинаково гулко отзывалось и на канонаду, доносившуюся со стороны станции, и на тяжелые шаги Митрофана Ильича.

Тишина больших высоких комнат, обычно наполненных приглушенным говором посетителей, щелканьем счетов, сердитым зудом арифмометров, треском пишущих машинок, всем этим деловым шумом, который привычное ухо научилось вовсе не замечать, опять напомнила ему день похорон жены, когда он, обогнав друзей и сослуживцев, один вернулся с кладбища к себе в домик. Так же намусорено и наслежено было тогда на полах, так же непривычно раздавалось эхо в притихших комнатах, так же он привстал на цыпочках и шел крадучись.

Открытые дверцы несгораемых шкафов, обрывки бумаг, беспрепятственно носимые сквозняками, и этот гул пушек, врывающийся в окна, заботливо оклеенные накрест никому не нужными теперь бумажными полосками, — все это беспощадно напоминало, что привычная, родная жизнь ушла и надвигается какая-то новая, непонятная, незнакомая, которая казалась Митрофану Ильичу более страшной, чем сама смерть.

«Что же теперь, как же теперь? Ох, как все гадко!..»

Вдруг старику показалось, что в зловещей тишине обезлюдевшей конторы слышится плач. Он доносился откуда-то со стороны операционного зала. Будто на огонек, вдруг вспыхнувший во тьме, двинулся Митрофан Ильич на этот живой человеческий звук. В огромной пустой комнате он увидел машинистку Мусю Волкову. В пестром шелковом платье, показавшемся Митрофану Ильичу донельзя нелепым для такого печального дня, она сидела на подоконнике и, положив голову на завернутую в клетчатый платок машинку, рыдала шумно и громко, как плачут несправедливо обиженные дети. Рядом, на полу, валялся большой узел.

Скрипнула половица. Девушка вздрогнула, испуганно подняла голову. Узнав старого сослуживца, она бросилась к нему, схватила его за плечи и уставилась ему в лицо большими серыми глазами, гневно сверкавшими из-под темных, слипшихся кустиками ресниц.

— Вас тоже забыли? Да?

Не дав ответить, она гневно зачастила:

— Уехали! Вы понимаете: уехали, бросили нас, и горя им мало! Я побежала домой за машинкой... вы же знаете, я работала и дома, учрежденческая машинка — вот эта — была у меня. Управляющий сказал: «Ладно, наплевать на машинку, пусть остается». Наплевать на такую машинку! Ну, уж это извините! Я сказала: «Сбегаю, подождите». Они обещали ждать. Я ведь очень торопилась, но вы знаете, какая машинка тяжелая. Прибегаю сюда — здравствуйте! Никого. Уехали. Им не только на машинку — им и на нас с вами наплевать... Ну ладно, ну их! Пусть! Что мы — плакать будем? Да? Подумаешь!

Вдруг, как-то сразу успокоившись, девушка обтерла комочком платка слезы и следы смазанной губной помады, озорно потрянула остриженными «под мальчишку» кудрями и решительно заявила:

— И без них расчудесно эвакуируемся! Очень мы в них нуждаемся! Вот увидите, мы еще их догоним. У них шина лопнет. И пусть лопается, так им и надо — не забывай людей!.. Вы поможете мне нести машинку?

Девушка стала хлопотливо увязывать машинку в платок так, чтобы ее можно было взвалить на плечо наперевес с объемистым узлом. Митрофан Ильич, смотря на суетившуюся машинистку, рассеянно думал: как могло это легкомысленное существо в такой день нарядиться в яркое новое платье и надеть лакированные туфли-лодочки, точно на танцульку! Вот она, молодежь... И все-таки как будет страшно, одиноко, когда исчезнет отсюда со своим узлом и машинкой и эта девушка — последний человек, последний осколок того привычного и бесконечно дорогого, что сегодня уходит на восток.

Машинистка связала наконец свои вещи и обернулась:

— Что вы на меня уставились? Зачем я так оделась, да? А чтобы меньше нести. Я старье побросала, только лучшие платья взяла. А это вот на себя... А где ваши вещи? Берите их, и идем скорей. Я знаю, по какой дороге они поехали. Вот увидите: сидят сейчас, свесив ноги в кювет, а шофер шины клеит.

— Я не пойду, — с трудом произнес Митрофан Ильич.

— То-есть как это не пойдете? Вы что?

Взгляд девушки показывал, что она действительно не понимала, как это можно остаться в городе, куда вот-вот ворвется враг. Чувствуя, как горячие волны стыда заливают лицо, Митрофан Ильич опустил глаза и, стараясь выговаривать как можно тверже, произнес:

— Я решил остаться.



— Остаться? С фашистами?

Девушка инстинктивно отпрянула от Митрофана Ильича и, как показалось ему, даже брезгливо повела худыми плечами. Потом серые глаза снова приблизились к его лицу; в них были и недоумение, и надежда, и мольба, и требование.

— Вы ведь шутите, да?... Ну, что же вы молчите? Пора идти.

Она произнесла все это таким тоном, что у старика не хватило духу подтвердить свое намерение.

Митрофан Ильич с удивлением смотрел на девушку. Он считал машинистку Волкову самой вздорной и легкомысленной из всех банковских сотрудниц. Печатала она, правда, быстро, грамотно, но обладала таким ядовитым характером и таким острым язычком, так любила при случае «отбрить», столько прозвищ надавала сослуживцам и столько разговоров шло о ее непочтении к учрежденческим авторитетам, что Митрофан Ильич, когда доводилось ему печатать отчетные ведомости, опасливо обходил эту тоненькую, курносую, коротко подстриженную девчонку с курчавым, пшеничного цвета чубом, всегда закрывавшим ее высокий упрямый лоб.

И вот теперь этот «Репей», как прозвали девушку сотрудники, смотрела на него так, что он, старый человек, не смел произнести слова, которые с такой тщательностью подготовил для объяснения с самим товарищем Чередниковым.

— Вы меня разыграли? Да?... Вот нашел время!.. Ну, пошли скорей, помогите мне взвалить на плечо эти узлы.

Митрофан Ильич покорно наклонился к Мусиным вещам, но тотчас же выпрямился и испуганно уставился в окно. По асфальту гулко разносился звук торопливых шагов. Двое мужчин в форме железнодорожников пересекали пустую площадь. Они на ходу читали вывески, разыскивая, должно быть, какое-то учреждение. Вот один из них, тот, что был помоложе и повыше ростом, указал на отделение банка, и оба бросились к подъезду. У молодого за спиной мотался, подпрыгивая, черный мешок.

Тяжелые шаги простучали внизу по ступенькам. Хлопнула дверь. Издали донесся хрипловатый возбужденный голос:

— Эй, есть тут кто?

И прежде чем Митрофан Ильич успел отозваться, в дверях появился высокий смуглый парень с мешком. Его форменная фуражка, помятая и замасленная до лоска, была сбита на затылок. Парень оглядел Митрофана Ильича и машинистку глазами такими черными, что даже белки имели кофейный оттенок. Взгляд у него был дерзкий и настороженный, точно он взвешивал, можно ли доверять этим людям.

— Ну, признавайтесь, — спросил он резко, — где тут у вас, в банке, начальство? — Он сбросил мешок со спины, подхватил его на лету сильными руками и бережно опустил на пол.  
— Или все уж удрали?

Тот, что был старше, левой рукой извлек из кармана носовой платок и стал вытирать вспотевшее лицо. Забинтованная правая висела у него на перевязи. На марле бурели пятна засохшей крови.

— Виноват, вы кто будете, товарищ? — спросил он Митрофана Ильича, с трудом преодолевая одышку и, видимо, изо всех сил стараясь говорить спокойно, вежливо.

— Корецкий, старший кассир... Но отделение банка действительно эвакуировалось. Мы с ней

вот... — Митрофан Ильич запнулся, подыскивая нужное слово, и вдруг почувствовал, как вспыхнули его щеки.

Однако парень не дал ему кончить. Подняв мешок с пола, он поставил его на стол:

— Вот ты-то нам и нужен. Раз главный кассир — принимай, папаша.

Но старший едва заметным толчком локтя остановил парня, который принялся было развязывать мешок. Пытаясь изобразить на своем усталом лице вежливую улыбку, старший обратился к Митрофану Ильичу:

— Товарищ... Корецкий, ведь так я расслышал? Так уж простите, сами понимаете, в какой час встретиться привелось... Документик бы показали для верного знакомства...

Не понимая, в чем дело, Митрофан Ильич, растерянный и смущенный, полез в боковой карман. Старший из посетителей просмотрел его служебное удостоверение, протянул его молодому, тот прочитал его в свою очередь, взглядом сверил фотографию с оригиналом. И оба переглянулись.

— Ну вот и ладно, вот и отлично! — просиял старший. — Вы-то как раз нам и нужны. — И, повернувшись к молодому, распорядился: — Давай высыпай! Да поживее.

Сверкнув ослепительной, белозубой улыбкой, парень нетерпеливым движением разорвал бечевку и, перевернув мешок, приподнял его за углы. Из брезентового, густо пропитанного мазутом, черного мешка, в каких паровозные бригады возят инструмент, что похуже, сверкающим потоком хлынули на письменный стол драгоценности: кулоны, браслеты, серьги, массивные портсигары, кольца, бриллиантовые кольца, старинные золотые табакерки, украшенные финифтью и камнями, перстни. Все это, рассыпавшись по зеленому сукну, загромодило канцелярский стол. Молодой железнодорожник еще раз дернул за концы мешка:

— Все! Пиши, папаша, расписку, что принял семнадцать килограммов золота и прочей драгоценной ерунды.

— И, будьте добры, поскорее, пожалуйста, — прижав пухлую старческую руку к борту кителя, попросил старший; и по манере надевать картуз, и по седой щеточке аккуратно подстриженных усов, и даже по пестрому носовому платку, который он то и дело прикладывал ко лбу, в нем угадывался главный кондуктор. — Очень прошу, граждане, поскорее!

Митрофан Ильич и машинистка, пораженные, стояли у стола, молча глядя на груды сокровищ, остро сверкающую разноцветными огнями: он — со страхом, она — с детским любопытством.

— Откуда это у вас? — шопотом спросила девушка.

Ей никто не ответил.

— Пиши, папаша: принял семнадцать килограммов ценностей в разных штуковинах от главного кондуктора эшелона номер ноль один восемьсот десять Иннокентьева Егора Федоровича и от помощника машиниста Черного Мирко Осиповича. И всё.

Митрофан Ильич продолжал стоять в молчаливой растерянности.

— Я не имею права принять эти ценности, — наконец проговорил он. — Отделение эвакуировано, счета закрыты.

— А для чего же тебя здесь оставили? — вспыхнул молодой. — Для красоты? Да тебя за саботаж в военное время... — Смуглый парень угрожающе наклонился через стол к кассиру, коричневатые белки его глаз угрожающе сверкали. — Весы есть?

Уж одно то, что мешок с драгоценностями находился в здании советского банка, а у стола стоял человек, всю жизнь имевший дело с огромными денежными суммами, золотом и «прочей ерундой», казалось молодому железнодорожнику достаточной гарантией сохранности этих богатств.

— Вешай и пиши расписку! — напирал он на Митрофана Ильича.

— Да спусти ты пары, сумасшедший! — остановил его пожилой. — Уж пожалуйста, примите ценности. Нельзя нам это у себя оставить, в банк сдать велено.

— Да поймите вы: не могу я, не могу... — начал сердиться старый кассир, но вдруг обрадовано воскликнул: — Ладно, приму! А вы нас с ней возьмите в свой эшелон. Приедем в тыл, вместе все и сдадим. А?

— Как же мы вас возьмем, мил человек? Разбомбили ж ведь нас, паровоз наш разбили. А другой то ли прорвется, то ли нет: фашист уж на полотно снаряды кладет... Пропасть же все это может вместе с нами. Вот беда-то в чем. — И он с надеждой уставился на Митрофана Ильича. — Как же быть? А?

Наступило тягостное молчание. Четыре человека стояли перед грудой лежавших на столе сокровищ, не зная, как им поступить.

Вдруг Митрофан Ильич встрепенулся, в глазах его засветилась робкая надежда. Он бросился к телефону. Может быть, еще не эвакуировалось то учреждение, из которого он обычно в экстренных случаях вызывал вооруженных инкассаторов для перевозки и охраны в пути крупных банковских сумм и ценных бумаг? Может быть, их машины и люди еще в городе? Даже наверняка еще в городе! Тогда он уговорит инкассаторов немедленно вывезти ценности на восток. Как же это сразу не пришло ему в голову!

Чувствуя, как бешено колотится сердце, старший кассир снял дрожащей рукой телефонную трубку. Он страшно обрадовался, услышав знакомый шум и потрескивание.

— Работает! — радостно вскричал он и, зажав ладонью микрофон, вкратце сообщил железнодорожникам, что он примет от них ценности, если ему пообещают, что за ними будет прислана машина с надлежащей охраной.

— Молодец, папаша! — услышал он возглас молодого.

В это мгновение до него донесся далекий знакомый голос: «Станция». Он поднял руку, призывая к молчанию, поспешно назвал номер, и номер сразу отозвался.

Кто-то устало, но спокойно спросил, откуда звонят и что надо.

— Ну, слава богу! — воскликнул Митрофан Ильич.

Он дважды повторил свою фамилию и должность, попросил немедленно выслать на машине людей для приемки очень больших ценностей, внезапно поступивших в банк. Он шепотом назвал предполагаемый вес сокровища.

В трубке удивленно крякнули. Потом сказали, что выслать инкассаторов трудно, так как бой идет уже на подступах к железнодорожной станции и все, кто мог, ушли на передовую. Митрофан Ильич снова назвал вес ценностей. На миг в трубке послышалось тяжелое дыхание. Потом голос сказал:

— Хорошо, товарищ Корецкий. Раз такое чрезвычайное дело, людей пришлем.

— Принимать? — спросил старший кассир.

— Принимайте. Постарайтесь заготовить опись. Машина будет самое большее через четверть часа.

Тем временем Муся и смуглый парень — помощник машиниста — приволокли из буфета белые магазинные весы. Стряхнули с тарелок крошки, прикинули мешок, потом торопливо ссыпали в него ценности, положили на весы.

Пока они возились, главный кондуктор, все время вытиравший обильный пот, рассказал историю сокровища. Его бригада вела последний эшелон из Прибалтики. С поездом шел почтовый вагон. Вражеские самолеты настигли поезд на подходе к городу. Среди других разбитых вагонов был и почтовый. В нем ехали два инкассатора. Они везли ценности рижской конторы Ювелирторга, которые должны были быть сданы в Госбанк. Один из инкассаторов был убит наповал; другой, когда люди из поездной бригады нашли его среди обломков, еще дышал. Весь израненный, он удивленно поводил вокруг глазами, точно не понимая, что с ним такое произошло. Потом, должно быть почувствовав, что умирает, он взглядом поманил к себе людей. Инкассатор сказал, что они везли сокровища на большую сумму. Кожаный мешок разорван, все разбросано. Он просил собрать ценности и сдать их под расписку в отделение Госбанка первого крупного города в тылу.

Перед тем как в последний раз закрыть глаза, он взял с бригады слово, что эту расписку они отошлют его начальнику.

Инкассаторов вместе с другими жертвами налета наскоро похоронили в пристанционном ровике. Ценности собрали в мешок. Начальник станции уверил главного кондуктора, что отделение банка еще работает. И вот пока на станции, под артиллерийским обстрелом, остатки эшелона ожидают новый паровоз, нужно выполнить волю покойных — сдать ценности и получить требуемую бумагу.

— Семнадцать килограммов двести шестьдесят пять граммов. Точно! Точнее весы не позволяют. Три раза взвешивали! — громко объявила Муся, указывая Митрофану Ильичу на длинную узкую стрелку, неподвижно застывшую на циферблате весов.

Старший кассир присел к столику и, разыскав на полу более или менее чистый лист бумаги, прекрасным, каллиграфическим почерком, тщательно выводя завитушки заглавных букв, написал приемочную квитанцию. Он расписался под ней и, так как не было у него никаких печатей и штампов, попросил Мусю, вопреки всем законам бухгалтерии, скрепить своей свидетельской подписью этот необычный документ. Расписываясь, Муся от волнения поставила кляксу, и Митрофан Ильич огорченно покачал головой. Он принялся было составлять и опись ценностей, но смуглый железнодорожник схватил со стола бумажку и, даже не попрощавшись, ринулся из комнаты. Старший бросился за ним. Через мгновение хлопнула внизу дверь, и быстрые шаги затихли на площади, на которую ветер, изменивший направление, снова стал загонять клубы бурого дыма.

— Ой, какие красивые штучки! — воскликнула девушка, восхищенно рассматривая содержимое грязного мешка. — Я таких даже и не видела, верьте слову. Вот это да!

— Глупости у тебя на уме! Садись скорее за машинку. Пока не приехали инкассаторы, надо составить хотя бы самую краткую опись и заготовить сдаточный акт, — говорил Митрофан Ильич, нетерпеливо потирая тонкие, худые руки.

Муся развязала платок. Машинка была водружена на стол.

«Ишь, побежали, обрадовались! Спихнули с себя, и горя им мало... Ну ничего, ничего, надо действовать! Какие огромные, просто колоссальные ценности!» — думал Митрофан Ильич. Ощущение ответственности как-то сразу вывело его из тягостной апатии, которая одолевала его все эти последние дни. Он весь внутренне подтянулся.

— Что ты копаешься? — прикрикнул он на машинистку, вставлявшую в валик лист бумаги. — Приготовилась? Пиши: «Опись ценностей, поступивших в городское отделение Госбанка через старшего...» нет, как его... «...через главного кондуктора железнодорожного эшелона...» Написала «эшелона»? «...эшелона номер ноль один восемьсот десять Иннокентьева Е. Ф. и помощника машиниста паровоза при этом эшелоне Черного М. О.». Фамилии подчеркнешь... Подчеркнула?

Деловито потирая руки, Митрофан Ильич расхаживал взад и вперед, диктуя опись. Диктовал и прислушивался. Ему хотелось до приезда инкассаторов хотя бы вчерне оформить необычный вклад.

И хотя кругом гудело и грохотало по-прежнему, хотя один особенно близкий взрыв вынес воздушной волной несколько стекол, увесистый кусок штукатурки упал с потолка на стол, где стояла машинка, а Муся, взвизгнув, бросилась под защиту массивной стены, Митрофан Ильич только поморщился:

— Ах, эти женские нервы... Ведь далеко ж! Давай скорее пиши. Вот-вот приедут...

Когда работа была в разгаре, вдруг послышался рокот мотора, но не оттуда, откуда ожидалась машина с инкассаторами, а с противоположной стороны. И был этот рокот напряженный, стреляющий, незнакомый. Вскоре в дымную мглу площади с треском ворвались мотоциклисты. На полном ходу, один за другим, они быстро пронеслись мимо банка и свернули на улицу Карла Маркса. Митрофан Ильич и Муся застыли у окна. Площадь не успела стихнуть, как, приближаясь, зарокотали уже другие моторы. Их рев сопровождался перекатывающимся лязгом. Здание затряслось, зазвенели стекла.

Через площадь, нечетко вырисовываясь в бурой мгле, торопливо двигались в том же направлении приземистые танки. Они шли один за другим с короткими интервалами. То нарастающий, то стихающий шум их моторов упругими волнами вкатывался в окна операционного зала.

Сначала Митрофан Ильич подумал, что это спешит через город подмога частям полковника Теплова, обороняющим станцию. Но вот две машины, вырвавшись из колонны, остановились на противоположных углах площади и начали, медленно поворачивая башни, наводить орудия на смежные улицы.

— Ой, крест! На броне крест! — прошептала девушка, прижимаясь плечом к Митрофану Ильичу и точно ища у него защиты. И вдруг страшным голосом вскрикнула: — Немцы ж, немцы это!

Да, это был враг! Происходило что-то непонятное. У железнодорожной станции, в пяти километрах от города, по-прежнему, даже с нарастающим ожесточением, гремела канонада. Там шел бой. Части Советской Армии и истребительные батальоны железнодорожников, мукомолов, маслоделов дрались, защищая магистраль, а тут, в центре города, уже были неприятельские танки.

Первой пришла в себя Муся. С трудом оторвав взгляд от чужих машин, она бросилась к телефону и принялась колотить по рычажку аппарата. Она хотела предупредить сражавшихся на станции о том, что тут, в городе, уже враг. Но трубка зловеще молчала.

Тогда — бежать, бежать отсюда, бежать, пока не поздно! Через смежные улицы дворами,

садами пробраться к восточной, еще не занятой, очевидно, окраине и догнать своих. Девушка бросилась было к двери, но сердитый окрик остановил ее:

— А золото? — Митрофан Ильич говорил новым, отвердевшим голосом, в самом тембре которого звучало право приказывать. — Мы же с тобой за это отвечаем!

Девушка смерила кассира тем задиристо-насмешливым взглядом, за который ее особенно не любили сослуживцы.

— Подумаешь! Стану я из-за какого-то золота попадать к фашистам!.. Мне на это ваше золото — тьфу!

И она действительно плюнула себе под ноги.

— Девчонка!.. Да как ты смеешь! Ты понимаешь, что нам доверено?

Митрофан Ильич смотрел сурово, гневно, и было в этом взгляде что-то такое, от чего озорная девушка сразу притихла и подчинилась.

Грохот и лягз на улицах разом оборвались. Пронеслись последние машины. Развернулись и ушли за остальными и те два танка, что были выставлены для охраны колонны. Площадь опустела, и только облака пыли и дыма тихо клубились над рубчатыми следами гусениц, оставшимися на асфальте. Канонада у вокзала усилилась.

Митрофан Ильич завязал наконец мешок:

— За ним не приедут! Нужно выносить самим. Да, да, самим — мне и тебе.

Он вздохнул и начал, кряхтя, взваливать тяжелый груз на плечо. Но снова донесся гул мотора. На этот раз, несомненно, шла легковая машина. Может быть, инкассаторам удалось прорваться через боковые улицы? Старший кассир и маленькая машинистка с надеждой выглянули в окно.

На площадь одна за другой выскользнули три странные машины, похожие на лодки, поставленные на колеса. Шоферы и седоки торчали из этих стальных корыт по пояс. На площади машины разъехались: две направились к зданиям горкома и горсовета, а третья, сердито рокоча приглушенным мотором, подкатила к отделению банка и скрипнула тормозами у парадного подъезда.

— К нам! — прошептал Митрофан Ильич, чувствуя, как похолодели и ослабли у него ноги. И все вокруг: Муся, застывшая в проеме окна, самое окно, стол со стоящей на нем машинкой, круглые часы, висевшие на стене, и самая стена — все это сдвинулось и вдруг стало валиться в сторону.

Случилось самое страшное из всего, что могло произойти в этот роковой день. Военные в чужой форме вылезли у подъезда. Бежать поздно, золото не унести, даже не успеть спрятать. Оно попадет к врагу, и виной этого страшного события будет он, старший кассир Митрофан Ильич Корецкий, которому железнодорожники доверили огромную государственную ценность.

Вцепившись руками в стол, чтобы не упасть, старик растерянно обводил глазами комнату. Девушка соскочила с окна. Она метнулась к мешку, схватила его обеими руками и, согнувшись от тяжести, отнесла к голландской печи. В последние дни в этой печи жгли ненужные документы, и перед топочной дверцей теперь возвышалась куча рыжей торфяной крошки, смешанной с бумажным пеплом. Девушка быстро открыла дверцу, но топот кованых сапог раздавался уже рядом. Точно разогнувшаяся пружина, девушка отскочила от мешка и в следующее мгновение уже стояла возле стола. Небрежно опершись о него, она улыбалась,

как казалось, приветливо и беззаботно. Только порывисто вздымающаяся грудь выдавала ее волнение.

В комнату вошли трое: молодой щеголеватый военный в фуражке с очень высокой тульей, сразу напомнившей Митрофану Ильичу карикатуру Кукрыниксов из последнего номера «Правды», повидимому офицер; за ним — солдат в квадратной рогатой каске, надвинутой на самые глаза, с автоматом, висевшим у него на шее на ремешке наподобие саксофона; третий был штатский — маленький, юркий человечек в спортивной каскетке и полупальто, с длинными обвисшими усами и светлыми глазами неопределенного цвета. Глаза эти так и бегали, так и шарили вокруг с тоскливым беспокойством. Все трое были густо покрыты замшевым слоем зеленоватой пыли. Она лежала на лицах такой плотной маской, что нельзя было рассмотреть их выражения.

Сверкание глазных белков, черный цвет губ и одинаковый оттенок густо пропыленных бровей и ресниц делали всех троих похожими друг на друга. Они показались Митрофану Ильичу людьми какой-то таинственной, злой породы, неизвестной ему до сих пор. Все трое тяжело дышали — как будто до того, как войти в комнату, долго бежали.

Офицер остановился перед старшим кассиром, козырнул ему двумя пальцами и стал о чем-то спрашивать, все время нервно косясь на двери, ведущие вглубь здания.

— Пан офицер хочет слушать, что это действительно есть местный банк! — перевел длинноусый, произнося русские слова со странным выговором.

Митрофан Ильич словно не слышал вопроса. Он смотрел на этого совсем молодого офицера с надменной, возбужденной физиономией, на солдата, застывшего у печки, расставив ноги наподобие глиняной статуи, на длинноусого штатского в смешной детской фуражке, — смотрел и насмешливо думал: так вот они какие, эти люди, объявившие себя владыками мира!.. Офицер кричит, хорохорится. Должно быть, грозит. Но разве не заметно, как боязливо косится он при этом на двери, как возбужденно дрожат большие и тяжелые руки солдата, напряженно вцепившиеся в автомат, как по-петушиному все время переступает с ноги на ногу штатский, точно пол жжет ему ноги, и как они все трое вдруг присели, когда звучно, будто пастушеский кнут, щелкнул у окна подхваченный ветром занавес?

И они, эти вот, хотят покорить великий советский народ! Старик усмехнулся зло и бесстрашно. Нервная дрожь прошла, даже сердце успокоилось. Что ж, он свое прожил, и неплохо прожил, не стыдно вспомнить. Пожил бы и еще, да что же делать, видно не судьба... О чем это трещит этот длинноусый таракан, дергающий его за рукав? Что ему нужно?

— Пан офицер говорит, что ему не можно долго ждать ответа. Пан офицер сердится, пусть пан отвечает на вопрос.

Действительно, офицерик с подчеркнутым старанием расстегивал кобуру револьвера.

Что ж, чем скорее, тем лучше! Митрофан Ильич взглянул через плечо офицера в окно на кипящую дымом площадь, гордо выпрямился, сжал губы и опустил веки. Нет, он не станет молить о пощаде. Этого они от него не дождутся. Ему захотелось перед смертью крикнуть в эти чужие, пыльные, сверкавшие белками глаз и оскалом зубов лица нечто значительное, уничтожающее, но он не успел найти нужные слова.

Оттолкнув переводчика, Муся выпорхнула вперед. Загородив собой старика, она совершенно незнакомым ему кокетливо-певучим голоском защебетала:

— Да, да, передайте, пожалуйста, господину офицеру, что это и есть городское отделение Государственного банка. — Она обернулась к Митрофану Ильичу, лучистые озорные глаза горели отчаянным вдохновением. — Передайте господину офицеру, что это мой дедушка,

мой гроссфатер, понимаете меня? Пусть господин офицер на него не сердится. У него, у дедушки, у гроссфатера моего, сердце... вот тут, понимаете... у него сердце не в порядке, оно тук-тук-тук. Понимаете? От радости. Припадок, сердечный припадок. Болезнь... Кранк...

Она подбежала к офицеру и, схватив его за рукав пыльного кителя, продолжала все с тем же вдохновением отчаяния:

— Мой гроссфатер при царе, при нашем кайзере... ферштеен зи?... он был буржуй, то-есть, извините, по-вашему очень богатый человек... Переведите господину офицеру, что потом у моего гроссфатера... вот у него, у этого вот старика... все отняли, всё, всё. Вы понимаете? Ферштеен зи?... Переведите теперь, что все уехали, а мы с дедушкой остались жить с фаши... то-есть, я хотела сказать, с господами немцами... Ферштеен зи?

Муся очаровательно улыбнулась, присела, отведя в сторону уголок юбки, и потом, вытащив из сумочки зеркальце, храбро мазнула по губам карандашом помады.

Митрофан Ильич медленно поднял на нее гневный взгляд. Что такое она там несет, скверная девчонка? К чему этот балаган? Как смеет она оскорблять гнусной ложью последние минуты его долгой и честной... да, да, именно честной жизни!..

Оранжевые пятна сердитого румянца выступили на бледном лице старика. Щеки задрожали, углы губ поползли вниз. Но в это мгновение он перехватил беспокойный взгляд Муси. Она украдкой, искоса смотрела на грязный мешок, лежавший на торфяной куче у печки. Это сразу отрезвило старика. Да, да, она, конечно, права, он не смеет умереть, не исполнив своего долга! Эта девчонка умнее и хитрее его. Правильно, нужно идти на все, лишь бы спасти эти неожиданно свалившиеся на их плечи сокровища...

Между тем, выслушав перевод Мусиных слов, офицер вытянулся, приложил два пальца к козырьку, назвал свою фамилию и, что-то вежливо пробормотав, с интересом осмотрел ее складную фигурку — от изящных туфель, как бы подчеркивавших стройность ее маленьких ног, до серых упрямых глаз, наивно и дерзко смотревших из-под кудрявого, нависшего на лоб чуба. Он отвесил девушке поклон и с преувеличенной старательностью звонко щелкнул каблуками.

— Пан офицер просит передать, что рад познакомиться с ясновельможной русской пани. Он делает извинение, он не имеет часа. Он просит пана и пани немедленно показать ему, где здесь хранятся деньги в иностранной и русской валюте, а также ценности в вещах и золоте, займы и процентные бумаги, страховые полисы, акции, частные вклады и другие... как это... активы.

Заученно выговорив эту фразу, переводчик вздохнул и смолк. По виду его стало понятно, что произносил он эту фразу уже не в первый раз, что сам считает ее простой формальностью и не ждет положительного ответа.

— Ваше благородие, помилуйте, какие ж тут деньги, откуда? — неуверенно произнес Митрофан Ильич, стараясь войти в роль бывшего богача.

Он пытался и никак не мог вспомнить хоть кого-нибудь из фабрикантов, помещиков, уездных финансовых тузов, каких ему, маленькому конторщику, приходилось когда-то видеть среди клиентов банка. И хотя большая половина жизни Митрофана Ильича прошла в дореволюционные годы, все это было теперь так далеко, так прочно отгорожено четвертью века советской власти, что вся его серенькая молодость вспоминалась ему смутно, как глава давно прочитанной малоинтересной книги. Так и не удалось ему хоть сколько-нибудь отчетливо представить себе кого-нибудь из уездных воротил. Вместо них в памяти возникли персонажи из пьесы Островского, которую он видел зимой на сцене городского театра, и в особенности образ старого купца, ловко вылепленный талантливым актером. Стараясь



подражать еще жившим в памяти актерским интонациям, Митрофан Ильич уже несколько уверенней продолжал:

— И не ищи, батенька мой, ваше благородие, и время зря не теряй... Вот благодарю бога да вашего... как его... господина Гитлера, что поторопились вы прийти, а то вон дверные ручки да шпингалеты с окон и те с собой забирают. Ни с чем не расстаются, все как есть увозят... Какие уж тут, прости господи, активы...

Митрофан Ильич говорил все это медленно и рассудительно, точно на сцене. Слова вылетали изо рта, а все внимание его уже снова было сосредоточено на грязном мешке, лежавшем у печки. Он не смел даже взглянуть на него. Он нарочно смотрел в противоположную сторону, но как бы чувствовал присутствие этого мешка, чувствовал всеми своими напряженными нервами, будто драгоценности источали какие-то магнетические токи. И оттого, что солдат с автоматом стоял у печки рядом с мешком, так близко, что серый от пыли сапог с коротким и широким, как ведерко, голенищем почти касался грязной мешковины, все существо кассира было полно тоскливой тревоги.

А если немец нагнется и заглянет в мешок?

Смерть? Нет, умереть не так страшно. Случится такое, что во много раз хуже. Фашисты обнаружат золото. А железнодорожники приедут в тыл, они найдут Чередникова, покажут ему квитанцию и расскажут, что самолично сдали ценности старшему кассиру. Чередников прочтет бумажку и, увидев знакомую подпись, облегченно вздохнет. В верные руки сданы сокровища! Раз Корецкий принял — что ни случись, не пропадут. У Корецкого за двадцать пять лет копейки не пропало. Железнодорожники уйдут, успокоенные, а Чередников будет терпеливо ждать... Тем временем фашисты приобретут на это золото новые проклятые машины, и машины эти будут мять родные русские поля, стрелять в советских людей, в его, Митрофана Ильича, сыновей...

Старику стало страшно.

«Господи, спаси и сохрани, не допусти богатства во вражьи нечистые руки!» — твердил он про себя жалкие, смешные слова, пришедшие из далекого прошлого.

Между тем Муся уселась на край стола и беззаботно раскачивала стройной ножкой, искоса следя за тем, как офицер, и солдат, и переводчик, каждый втайне от другого, еле заметно поводят глазами в такт ее движениям. Девушка что-то щебечет, и щебечет так естественно, что Митрофану Ильичу опять начинает казаться, что она кокетничает всерьез. Злая досада снова начинает подниматься в нем. Но тут он замечает, что села Муся как раз так, чтобы загородить мешок от взоров офицера и переводчика, и старик радуется: «Умница, молодец! Вот у кого нужно учиться самообладанию! И откуда у нее это все берется? Актриса, настоящая актриса!..»

— Передайте его благородию, что я готов помочь ему чем могу, — торопливо, по-волжски окая, говорит Митрофан Ильич, снова вспоминая характерные интонации купца из пьесы. — Прошу покорнейше пройти в хранилище — может, впопыхах, в суете да в спешке они какие крохи и оставили...

Кассир идет впереди, сопровождаемый солдатом, напоминающим молчаливую куклу. Офицер и переводчик следуют за ними. Муся остается в операционном зале. «Может быть, этой хитрой девчонке удастся унести, спрятать мешок?» — думает Митрофан Ильич. Он уже начинает понимать, что эти первые увиденные им фашисты, в сущности, ничего не знают о его народе, что их не так-то уж трудно обмануть, провести, повторяя выдумки их же собственной пропаганды. Все уверенней входит он в роль бывшего богача, обездоленного советской властью, пришедшего вместе с внучкой взглянуть на этот когда-то принадлежавший ему особняк. Поначалу случайная выдумка эта показалась ему безнадежно

наивной. Теперь он видел, что ему верят. Усатый переводчик расшаркивается перед стариком и, заскакывая сбоку, величает его не иначе, как «ясновельможный пан коммерсант». И еще в одном убеждается Митрофан Ильич: они боятся. Их танки, машины с пехотой, мотоциклы, снова танки непрерывной чередой, потрясая все вокруг, движутся через площадь к вокзалу. Их часовой стоит у главного подъезда. Эти трое вооруженных идут с ним, беспомощным, безоружным стариком, и все-таки они боятся, заставляют его идти вперед, все время держат руки в карманах, опасно оглядываются на двери, вздрагивают при каждом громком разрыве. «А, уж научили вас, субчиков-голубчиков!.. Это вам не Западная Европа! У нас под ручку с дамочками по бульварам не погуляешь!» — злорадно думает старый кассир.

Они входят в помещение операционных касс. Немцы бросаются к тяжелым сейфам, вделанным в стену. Из-за громоздкости сейфы эти решено было не увозить. Митрофан Ильич опускается в дубовое канцелярское кресло на положенную поверх сиденья суконную подушечку, сшитую еще руками его покойной жены, и, подперев ладонью подбородок, смотрит на запыленные фигуры в чужой, незнакомой форме, шныряющие с крысиным проворством.

Он сидит под черной стеклянной табличкой с серебристыми буквами: «Старший кассир М. И. Корецкий», за своим столом, «на своем рабочем месте», как любил он говаривать. И ему начинает казаться, что он видит неправдоподобно страшный сон.

Переводчик берет со стола дырокол, собственный дырокол Митрофана Ильича, который он как-то принес на службу из дому, и, удовлетворенно хмыкнув, сует в свой бездонный карман, где канцелярские мелочи исчезают совершенно бесследно. Покончив с дыроколом, переводчик вздыхает:

— Пан прав, они действительно всё увезли, кроме этих... как это по-русски... шпингалетов для окон. Не будет ли пан такой любезный проводить нас в помещение... как это... ну, не элеватор, нет... ну, казнохранилище, да?

Страшный сон продолжается. Выслав вперед солдата с автоматом и вынув револьвер, офицер опускается в темное подвальное помещение, полное запахов старой бумаги, пыли и горелого сургуча. Острый луч электрического фонарика шарит в зияющих провалах пустых сейфов, выхватывает из мрака толстые стальные двери, заляпанные сургучом и воском, скользит по полу, густо покрытому шелестящим пеплом и клочками недогоревших бумаг... Дурной, тяжелый кошмар... Но где-то в глубине потрясенной души Митрофана Ильича теплится надежда: Волкова там, наверху. Что бы тут ни произошло, эта ловкая девица, может быть, что-нибудь сумеет сделать... Пусть мучают, пусть расстреляют даже, лишь бы ей удалось спасти казенные ценности, а если не спасти, то хотя бы спрятать, чтобы они не достались этим...

Наверху звучно хлопает дверь. Фашисты, точно по команде, отскакивают к стене и с предостерегающими криками наводят оружие на слабо освещенную лестницу. Они тяжело дышат. Револьвер так и ходит в руке офицера, и снова злорадный смех кривит губы старика: «Повадки волчьи, а души заячьи. Не будет, не будет вам ходу по нашей земле!»

Уже без боязни переиграть, он смело обращается к переводчику:

— Спроси-ка, любезный, не может ли его благородие прислать сюда поскорее саперов?

— К чему пану саперы?

— Да вот взяли они моду перед уходом минировать лучшие дома. Аль не слыхали? Ну как же, дело известное, замуруют куда-нибудь в фундамент адскую машину, а то и две и уедут. Их уж и следа нет, а часики себе тик-так, тик-так, а по прошествии времени она, бомбочка-то, как ахнет — дом-то и прости-прощай, только его и выдали!.. Им чужого разве жалко! А я этот дом

для себя, для наследников своих возводил на долгие века...

Выслушав перевод, офицер сразу заторопился. Перепрыгивая через две ступеньки, он и его спутники выскакивают из подвала, почти бегом минуют анфиладу пустых комнат. Митрофан Ильич, усмехаясь, плетется сзади.

Нет, Волкова не ушла. Она сидела на подоконнике и жестами что-то объясняла кому-то на улице, должно быть солдату, караулившему подъезд. Сердце старика дрогнуло. Мешок лежал на прежнем месте и даже, как ему показалось, стал больше размерами.

Офицер козырнул Мусе, торопливо осмотрел комнату и указал солдату на пишущую машинку. Тот схватил ее и понес. Девушка, мгновение назад кокетливо улыбавшаяся, соскочила с окна и бросилась к солдату. Немцы остановились.

— Эта вещь принадлежит фрейлен? — спросил офицер.

— Нет, нет, что вы, это не моя машинка, я не могу ее отдать! Понимаете вы, она не моя, учрежденческая! — всполошенно кричала Муся и тянула машинку к себе что было сил.

Офицер удивленно поднял брови:

— Так почему же фрейлен защищает чужую машинку? Всё здесь, — он обвел рукой вокруг себя, — трофеи великой армии фюрера...

— Отдай, дурак! — крикнула Муся, не выпуская машинки.

Солдат, у которого от ярости уши покраснели до свекольного цвета, старался оторвать руки девушки от своей добычи, но она держала цепко и все норовила ударить его ногой.

— Ваше благородие, Христом-богом прошу, пришлите вы поскорей саперов! — отчаянно выкрикнул Митрофан Ильич. — Ведь вот-вот взлетит мой дом на воздух! Бух — и всё!

Офицер исчез в двери. Солдат вырвал наконец машинку и, оттолкнув девушку, следом за переводчиком выскочил из комнаты. Девушка рухнула на пол, но сейчас же вскочила, высунулась по пояс в окно и яростно затрясла кулачками. Митрофан Ильич силой оттащил ее от подоконника. Муся осмотрела свои посиневшие пальцы, подула на них и вдруг заплакала обильными сердитыми слезами.

— Ну что ты! Ну не надо... Важное дело — машинка! Ведь мы ж сокровища сохранили.

Девушка вскочила и царапнула старика возмущенным взглядом:

— Это ж лучшая машинка в учреждении! Как вы это не понимаете! Я за нее отвечаю... «Трофеи армии фюрера»! Ах, мерзавцы!..

Девушка брезгливо вытирала о платье руку, которую пожал офицер. Она терла ее с таким усердием, точно хотела содрать кожу. Глядя на нее, маленькую и сердитую, на лицо ее, красное и мокрое от слез, Митрофан Ильич улыбнулся в первый раз за все дни войны.

— Если бы я еще верил в бога, я сказал бы, что само провидение оставило мне тебя в помощники, Муся, — сказал он, впервые назвав сотрудницу по имени.

Девушка удивленно взглянула на него. Никогда прежде он не называл ее так. На ресницах у нее все еще поблескивали слезинки, но она тоже улыбнулась.

— Есть время болтать о чудесах! Берите мешок. Не может же любящий гроссфатер из бывших лишенцев допустить, чтобы его маленькая внучка таскала такие тяжести.

Девушка без труда вскинула себе на плечи узел с вещами.

— Здорово я их поймала на старого буржуя, а? Дурни, поверили! Я думала, они хоть хитрые, а они... — Она многозначительно постучала костяшками пальцев о подоконник.

— Они нас своей фашистской меркой меряют, Мусенька, — ответил Митрофан Ильич. — Врали про нас чорт те что и сами тому вранью поверили. Она еще, ложь-то эта, им, ох, как горько отрыгнется!

Он взвалил на себя мешок с ценностями. Лицо его вдруг изобразило удивление. Его спина и локоть ясно ощутили шершавые куски торфа.

— Чего вы удивляетесь, товарищ гротсфатер? Не может же в таком скверном мешке быть золото. Я обложила ценности торфом, на случай если они туда нос сунут, — пояснила девушка и заторопила: — Мы пойдем черным ходом, потом через дырку в заборе во двор клуба пиццевиков, а оттуда на Урицкую и на бульвар... Мы так девчонками на танцы без билета к пиццевикам лазили. Очень удобно.

Она пошла вперед, показывая дорогу через пустые дворы.

Со стороны станции продолжала доноситься канонада; она как будто даже усилилась.

Город, окутанный дымом, был мертвенно пуст.

3

И точно сам мир уже изменился. Близость человека не радовала. Она настораживала и пугала. Едва слышав звук приближающихся шагов, спутники спешили свернуть в первую попавшуюся подворотню. Встречные, очевидно, переживали то же и торопились исчезнуть в дымной мгле. Казалось, этот древний русский город, упоминающийся в старинных летописях, вдруг за несколько минут превратился в глухую пустыню. Приходилось держаться настороже и не только ступать, но и дышать как можно тише.

Так, никого не встретив, но поминутно натываясь на брошенные посреди улицы домашние вещи, спутники миновали несколько центральных кварталов. Улица вывела к бульвару, пересекавшему их путь.

Когда открылся их взору бульвар, Митрофан Ильич и Муся застыли, инстинктивно прижавшись к стене дома. Не сразу поняли они даже, что же здесь, собственно, произошло. Тенистые курчавые тополя, сомкнутые кроны которых еще утром вздымались над серединой бульвара, образуя собой две пышные зеленые гряды, теперь валялись на земле. Среди поверженных деревьев с блестящей, еще не успевшей завянуть листвой возились чужие саперы. Одни пилили, обрубали сучья, тесали бревна; другие копали продолговатые ямы; третьи облицовывали брустверы окопных ровиков кирпичом, который солдаты выбрасывали из окон ближайших домов, разбивая для этого, очевидно, печки в квартирах. У саперов были усталые, безразличные лица. Какой-то массивный военный, должно быть их начальник, сидел развалившись в глубоком кожаном кресле, стоявшем посреди не существовавшего уже бульвара. Пилотка у него была засунута под погон. Розовая лысина сверкала на солнце.

Митрофан Ильич стоял, точно окаменелый. Муся все настойчивее дергала его за рукав.

— Пошли, пошли! — шептала она. — Обойдем бульвар, ну их!

Старик машинально двинулся за девушкой. Он не понимал, что она ему говорит, куда его тацит. Он чувствовал только, что маленькая сильная рука, крепко держащая его локоть, дрожит, и сам дрожал, как от озноба, а в ушах назойливо звучал глухой стук топоров, звон саперных лопат.

Усилившийся ветер снова отнес в сторону прогорклый дым. В полную силу засияло жаркое солнце, и от этого еще страшнее стали безлюдные улицы, пустые дома с выбитыми окнами и распахнутыми дверями, серый пепел, шелестевший под ногами и медленно порхавший над городом.

Старик и девушка прошли несколько улиц, не встретив ни души. И вдруг на перекрестке неожиданно столкнулись с группой вражеских солдат, вывалившей из разбитых дверей большого магазина «Гастроном». Передний из них нес целую грудку винных бутылок, обернутую в пятнистый брезент; заметив штатских, он было отпрянул, но, рассмотрев девушку в нарядном платье, остановился, расставил ноги и, что-то сказав, басисто захохотал. Вслед за ним захохотал и второй — румяный, очкастый. Он нес на руке с десятков коробок с шоколадными конфетами. Остальные были нагружены ящиками, плетенками, картонными коробами.

Сзади всех брел без пилотки, спотыкаясь, маленький, лысый. Рукава у него были засучены. Он на ходу лил себе прямо в рот варенье из банки.

Тот, что нес коробки с конфетами, медленно сложил свою поклажу у ног и поманил Мусю к себе пальцем. При этом, ослабившись, он показывал ей на шоколад. Девушка отшатнулась, как будто ей предлагали не конфеты, а что-то ядовитое, отвратительное. Солдаты снова дружно засмеялись. Они были пьяны и находились в самом благодушном расположении.

Маленький, лысый, хватив об асфальт банкой с недоеденным вареньем, отвесил Мусе преувеличенно любезный поклон.

— Дейч зольдатен — карашо... Добрый тшеловек, — ткнул он себя в грудь алым от варенья пальцем.

— Матка, матка, тшиколат! — тонким голосом зазывал очкастый.

Он схватил Мусю за руку и стал тянуть ее к коробкам, лежавшим на панели. Обрадовавшись неожиданной потехе, солдаты обступили девушку. Митрофан Ильич очутился вне этого круга.

— Тшиколат люксус, — подмигивая товарищам, повторял очкастый и пытался силой заставить девушку взять конфеты.

— Муся, да возьми, отвяжись ты от них! — крикнул Митрофан Ильич, пытавшийся пробиться к ней на помощь.

Девушка отчаянным усилием вырвалась из рук немца и, гневно сверкая глазами, закричала ему в лицо:

— Уйди, уйди ты!

— Муся, бери, ну их!

Солдаты обернулись к Митрофану Ильичу. Один из них, уставившись глазами на мешок, который старик поставил на землю, свистнул сквозь зубы, предвещая новую забаву. Он сделал вид, что забирает мешок себе. Неподдельный, ужас, появившийся на лице Митрофана Ильича, окончательно развеселил солдат.

Очкастый опять свистнул и с преувеличенным старанием принялся развязывать веревку. Обведя рукой товарищей, он показал, что намерен разделить содержимое мешка между ними. Муся смотрела на его пальцы, неторопливо развязывавшие тугий узел. Она готова была броситься к солдату, вцепиться в эти ненавистные руки, вырвать драгоценный мешок, но какое-то странное оцепенение связывало ее. Митрофан Ильич стоял возле, бессильно откинув голову назад и страдальчески полужакрыл глаза.

Наконец веревка поддалась. Предвкушая новую забаву, солдаты тесно сгрудились вокруг мешка, театрально протягивая руки. Тот, что был в очках, вытащил из мешка горсть торфяной крошки. Он удивленно посмотрел на девушку, на старика, подбросил торф на руке, чтобы показать товарищам, что так заботливо оберегают эти смешные русские.

Солдаты снова засмеялись, жестами показывая, что им не нужно торфяной крошки. Забрав с панели свои трофеи, они шумно двинулись прочь. Девушка, оцепенев, стояла над раскрытым мешком, еще не веря, что опасность миновала. Проходя мимо, очкастый сунул ей коробку конфет.

— Дейч зольдатен, го-го! — произнес он победно и рысцой побежал догонять остальных.

Муся и ее спутник, увязав мешок, поплелись вслед за ними. Бежать, казалось, было некуда: оккупанты, по-видимому, разбрелись уже по всему городу. И опять тяжелая апатия овладела Митрофаном Ильичом. Девушка почти тащила его.

Путь их лежал мимо городской публичной библиотеки. Пришлось сойти с тротуара на дорогу. Кто-то выбрасывал из окна охапки книг. Из разбитых окон городского музея, которым так гордились местные краеведы, слышались чужая песня, буханье все тех же тяжелых сапог, грохот, треск бьющегося стекла. Муся с ужасом оглядывалась кругом, но Митрофан Ильич, казалось, ничего этого не замечал. Он покорно тащил свою ношу и смотрел на всё пустыми, ничего не выражающими глазами.

— Когда читаешь в газетах, разве представляешь себе, как все это выглядит! — вымолвил он наконец.

Муся безжалостно торопила старика:

— Слышите, стреляют у вокзала! Там наши. Скорее, скорее!

Но путь к вокзалу был отрезан колонной вражеских танков. Тогда спутники решили пробраться на восточную окраину города, в тихое Заречье, где жил Митрофан Ильич. Там не было ни фабрик, ни заводов, ни богатых магазинов, ни складов. Вполне возможно, что немцев там еще нет. Можно будет в домике Митрофана Ильича переждать до темноты и ночью попытаться выбраться из города.

Они были уже недалеко от цели, когда на тихой улочке их задержал военный высокого роста, в черной, еще не виданной ими форме. В отличие от тех солдат, которых они уже встречали, он был щеголевато одет, чисто выбрит. Сапоги его блестели, лакированная каска сияла, и на ней сбоку были изображены две серебряные молнии. Над карманом тужурки, там, где у остальных был вышит распластаный орел, девушка заметила у него серебряный знак — череп и кости. Вместе с другим, одетым в такую же форму, он стоял на плитчатом тротуаре перед маленьким деревянным особнячком, где, как все в городе знали, жил заслуженный врач Абрам Исаакович Гольдштейн.

Последнее время говорили, что Гольдштейн тяжело заболел и что, может быть, ему больше уже не встать. Неужели это за ним пришли плечистые молодцы в черном, нетерпеливо посматривающие на окна, за которыми мирно покачиваются от ветра тюлевые шторы?

В доме раздался треск чего-то разбившегося, послышался чужой гортанный выкрик и топот ног. Дверь резного крыльца с грохотом распахнулась. На пороге появился массивный старик в одной ночной сорочке. Он удивленно смотрел вокруг беспомощными, близорукими глазами. Серые волосы кочьями торчали над просторным лбом. Только по этому лбу Муся и узнала знаменитого врача.

Стоя на крыльце, врач смотрел на улицу с выражением болезненного недоумения, смотрел и, должно быть, ничего не видел. Третий немец в черном, появившийся у старика за спиной, подмигнул двум, стоявшим на улице, поднял автомат и дал короткую очередь над самым его ухом. Врач рванулся, оступился и, перелетев через ступеньки, упал прямо на плиты тротуара. Военный, задержавший Мусю и Митрофана Ильича, в свою очередь поднял автомат, должно быть для того, чтоб тоже стрелнуть над ухом врача. Но девушка бросилась к немцу и схватила его за руку:

— Что вы делаете, негодяи? Это же доктор, врач!

Верзила в черном с высоты своего роста смотрел на маленькую миловидную девушку, не понимая, должно быть, чего она от него хочет. Врач, лежавший на асфальте, поднял широкое исцарапанное лицо, заплывшее багровым синяком. Крепко вцепившись в черное сукно мундира, девушка старалась припомнить немецкие фразы из тех, что учила в школе. Ах, как она в эту минуту ненавидела себя за то, что когда-то была невнимательна на уроках немецкого! Ей казалось, что от того, вспомнит она или нет необходимые слова, сумеет или нет объяснить этим дюжим молодчикам, кто он — тот, над кем они так издеваются, — зависит жизнь человека.

Оторопевший верзила пришел в себя. Он, все еще улыбаясь, старался оторвать от себя девушку, повисшую у него на руке. Но Муся уже вспомнила нужную и, как казалось ей, спасительную фразу:

— Вас махен зи! Дас ист дох айн доктор, гросс руссише доктор!

Детине в черном удалось наконец отбросить ее от себя. Муся отлетела в сторону на тротуар, но сейчас же вскочила на ноги. Все еще думая, что они не понимают, над кем издеваются, что она плохо или непонятно им об этом сказала, девушка опять бросилась к страшным немцам в черном:

— Он же людей лечит... Эр хейльт, я ди меншен!

— Эр ист юде, — хрипло отозвался верзила, ударив сапогом лежавшего на тротуаре старика.

Митрофан Ильич кинулся было поднимать несчастного, но второй гитлеровец, размахнувшись, стукнул его самого в подбородок так, что кассир опрокинулся навзничь на свой тяжелый мешок. Над ухом врача пророкотала новая очередь. Старик вскочил, обвел всех красными, ничего не видящими, обезумевшими глазами и бросился бежать. Третий фашист новой очередью преградил ему путь.

Муся беспомощно оглянулась вокруг. На углу перекрестка она заметила группу пожилых немецких солдат в обычной серо-зеленой, пыльной и потрепанной форме. Они тихо переговаривались между собой и, как показалось девушке, осуждающе смотрели на то, что происходило у особняка. Девушка бросилась к ним, прося остановить расправу. Солдаты, переглянувшись, торопливо пошли прочь, с опаской оглядываясь на немцев в черном. Муся не отставала от них, ловила их за руки.

— Эсэсман! — злобно, как ругательство, процедил сквозь зубы один из немцев, косясь на тех, кто с хохотом продолжал гонять по улице старого, больного человека.

Муся поняла: это эсэсовцы, о которых столько писалось в газетах. Подбежав к Митрофану Ильичу, она помогла ему подняться, и, не оглядываясь, оба они бросились прочь, стараясь как можно скорее уйти от страшного места, где все еще слышались выстрелы, улюлюканье, крики, свист.

То там, то тут на улице появлялись и тотчас же исчезали какие-то личности в штатском, все чаще попадались на тротуарах брошенные домашние вещи, уже изломанные и затоптанные. Вдоль улицы тянулся по асфальту белый дымчатый след. Кто-то прошел с мешком муки, не обращая внимания, что из дырки сыплется.

Митрофану Ильичу было страшно войти даже в собственный дом. Он постоял на крыльце, но не отпер дверь, а прошел через калитку в сад, мирно млевший от жары в спокойных лучах солнца, уже клонившегося к закату. Шагая прямо по овощам, Митрофан Ильич с трудом доплелся до солнечного уголка, где рос виноград «аринка», и без сил опустился на грядку. Муся бросилась на землю, уткнулась в нее лицом, всем телом прижалась к ней, точно ища у нее пристанища и защиты от того необычного, непонятного, страшного, что творилось вокруг.

Так молча просидели они, пока багровые нити опустившегося солнца не задрожали над нагретой за день землей.

— Муся, а ведь я действительно хотел остаться, — тихо вымолвил наконец Митрофан Ильич.

Девушка отозвалась не сразу. Но когда она привсталала, ее лицо, перепачканное в земле, горело сердитой, энергией:

— Скорее отсюда! Я не могу, я задыхаюсь... Меня тошнит...

Она передернула плечами. Ее тряс нервный озноб. Здесь, под ласковым солнцем летнего вечера, ей было холодно, как в погребу. Даже зубы стучали.

— Пошли, а? Ну чего, ну зачем ждать?

— Нельзя. Только когда стемнеет. Мы, Мусенька, не можем думать лишь о себе, — печально ответил Митрофан Ильич, которого теперь тоже одолевало желание немедленно бежать из города.

Оба с неприязнью покосились на бурый, грязный мешок, валявшийся в зелени, меж узловатых коленец винограда.

— Я думаю, всего лучше будет нам выйти на Звягинцево и пробираться на Большое урочище. Лесом придется идти: мы не имеем права подвергать ценности случайностям на дорогах. Да-да-да, не имеем права!

— Ах, все равно! Только скорее, скорее...

Тщательно схоронив мешок в густых, оплетенных паутиной зарослях малины, росшей вдоль забора, Митрофан Ильич позвал Мусю в дом. Пора было собираться. Он отыскал в чулане два емких охотничьих рюкзака и принялся укладываться с такой тщательностью, как будто не бежал он из занятого врагом города, а вместе с Чередниковым в очередной отпуск готовился идти на долгую рыбалку у дальних озер.

Муся не принимала участия в сборах. Она сидела у закрытого ставней окна. Нетерпение все больше одолевало ее. А старик, как нарочно, медлил, укладывая в мешок сверточки белья, зажигалку с бутылочкой бензина, солдатский котелок с крышкой-сковородкой, банки с солью, с чаем, рыболовные принадлежности и другие, как казалось, совершенно ненужные, лишние вещи.



Под конец, когда старик достал из сундука пропахший нафталином лыжный костюм и грубые туристские ботинки с шипами, хранившиеся, очевидно, с той поры, когда были юны его сыновья, и посоветовал девушке надеть все это в дорогу, а платье и туфли оставить, как лишний груз, Муся возмутилась:

— Напялить на себя это? Чтобы завтра явиться к своим как чучело? Вы что? — Она сердито потрясла перед носом Митрофана Ильича рыжими заскорузлыми ботинками: — Вы хотите, чтобы я эти уродища надела на ноги? Да? Чтобы надо мной все смеялись? Чтобы говорили, что Муська Волкова со страху с ума сошла?... Нет уж, извините-подвиньтесь! — И она сердито бросила ботинки в угол.

Старик чуть заметно улыбнулся и молча унес туристскую справу.

Недолго раздумывая девушка сунула в отведенный для нее весьма вместительный рюкзак содержимое своего узла: платье, туфли, две книжки со стихами, трубочку нот. Ценности они разделили и спрятали в обоих рюкзаках между другими вещами.

Потом Митрофан Ильич ушел переодеваться, и девушка слышала, как он возился в соседней комнате, кряхтел, вздыхал, что-то бормотал про себя. Оттуда он появился в старой ватной куртке, туго перехваченной ремнем, в суконных шароварах, заправленных в высокие мягкие кожаные сапоги — торбасы, в старой, выгоревшей широкополой шляпе. В этих охотничьих доспехах он выглядел прямее, подтянутой и моложе.

— Вот я и готов! — вздохнул он.

Но солнце еще светило. Низкие, косые лучи, просачиваясь в щели ставен, резали комнату на части. Сейчас, когда идти было еще нельзя, а делать стало уже нечего, наступили самые тягостные минуты. Митрофан Ильич сидел в старом глубоком кресле, в котором обычно, вернувшись с работы, любил подремать с газетой после обеда. Но он не развалился в привычной уютной позе, он сидел прямо и напряженно, как сидит на вокзале пассажир, с минуты на минуту ожидающий поезда. И происходило это не только потому, что одет он был по-дорожному, нет. В этом домике, где он жил, воспитывал детей, нянчил внуков, он чувствовал себя теперь уже не хозяином, даже не гостем, а случайно забредшим чужим человеком, которого каждую минуту могли вытолкнуть на улицу.

Дом был там, куда отошла армия, куда увезли банковское добро, где был Чередников.

Ловя настороженным ухом случайные звуки, доносившиеся из-за закрытых ставен, ожидая, что вот-вот сюда вломится какой-нибудь фашист, старик вспоминал о том, как в первые революционные годы Чередников, тогда еще молодой большевистский оратор, убедил на митинге горожан устроить бульвар на широкой базарной улице Жен Мироносиц, только что переименованной в проспект Карла Маркса.

Весь город собрался туда, где с незапамятных времен по воскресеньям и четвергам выстраивались крестьянские подводы. Люди снимали булыжный покров мостовой, разбивали газоны, сажали тополя, привезенные из архиерейского сада.

С любовью и ревностью следили они потом за результатом этого своего первого общественного дела, по утрам поливали молодые саженцы из леек, ведер и кувшинов, как будто это были не деревья на бульваре, а бальзамины или герань на их собственных окнах. Как чему-то своему, радовались первым веточкам, выброшенным деревцами, первой жидкой тени, положенной ими на зеленые скамьи молодого бульвара.

Бульвар... Что там бульвар! Вспомнил старый кассир залитый светом кабинет в клинике городского института физических методов лечения, себя, беспомощно лежащего на столе, врачей, которые в своих накрахмаленных халатах напоминали мраморные изваяния, и

львиную голову старого доктора. Привычными, искусными пальцами выстукивал он грудь больного. Казалось, он делает это нехотя и небрежно, но и сам больной и врачи, созванные на консилиум, внимательно следили за полными старческими руками и ждали приговора. Наконец, выпрямившись, доктор столкнул очки на просторный лоб. В близоруких глазах его загорелся лукавый смешок. Он одернул рубаху на груди Митрофана Ильича, легонько хлопнул больного по животу и сказал с ласковой сипотцой: «Он еще тонну карасей переловит, этот ваш Корецкий!» И показалось тогда Митрофану Ильичу, что все вокруг облегченно вздохнули, и доктор, о котором в городе шла давняя добрая слава, представился ему живым воплощением всемогущей советской науки...

И вот срублены тополя. Больной, старый врач в ночной сорочке мечется по улице, и какие-то существа в черном забавляются, гоняя его, как мальчишки собаку, Здание института, где он спасал жизнь сотням людей, горит, окутанное бурым клубящимся дымом. И некому и не для чего его тушить. Всюду хрустит под ногами битое стекло, на тротуарах валяются книги, масса полезных вещей, которые всего несколько часов назад были кому-то дороги и нужны... Какие-то странные тени шныряют в брошенных людьми квартирах и, точно крысы, бесшумно разбегаются при звуке шагов... И опять начинает казаться Корецкому, что все это страшный сон. Мучительно хочется проснуться и увидеть милый, привычный мир.

— Митрофан Ильич, вы читали Уэллса «Борьбу миров»?

Старик вздрогнул, точно рядом выстрелили. Муся повторила вопрос.

— Кажется, читал. А что?

— Эти вот, — она кивнула на окна, в сторону, где лежал город, — они похожи на марсиан из романа: всё разрушают, жгут, охотятся за людьми и, кажется, не понимают ничего человеческого.

— Да, да, пожалуй, — рассеянно отозвался Митрофан Ильич. — А я вот все думаю, как бы те марсиане, что машинку твою украли, не прочитали начало описи, оставшейся в ней. Ты ведь ее не вынула? Вот то-то! Прочтут, бросят нас искать...

— Ищи ветра в поле... — отозвалась Муся не очень уверенно.

— Тише!

С улицы слышались шаги. Это были обычные человеческие шаги, но Муся и Митрофан Ильич побледнели, замерли. Старик схватил завязанные рюкзаки, на цыпочках вынес их из комнаты, где-то спрятал. Когда он вернулся, лицо у него было болезненно настороженное.

А шаги приближались, четкие и неторопливые. И этот обычный житейский звук, на который утром никто не обратил бы внимания, казался теперь страшнее нарастающего визга падающей бомбы. Поравнявшись с окнами, шаги несколько замедлились. Или это только так показалось? Остановится или не остановится? Нет, удаляются, затихают...

Митрофан Ильич шумно вздыхает. С лица его капает пот.

— Пронесло! — шепчет Муся, прижимаясь лбом к прохладному стеклу.

В комнатах тихо сгущаются серые, душные сумерки.

— А ведь в этой стране родились и Маркс, и Бетховен, и Гёте, и Дизель. Боже мой, боже мой! — проговорил вдруг старик, тоскливо следя за тем, как на потолке постепенно меркнут оранжевые отсветы заката, пробивающиеся сквозь щели ставен.

— И Тельман и Роза Люксембург, — эхом отозвалась Муся.

Митрофан Ильич поднялся с кресла.

— Пора, — шепотом сказал он.

Крадучись, точно и взаправду боясь, что какое-то спрятавшееся во тьме чудовище может заметить и схватить его, обошел старик свое жилье, прощаясь со стенами, хранящими дорогие запахи.

На улице была уже ночь. Когда беглецы, быстро миновав пустынную улицу, сворачивали в переулок, старик вдруг охнул и остановился. Он вспомнил, что, уходя, не запер двери дома и даже, как ему казалось, оставил их открытыми. Митрофан Ильич рванулся было назад, но остановился, вынул из кармана ключи, поглядел на них, позвенел ими на ладони, горько усмехнулся и, размахнувшись пошире, бросил их через забор чужого огорода.

Хлестнув по лопухам и крапиве, ключи тупо брякнулись об землю.

— Чего вы там? — слышался из тьмы нетерпеливый шепот Муси.

— Так, пустяки, — ответил старик и, почувствовав облегчение, поправил лямки рюкзака и ускорил шаг.

4

В самый глухой час ночи, когда прохладный вязкий туман, поднявшийся из речных низин, плотной пеленой одел окрестности, двое путников тихо покинули город, багровевший в зареве разгоравшихся пожаров.

Впереди размашистым, спорым шагом, каким ходят охотники, геологи, лесники и иной странствующий люд, привыкший к длинным бездорожным маршрутам, шагал высокий сутулый старик в широкополой шляпе, надвинутой по самые уши. Он ступал пружинисто, мягко. Маленькая девушка в пестром шелковом платье, хотя и годилась своему спутнику во внучки, еле поспевала за ним. У каждого за спиной висел объемистый рюкзак, а девушка, сверх того, несла драповое пальто, перекинув его через руку.

Не дойдя до окраины, они пересекли булыжный большак и свернули в узенький темный переулок, потом перелезли через забор огородов и скрылись, точно растаяли, в белесом тумане.

Из тумана вышли они уже там, где обрывались городские огороды и начинался пологий подъем, поросший невысоким густым сосняком. Путники поднялись на взгорье и там, исчезнув в темной массе леса, остановились передохнуть.

В ясный день отсюда можно было хорошо видеть весь город, лежавший в широкой речной излучине. Теперь же за шевелящимся озером тумана, посеребренного магниевым светом луны, перед путниками простиралось густое зарево, обнимавшее полнеба. Точно живое, оно медленно ворочалось, вздрагивало и дышало, подсвечивая малиновыми подпалинами высоко проползавшие облака. На фоне зарева черным по красному, четко и плоско, как на старинной гравюре, вырисовывались контуры городских крыш, высоких колоколен, заводских труб. Элеватор горел, светясь всеми своими окнами, выбрасывая в небо вихри оранжевых искр.

Путники долго смотрели на эту зловещую картину. Потом старик резко повернулся, взял девушку за руку и молча потянул за собой в лес. Она пошла, но вдруг, вырвав руку, еще раз

оглянулась на город и простонала:

— Ведь они ж, эти... там... в наших домах, по нашим улицам ходят...

Старик не ответил. Он шел впереди, не оборачиваясь, ничего не говоря. Крупные слезы одна за другой бежали по его лицу, катились по желобкам морщин, по судорожно съежившемуся подбородку.

Старожил этих мест, страстный рыболов и неутомимый грибник, Митрофан Ильич уверенно вел свою спутницу лесной просекой, по которой зимой заготовщики вывозили к большаку дрова и бревна.

Девушка начала отставать. Сразу же, как только, перемахнув плетень, они пошли по огородным грядкам, она убедилась, что ее изящные лаковые лодочки — предмет зависти подруг — совершенно не годны для пеших маршей. Муся сбросила их и, осторожно ступая, пошла в чулках. Идти почти босиком по мягкой, увлажненной росой огородной земле, по прохладной траве вспотевшего луга было даже приятно. Но как только, войдя в лес, они ступили на колкий ковер сосновой хвои, девушка горько пожалела, что отказалась от спортивных башмаков.

Теперь, боясь потерять из виду спутника, напряженно следя за стальным кольцом его рюкзака, тускло посверкивавшим во тьме и как бы служившим ей маленьким маяком, она не могла смотреть под ноги. То и дело она наступала на сухие, ошетилившиеся сосновые шишки, на острые сучья, больно стучалась пальцами об узловатые корни и пеньки. Боль была так остра, что щекотало небо во рту. Приходилось все время напрягаться, чтобы не вскрикнуть. А тут еще это дурацкое пальто, которое приходится нести на руке, этот тяжелый рюкзак...

С трудом удерживая накупавшие в груди слезы, девушка понемногу возненавидела и пальто, и мешок, и, главное, спутника. Хорошо ему в своих мягких охотничьих сапогах! Шагает, как по асфальту. Что ему до того, что она еле бредет, до ее страданий!

Ноги у девушки тяжелели, наливаясь точно ртутью. Ступни саднило, сбитые о корни пальцы мучительно горели. Но не такова Муська Волкова, чтобы кому-то кланяться, умолять идти тише, просить об отдыхе... Этого старая кочерыжка от нее не дождется. Девушка стискивала зубы, чтобы невзначай не застонать или не вскрикнуть, и, вся напрягаясь, спешила за спутником. Нет, уж она не отстанет, верьте слову!

Только раз, когда они пересекли поляну, на которой, точно хлопья ваты, белели пушки каких-то болотных цветов, Муся нагнулась, чтобы обмотать чулками горящие ступни. Но и тут она не запросила пощады и бегом нагнала спутника. А тот все шел и шел ровным, неторопливым шагом, шел молча и хоть бы раз оглянулся, хоть поинтересовался, идет ли она, не потерялась ли в этом страшном лесу, сыром и темном, как подвал.

Уже не было в словаре девушки ни одного бранного слова, каким бы она не наделила этого «черствого эгоиста», которого судьба послала ей в спутники. Он вот идет и, наверное, усмехается, ждет, когда она запросит остановки. Нет, уж извините! Не выйдет! Как он от нее ни убегай, она не отстанет, и жалобы от нее он тоже не услышит. Нет! Зато уж на стоянке она с ним поговорит... Пусть тогда хлопает глазами... «Ах, скорее бы уж отдых, что ли!..»

Но Муся ошибалась. Митрофан Ильич не был ни черствым, ни жестоким человеком. Просто вид горящего города, открывшийся перед ним с лесистого взгорья, так ошеломил его, что он шел теперь точно оглушенный, ничего не видя и не слыша, машинально следуя по знакомой тропке.

Эх, как хорошо было раньше, теплым вечером под выходной, с удочкой в руках, с

поллитровкой, аппетитно побулькивавшей в рюкзаке среди переметов, жерлиц, насадок, банок с червями, идти вот этой пустынной лесной дорогой, идти, предвкушая радости ловли на заре у подернутой волокнистым туманом реки, среди сочной росистой травы, которая так здорово пахнет по утрам!

Да, было время! Ведь как жилось! Еще совсем недавно, весной этого года, на первый голавлиный лов вел Митрофан Ильич вот по этой тропе внука Вовку. Мальчик был легок на ногу, не отставал от деда. Шли и мечтали, как будут летом ловить под берегом раков петлей на тухлое мясо, как осенью пойдут по грибы-боровики на орсовские деланки... Мечтали... А теперь вот он, старый человек, крадется по знакомой тропе, как зверь, озираясь, прислушиваясь к шорохам. Сыновья где-то воют. Живы ли они? Внуки летят куда-то на восток, как сорванные с веток осенние листья, гонимые холодной бурей. В родном доме, наверное, уже шныряют эти страшные бесшумные тени, роются в сундуках, ворошат гардеробы, разбивают улы, мнут, вытаптывают лозы винограда «аринка», в которые вложено столько труда, любви и надежд.

Митрофан Ильич горько вздыхал. И как это раньше он не ценил всего, что его окружало! Нет, «не ценил» — не те слова! Ценил, конечно, но ко всем благам, какие ему дала советская власть, он за четверть века так привык, что они казались ему обыкновенными, думалось, что иначе не может быть. И вот теперь, когда родной город горит, когда по улицам его ходят фашисты и привычный порядок нарушен, Митрофан Ильич, может быть впервые, по-настоящему осознал, как велико все созданное за годы советской власти, куда вложена и его посильная доля, как дорога ему эта жизнь, проходившая в непрерывном борении с трудностями, дорога вся, со светом и тенями, со всеми своими недостатками, дорога так, что иной жизнью просто и жить не стоит...

Весь погруженный в невеселые думы, Митрофан Ильич совершенно забыл о своей спутнице. Багровое зарево, долго просвечивавшее сквозь темные вершины сосен, давно уже исчезло. Лес редел. Впереди в прогалинах меж деревьев уже посверкивал звездами край неба. Ощутительно потянуло речной прохладой. Только тут, у места, намеченного им для первого привала, старик вспомнил о Мусе, вспомнил и весь сжался от тревоги, жалости и стыда.

Нет, девушка не отстала! Она шла за ним, но как только он остановился и обернулся, тотчас же остановилась и она, явно не желая к нему приближаться.

— Идешь? Слава богу, а я испугался: думал, отстала... Ну ничего, вот и дошли.

Муся молчала.

— Устала, да?

— Уйдите, — отозвалась наконец она слабым голосом.

— Дай твой рюкзак... ну хоть пальто дай.

— Оставьте меня, видеть вас не могу... Куда идти? Туда, что ли?

Опередив спутника, девушка первой подошла к островерхим шалашам, крытым еловым лапником и бурыми пластами коры. Она присела возле одного из них, но снять рюкзак у нее не хватило силы. Бросив пальто прямо на влажную, курящуюся туманом траву, она навзничь опрокинулась на свою ношу и застыла, наслаждаясь блаженным покоем. Когда Митрофан Ильич наклонился над ней, она уже спала.

Старик расстегнул ремни мешка, подложил его под голову спутнице. Не просыпаясь, Муся поерзала, ища удобную позу, подсунула под щеку ладошку, свернулась калачиком, зябко подобрал босые ноги, обмотанные обрывками мокрых чулок. Митрофан Ильич набросил на

спящую свою куртку и, поеживаясь от сырой прохлады, пошел к ближайшему из шалашей.

Он перетряхнул старую солому, устроил изголовье из жухлого прошлогоднего сена, застелил все это байковым одеялом, отыскавшимся в недрах его мешка. Затем старик бережно отвел сонную девушку в шалаш. Укрывая спутницу курткой, он заметил, что маленькие, мокрые от росы ноги девушки все исколоты, исцарапаны, кровь сочится из-под сбитых ногтей. Ему стало жутко: даже не пикнула, даже не окликнула его, не попросила остановиться.

Старик почувствовал, что к жалости, которую до сих пор внушала ему эта девушка, почти девочка, оставшаяся бездомной, начинает примешиваться уважение к гордому, волевому товарищу.

Митрофан Ильич устроился на перетертой соломе в соседнем шалаше и долго наблюдал в незакрытый ходок, как, мерцая, дрожат в бархатном глубоком небе острые, колючие звезды; наблюдал и думал о неожиданных качествах, какие открылись сегодня в Мусе Волковой, о том, как мы, в сущности, мало знаем окружающих, и о том, что по-настоящему человек познается только в серьезных испытаниях.

5

Митрофан Ильич и его сослуживцы, как это часто бывает в обычной жизни, действительно ошибались в оценке характера маленькой машинистки. Вздорной Муся прослыла главным образом за то, что, печатая грамотнее и быстрее других, терпеть не могла мелочной опеки и нудных наставлений, какими сотрудники постарше и поответственной любили сопровождать передачу работы в машинописное бюро. Муся отлично знала, что и как ей надо делать, и бесцеремонно прерывала ненужные поучения. Слава же о ее легкомыслии пошла потому, что девушка не скрывала своего равнодушия к банковскому делу и наотрез отказалась посещать курсы и семинары по повышению и приобретению финансово-счетной специальности, где занималась вся учрежденческая молодежь.

Нет, работа в банке не прельщала Мусю Волкову. У нее была в жизни своя мечта, и она стремилась к ней упорно, настойчиво, не отступая ни перед какими трудностями.

С детства, с той самой бездумной поры, когда мать водила еще ее в детский сад, Муся свыклась с мыслью, что может добиться в жизни всего, чего пожелает, стоит ей только этого как следует захотеть. Способная и волевая, с живым, быстрым, восприимчивым умом, она без особых усилий отлично училась. Однажды заметив, что на уроках физкультуры она отстает от своих одноклассниц, она стала тренироваться с таким упорством, что к концу года добилась первого места в школе по конькам, а летом стала капитаном волейбольной команды девушек.

Но настоящее призвание открылось Мусе Волковой позже, когда ее, уже ученицу седьмого класса, обладавшую приятным, звучным голосом и успешно солировавшую в школьном хоре, выдвинули для участия в городском смотре художественной самодеятельности. Со свойственной ей настойчивостью Муся начала готовиться к выступлению. Она выбрала два романса на пушкинские тексты: «Зимний вечер» и «Я помню чудное мгновенье». Эти вещи особенно полюбились ей с тех пор, как со школьной экскурсией побывала она в селе Михайловском, побродила в старом парке, под теми самыми липами, где мимолетным видением явилась к опальному поэту воспетая им красавица. Осторожно присаживаясь на скамью, на которой сживал и Пушкин, благоговейно ступая по скрипучим половицам домика няни, по которым ходил поэт, выглядывая в окошко, откуда и он смотрел на зеленую долину реки и отороченные осокой озера, Муся чувствовала, как торжественно бьется у нее сердце и

холодные мурашки покалывают спину. Долго еще после этой экскурсии в памяти девочки жила нежная, задумчивая песня о старенькой обитательнице крохотного домика, делившей одиночество молодого изгнанника, и страстные его строки, обращенные к заезжей гостье, заставившей зазвучать лучшие струны поэтической души.

Когда позднее в Доме пионеров Муся разучивала романсы и когда затем пела их у освещенной рампы, со страхом смотря вниз, в таинственную полутьму зала, где неясно обозначались обращенные к ней лица, ее охватывало то же торжественное волнение, какое она испытала в прохладной полутьме старой липовой аллеи и в маленьком домике под слоистым шатром огромного клена. На областной олимпиаде она пела так непосредственно и столько в ее звонком неокрепшем голосе было настоящей нежности и тепла, что когда она кончила, таинственная полутьма зала мгновение молчала, а потом взорвалась аплодисментами. Это было столь неожиданно, что маленькая певица испугалась, убежала и так хорошо спряталась среди пыльных декораций, что руководители олимпиады не сумели ее отыскать, чтобы заставить раскланяться перед публикой.

Жюри единодушно отобрало Мусю для выступления в столице. Школьница должна была дебютировать в Театре народного творчества в числе лучших солистов из художественной самодеятельности области в общей программе, названной «Сказ льноводов и ткачей».

Столичные зрители встретили девочку с еще большим радушием. Программа была обширная, и ей предстояло спеть только «Зимний вечер». Но зал так долго, так настойчиво рукоплескал, с таким упорством вызывал ее, что Муся, тряхнув кудрявым чубом и сияя глазами, сама объявила вдруг, что споет «Я помню чудное мгновенье». Окрыленная успехом, чувствуя, что там, в таинственной тьме зала, тысячи неизвестных ей друзей ждут и волнуются за нее, девочка смело начала трудный романс и пела его в радостном полусне, совсем позабыв о наставлениях учительницы. Аккомпанемент доносился до нее откуда-то издалека, но образы, вынесенные из старого, запущенного парка, все время маячили перед ней. Допев, она глянула в притихший зал глазами, сверкавшими от слез, и, не дождавшись волнующего шума, бросилась за кулисы.

Тут, в уголке театральной уборной, где, прижав холодные ладони к пылающим щекам, девочка переживала свой успех, и нашла ее знаменитая московская певица. Притянув к себе девочку, она крепко поцеловала ее, как мать, взволнованная первым успехом дочери. Муся давно уже любила глубокий и чистый голос этой певицы. Она сразу узнала, кто к ней пришел, так как не раз видела на снимках в журналах это красивое, ясное, истинно русское лицо, эту гордую голову с целым каскадом густых русых кудрей, спадающих на плечи. И вот эта женщина, всегда рисовавшаяся Мусе существом исключительным и недостижимым, стояла рядом с нею, в притихшей толпе участников самодеятельного концерта, и голосом, глубоким и мелодичным, как звук утренней кукушки, ласково и взволнованно говорила:

— Тебе учиться надо, девочка, ты можешь стать большой артисткой. Непременно учишься!

Растерявшись, Муся позабыла даже поблагодарить за внимание. Она только схватила большую мягкую руку певицы, притиснула ее к своей груди и прошептала:

— Я буду, буду учиться! Я обещаю вам...

Артистка улыбнулась, со светлой и нежной грустью сказала непонятное: «Как хорошо быть юной, товарищи!» — и, поклонившись всем величественно и приветливо, ушла, точно растаяла в беспорядочном нагромождении раскрашенных полотнищ, пыльных бутафорских вещей и декораций, от которых густо несло столярным клеем.

Так родилась у Муси мечта. Так появился в ее жизни идеал, к которому с того дня она стремилась всеми силами настойчивой, упрямой души. Она забросила спорт, перестала ходить в кино, чтение перенесла на ночь. Все свободное от уроков время она отныне

проводила в певческой комнате Дома пионеров, до одурения, до радужных кругов в глазах разучивая упражнения.

Только отличная память помогла ей успешно закончить семь классов. И когда она вернулась с последнего экзамена, у нее возникло первое серьезное недоразумение с родителями. Мусин отец, которому бедность семьи не позволила в свое время доучиться даже до последнего класса церковноприходской школы, способный командир-самоучка гражданской войны, офицерское училище кончал уже с седыми висками. Всю жизнь он тяготился недостатком образования и мечтал, что его дети по меньшей мере закончат среднюю школу. Муся же заявила, что кончать среднюю школу не станет, и, не добившись разрешения родителей, сама отнесла свои документы в городское музыкальное училище.

Отец был оскорблен таким своеволием дочери, и несколько дней он даже не разговаривал с нею. Когда вскоре его перевели командовать полком на Дальний Восток, Муся, учившаяся тогда уже на третьем курсе и мечтавшая о поступлении в консерваторию, узнав, что на новом месте ни музыкального училища, ни консерватории нет, заявила, что она с родителями не поедет. Ни уговоры, ни упреки, ни даже угрозы отца, любившего старшую дочь больше всех детей, ни упрашивания и слезы матери не сломили упорства. Семья уехала, а Муся осталась. Не желая материально зависеть от отца, с которым она считала себя в ссоре, девушка изучила машинопись и, перейдя на вечернюю учебу, поступила на службу в городское отделение Госбанка.

Она тосковала по родным, писала матери пространные письма, но с училищем не расставалась. Учителя и товарищи, наблюдавшие, как развивается ее голос, сулили девушке большое будущее.

Время от времени знакомая певица выступала по радио. Пение ее, долетавшее из далекой Москвы, звучало для девушки как дружеское напоминание, поддерживало в минуту усталости, когда иной раз становилось тяжело работать и трудно учиться.

И со всей самонадеянностью молодости, со всей страстью восемнадцатилетней души Муся верила, что это ее желание сбудется, сбудется потому, что она очень этого хочет, и потому, что в ее чудесной стране нет недоступных высот для смелых, трудолюбивых и упорных.

6

Проснувшись со смутным ощущением чего-то неправдоподобно страшного, не то приснившегося, не то случившегося на самом деле, Муся Волкова не сразу поняла, где она и как попала в этот незнакомый шалаш. Старое и тоже незнакомое ей ватное полупальто, которым она была заботливо укутана, источало жилой, уютный запах.

В треугольнике шалашного хода виднелось прозрачное мягко-голубое небо; умытые утренней росой березки медленно покачивали длинными расчесанными космами; под ними шелковисто искрилась на солнце седая от росы трава. Было прохладно. Волосы, платье девушки, куртка, которой она была накрыта, были влажны. Муся озябла. Но воздух был так прозрачен и чист, так аппетитно пахло травой, хвоей, землей и водой, что в сердце невольно проникла радость этого свежего утра. Все ужасы вчерашнего дня, зрелище горящего города, ночное бегство, странствование по лесу, темному и сырому, как погреб, отчаяние, бессилие, боль — все это отступило, заслонило.

Взгляд девушки упал на старые, прочные туристские башмаки на толстых подошвах с большими бульдожьими носами. Чинно, парочкой они стояли возле. И сразу жгучая боль в



исцарапанных, исколотых ногах напомнила о себе. Стараясь не шуметь, Муся высвободила руку из-под куртки и потрогала ботинки. Как вчера, шагая по корням и шишкам, она жалела, что так глупо отбросила их! Откуда же они взялись здесь? Мелькнула догадка: Митрофан Ильич! Это он, должно быть, и отвел ее, сонную, в шалаш, его куртка укрывает ее, его рука заботливо сунула в каждый ботинок по чистенькой портянке. Ай да Митрофан Ильич! Чудный, в сущности, старикан, зря она на него вчера сердилась.

Почувствовав прилив энергии, Муся вскочила так, что даже легонько ударилась головой о верхнюю жердь, потянулась до хруста в суставах, стряхнула с себя хвою, соринки, аккуратно сложила куртку, оправила смятое платье, прибрала волосы и, тщательно обув исколотые ноги, вылезла на волю.

Солнечные лучи, розовыми искрящимися снопами пробивавшиеся меж древесных стволов, ударили ей в глаза. Ярким светом заливали они влажную седоватую луговину, остро посверкивали в крупных каплях росы, прятанной в зеленых горсточках листьев. На площадке перед шалашами горел невысокий жаркий костер. Закоптелый, выдавший виды котелок висел над ним на обожженных козелках. Голубоватый, подернутый серым пеплом жар источал аппетитный запах печеной картошки.

Возле костра спиной к Мусе сидел Митрофан Ильич. Весь понурившийся, устало опустив плечи, он молча следил за тем, как, потрескивая, подвывая, бледное жаркое пламя со свистом пожирает сушняк и хвою. Рядом со стариком лежали оба рюкзака. Под ногой девушки хрустнул сучок. Старик вздрогнул и схватился за мешки, точно хотел их прикрыть своим телом.

— Ты?... Я испугался, — сказал он с облегчением и боязливо оглянулся кругом. — Долго сны смотришь, голубушка. Пора. Почайпием вот скоренько, да и в путь.

Заметив на ногах у девушки злополучные ботинки, он усмехнулся уголком губ:

— И правильно, дорога не близкая. Чу! Канонада-то уж еле слышна.

Под свежим утренним ветерком мелодично звенели вершины сосен; шелестели осинки, встряхивая жесткой листвой; тихо журчали, стелясь по ветру, длинные космы плакучих берез. Где-то очень далеко задумчиво куковала кукушка. Но никакой канонады Муся не услышала. Только раз между двумя порывами ветра до ее ушей прорвался сквозь лесные звуки едва различимый раскатистый гул, будто где-то вдалеке шел по мосту поезд. Неужели это и есть гром пушек?

— В тихую погоду канонада слышна верст за двадцать, понимаешь? — Митрофан Ильич вздохнул. Бледное лицо его, густо покрытое неопрятной седой щетиной, было озабоченно и печально. — Ну, ничего, догоним... И еще вот что: учись хозяйничать в лесу. Пригодится.

Пока они пили из складных охотничьих алюминиевых стаканчиков чай, припахивающий дымком, пока с аппетитом уничтожали печеную, с ароматной, чуть подгоревшей коркой картошку, обильно сдабривая ее крупной солью, Митрофан Ильич изложил свой план выхода с оккупированной территории.

Судя по тому, как далеко продвинулся за ночь фронт, врагу удалось, по-видимому, совершить где-то большой танковый прорыв. Спутники за одни сутки оказались, таким образом, в тылу немецкой армии. Теперь они должны были как можно быстрее двигаться на восток, вслед за отходящими войсками, идти лесами, болотами, глухими проселками, целиной, избегая большаков и проезжих дорог, обходя населенные пункты, уклоняясь от встреч с людьми.

Этот план показался Мусе неверным в самой своей основе: «Избегать большаков — ну, это правильно: по большакам наступает вражеская армия. Но обходить стороной деревни и всю

дорогу идти одним — с какой стати! Вот новость! Прятаться от своих?...»

Митрофан Ильич с неудовольствием посмотрел на спутницу:

— Ну как ты не понимаешь простой вещи! Одним, именно одним идти, абсолютно одним. И никуда не заходить, да! Конечно, труднее, но что сделаешь? Ведь с нами такие ценности! Я как вспомню, что этот фашист стоял рядом с мешком, чуть сапогом его не касался, — у меня волосы на затылке шевелятся...

Муся даже на ноги вскочила от досады:

— Хорошенькое дело! Мы должны поскорее своих догнать, вот это я знаю... Чтобы из-за какого-то золота я стала терять столько времени? Очень нужно!

Старик тоже вскочил:

— Именно, именно очень нужно! Наш долг — донести, сохранить все до последней золотинки. Мы не имеем права... слышишь, не смеем допускать ни одного процента риска!

И тут, на первом привале, между ними возник спор, сразу же обнаруживший глубокое расхождение во взглядах на сокровища.

Митрофан Ильич готов был, если потребует, сложить голову, но пронести в целостности и сохранности это очутившееся у них в руках государственное добро. Муся же искренне недоумевала: для чего, спасая драгоценности, они должны заведомо удлинять и затруднять свой путь, чураться людей, идти какими-то звериными тропами, рисковать жизнью?

— Из-за золота блуждать по лесам! Вот чепуха, вот чушь! — возмущалась девушка.

Конечно, и она не оставила бы врагу драгоценную ношу. Но теперь, когда сокровища благополучно унесены из оккупированного фашистами города, их можно отлично закопать здесь, в лесу, в глухом месте, и, освободившись, налегке пробираться к своим. Прогонят оккупантов, кончится война, тогда можно будет откопать все это и сдать куда следует. Просто и никакой возни. Через два-три дня они догонят Советскую Армию, перейдут фронт. Все это казалось девушке ясным и непреложным, и она совершенно искренне не понимала, почему ее проект, такой деловой и, как ей кажется, разумный, вызывает у спутника гнев и даже ужас.

Так они и не доспорили. Но Корецкий, испугавшись опасного легкомыслия девушки, потребовал, чтобы она немедленно вернула ту часть ценностей, какую несла. Муся, презрительно дернув плечом, сказала: «Пожалуйста», — и с преувеличенным старанием принялась собирать ромашки и дикую гвоздику. Сердито косясь на нее, Митрофан Ильич расстелил на траве одеяло и принялся пересыпать все в прежнюю, пропитанную мазутом торбу.

Глухо позвякивая, остро искрясь драгоценными камнями и сверкая полированными гранями, хлынули сокровища. У старого кассира занялся дух. Как бы стал богат, какое бы могущество, какой почет для себя и своих наследников обрел бы человек капиталистического мира среди себе подобных, получи он хоть часть того, что сыплется сейчас на дно грязного брезентового мешка!

Фашисты! Да они ничего не пожалеют для того, чтобы овладеть драгоценностями. Стоит им прочесть недоконченную опись, оставленную в валике похищенной машинки, и они, наверное, пошлют погоню по всем дорогам, перебьют и замучают много людей, лишь бы найти сокровища. Нет, дудки-с! Ничего вам, господа, из этого не получить. Все будет доставлено законному хозяину. Это золото еще против вас повоюет. И как еще повоюет! А эта вздорная девчонка возится с цветами, плетет какой-то дурацкий венок — и горя ей мало. Закопать в

землю и идти налегке! Каково! И это сейчас, когда в тылу даже консервные банки собирают... «Нет, нету у этих молодых уважения к ценностям. Слишком беззаботно жили, легко им все давалось! Скажите на милость: «закопать и уйти!»! Поразительное, возмутительное легкомыслие!»

Сердась и негодуя, Митрофан Ильич завязал и с трудом взвалил на спину изрядно потяжелевший рюкзак. Но Муся насильно сорвала у него с плеч ляжки. «Честь» нести золото она, конечно, ему уступает. Пусть тащит его он сам, если оно ему так дорого и любо. Но остальной груз — по-товарищески пополам.

Ловко орудуя в мешках, девушка быстро переложила к себе всю хозяйственную поклажу: котелок, мешок круп, хлеб, соль, белье и рыболовные снасти. Роясь в вещах спутника, она наткнулась на туго свернутый фланелевый костюм, тот самый, от которого она вчера отказалась. Снова теплая волна поднялась в ее душе. Муся покосилась на Корецкого, безучастно сидевшего в стороне, и, ничего ему не сказав, оставила костюм на дне его мешка. «Нет, он положительно хороший старикан! Только вот помешался на этом золоте и еще шляпу носит уж очень смешно — так, что похож в ней на старый гриб подберезовик».

Девушка прикинула груз. Теперь рюкзаки весили почти одинаково. Но у Митрофана Ильича мешок был маленький, плотный, удобный, а Мусин разбух и топорщился, как верблюжий горб. Девушка быстро его развязала, вынула платья, что были похуже, и забросила их в кусты. Подумала, вспомнила о теплом и удобном для пути фланелевом костюме и закинула туда же пальто.

— Вот и своего добра не жалеешь. Легко вы жили, все на лету хватать привыкли, — проворчал Митрофан Ильич.

— А чего жалеть? В войну все равно наряжаться некогда, а победим — заработаю, лучше, красивее куплю. А то ведь и фасоны устареют, — бездумно ответила девушка, взваливая на плечи полегчавший рюкзак.

— Как это у тебя легко — «победим»? Сколько для этого воевать придется, сколько народу погибнет... Ты об этом подумала?

Муся пожала плечами.

Когда тропинка, уводившая их на восток, стала поворачивать, девушка оглянулась. На темной зелени черемухового куста синело драповое пальто. На какое-то мгновение Мусе стало жалко расставаться с ним. Оно было почти новое, хорошо сшито и так к ней шло. Но как его тяжело таскать! Муся вздохнула, подумала: «Есть о чем печалиться! Города горят, заводы гибнут, люди жизнь отдают за родину... Что значит какое-то пальто! Зато как легко идти-то!» И, упрямо тряхнув головой, она направилась за спутником.

До полудня шли они молча травянистой тропой, пробитой по берегу рыбаками и сборщиками ивового корья. Лесное озеро, лежавшее в зеленой чаще некрутых берегов, тихо шелестело сухими сабельками прибрежных камышей, легонько покачивало красноватые листья водяных лилий и золотые купавы, с зеркальной точностью отражало в голубоватой воде и сизые зубцы далекого леса, и седоватые кудри прибрежных лозин, и пышные позолоченные облака, торопливо спешившие в небесной голубизне.

В грубоватых крепких башмаках идти было гораздо легче, и все же девушка едва поспевала за стариком. Он шел впереди крупным, неторопливым шагом, длинный, тощий. Движения его были размеренны, даже медлительны, но Муся, хотя все время и нажимала, иногда даже переходя на рысцу, все же едва поспевала за ним.

Митрофан Ильич теперь то и дело оглядывался, спрашивал у девушки, не утомилась ли она,

не надо ли присесть. Муся сердилась — садиться не к чему, ничуть она не устала! — сердилась, а сама все старалась разгадать: почему он так легко ходит, почему нисколечко не устает?

В полуденный час, когда солнце, забравшись на вершину неба, точно остановилось, чтобы полюбоваться на себя в озерном зеркале, и вода заискрилась так ослепительно, что стало на нее больно смотреть, Митрофан Ильич резко повернул от берега и стал углубляться в лес.

— Тут начинается болото. Хочешь не хочешь, выбирайся на дорогу, на гать. Другого пути летом нету, — пояснил он, останавливаясь и поправляя лямки рюкзака. — Будем надеяться, либо фашисты тут не были, стороной прошли, либо уже миновали эти места.

Он прислушался. Пронзительно верещали кузнечики, в тени лозняка тонко звенели комары, туго всплескивала на озере рыба.

По лесу пошли осторожно. Через каждый десяток шагов Митрофан Ильич останавливался, вытягивал шею, слушал. Разомлевший от жары лес был полон веселого птичьего щебета. Медленно покачивали перистыми листьями папоротники, густо покрывавшие замшелую землю. Белки возились в вершинах сосен, и с тихим шелестом падала, задевая ветви, шелуха растерзанных ими шишек. Но откуда-то спереди доносилась жадная сорочья колготня. Эти резкие звуки невольно настораживали. Да еще не нравились старику два огромных ворона, полого виражировавшие в небесной голубизне.

— Подожди здесь. В случае чего, хватай мешок, беги к озеру и прячься, — предупредил Митрофан Ильич и, сняв рюкзак, добавил, переходя на шепот: — Не по душе мне что-то этот сорочий митинг... Слышишь?

Оставив девушку, старик тихо скрылся в лесу. Он двигался тем шагом, каким опытные охотники подходят к тетеревиным токовищам. Сделает на цыпочках несколько пружинистых прыжков, остановится, замрет, послушает и бросается в следующую перебежку. Муся застыла, прислонившись к дереву. Истая горожанка, она ничего не ведала о птичьих повадках. Но резкий, злобный и жадный крик сорок и эти мрачные круги, которые безмолвно вычерчивали над лесом большие черные птицы, действовали на нее угнетающе. Услышав хруст ветки, девушка вздрогнула и припала к стволу сосны. Нет, это возвращался Митрофан Ильич. Он был грустен и как-то торжественен. Шляпу он нес в руке, и ветер шевелил его седые волосы.

— Ну? — шепотом спросила Муся.

— Нет, нас победить нельзя!.. Никто и никогда нас не победит, запомни это, — тоже шепотом ответил он.

Взвалил на плечи рюкзак и, не надевая шляпы, пошел на звуки сорочьей колготни. У выхода на опушку старик обернулся и многозначительно произнес:

— Тут был бой... Понимаешь, тут такое...

Девушка рванулась сквозь кусты и, вскрикнув, застыла на месте. Перед ней, совсем рядом, стоял небольшой обезглавленный танк. Башня его, отнесенная силой взрыва, валялась поодаль, уткнув длинный нос пушки в землю. В развороченном зеве люка виднелось какое-то месиво из костей, крови и обрывков материи того самого темно-зеленого цвета, который со вчерашнего дня казался Мусе цветом страшного несчастья, что надвинулось на страну с запада.

Но не на этот мертвый, обезглавленный танк, не на эти лохмотья смотрела девушка. Вдали открывалась небольшая высотка. На песчаном холме вкривь и вкось лежали стройные

медноствольные сосны, поваленные, расщепленные и иссеченные какой-то, как казалось, стихийной силой. И там, в путанице изодранных стволов, обрубленных ветвей, на красноватом, еще не высохшем песке, темнело несколько человеческих фигур в гимнастерках родного защитного цвета. Они лежали неподвижно, в странных, неестественных позах: кто — уткнувшись лицом в песок, кто — на спине, разбросав руки, кто — привалившись к брустверу полузасыпанного окопа.

Военный человек, оглядевшись, сразу понял бы, что произошло возле этого лесистого холма, господствовавшего над окружающей местностью и как бы запиравшего выезд на гать. Судя по не успевшей еще завянуть хвое, бой здесь отгремел совсем недавно. По гати — единственному пути через болото — отходили части Советской Армии. Артиллерийский дивизион получил, по-видимому, приказ окопаться на холме и задержать танковые авангарды противника. Позиция была выбрана превосходная. С вершины высоты, поросшей сосняком, открывался широкий вид на просторные колхозные поля, обрамленные по горизонту сизыми зубцами леса, на дороге, вьющуюся по пологим холмам в зыбкой желтизне доспевавших нив. Артиллеристы выкопали на самом взлобке неглубокие подковообразные дворики для пушек и сами зарылись в песок, а ниже, в чаще соснового подлеска, на солнечной полянке, заросшей богородицьиной травой да тем, что ребятишки зовут «заячьей капустой», успели даже отрыть ложные позиции.

Судя по всему, это были опытные, хладнокровные воины, и сражались они искусно, с выдержкой и упорством.

Несколько танков и тяжелых дизельных бронетранспортеров, сгоревших на дороге у самого подножия холма, молча свидетельствовали, что замаскировавшийся дивизион начал неравный бой внезапным ударом с самой близкой дистанции. Схватка была, по-видимому, затяжная. Откатившись после первых залпов дивизиона под прикрытие крутого оврага, пересекавшего поле с севера на юг, вражеские бронечасты переформировались и, выбросив вперед сильный танковый кулак, начали атаку высоты по всем правилам военного искусства. Всюду, куда достигал глаз, просторные нивы были исполосованы парными следами гусениц, исклеваны разрывами, черневшими в желтизне помятых хлебов. Спеша пробиться на гать, танки шли в атаку излюбленным немецким строем — углом вперед, вычерчивая зигзаги, с ходу засыпая высоту снарядами.

Артиллеристы отвечали расчетливо и точно. Много искромсанных, обгорелых железных коробок, похожих на вылущенные панцири вареных раков, виднелось во ржи то там, то тут. Теперь уже тихие и не страшные, эти машины с крестами, с драконами, с рысьими мордами, с пиковыми тузами, намалеванными на броне, громоздились по бровке извилистого оврага, темнели в кустарнике лесной опушки, теснились по дороге, наседая одна на другую, точно играли в какую-то жуткую чехарду. К сытному запаху разогретых солнцем хлебов, к терпкому аромату сосновой смолы ощутительно примешивались душная бензиновая вонь, тяжелый смрад горелой краски и пережженного машинного масла.

И все это сделала горстка советских солдат, окопавшихся со своими пушками в тени лесистого холма. Но дорогой ценой расплатились артиллеристы за то, что дали своим частям возможность оторваться от врага, висевшего у них на плечах. Песчаная высота была начисто оскальпирована. Среди поверженных сосен, у разбитых, изувеченных пушек лежали защитники высоты с наскоро перебинтованными окровавленной марлей головами, с черными от пороховой гари руками и лицами, в изодранных гимнастерках, белевших солью на спине и подмышками, бурых и жестких от засохшей крови.

Муся и Митрофан Ильич медленно поднимались по откосу, стараясь услышать хоть какой-нибудь человеческий звук, хоть стон, хоть вздох. Но только сороки зловеще поскрипывали в кустах, отчаянно стрекотали на солнце кузнечики да трещали краснокрылые кобылки, выпархивая из-под самых ног.

На вершине холма, в неглубоком окопчике за большим сосновым выворотнем, сидел, согнувшись, худенький, остролицый юноша без каски, с тремя кубиками на черных петлицах. Правый рукав его гимнастерки был изодран и пуст. Левая, словно вылепленная из воска рука опустилась на зеленый ящик полевого телефона. Плечом он прижимал к уху переговорную трубку. Каска валялась у ног. Тут, на наблюдательном пункте, у телефона, по которому он, по-видимому уже без руки, истекая кровью, продолжал направлять удары пушек, и нашла его последняя пуля. Но и смерть не свалила командира на землю. Он так и застыл в углу окопчика, с биноклем на шее, с телефонной трубкой у уха, склонясь над картой прицелов. Деятельное, озабоченное выражение навек запечатлелось на его лице, пестром от крупных зеленоватых веснушек. Ветер шевелил прямые жесткие волосы. Казалось, юноша этот просто задумался, решая трудную боевую задачу, но сейчас вот решит ее, пружинисто вскочит на ноги, озабоченно посмотрит в бинокль, крутанет ручку аппарата и передаст команду: ориентир такой-то, прицел такой-то — огонь!

Митрофан Ильич и Муся остановились над телом старшего лейтенанта. Оба они даже приблизительно не знали военного дела и не могли, конечно, разобраться в сути неравного боя, происшедшего здесь, у въезда на гать. Но простое, зримое и понятное даже и неискушенному глазу соотношение потерь, самые позы, в которых полегли защитники высоты, — все поражало эпическим величием.

Старик тяжело опустился на колени и благоговейно поцеловал широкий чистый лоб артиллериста. Потом он встал, строгий и торжественный:

— Разве таких победишь? Убить можно, а победить — нет. Нам с тобой, Муся, урок... Ох, какой урок! — Обведя рукой оскальпированную высоту, он добавил: — Запомни это...

Сердито кашлянув, Митрофан Ильич надвинул шляпу на самые уши и быстро пошел, почти побежал с холма к гати, подступы к которой были истолчены ногами, колесами и гусеницами. Муся пошла было за ним, но спохватилась, нарвала белых и розовых бессмертников, вернулась к окопу и положила цветы на колени артиллеристу. Первый раз в жизни видела она так близко мертвого. И она с изумлением убедилась, что смерть может быть не менее величественной, чем жизнь.

Своего спутника девушка догнала уже на гати. Он размашисто шагал по гнилым, поросшим болотной травой бревнам, почавкивавшим под его ногами. Старик не обернулся и только вздохнул.

У девушки перед глазами стояли пестрое от веснушек лицо и рыжеватая прядь, которую легонько пошевеливал ветер. Говорить не хотелось.

Весь день, до самого заката, прошли они, погруженные каждый в свою думу. Не говорили о виденном и еще несколько дней пути. Но однажды, когда они в сумерках остановились на ночлег в глуши елового леса, у маленькой речки, тихо курившей реденьким туманом, Митрофан Ильич, бросив на поляне охапку сушняка, собранного для костра, вдруг подумал вслух:

— Что из того, что фашист далеко зашел! Пришел — и уйдет, если останется кому уходить... С такими людьми... — Он, вздохнув, посмотрел на закат, туда, где далеко позади осталась высота. — С таким народом любого врага победим!

И Муся, которая в эту минуту мыла у речки молодую картошку, быстро вращая ее в котелке, сразу поняла, о ком он говорит.

— А вы помните, какое у него было лицо? — отозвалась она из-под берега.

Митрофан Ильич зажег спичку, дал ей разгореться в сложенных ковшичком ладонях,

неторопливо поднес к белым кудрям бересты, подсунутым под сосновые ветки. Легонько вспыхнув, береста стала завиваться, потрескивая, как сало на сковородке.

— Вот как долг-то перед Родиной выполняют! Дай бог нам с тобой выполнить его так же!

Всё пуще скручиваясь, с треском и воем разгоралась береста. Фиолетовые язычки пламени танцевали между сухими ветками. Костер вспыхнул со всех сторон и, запылав весело и бойко, осветил строгое, задумчивое лицо старика.

Где-то совсем рядом, за речкой, однообразно, настойчиво кричал перепел. Тонко звенели комары. Вода чуть слышно обсасывала травянистые берега. Из теплой влажной тьмы Муся с любопытством посматривала на спутника.

«А у него есть чему поучиться! Ходит-то как, а костры как разжигает... И о жизни мысли хорошие. Вот тебе и «канцелярская промокашка», вот тебе и «арифмометр с бородкой»!..»

7

Заснула Муся в тот вечер моментально, едва успев улечься на душистой постели из еловых лапок, которые на этот раз она нарубил сама и для себя и для спутника.

А Митрофана Ильича опять одолевала бессонница. Чтобы огонь или запах дыма не привлек кого-нибудь к их ночлегу, он раскидал костер, тщательно залил водой головешки, затоптал угли. Собрал сушняку на завтра. С песком вымыл закоптелый котелок. Потом улёгся на спине, закинув руки за голову, и задумался.

Как хорошо было раньше в такую теплую зеленоватую летнюю ночь, мягко мерцающую звездами-светляками, тихо курящуюся живыми волоконцами прозрачного тумана, лежать вот так в душистой траве, на земле, медленно отдающей дневное тепло! Какой величественный покой разлит в этот час в природе, каким богатырским сном спят лес, и луг, и речка, подернутая туманом! Как радостно было человеку, уставшему за неделю работы, приобщиться в такую теплую ночь к отдыху самой природы, подслушать шорохи сонного леса, вдохнуть ароматы цветущих трав, усиленные росистой прохладой!

Та же летняя ночь, то же тихое мерцание зеленоватого прозрачного неба, тот же волокнистый туман стелется над лугом, так же тянет с реки холодной, душистой влагой, но нет ни покоя, ни радости. В лягушечьем гомоне слышится что-то тревожное,стораживающее. Выпь плачет, как мать над потерянным сыном. В сладком запахе медуницы, доносимом ветерком из-под берега, чудится примесь тления. И даже в однообразных перепелиных криках, которые с детства понимались как «спать пора», слышится теперь: «Иди гляди! Иди гляди!»

Что же случилось? Ведь здесь врагов даже и не было, они прошли стороной. Война обтекла эти лесные чащи. Но летняя ночь не несет ни радости, ни покоя, слух настрожен, нервы натянуты. Митрофан Ильич нетерпеливо посматривает за речку — не видно ли там желтой полоски рассвета, скоро ли можно трогаться в путь. Ох, скорей бы уж утро, что ли!

В заводи туго плеснула большая рыба. Кряхтя, охая совсем уж по-стариковски, Митрофан Ильич поднялся со своего душистого ложа, сделал из сучка и бересты факел, зажег его, спустился к воде. Он поймал рукой несколько пестрых пескариков, дремавших в камнях на небольшом перекате. Этими рыбками он наживил крючки и поставил две жерлицы в заводи, у тенистого омутка, который заметил еще с вечера. Хорошая щука будет не лишней при их

быстро иссякающих запасах.

Проследив за ажурными кругами, расходившимися по тихой воде, старик собрался было уже снова попробовать уснуть, но тут взгляд его упал на какую-то вещицу, золотисто сверкавшую на самой тропинке. Митрофан Ильич так испугался, что рубашка у него на лопатках сразу стала влажной. Неужели мешок лопнул и это выпало из него, когда они вечером здесь проходили?

Митрофан Ильич бросился на колени, дрожащей рукой схватил сверкающий предмет. Это была раковина речной жемчужницы. Должно быть, сорока выудила и вылущила ее, и хотя на ладони лежала всего только перламутровая створка моллюска, сердце у старика продолжало тревожно биться. Ведь они же приняли ценности просто на вес, взвешивали впопыхах и, конечно, неточно. Что-нибудь может затеряться, а возможно, и затерялось, когда они перекладывали вещи из мешка в мешок. И этого не учтешь, потому что все принято без описи. Даже самого грубого списка до сих пор не составлено.

Как же это он, опытный банковский работник, так оплошал? Все спешка, спешка... И еще эта девчонка, у которой ветер в голове и которая относится к ценностям, как к картошке. Впрочем, нет, к картошке она относится бережно. Вон как она сегодня пересчитывала ее по штукам, прикидывая, на сколько дней хватит им запасов. И несет она картошку без препирательств, без воркотни... Удивительная чудачка!

«Нет, все это нужно исправить, исправить сейчас же! Но как? — раздумывал он, все еще держа в руках раковину. — Попробуй заактируй, когда нет ни чернил, ни клочка бумаги. На бересте, что ли, прикажете писать, по примеру древних? Можно бы было, конечно, и на бересте, да разве упишешь! Ведь сколько его, золота-то, и разных вещиц... Полотно рубахи? Это мысль... Но какой же это, должно быть, адский труд — писать на полотне! Сколько суток на то уйдет... Да, задача!»

Небо на востоке уже светлело, зазолотили верхушки сосен, но непроснувшийся лес был еще полон лилового утреннего тумана, когда Митрофану Ильичу пришла в голову спасительная мысль: а «почетные грамоты»! Ну да, именно «почетные грамоты», «листы ударника», горсоветские аттестаты, все эти памятки долгой и честной трудовой жизни, которые он взял с собой. Их ведь много, их будет достаточно, чтобы мелко переписать на обратной чистой стороне документов все, что им сдали железнодорожники.

Старик вскочил. Умылся в реке, курившейся розоватым парком, вытерся подолом рубашки, довольно крикнул, почувствовав прилив сил. За дело! Грамоты были в мешке, лежавшем у Муси вместо подушки. Он осторожно приподнял голову девушки, извлек трубку бумаг. Муся не проснулась. Она только почмокала по-детски губами и, подтянув колени почти к подбородку, поплотнее свернулась калачиком.

«Отлично, пусть себе спит подольше! По крайней мере, никто не будет жужжать над ухом». Старик укрыл девушку с головой одеялом, а сам пристроился к толстому, ровно спиленному пню, разложил на нем бумагу, извлек из кармана гимнастерки старомодное пенсне, посадил его на нос и опытной рукой принялся графить бумагу. Эту простую канцелярскую работу он делал с тем радостным подъемом, с каким художник, надолго отрывавшийся от своего мольберта, снова берется за кисть. Даже руки у него чуть-чуть дрожали, когда он чернильным карандашом выводил ровным почерком знакомые и чрезвычайно ему симпатичные теперь слова: «Инвентарная опись ценностей, принятых 2 июля 1941 года городским отделением Госбанка от граждан Иннокентьева Е. Ф. и Черного М. О., подлежащих сдаче в первую же контору Госбанка СССР на не оккупированной территории». Дальше привычной рукой он выводил название граф: «Номер по порядку», «Что принято», «Особые приметы», «Примечание». Пересадив пенсне с переносицы пониже на нос, он начал опись, постепенно перекладывая вещи из одной кучки в другую.



Он работал, как и всегда, старательно, быстро и четко, совершенно позабыв, что сидит не в конторе банка, а под утренним розовеющим небом у пня с янтарно блестящими годовыми кольцами. Никогда еще он так не наслаждался самим процессом привычной работы, как сейчас, когда был оторван от нее кто знает на сколько времени, может быть навсегда. Лишь изредка он останавливался, отрывался от аккуратно заполненных граф, чтобы распрямить онемевшую спину да похрустеть суставами пальцев. Это было у него признаком довольства. Ах, как работалось ему в это утро! Даже показывая почтительно покашливавшим колхозным садоводам свой виноград «аринка», он не испытывал такого удовольствия, как в эти часы, сгибаясь в неудобной позе у пня над графами, строго выведенными на бумаге...

Муся, разбуженная жарким солнечным лучом, увидела такую картину: невдалеке, без гимнастерки, в подтяжках, прищипнув кончик носа «чеховским» пенсне, Митрофан Ильич сидел перед пнем и, наклонив голову набок, старательно писал. На лице у него было то сосредоточенное, деловое выражение, какое у него привыкли видеть в банке. На фоне щедро умытого росой леса все это выглядело так странно, что девушка не удержалась и приснула со смеху.

Старик пересадил пенсне на переносицу, с неудовольствием посмотрел на проснувшуюся спутницу, мученически вздохнул и продолжал работать.

Перед ним на аккуратно расстеленном пальто горками лежали драгоценности. По ходу описи он перекладывал их из одной горки в другую.

— Доброе утро! Может быть, я чем-нибудь могу вам помочь? — спросила Муся, с трудом сгоняя с лица улыбку.

— Можешь. Молчи и не мешай, — буркнул старик, не отрываясь от бумаг. Он выпрямился, потянулся так, что хрустнули суставы, победно пощелкал костяшками пальцев и добавил: — Ты знаешь, мне просто страшно стало, когда я рассмотрел все это тут, в спокойной обстановке... Здесь есть такие камни... редчайшие... Колоссальной ценности, чудовищной...

И все-таки Муся не сумела удержать насмешливую улыбку. «Опять за свое! Кто о чем, а цыган о солонине», как говаривал в таких случаях Мусин отец. Правильно, она даже приблизительно не представляет себе, сколько все это может стоить. Не знает и не желает знать. В книгах она, конечно, читала о могуществе золота, но никогда над этим не задумывалась, резонно считая, что роковая сила благородного металла, о которой столько написано историками, писателями и поэтами минувших веков, в нашей стране — такая же отвергнутая, устаревшая и даже странная легенда, как сказка о «голубой царской крови», о «божьей мощи» и других столь же плохо укладываемых в голове вещах.

Всего раз в жизни у Муси была золотая вещица, и, может быть, она-то и подорвала окончательно в глазах девушки древний авторитет благородного металла. Это был старинный золотой перстенок с голубым глазком бирюзы. Когда Муся, при всех своих спортивных и вокальных увлечениях, все же отлично окончила седьмой класс, мать достала этот перстенок со дна комода и торжественно преподнесла ей. При этом она сказала, что это свадебный подарок отца и вообще ценность. Девушка разочарованно повертела в руках перстенок, но, уловив на лице матери тревожно-ревнивое выражение, принялась шумно восторгаться и горячо благодарить за подарок. Перстенок ей не понравился. Он казался тяжелым, неуклюжим. Чтобы не обидеть мать, она по праздникам надевала его дома, но, выйдя на улицу, снимала и прятала в карман. Ей было стыдно носить на руке эту старомодную вещицу.

Да, мрачная сила богатства была ей непонятна и чужда. Но вещи, лежавшие перед Митрофаном Ильичом, когда она разглядела их в лучах утреннего солнца, ей понравились. Они были такие красивые, так славно сверкали на ватной подкладке старого пальто. Камни

переливались, жалили ей глаза острыми разноцветными огоньками. Мусе вдруг подумалось о том, что ей, наверное, очень пойдут все эти безделушки, и она вдруг захотела их примерить. Иронически усмехаясь, она выбрала в одной из кучек большую, осыпанную крупными бриллиантами диадему и с чисто женским инстинктом ловко приладила это незнакомое ей украшение на своих по-мальчишески подстриженных русых волосах, вьющихся мягкими кольцами. Митрофан Ильич, искоса глянув на нее, усмехнулся:

— Золушка... Только помни, откуда берешь... Не перепутай.

«Бедная, бездомная девочка! — думалось ему. — Все бросила. Ни хлеба, ни крова. А сколько еще предстоит перенести! Пусть немножко потешится. Может, и ценность вещей поймет, не будет так легкомысленно относиться к этому грузу».

— И осторожней, упаси бог посеешь что-нибудь в траве!

Муся ловко украсила браслетами свои тонкие, уже обожженные загаром руки, надела на высокую, стройную шею сверкающее кольцо из бриллиантовых звезд разной величины, скрепленных в цепочку, прицепила к платью изумрудную брошь в виде дубовой веточки с желудем из прекрасного александрита, вспыхнувшего на солнце тревожным, мрачным зеленоватым огнем. Выбрала было и серьги — две виноградные грозди, сделанные из крупных розоватых, радужно мерцающих жемчужин, — но, повертев, бросила их обратно. Уши у нее не были приспособлены к тому, чтобы носить это варварское украшение.

Сверкая драгоценностями, Муся подбоченилась и, охорашиваясь, задорно косясь на своего спутника, вдруг тихонько запела:

...У нашей ли дочки новая сорочка

Узорами шита,

А на белой шее золото монисто,

Золото монисто...

Старый кассир, снова было взявшийся за дело, удивленно оглянулся. Он пересадил пенсне на переносицу, и брови его полезли на лоб:

— Ого! Вон ты какая!

Муся озорно тряхнула кудрями, и самоцветы ударили в глаза старику снопами разноцветных лучей.

— А какая, какая, ну?

Муся чувствовала, что в этом убранстве она должна нравиться всем, всем. Вот бы взглянуть сейчас в зеркало, как это делала сумасбродная Оксана в опере! Эх, беда, где его возьмешь, зеркало!

— Ну, какая же, говорите!

— Ну, такая... — Митрофан Ильич пощелкал пальцами, — такая... ну ничего... необыкновенная.

— Стойте! — радостно крикнула Муся.

Быстро просеменив босыми ногами по росистой траве, она пересекла лужок и скрылась под откосом. И уже где-то на реке ее свежий, чистый, как у жаворонка, голос вывел:

Говорят же люди, будто хороша я,

Как ясная зорька, как белая лебедь,

Будто в целом свете нет такой дивчины...

Эту славу про меня пустили недобрые люди.

«Ишь, распелась! Да у нее же талант, и какой талант! — подумал Митрофан Ильич. Но тут ему представилось увиденное ночью: что-то золотое тускло мерцает в траве. — Сумасшедшая, куда же она убежала? Она же все растеряет!»

Старик торопливо прижал камешком свои бумаги, чтобы ветер не унес их, прикрыл сокровища полой пальто и бросился к берегу.

Речка здесь делала крутой поворот и за перекастом образовывала тишайшую заводь, обрамленную сочной зеленой осокой. С точностью отражались в ней в опрокинутом виде и серые кудри прибрежных ольх, оплетенных хмелем, и дальше сосны, высоко возносившие свои стройные янтарные стволы.

Коса мелкого серебристого песка тянулась от берега к середине заводи, точно ножом разрезая ее. По этой косе Муся вбежала в темную торфяную воду. Серебристые мальки, как живые иголки, бесстрашно засновали возле ее ног. По воде, как посуху, толчками двигались паучки-водомерки, а возле самой девушки жучки-вертушки принялись вычерчивать сложные восьмерки, сверкая на солнце вороненой сталью своих спинок.

Муся наклонилась. В темной глади воды, на фоне отраженного лазоревого неба, она увидела себя такой, что можно было подумать, будто русалка, сверкая волшебными драгоценностями, смотрит на нее из глубины реки большими серыми лучистыми глазами. Вся проникаясь колдовской поэзией летнего утра, следя за тем, как, лоснясь на солнце синими целлофановыми крылышками, играют в камышах две стрекозы, девушка уже громче и уверенней продолжала любимую арию:

Нет, нет, нет, нет, люди правду говорят!

У кого такие очи, у кого такие косы?

Очи мои — звезды, косы мои — змеи, черные, густые...

Она пела, лукаво посматривая снизу на Митрофана Ильича.

Старик стоял на берегу, удивленно смотря на Мусю. Уже не первый год знал он ее, и всегда казалась она ему самой обыкновенной, а тут... И куда смотрели банковские женихи! А голос! Не гляди сейчас на нее собственными глазами, Корецкий нипочем и не поверил бы, что поет та задиристая девчонка, которую сослуживцы звали «Репей». Сердце Митрофана Ильича наполнилось отеческой гордостью: эта в жизни добьется своего! Лишь бы пробиться через

фронт, попасть в родную среду.

Браслеты тонко звякнули на руке Муси. Мысль, что какая-нибудь из драгоценностей может упасть или даже уже упала в воду, испугала старика. Взмахнув руками, он бросился к заводи:

— Сумасшедшая, сейчас же вылезай! Утопишь что-нибудь... Немедленно вылезай, слышишь?

— Хороша, а? — поинтересовалась Муся, снова и снова склоняясь к своему отражению.

И в самом деле, курносая русалочка, в ореоле сверкающих камней смотревшая на нее со дна реки, была так хороша, что трудно было отвести от нее взгляд.

— Иди на берег, ветреная девчонка! — кричал Митрофан Ильич и уже лез в воду в своих охотничьих торбасах.

Муся расхохоталась. Смех ее раскатился по реке, отдался от стены сосен.

— Вы знаете, на кого вы похожи? Вы похожи на клушку, которая вывела утят. Утята поплыли, а она бегаёт по берегу, хлопает крыльями и ужасно кудахчет.

— Господи, можно ли быть такой легкомысленной! Ты что-нибудь уронишь... Сейчас же вылезай!

— Ну и подумаешь, ну и уроню! Кому они нужны, эти безделушки, когда война идет!

Девушке вдруг вспомнились виденная на днях высотка, старший лейтенант, застывший с телефонной трубкой, прижатой плечом к уху, и все вокруг как-то сразу потускнело, померкло. Мусе стало стыдно за все эти пустяковины, которые она на себя напялила, за свое пение, за веселых, озорных бесенят, разбуженных в ней прозрачной свежестью летнего утра.

Она быстро вышла из воды, сердито сорвала с себя драгоценности, небрежно бросила их обратно и, чтобы искупить вину, которой она не понимала, но чувствовала, с особым усердием занялась хозяйством.

На жерлицу поймались два увесистых щуренка. Девушка вытащила, очистила их, сварила уху и даже «накрыла стол», расстелив на траве чистое полотенце. Горячие куски рыбы были положены вместо тарелок на листья лопуха.

Между тем Митрофан Ильич заканчивал опись. Он пронумеровал листы, в конце каждого написал: «Старший кассир» и «Сотрудница банка». Потом торжественно и старательно вывел свою фамилию с витиеватым росчерком внизу. Мусе тоже было предложено расписаться. Покорно вздохнув, она поставила, где следовало, по небрежной закорючке, мимоходом заметив при этом, что не напрасно кое-кого в банке именовали «канцелярской промокашкой».

Довольный успешным завершением дела, старик пропустил это замечание мимо ушей.

С удовольствием хлебая из котелка жирную, со знанием дела приготовленную, чуть-чуть припахивающую дымком уху, он снова попытался втолковать спутнице значение того, что им предстояло совершить. Он заговорил о проклятой роли благородного металла в человеческой истории, о том, как в капиталистическом мире из-за горсти золота брат убивал брата, сын — отца, как молодые женщины продавали себя за богатство старикам, как за обладание сокровищами разгорались кровавые войны. Он приводил примеры из литературы и даже отважился пропеть дребезжащим тенорком: «Люди гибнут за металл, люди гибнут за металл».

Муся сосредоточенно ела уху. Старику начало казаться, что наконец-то и она проникается уважением к миссии, выпавшей на их долю. Обсасывая щучью голову, он стал убеждать девушку еще усерднее. В разговоре замелькали имена Островского и Гоголя, Бальзака и Лондона.

— Вы знаете, на кого вы походили сегодня там, у пня, среди всех этих своих сокровищ? — невинно спросила Муся, ловко выбирая косточки из щучьего бока.

— На кого именно? — осведомился Митрофан Ильич, у которого уже иссякал поток литературных примеров.

— На Скупого рыцаря, верьте слову. Помните? «Я царствую!.. Какой волшебный блеск! Послушна мне, сильна моя держава; в ней счастье, в ней честь моя и слава!» Ну очень, очень похожи!

Митрофан Ильич вскочил и, размахивая щучьей головой перед самым Мусиным носом, закричал с плаксивыми нотками в голосе:

— И пусть! Да, и пусть! Правильно, я дрожу за каждую золотинку, за каждый камешек. И мне не стыдно, нет-с, слышишь ты, девчонка!.. не стыдно, потому что я дрожу не за свое, личное богатство, а за общественную собственность... Скупой рыцарь? Отлично, пусть... Да понимаешь ли ты, с кем сравниваешь меня!

— Что вы мне в нос рыбой тычете? Подумаешь, загадка века — Скупой рыцарь! Чего тут понимать? Он просто псих был, этот ваш классический скупердяй... Ну скажите, разве нормальный человек, имеющий такие деньги, станет корку глотать и ходить в рваных штанах? Что, скажете — не так?

Митрофан Ильич мученически вздохнул и безнадежно отмахнулся.

— И руками махать нечего. Я вот все думаю: сами-то вы с этим золотом, грешным делом, немножечко не того?...

Девушка многозначительно повертела пальцем перед своим высоким упрямым лбом.

8

С этого дня Митрофан Ильич больше уже не пытался убеждать свою спутницу. Он сам покорно тащил драгоценный груз и резко отвергал все попытки девушки помочь ему в этом.

Ложась спать, он клал мешок под голову, предварительно намотав на руку его лямки. Спал он чутко, по-охотничьи говоря — «вполглаза». Каждый шорох заставлял его вздрагивать, настороженно поднимать голову. Он не доверял теперь ни лесной глуши, ни покою летних ночей, ни безлюдью этих заповедных урочищ, которые пока были обойдены войной.

И сны у него стали странные, тревожные, все об одном и том же. То снились вражеский офицерик и усатый переводчик, оба мохнатые, зеленые, неестественно плоские, точно вырезанные из картона. Наведя на него револьверы, они, пятясь, уносили заветный рюкзак. Митрофан Ильич рвался за ними, хотел догнать, отнять у них сокровища, но не мог сдвинуться с места — ноги крепко прилипали к земле... То какой-то огромный, дикого вида человек выходил из-за куста, заступал дорогу и кричал: «Отдай золото!» А Муся стояла рядом и, как фарфоровая китайская кукла, согласно кивала головой: да, отдай, отдай, отдай!.. А раз привиделось даже, что мешок, лежавший под головой, стал погружаться в землю.

Опускался, опускался, исчез, а на месте его появился серый камень-валун, и камень этот никак нельзя было ни сдвинуть, ни подкопать.

Митрофан Ильич просыпался весь в поту, с тяжело бьющимся сердцем. Он хватался за изголовье и с облегчением убеждался, что рюкзак цел. Но чувство тревоги не проходило и отгоняло сон. Так и лежал старик с открытыми глазами, следя за тихим мерцанием крупных звезд, слушая тягучий звон сосновых вершин, нервно вздрагивая от неясных шорохов ночного леса. А спутница его, уже приноровившаяся к лесной жизни, спала крепким молодым сном.

Так иной раз, не сомкнув век, лежал и думал старик, пока ночная тьма в лесу не начинала редеть, пока стволы деревьев не выступали из нее, а их вершины не загорались розовым светом. Лежал и, словно медленно перелистывая страницы старого семейного альбома с выгоревшими, пожелтевшими фотографиями, перебирал в памяти полузабытые эпизоды своей собственной жизни.

Что ж, начни он сначала — может, прожил бы и лучше, меньше бы ошибок совершил, больше пользы принес людям. И все же, как там строго ни меряй, жизнь прошла неплохо, честно, и даже, пожалуй, сам товарищ Чередников не может его ни в чем упрекнуть. Вот только одно неладно: напоследок смалодушествовал, хотел оторваться от своих, чтобы умереть в родных краях.

Родные края! Разве это только то место, где ты родился и вырос? Его домик под липками, где прожито столько лет, где поднялись дети и росли внуки, его сад, где спеет виноград «аринка», в который вложено столько труда и мечтаний, — разве они не сделались сейчас для него более чужими и неприятными, чем зал ожидания на каком-нибудь незнакомом полустанке? Да, прожито вот уж шестьдесят лет, и только на шестьдесят первом по-настоящему понятно, что родной дом, родной край — там, где свои люди, свои, советские порядки.

Да, ошибся, и как ошибся! Но сейчас эту свою ошибку он искупает, спасая государственные ценности. Может быть, это и станет его вкладом в общее дело борьбы с врагом.

Но и этот вывод не успокаивал. Наоборот, от таких мыслей у Митрофана Ильича усиливалась тревога, росло нетерпение. Так чего же тут валяться? Идти! Скорее идти! Он вскакивал, умывался, если был рядом ручей или лесной ключ, а если не было — проводил руками по росистой траве и влажными ладонями освежал лицо. Разводил костер, варил кашу, жарил рыбу, которая всегда в изобилии попадалась на искусно поставленные им жерлицы или переметы. С питанием они не бедствовали. Картошку копали на дальних участках колхозных полей, местами клиньями врезавшихся в лес. На осиротевших, забурьяненных, вытоптаных нивах срезали колосья ржи, сушили и вытрушивали зерна себе для каши. Митрофан Ильич, чрезвычайно щепетильный в вопросах собственности, не видел в этом ничего зазорного. Армия отошла, и они, как люди, спасавшие общественное добро, находившиеся, таким образом, на государственной службе, считали себя наследниками оставленных богатств.

Так шли они день за днем, шли медленно, сторонясь даже проселочных дорог, обходя жилые места, уклоняясь от встреч с людьми. Старик оказался в этом походе неоценимым спутником. Уже давно миновали они границы своего озерного района, который он с удочками или с кошелкой для грибов исходил вдоль и поперек. Теперь путь их лежал по незнакомой местности, через леса и болота, через луговые пустоши дремучих урочищ. И хотя часто шли они вовсе без дорог и карты не имели, он ни разу не заблудился, не сбился с направления.

Компас, захваченный Митрофаном Ильичом из дому, они где-то потеряли, перекладывая вещи. Но старик отлично умел определяться по солнцу, а в ненастный день — по мху, росшему на старых деревьях, по тому, в какую сторону были обращены венчики цветов, по

утолщению годовых колец на пнях, по десяткам других признаков, известных грибникам, охотникам и рыбакам. По цвету вечерней зари, по ветерку на закате он безошибочно угадывал, какая предстоит ночь, и знал, надо ли искать для ночлега укромное место, строить шалаш или можно будет спать под открытым небом. По зеленым звездочкам борового мха, по тому, раскрыт или закрыт зев его коричневых молоточков, по этому тончайшему барометру природы угадывал он погоду на будущее и с утра безошибочно определял, нужно одеваться в путь полегче или потеплее.

За дни скитаний лицо и шею Митрофана Ильича покрыл тяжелый фиолетовый загар, лишь половина лба остаялась белой под полями шляпы. Отросшие усы слились с бородой, закурчавились. Он уже совсем не походил теперь на щеголеватого банковского служащего былых времен и больше смахивал на колхозного деда из бойких, из тех, каких назначают в пасечники или в инспекторы по качеству, выбирают в президиумы и посылают к школьникам рассказывать о старине.

Но еще более разительные перемены произошли в Мусе. Шелковое платье давно уже лежало на дне рюкзака, и она шла в фланелевом лыжном костюме, самый вид которого когда-то вызвал у нее возмущение. Девушка свыклась с лесной жизнью, переняла секрет неторопливого и спорого охотничьего шага и уже без особого напряжения попевала за своим спутником. Встреть сейчас Мусю Волкову какой-нибудь сослуживец или однокурсник по музыкальному училищу, он просто не узнал бы ее. Лицо, руки, шею девушки точно покрыли густой коричневой ореховой моренкой. Чуб ее, выгорев на солнце, выделялся в кипе русых волос, как прядь льняного волокна. Выцветшие ресницы на загорелом лице казались еще длиннее. Девушка походила теперь на складного, ловкого мальчишку, только мальчишка этот смотрел на мир слишком уж пристально и с лица его не сходило не свойственное подросткам выражение тревожной грусти.

Даже характер у девушки стал меняться. Она могла пройти весь день, не сказав ни слова, погруженная в свои мысли.

9

А идти было все труднее. Лето все круче поворачивало на осень. Ночи удлинялись, становились темнее, прохладнее. По утрам выпадали такие обильные росы, что на заре девушке приходилось чуть ли не выжимать волосы. А тут еще серенькие обложные дожди, шелестевшие иной раз по целым суткам. Идти под дождем не жарко. Но лесная почва быстро пропитывалась влагой, раскисала, и ноги вязли в ней. Сырая одежда стесняла движения.

Затяжная непогода, увеличившая тяготы путешествия, заставляла путников, как о высшем блаженстве, мечтать о ночлеге под крышей, о возможности хоть раз по-настоящему обсушиться, помыться в бане, заснуть без верхней одежды. Но когда девушка, заметив, что тропка, по которой они идут, становится более протоптанной, или слышав далекий крик петуха, уловив до предела обострившимся в лесу обонянием дымок человеческого жилья, предлагала хоть на денек завернуть в деревню, Митрофан Ильич приходил в ужас: в деревню — никогда! Там же оккупанты! А если их и нет, вдруг среди жителей найдется фашистский прихвостень, который донесет в ближайшую комендатуру, или просто стяжатель, охотник до чужого добра? Нет, нет, о жилье даже и думать нужно бросить.

Муся с досадой перебивала старика, обзывала его Кащеем Бессмертным, Скупым рыцарем, Плюшкиным, Шейлоком, Гобсеком — словом, именами всех скупцов, известных ей из литературы. Он стоически переносил насмешки и был непоколебим.

Как-то раз, отдыхая на привале в стороне от лесной дороги, спутники услышали вдали шум движения. Митрофан Ильич торопливо раскидал костер, затоптал головешки. Скрывшись в кустах и спрятав мешок, они стали наблюдать. К удивлению их, шли не военные. Это издали можно было определить по темной одежде идущих и по тому, что двигались они не вытянутыми цепями, а густой толпой. Может быть, фашисты? Путники затаились в кустах. Толпа приблизилась, и тогда наблюдавших удивил малый рост этих людей.

— Это же ремесленники, слово даю! — прошептала наконец Муся, рассмотрев светлые пуговицы на черных гимнастерках.

Да, она не ошиблась: шли ученики какого-то ремесленного училища. С мешочками за плечами, они устало тянулись по дороге. Впереди шагал маленький, смуглый, вихрастый паренек в одних трусах и форменной фуражке. Свою одежду, связанную в узел, он нес наперевес с заплечным мешком. Чуть отстав от толпы, двое под руки вели третьего, должно быть больного или обессилевшего. Позади всех двигались носилки.

Путники в скорбном молчании следили за этой ребячьей толпой, пока носилки, заключавшие шествие, не скрылись за поворотом дороги.

— А ведь совсем ребяташки, им в игрушки играть, — прошептал наконец Митрофан Ильич.

— Какие молодцы! — восхищенно отозвалась девушка, всем сердцем устремляясь за этой скрывшейся в лесу дружной семьей маленьких стойких людей.

С тех пор картина бредущих лесом ремесленников не выходила у девушки из ума. Когда ей трудно было идти и к концу дневного перехода она едва волочила ослабевшие ноги, ей вспоминалась эта прочно сцементированная дружбой стайка мальчиков, отважно двигавшаяся по незнакомым, глухим лесам.

10

Однажды идти было как-то особенно тяжело. Густая духота сковывала неподвижный лес. Даже тут, под сенью деревьев, дышалось с трудом, и путники шли, мечтая о дожде, пусть даже он будет долгим, обложным. Но все точно застыло. Птицы смолкли. И только комары толпились звенящими тучами и с особой остервенелостью атаковывали путников, облепляя лицо, шею и руки. На болотцах, в лесных низинах надрывно орали лягушки.

— Быть грозе, — сказал Митрофан Ильич, останавливаясь и вытирая рукавом вспотевший лоб.

— Скорее бы! — вздохнула девушка, облизывая соленые губы.

Но гроза все не наступала. В прогалинах между треугольными вершинами елей низко висела однообразная седоватая хмарь. Воздух был неподвижен. Только к вечеру на востоке обозначилась наконец туча, густая и тяжелая, как дымовая завеса, выставленная над переправой. В лесу тучи сначала не было видно, но ее приближение угадывалось по тому, как забеспокоились птицы и как сразу вдруг стих надсадный комариный звон. Потом стало глухо погромыхивать, по деревьям прошел тревожный шумок, на истомленные лица путников повеяло долгожданной прохладой. Быстро сгущались зыбкие сумерки.

— Спасайся кто может! — усмехнулся Митрофан Ильич, остановившись и вглядываясь в полутьму, вздрагивавшую от синеватых вспышек молнии.



Впереди он заметил группу елей и рысцой направился к ним. Уже на бегу он выбрал большое приземистое дерево.

Старик раздвинул ветви и втолкнул девушку в естественный просторный шатер, полный запаха смолы, мха и грибов. В это мгновение грянул такой удар грома, что Мусе почудилось, что где-то совсем рядом разорвалась авиабомба. Потом наступила испуганная тишина, и снова, на этот раз порывисто, с присвистом, с воем, потянул ветер, клоня непокорные головы елей, обдирая чешуйки коры с сосновых стволов, яростно вороша листву берез и осин.

Сквозь ветви пахнуло холодной влагой. Деревья застонали, зашипели хвоей, зашуршали листом, и весь лес, точно в ужасе содрогаясь перед неотвратимой бедой, наполнился тревожным, суматошным шумом.

Митрофан Ильич, прислонясь спиной к толстому стволу, устало закрыл глаза. Муся же, раздвинув перед собой ветки, сделала маленькое окошечко и высунула голову наружу. Но все скрывала плотная свинцовая полутьма, и только когда вспыхивали синеватые молнии, видела она на мгновение в прогалах древесных вершин багровые кровоподтеки огромной тучи и ниже — тоненькую березку, стлавшуюся по ветру каждой своей веточкой, каждым своим трепещущим листом.

Потом о хвою забарабанили, как дробины, капли, и вдруг после одной ослепительной молниевой вспышки, на миг проявившей с поразительной четкостью весь окружающий лес, всю небесную глубину до самой тучи, под которой, сверкая крыльями, косо неслись испуганные птицы, хлынул такой ливень, точно молния рассекла какую-то плотину и вся скопившаяся там вода ринулась на землю. Митрофан Ильич отодвинулся вглубь шатра. Но Муся, с детства любившая грозу, приникла к своему окошку, с наслаждением ощущала на лице прохладу мельчайших водяных брызг, жадно вдыхала аромат леса.

Старая ель содрогалась до корней, покачивалась, скрипела, но разлапистые ветви ее, плотно смыкаясь, образовывали собой многоярусные пологие скаты, так что вода без остатка сбегала с них, и путникам, притаившимся у самого ствола, было сухо и даже тепло.

Долго сверкало и громыхало, долго плясал над лесом косой ливень. В окошко в ветвях тянуло мельчайшую водяную пыль. Но когда ветер пронес последние клочья иссякших туч, в лесу уже не посветлело. На свежeweымытом глубоком небе горели частые звезды, и яркий ковшик молодой луны обливал притихшие деревья мягким, голубоватым светом.

Идти было поздно, да и слишком сыро. Лучшую стоянку трудно было найти. Решили ночевать тут, под шатром ели, подкрепившись на ночь земляникой, которую несли в котелке еще с дневного привала. Но промытый ливнем воздух был так густо насыщен озоном, что уставшая Муся, не съев и ягодки, заснула крепко и безмятежно.

Разбудили девушку посторонние, чуждые лесу звуки, какие теперь ее ухо умело улавливать даже сквозь сон. Она спала сидя. Поясница ныла. Но она сейчас же забыла об этом. Митрофан Ильич настороженно, подавшись вперед, смотрел в то самое окошко в ветвях, которое Муся проделала вчера. Перепугавшись, девушка хотела было спросить, что там, но не успела: спутник быстро повернул к ней бледное лицо и зажал ей рот рукой.

«Враги!» — решила девушка, чувствуя, как тело ее словно цепенеет. Но в следующий момент сердце ее радостно ворохнулось. Донеслись голоса, говорившие по-русски где-то совсем рядом.

Муся глянула через плечо Митрофана Ильича. Оказывается, вчера впопыхах, в грозовых сумерках, они забрались под ель, стоявшую возле самой лесной дороги, малоезжей и совершенно заросшей травой. Кусок этой дороги был хорошо виден из елового шатра. Двумя жидкими цепями, вытянувшимися по обочинам, двигались мимо ели солдаты в родной

советской форме. Все они были загорелые до черноты, с заросшими, усталыми лицами, в побелевших гимнастерках. У некоторых сапоги были настолько разбиты, что подошвы они привязали проволокой и веревкой, другие были и вовсе босиком. Но все при оружии. В разобранном виде несли ручной пулемет. Поддерживая друг друга, прошли двое раненых с почерневшими от пыли повязками. Медленно тянулась телега, покрытая плащ-палатками. Из-под брезента виднелись забинтованные головы. Колеса мирно погромыхивали в глубоких травянистых, залитых водой колеях.

По тропинке, совсем рядом с елью, прошел молоденький, чисто выбритый и подтянутый офицер. На каждом его плече висело по немецкому автомату. Он прошел так близко, что Муся расслышала его дыхание. Потом уже издали донесся звонкий и твердый голос:

— Подтянуться, не отставать!.. Отделенные, подтяните колонну, какого черта!

Последними прошли бойцы в забрызганных грязью шинелях, с подвернутыми за пояс полами. На поясах у них позвякивали лопатки и каски. За плечами у каждого был аккуратный вещевой мешок. Оружие матово поблескивало смазкой. Эти были явно кадровики, молодые и крепкие. Они шли отдельной четко обозначенной цепью, строго соблюдая интервалы. А потом Муся увидела такое, от чего у нее занялся дух и слезы выступили на глаза.

Чуть приотстав от колонны пехотинцев, двигались артиллеристы. Их было немного, но выглядели они свежей и крепче. Они несли не только вещевые мешки и шинельные скатки, но и брезентовые торбы, из которых торчали алюминиевые головки снарядов. Позади человек двенадцать, впрягшись в лямки постромок, волокли орудие. Колеса по ступицу вязли в глубокой колее, разбрасывая грязь. Пушка упрямо упиралась. Но ее толкали и сзади. Артиллеристы подбодряли себя хриплыми криками: «Марш, марш, марш!» — и орудие катилось дальше, глухо гремя колесами по обнаженным корневищам.

Из своего убежища Муся видела даже вены, вздувшиеся на висках, слышала хриплое дыхание. На нее пахло крепким запахом солдатского пота. Артиллеристы напоминали репинских бурлаков, но лица у них были не безнадежно-покорные, а упрямые, сердитые, одухотворенные.

Мусю инстинктивно потянуло туда, к этим артиллеристам, дружно тащившим свою последнюю пушку в тылу вражеских армий. Митрофан Ильич почти насильно удержал ее. Впрочем, он при этом не произнес ни слова. Но в напряженном его лице, в крепко стиснутых зубах, в прищуренных глазах было что-то такое, что сразу перебороло властный порыв, толкавший девушку из укрытия на дорогу. Что это было — острая душевная боль, большая человеческая гордость или порыв, обузданный волей, — девушка не поняла. Но подчинилась и молча переждала, пока, как видение далекого, милого мира, проплыла перед ней эта группа у пушки. Стихло чавканье грязи под сапогами, смолкли вдали хриплые крики: «Марш, марш, марш!», а путники все еще молчали в своем убежище.

Наконец они вылезли из елового шатра и долго смотрели в ту сторону, куда ушла колонна.

— Хотел бы я, чтобы Гитлер, вот как мы с тобой, хоть глазом на них глянул. Ему б, собаке, страшно стало, на какой он народ руку поднял... Ты что?

Муся плакала. Она плакала без слез, вцепившись зубами в рукав своей куртки. Все тело ее тряслось от сдерживаемых рыданий.

— Ну будет, ну к чему... — растерянно бормотал Митрофан Ильич, всегда боявшийся женских слез.

— Уйдите, уйдите прочь! Ненавижу вас и это ваше золото! Кащей! Кащей Бессмертный!

Девушка выкрикивала эти слова задыхаясь, и в сухих глазах ее был такой гнев, что Митрофан Ильич невольно шагнул назад. Но вдруг и он рассердился:

— Ты что же думаешь, мне не хотелось к ним выйти?

— Кащей, Кащей... — упрямо повторяла Муся, но в словах ее уже не было прежнего накала.

— А я больше тебя к этому стремился. Да-да! И у меня больше на это прав. Перед тобой жизнь впереди, а я умирать к своим спешу... — Он тяжело вздохнул. — Еще когда ты спала и их разведка мимо нас прошла, я чуть было к ним не вышел. Да вовремя на себя прикрикнул: «Знай, Митрофан, нет у тебя на это права!»

— Да почему, почему? Разве мы не люди? — Обильные слезы катились теперь у нее по щекам, и сквозь рыдания, которые стали шумными и откровенными, она говорила: — Вместе б догнали фронт, вместе б пробились... Со своими ж, вместе лучше ж...

— И об этом думал, Муся, пока передовые шли. И это отверг. Ну, вышли мы, все рассказали командиру и комиссару. И золото отдали — нате. Ты думаешь, они б нам поверили? Откуда такое у девчонки и старика? Украла в суматохе. Или еще хуже: фашистские агенты. Ведь ты б и сама такой истории не поверила.

Муся уже не плакала. Красное и еще мокрое от слез лицо ее было задумчиво. Она действительно вообразила себя командиром или комиссаром, слушающим необычную эту историю, и склонялась к тому, что и сама нипочем не поверила бы.

Митрофан Ильич тяжело вздохнул:

— То-то и оно. И расстреляли б неизвестных старика и девчонку ни за что ни про что.

Свежие следы, оставленные колонной, медленно заплывали дождевой водой. Старик бережно поднял веточку, должно быть обломанную кем-нибудь из прошедших:

— Они вон пушку целую на себе волокут, а некоторым золото, ценности народные нести в тягость, — сказал он, глядя веточку пальцами.

— Сравнили тоже, — вяло отозвалась Муся.

У нее перед глазами все еще стояли артиллеристы со своим оружием. Не хотелось спорить — разве такого убедишь!

Около часа шли молча, каждый по-своему обдумывал встречу, недавнюю ссору и весь разговор.

Сияло солнце, весело шумел вымытый грозой лес. Полутьма, уютившаяся под деревьями, была полна тучных запахов позднего лета... Вдруг Митрофан Ильич остановился, резко повернулся к Мусе. Близорукие глаза его хитровато щурились.

— Ты никогда в Ювелирторге не интересовалась, сколько стоит грамм золота? — спросил он.

Этот вопрос был так неожидан, что девушка даже с некоторой опаской покосилась на спутника.

— А чего ж тут удивительного? Могла зайти и купить ну хоть пластинку для зубной коронки.

— Это для чего ж такое? — Девушка, оскалившись, показала два ряда очень ровных белых и мелких, точно беличьих, зубов. — Если и понадобится, золотые не поставлю — их за версту

видно и быстро стираются.

Митрофан Ильич решил не сдаваться.

— А тебе все-таки полезно было бы знать, что грамм золота стоит... — Он назвал цифру. — А сколько мы с тобой несем? Грубо говоря, семнадцать килограммов с четвертью, так? Но ценность не в золоте. Там есть такие камни, что иной и за целую шапку золота не купишь. Уникальные!

Девушка вздохнула:

— Если б я нашла кусок золота в конскую голову, как, помните, в сказке, я бы все вам подарила, лишь бы вы мне не надоедали этими разговорами. Пошли уж лучше, товарищ Скупой рыцарь!

И она двинулась было дальше, но старик решительно схватил ее за руку:

— Стой!

— Слово даю, я уже по крайней мере сто раз слышала, какая я легкомысленная девчонка. Для того чтобы услышать это в сто первый, по-моему можно и не задерживаться. Скажите на ходу.

Близорукие глаза Митрофана Ильича вдохновенно сияли. На этот раз он не собирался отступать. В голове его точно отщелкивали колесики арифмометра. Цифры складывались, множились, менялись местами и наконец выстроились в шеренгу итога. Старик торжественно сообщил Мусе ориентировочную стоимость драгоценностей, которые они несли. Потом он сказал, сколько примерно, по его мнению, можно приобрести на такую огромную сумму пушек, снарядов.

Девушка остановилась. Впервые она серьезно, без обычной иронии, выслушала слова Митрофана Ильича о драгоценной ноше. Конечно, она и сама иногда задумывалась над тем, какую пользу может принести делу победы доверенное им сокровище. Но ее мысли об этом всегда были туманны и неопределенны. Поэтому Мусю так поразили простые и необычайно убедительные подсчеты, сделанные старым кассиром. Перед глазами ее вновь встала виденная утром картина. Если эти люди, отделенные от своей армии линией фронта, крайне усталые, голодные, с такой великой самоотверженностью тащат на себе по лесному бездорожью снаряды и единственное свое орудие, как же нужно хранить и беречь этот не слишком уж тяжелый мешок, содержимое которого равно по цене не одному, а многим орудиям, не десяткам, а тысячам артиллерийских снарядов!

— Только где ж это купишь — оружие? Разве в войну кто-нибудь даст его за эти безделки? — с сомнением произнесла она, косясь на рюкзак, тяжело обвисавший за плечами спутника.

— Э-э-э, было бы золото, а у кого покупать — найдется! — вскричал Митрофан Ильич, похрустывая суставами пальцев. — Чай, в капиталистическом окружении живем!

Старик даже заговорщически подмигнул. Он, не таясь, торжествовал победу.

С этого дня у них не возникало больше споров. Мешок они несли теперь по очереди, и девушка стала относиться к ценностям, пожалуй, даже не менее бережно, чем старик.

Только в одном спутники по-прежнему не могли сговориться.

Митрофан Ильич продолжал тщательно обходить жилые места, даже лесные сторожки, поселки лесорубов, прятавшиеся в чаще урочищ, вдали от трактов и проезжих дорог.

Это возмущало Мусю до глубины души.

С детства постигла она чудесную силу человеческой взаимопомощи. Когда она была совсем маленькой, мать водила ее в детский сад. Уже там, в совместных играх, в ребячьих хороводах и за общим столом, в ее душу были брошены первые зерна коллективизма. Она стала октябренком, потом пионеркой и наконец была принята в комсомол. Зерна упали на хорошую почву. Из них выросли прочное доверие к окружающим, вера в их доброжелательность, готовность помочь и то, что поэты первых лет революции торжественно называли «чувством плеча».

Чрезмерная осторожность Корецкого была Мусе непонятна. Эта, как казалось ей, досадная старческая причуда усложняла и удлиняла их и без того не легкий путь. Поняв, что спорить со стариком по этому поводу бесполезно, девушка махнула рукой и ограничилась тем, что переименовала Митрофана Ильича из Скупого рыцаря в Рака-отшельника. Но и сам Рак-отшельник, стоически переносивший нападки, вынужден был в конце концов признать, что пробираться без дорог вслепую, не зная точно, где находишься и куда идешь, становится все труднее. После того как однажды они двое суток проплутали в болотистом лесу, он принужден был согласиться, что необходима разведка.

Обрадовавшись, Муся тут же изложила давно уже созревший у нее план. На подходе к деревне старик вместе с ценностями спрячется где-нибудь в укромном месте. Она повесит за плечи холщовый мешок на веревочных лямках, возьмет в руки можжевеловый посошок Митрофана Ильича и в таком виде побредет до первой избы. У нее уже была готова и история, которую она станет рассказывать колхозникам. Муж повешен фашистами, дом сожжен, и вот теперь она пробирается к матери, живущей в городе. При этом она всякий раз будет называть ближайший город, лежащий на их пути, и выспрашивать к нему дорогу.

Митрофан Ильич одобрил этот план. Когда на вторые сутки блуждания по болотам они наткнулись на жердяную изгородь и четко обозначившаяся, хотя уже и затравеневшая колея указала им на близость человеческого жилья, решено было сделать первую разведку. Они остановились в густом леске. Муся быстро приняла соответствующий вид и даже, для пущего правдоподобия, натерла золой лицо, шею и руки. В стареньком лыжном костюме, в растоптанных башмаках, с головой, по-старушечьи повязанной грязным полотенцем, с буро-коричневым лицом, которое выглядело теперь давно не мытым, она действительно стала походить на одну из бездомных беженок, которые тысячами бродили по дорогам оккупированной территории в ту лихую пору.

— Ради бога осторожней, не рискуй! Если малейшая опасность, сейчас же повертывай назад. Помни: мы с тобой себе не принадлежим. Нам рисковать — преступление! — напутствовал Митрофан Ильич; он даже задышался от тревоги. — Обещай, что не будешь рисковать!

— Слово даю! — торжественно произнесла Муся. Серые глаза ее, возбужденно сверкавшие из-под низко повязанного полотенца, являли предательский контраст с темным и действительно как бы постаревшим лицом. Можжевеловый посошок Митрофана Ильича с торчавшими бугорками сучков мелко дрожал у нее в руке. — В случае чего, ждите меня сутки, не больше. Не вернусь — идите один.

— Только не лезь на рожон, характер свой обуздывай!

Вся согнувшись, опустив плечи, тяжело опираясь на палку, Муся, стараясь уже тут, в лесу, войти в роль немолодой, усталой женщины, выбралась из зарослей ольшаника на дорогу.

Она с досадой чувствовала, что волнуется. После стольких дней лесных скитаний ей впервые предстояло встретиться с людьми, узнать новости о ходе войны, выведать, далеко ли фронт.

Когда дорога побежала просторным полем исхлестанной ветрами, местами уже совершенно полегшей и проросшей ржи и вдали обозначились темные драночные крыши деревеньки, в сердце девушки против воли закралась новая тревога: а есть ли там люди, не ушли ли они все оттуда? А если и есть, то что стало с ними за страшные недели оккупации?

Муся решила идти в деревню не дорогой, а через луг, чтобы попасть на сельскую улицу задворками.

В стороне от колхозных служб, у ручья, который угадывался по густой зеленой вырубке росшей здесь осоки, курился дымок. Дым — это люди. Не лучше ли встретиться с ними тут, вдалеке от жилья?

Стараясь держаться как можно спокойнее, Муся двинулась прямо на этот дым, тянувшийся откуда-то снизу, из-под берега. С чувством человека, бросающегося в холодную воду, почти не дыша, сделала последние шаги и в изумлении остановилась над обрывом. Она не сразу даже поняла, что за зрелище представилось ее глазам.

Луг пересекала глубокая короткая траншея. Горб свежего песку тянулся вдоль нее, а снизу, со дна траншеи, невидимые Мусе люди продолжали бросать землю. Возле, на соломе, были навалены пузатые, туго набитые чувалы и какие-то громоздкие металлические предметы, завернутые в рядно. Горел костер, над которым, фыркая, кипел чайник. Человек средних лет, широкоплечий, грузный, в сатиновой рубаше, без пояса и босой, спал на мешках в неудобной позе, широко разбросав руки. Он тяжело, надрывно всхрапывал.

Немного поколебавшись, Муся стала спускаться к ручью. Из-под ног ее сорвался комок земли. Человек сразу открыл глаза, сел, ошалело оглядываясь. Увидев девушку, он уставился на нее тяжелым взглядом.

— Кто? Откуда? Паспорт с немецкой штампой имеешь? — спросил он глухо, точно из бочки.

Муся молчала, стараясь угадать, кто же этот человек, кто работает там, на дне траншеи, и для чего ее копают. «Спокойно, спокойно. Главное, не показать им, что я боюсь, не волноваться».

— Здравствуйте... — медленно и певуче произнесла она, собираясь с мыслями.

— Ты, тетка, кто такая? Отвечай сейчас же, кажи бирку либо паспорт с комендантской штампой, — настаивал человек.

Он уже шагал к ней через ручей, разбрасывая воду большими, нетвердо ступавшими ногами. «Пьян», — определила про себя Муся.

Из ямы вылетело два заступа, потом показалась седая голова; кряхтя, вылез старик, который тут же принялся вытаскивать за руку худого, болезненного парня на деревянной ноге.

«Тетка»... Он сказал «тетка» — значит, держусь правильно, — думала Муся, смотря на приближающегося к ней человека. — Бежать? Нет, рано. Он безоружный и выпивши, убежать успею... Ах, неужели же прав Рак-отшельник и нужно теперь опасаться даже своих людей?»

Пьяный остановился перед Мусей, тяжелая ладонь легла на ее плечо.

— Беженка я, милый, хлебца бы мне, — сказала девушка, стараясь придать своему голосу старушечьи интонации.

— Хлебца? Видали, ребята, ей хлебца захотелось! Вон он, хлебец-то, под дождем гниет, осыпается. Бери, тетка, сколько хошь, бери все, не жалко, все тебе жертвуем. Ничего теперь нам не жалко. Все одно, кончилась наша жизнь. Видишь, могилу копаем? Счастье свое хороним. Всё! Конец света!

— Степан, Степан, лишнее мелешь! — зло оборвал его безногий парень.

Тот, кого называли Степаном, насторожился, сильно встряхнул девушку и вдруг, осерчав, занес над ней тяжелый кулак.

— А ну, кажи фашистскую бирку, а то вот сейчас как тюкну! — Он скрипнул зубами, дыша ей в лицо запахом спиртного перегара.

— Чего ты ее пугаешь? Что ей надо? — спросил через ручей старик.

— Вот беженка, вишь, хлеба ей... Шляется тут, а бирки не кажет.

— Ну и дай! Что тебе, жалко? Нарой ей вон мучки в торбу.

— Ей нароешь, а она как раз и докажет! Может, она из гестапы? А ну, кажи бирку или паспорт со штампой!

— Нет у меня паспорта, сгорел. Вместе с домом сгорел, все сгорело... — забормотала Муся и начала было выкладывать свою жалостную историю.

Степан оттолкнул ее:

— Хватит, ступай! От своего горя тошно, а тут еще с чужим... Стой! Снимай торбу.

Муся поспешно сбросила и протянула ему свой заплечный мешок. Степан снова перешел ручей, развязал один из чувалов и горстями стал бросать в него ржаную муку. Мука сыпалась меж пальцев, падала на песок; ветер сеял ее по траве, нес к ручью. Тихую воду заволокло белесым налетом, точно пылью древесного цветения в вешнюю пору.

Расхрабрившись, девушка перешла по камням ручей.

— И чего добро раскидываешь, клади как следует! — ворчал старик, сердито наблюдая, как трава белеет от мучной пыли.

— А тебе жалко? А? — рявкнул Степан. — Фашиста кормить собрался? Так не будет, не будет ему, паразиту!

И он стал яростно пинать босой ногой куль, пинать со все нарастающим остервенением. Куль не поддавался. Это окончательно взбесило пьяного. Он рванул куль с земли, пыхтя поднял и нацелился бросить в воду, но безногий парень с неожиданной силой схватил его за руки.

Старик осторожно пригоршнями собирал муку с земли.

— Ты б не с кульком — с немцем бы шел воевать! — ворчал он.

— Отвяжись! — устало огрызнулся Степан.

Он заметно трезвел. Растерянно поглядел на Мусю и, должно быть увидев в ее глазах укор, сказал, точно оправдываясь:

— Ну пью, правильно, третью неделю сосу ее, проклятую. Душа горит, дышать нечем... Был колхозник гражданин Степан Котов, а стал рабочий мерин Степка за номером... тягло, лошадиная сила!

Он сорвал какую-то дощечку, висевшую у него на гайтане, и, бросив на землю, стал бешено втаптывать ее в песок. Безногий парень выковырнул дощечку палочкой и, подняв, показал Мусе, все время искоса поглядывая на нее. Это была небольшая, уже изрядно затертая фанерка с выжженными на ней распластанным фашистским орлом, вцепившимся в свастику, и цифрой 1850.

— Ай не видала еще бирки-то, гражданочка? — горько усмехаясь, сказал старик. — Полюбопытствуй, любопытствуй, чего на нас теперь понадеывали... Откуда ж это ты? Не с неба ль, часом, свалилась, коль этих фашистских штук не знаешь, а?

Старик теперь тоже испытующе смотрел на незнакомку. Вкладывая в свои слова какой-то непонятный для Муси смысл, он сказал:

— А может, и верно с неба? Может, послана кем глянуть, как тут оккупированные люди горе горюют, а?... А люди-то вон, видишь... — он кивнул на присевшего на мешках Степана, — а люди вон пьянствуют...

— Постой, Наумыч, может, она верно оттуда, — перебил безногий парень и вдруг, переходя на «вы», спросил: — Может, расскажете нам, как оно там, на фронте, а?

Муся поняла, что ее принимают не за беженку, а за кого-то другого, но поняла она также, что бояться ей этих людей нечего.

— Ничего я не знаю, товарищи, я сама хочу узнать, где фронт, — сказала она уже смелее.

— Ну, дело ваше, не знаете так не знаете, — грустно отозвался безногий парень.

— Фронт-то, говорят, километрах в сорока, на реке фашиста остановили. Третью неделю лупят, и крепко, говорят, лупят, — ответил Степан. Он сидел на земле и, покачиваясь, стискивал ладонями хмельную голову. — Лупят его, лупят, а он к фронту всё новые дивизии тащит... Нет, не иссяк еще, силен... И где только войско берет?

— А довольствием мы тебя, милая, обеспечим, — сказал старик.

Бережными горстями он начал пересыпать муку из чувала в Мусин мешок, пересыпал и приговаривал, виновато поглядывая на девушку:

— А ежели ты, девонька или бабонька... что-то тебя и не поймешь... оттуда, — он показал заскоружлым пальцем на восток, — скажи там, что тяжелую политграмоту мы проходим. — Старик презрительно покосился в сторону пьяного, сидевшего в той же унылой позе, и добавил: — И на пользу некоторым наука идет, кто войну в кустах пересидеть хотел.

Все еще не понимая, почему с ней так доверительно разговаривают, и опасаясь осложнений, в случае если собеседники убедятся, что она не та, за кого ее принимают, Муся, захватив свой потяжелевший мешок, торопливо поблагодарила и, перебежав по камням ручей, пошла к лесу. Перелезая изгородь, она оглянулась и увидела, что к траншее, выкопанной на берегу, тянется от деревни вереница женщин. Они несли на себе какие-то тяжести.

Впечатления девушки были противоречивы, и она все старалась угадать, за какую «небесную посланницу» приняли ее эти люди и что имел в виду безногий, когда на прощанье сказал: «Ежели что, передайте там кому поглавнее, что согнуться-то мы согнулись, а сломаться — нет, не ломаемся». Вспоминая об омерзительном запахе перегара, о громадном кулаке, занесенном над ее головой, о безвольном, жалком отчаянии пьяного Степана, девушка содрогалась от отвращения. Но весть о том, что враг остановлен в нескольких десятках километров отсюда и несет большие потери, что путь к своим измеряется теперь днями, поднимала в ее душе бурную радость, и она чувствовала, как кровь весело бьется в висках.



Забыв про старушечью походку, девушка, напевая, бодро шагала по лесной дороге.

12

С того дня Митрофан Ильич уже не боялся отпускать Мусю в разведку.

Девушка смело приближалась к деревням и селам, добиралась до крайней избы, стучала в оконницу и, если в окне показывалась женщина, просила подаяния и рассказывала свою жалостную историю, которая с каждым новым повторением обростала красочными подробностями. Ей верили. Да и как было не верить, если каждый дом в те дни был полон такого же горя! Колхозницы сочувствовали беженке, вздыхали, показывали дорогу и подавали по мере своего достатка. Иной раз пускали в избу, а некоторые предлагали даже переночевать, хотя и знали, что за общение с неизвестными, не имевшими паспорта с комендантской отметкой, у фашистов было одно наказание — виселица.

После каждой такой вылазки в деревню Муся возвращалась к Митрофану Ильичу тихая, задумчивая. Передав нужные для дороги сведения, она надолго смолкала, смотря на угли догоравшего костра или наблюдая, как в небе плывут торопливые облака. Чем пристальнее приглядывалась она к жизни оккупированных селений, тем крепче убеждалась в одной истине: ужас оккупации еще теснее сплотил людей. Ревнивее блюли они советские законы, объявленные оккупантами аннулированными, и строго хранили прежние порядки в своих формально распущенных, а на деле лишь до поры до времени ушедших в подполье колхозах.

Двигались путники теперь уже не вслепую и все же шли медленно, осторожно. В деревнях никто по-настоящему не знал, на каком рубеже задержано немецкое наступление. Однако, не имея точных сведений, нетрудно было угадать, что линия фронта уже близка и что бои на ней идут яростные и упорные.

По большакам и шоссе чередой тянулись на восток машины, машиночки, машинищи, целые транспорты с пехотой, саперные парки с катерами, лодками, частями понтонных мостов, моторизованная артиллерия, автоколонны с оружием и боеприпасами. А все второстепенные проселки, идущие с востока на запад или хотя бы приблизительно в этом направлении, были забиты обратными потоками госпитальных автофур, подвод с ранеными, транспортов подбитой и искалеченной техники. Лесные дороги, еще недавно мирно зараставшие травой, становились день ото дня накатанней и шумней. Раненых уже нельзя было вместить в комфортабельные автобусы, согнанные сюда, в лесной край, из оккупированных европейских столиц. Их везли на открытых грузовиках, на конфискованных колхозных подводах. Многие брели пешком по обочинам лесных дорог, ухватывались за тягачи, тащившие искалеченные танки, висели на подножках, цеплялись за задние щитки автомашин, набитых их более удачливыми товарищами.

Деревни, даже самые маленькие, были полны вновь прибывающими частями или заняты под полевые госпитали. И повсюду, даже в глуши лесных урочищ, куда и солнце-то проникало только в полдень, виднелись следы тяжелых боев: сгоревшие танки, изувеченные машины, куски ржавой брони, раскиданные по окрестности, как ореховые скорлупки, останки самолетов, лежавшие в черных блюдцах закоптелой, пропитанной маслами, выжженной земли.

Идти теперь можно было только через лесные чащи, да и то приходилось оглядываться и прятаться при каждом шорохе. Однажды путники около часа пролежали в луже меж болотных кочек, слушая, как кто-то бродит поблизости, тяжело дыша и ломая ветви. Потом выяснилось,

что это ходит, пощипывая траву, высокий гнедой в яблоках конь без седла, но с остатками кавалерийской уздечки. Он одиноко пасся и поминутно поднимал голову с настороженными ушами. Заметив людей, он сердито фыркнул и бросился прочь, ломая кусты. Он уже успел одичать.

В часы трудных скитаний по нехоженной лесной глуши среди сушняка и бурелома одно теперь указывало дорогу, вдохновляло путников, поддерживало в них силы: это были невнятные звуки канонады, порой доносимые до них восточным ветром. Они слушали эти звуки, как песнь друзей, как марш, бодривший и вливавший в их сердца надежду и бодрость. И они шли навстречу далекой канонаде, мечтая поскорее достичь фронта.

Однажды утром они заметили, что лес на их пути начал редеть. Курчавые кроны сосен уже не загораживали солнца. Оно освещало зеленые поляны, видневшиеся то тут, то там. Среди сумеречной хвои появился лиственный подлесок. Мягкий, влажный мох, в котором бесшумно тонули ноги, сменился твердой почвой, устланной скользким ковром палых сосновых игл. Засинел вереск, там и сям стали видны проплешины, заросшие сухими бессмертниками — белыми, розовыми, лиловатыми. Потом треугольники елей совсем исчезли, сосняк стал мельчать, и наконец за его лохматыми вершинами открылась болотистая равнина, просторная и пустая.

Путники остановились. Звуки канонады слышались теперь четко и уже не затихали, когда ветер менял направление. Вдалеке, справа и слева, монотонно, точно шмели, гудели машины.

Митрофан Ильич отступил в соснячок, сел на кочку и, рассматривая свои, точно пергаментом обтянутые, сухие руки, сказал:

— Все. Лес кончился. — И, помолчав, добавил: — Засветло выходить на болото нельзя. Нас тут, как грача на снегу, за пять километров заметят. И машины... слышишь, как машины гудят?

Они вернулись в лес. Не раскладывая костра, улеглись в соснячке среди вереска и, прислушиваясь к канонаде, задумались о последнем и, по-видимому, самом трудном отрезке пути.

13

Канонада не стихала всю ночь. С вечера, когда зажглись первые звезды, на востоке по всему горизонту стали видны непрерывные желтоватые вспышки, похожие на те зарницы, что, по народному поверью, «вызоревают овсы». Но скоро из низин надвинулся такой туман, что не стало видно ни вспышек, ни звезд, ни луны. Все скрылось. Осталась только белая густая шевелящаяся мгла, точно ватой облепившая все. Она поглощала все звуки.

В такую пору идти болотом нечего было и думать. Решили ждать рассвета. Но и с зарей мгла не стала прозрачней. Лишь ближайшие деревья неясно вырисовывались в молочном тумане. Осторожность подсказывала — ждать, пока прояснится. Но близость фронта звала вперед, и путники решили рискнуть.

— Ведь это подумать только: завтра мы можем быть у своих! С ума можно сойти! — сказала Муся отсыревшим и глуховатым в тумане голосом.

Митрофан Ильич только вздохнул.

Не было слышно ни канонады, ни воя машин. Тишина стояла такая, что звенело в ушах.

Выйдя на болото, где туман был еще гуще, путники пошли прямо на восток. Они то и дело спотыкались о кочки, наталкивались на приземистые узловатые березки, на мелкий корявый соснячок. Митрофан Ильич, руководимый своим охотничьим чутьем, двигался все же уверенно. Теперь ему думалось, что туман — это даже хорошо: своеобразная дымовая завеса. Болото — тоже неплохо. Именно болото, «куда чужеземец нипочем не полезет», казалось ему наиболее подходящим участком пути на этом последнем десятке километров, отделявшем их от фронта. Он понимал, как опасно бродить почти вслепую по незнакомому болоту. Но что значила эта опасность по сравнению с той, которой они подвергались бы, держась проезжих дорог!

Старик шел осторожно: то и дело он останавливался, вытягивая шею, прислушивался. Но то ли артиллерийская стрельба прекратилась из-за плохой видимости, то ли звуки вязли в тумане, как в перине: кругом стояла тишина. Так, прыгая с кочки на кочку, увязая по щиколотку в глубоком мху, двигались они, пока солнце, войдя в силу, не начало поедать туман. Почва становилась все более зыбкой. Кочки под ногами все время вздрагивали и пружинисто оседали.

Вот тут-то Митрофан Ильич и потребовал остановки. Вымокши по пояс, измученные бесконечными прыжками, путники уселись друг против друга и стали ждать, пока мгла совсем рассеется. Душно пахло болиголовом. На соседних кочках Муся отыскала жесткие заросли гонобобеля. Как медвежонок, она горстью сдаивала в ладонь обильные матово-синие ягоды и отправляла их в рот. Ягоды были крупные, переспевшие, но водянистые и терпко пахли болотной прелью.

По мере того как туман редел, Митрофан Ильич становился все более озабоченным. Он то и дело поднимался с земли и беспокойно оглядывал очищавшийся горизонт. Всюду, куда достигал его взор, он видел однообразную, унылую кочковатую низину, поросшую редкими чахлыми сосенками да мелким березником. Точно не смея поднять голову, хилые деревья гнулись, льнули к перенасыщенной влагой унылой земле, судорожно впиваясь в нее обнаженными подагрически-узловатыми корнями.

В посветлевшем воздухе канонада снова стала слышна, она звучала совсем близко. Болото было совершенно безлюдным. Ни одной тропинки не виднелось на пышном беловатом мху, затаянном красными ниточками, забросанном белыми ягодами неспелой клюквы. Следы путников, уходившие назад, к далекому лесу, уже заплыли густой коричневой водой.

Митрофан Ильич, осторожно сойдя с кочки, попробовал грунт ногой. Почва мягко подалась, нога провалилась, из-под подошвы брызнули мутные струйки.

— Вот что, милая моя, — встревожено сказал старик: — иди за мной шаг в шаг, только не ступай в самый след. Понятно? И соблюдать дистанцию метра в три, ближе не подходи.

— Что случилось? — спросила девушка. Волнение спутника передалось и ей.

Он молча ударил ногой в кочку. Кочка пружинисто вздрогнула, и Мусе показалось, что вслед за тем чуть заметно вздрогнули и соседние кочки.

— В худое болото зашли... Тут шутки плохи... Держи ухо востро.

Старик на миг задумался. Опыт подсказал ему, что надо повернуть назад, возвращаться обратно по собственному следу. Но канонада казалась теперь совсем близкой. Все проезжие пути, конечно, забиты вражескими транспортами. Встреча с фашистами опаснее самых ужасных случайностей, какие могут произойти на болоте. Нет, нет, идти вперед, вперед во что бы то ни стало!

Невдалеке на унылом фоне кочкарника он заметил белые султанчики высохшей травы, той, что в родных его местах называли «лисий ус». Росла эта трава на болотах, но выбирала наиболее сухие, твердые места и поэтому часто отмечала среди зыбучих трясин след, проторенный когда-то человеком или большим зверем. В былые времена, отправляясь с сыновьями за клюквой, Митрофан Ильич по травке этой безошибочно находил среди болот хоженные тропы, совершенно неприметные для неопытного глаза.

Увидев, что светленькая сухая стежка «лисьего уса» ведет как раз в сторону, откуда слышалась канонада, Митрофан Ильич, осторожно прыгая с кочки на кочку, добрался до нее и пошел по ней, стараясь не отклоняться от естественных вешек. Поднявшееся солнце палило нещадно. Болото густо дышало гнилостными испарениями. От приторного запаха болиголова начинало кружить голову.

Муся, не раз убеждавшаяся в охотничьем опыте своего спутника, покорно тянулась за ним, избегая наступать в его след, сейчас же заплывавший бурой водой. Нога иной раз уходила в грязь по колено, так что ее трудно ужа было вырвать. Но думать Муся ни о чем не могла, кроме канонады, которая, как ей казалось, звучит совсем близко.

Теперь уже недолго! Ну день, много — два, и они — у своих! Как же это чудесно! Можно будет вымыться в настоящей жаркой бане, подстричь волосы, сбросить этот фланелевый костюм, который совсем залубенел от грязи, переодеться, снова стать похожей на самое себя. Ей казалось, что стоит только перейти линию фронта, и они без труда отыщут своих сослуживцев. Неожиданно явившись к ним подстриженной, прибранной, хорошо одетой, она как ни в чем не бывало скажет им: «Здравствуйте!» Все всполошатся: «Как, это вы, товарищ Волкова? А мы думали, что вы остались у немцев». И она ответит им как можно небрежнее: «Нет, что вы! Помилуйте, при чем тут немцы! Мы просто выполняли ответственное государственное задание». Затем они с Митрофаном Ильичом развяжут мешок и вытряхнут на стол сокровища: «Примите, пожалуйста. Слово даю, нам с товарищем Корецким страшно надоело это таскать». Все так и присядут: «Ах, ох, ух!» А Чередников обязательно скажет: «Молодцы! Я всегда думал, что товарищ Волкова и товарищ Корецкий — это наши лучшие товарищи...»

Вдруг словно кто тяжелой доской шлепнул по грязи. И тут же короткий и дикий, нечеловеческий вскрик разнесся над болотом, согнав стаю пестрых птиц, обиравших с кочек ягоду. Оторвавшись от приятных мыслей, Муся и сама чуть не вскрикнула. Митрофан Ильич вдруг стал наполовину короче, будто ноги ему отрубили. Он находился от нее метрах в трех и делал судорожные движения, стремясь, должно быть, повернуться к ней лицом. Но это ему не удавалось, точно кто-то злой и сильный там, под землей, вцепился ему в ноги.

Случилось что-то непонятное и очень недоброе. Там, где Митрофан Ильич провалился, кочкарник, поросший корявым березником, точно бы расступился, открыв маленький изумрудно-зеленый лужок. Над пышной травой, в которой белели пушки болотных цветов, вибрирующим столбом толклись комары. Старик стоял по пояс в траве как раз под этим зыбким темно-прозрачным столбом. Вокруг него пузырилось бурое кольцо воды. Наконец ему удалось повернуться к Мусе, и она увидела его густо облепленное комарами, ставшее от этого почти черным лицо с широко раскрытыми глазами.

Девушка бросилась было к спутнику на помощь, но он пригвоздил ее к месту хриплым окриком:

— Назад! Чаруса!

Девушка не знала этого странного слова, но поняла: болото засасывает старика. Поняла и удивилась, почему же это он стоит в такой позе, почему не стремится вырваться, не сбросит с плеч тяжелого мешка!

Она снова рванулась к нему.

— Стой! Не наступай на траву! — Митрофан Ильич застыл, широко раскинув руки. Он даже говорил как-то сдавленно, точно сдерживая себя.

Теперь Муся заметила, что каждое сделанное им движение, даже каждое произнесенное им слово точно бы вталкивало его в трясины.

— Возьми в рюкзаке топорик, руби кусты, бросай мне, — с неестественным спокойствием вымолвил он наконец, почти не разжимая губ.

— Мешок! Скиньте же мешок! — умоляюще крикнула девушка.

Митрофан Ильич покачал головой:

— Руби!

Муся начала поспешно рубить чахлые деревца и кусты, росшие кругом. Работая, она все время оглядывалась на спутника. Он становился все короче и короче, словно таял в сочной изумрудной зелени, как кусок масла на сковороде.

— Бросай сюда, живее! — поторопил он вдруг.

Голос его был тихий и хриплый. Старик провалился уже выше пояса, и трясины давила ему на грудь.

Подобравшись к самому краю чарусы, Муся стала бросать ветки и деревца. Митрофан Ильич осторожными, плавными движениями, точно эквилибрист, работающий в цирке на свободно стоящей лестнице, укладывал их перед собой. Сделав настил, он оперся о него грудью, руками. Ветви тотчас же вмялись в жидкую массу, исчезли в бурой пузыристой воде, но все же, видимо, создали какую-то опору.

Поодаль стояла березка, более высокая и длинная, чем другие.

— Минуту еще продержитесь? — спросила Муся.

Митрофан Ильич кивнул. Комары облепили его лицо плотной маской. Выражения нельзя было уже рассмотреть, но по глазам Муся видела, что он понял и одобряет ее план.

— Осторожней, — едва слышно прошелестели его позеленевшие губы.

Девушка бросилась к березке. Деревце это было тонкое, гибкое, как удочка. Под ударами топорика оно только встряхивало листвой да немножко прогибалось, и на матово-белой коре обозначались лишь слабые зеленые следы. Зато каждый удар отдавался в почве, и она упруго вздрагивала под ногами. Девушка поняла, что и сама она стоит над трясиной, только покрытой более крепким слоем торфа. Нет, так провозишься до завтра! Осторожно подпрыгнув, Муся схватила ствол березки повыше первых ветвей, наклонила к земле и двумя ударами по самому сгибу срубила деревце.

Уже и руки Митрофана Ильича потерялись в густой траве. В глазах, смотревших из-под страшной комариной маски, были ужас и тоска.

— Сейчас, сейчас! — бормотала Муся.

Выбрав кочку поустойчивей, она крепко ухватилась левой рукой за ствол росшей тут сосенки, а правой протянула спутнику тонкую березовую жердь:

— Хватайтесь! Крепче!

Она потверже укрепилась на кочке. «Ну что он там делает, сумасшедший? — с изумлением и страхом подумала она, глядя на старика. — Вместо того чтобы обеими руками ухватиться за жердинку, он зачем-то возится в грязи! Кажется, расстегивает лямки рюкзака... Ага! Он хочет от него освободиться... Правильно! Без этой тяжести легче вылезти».

— Да хватайтесь! Хватайтесь! Ну чего вы там копаетесь?

«Нет, он привязывает мешок к концу жердочки. Слово даю, с ума сошел!»

— Не смейте, вы ж утонете! — отчаянно кричит Муся.

— Тяни! — шепчет Митрофан Ильич.

Уже и плечи его скрылись в болотной траве, грязь вяжет ему руки.

«Какой ужас! Неужели конец?»

Муся быстро подтягивает к себе тяжелый мешок. По пути мешок соскребает тонкий дерновый покров, и на зеленом травянистом ковре обозначается след, сверкающий бурой водой. Теперь девушка действует со всей быстротой, на какую только способны ее маленькие ловкие руки.

Отвязав мешок и положив его на кочку, Муся снова тянет жердочку тонущему. При этом она наклоняется вперед, сама повисая над трясиной. Старик обеими руками ухватился за деревце. Наконец-то! Теперь только бы не сорвались руки, не обломилась бы жердочка, а главное, не вырвалась бы с корнем сосенка, за которую она держится.

— Не упади! — слышит она шелестящий шепот.

«Он еще там разговаривает! Да что же это такое? Его совсем засосет!»

— Подтягивайтесь! Да вылезайте же, вылезайте!

Жердочка натягивается. Повиснув над трясиной, девушка дрожит от напряжения. Ей начинает казаться, что старика засосало слишком глубоко. И чего он там медлит? Она пытается тянуть сама. С глухим хрустом лопается один из корней сосны. Муся, вздрогнув, вся холодеет и зажмуривается, но не выпускает жердочки.

— Терпение, — слышит она сдавленный шепот.

Нет, сосенка выдержала! Корни ее, должно быть, прочно вцепились в рыхлую торфянистую почву. А старик? Ага, он правильно делает, что не торопится. Подтягиваясь по жердочке, он сантиметр за сантиметром выдирается из провала на настил из хвороста. Вот уж и плечи показались. Ура! Еще немного! Только бы не выпустить! В глазах Муси темнеет от напряжения. Еще, еще!.. Ага, он уже лег грудью на хворост, упирается в него коленями. Еще усилие — и Митрофан Ильич, тяжело дыша, лежит на вдавленном в грязь помосте из прутьев и веток.

Теперь она, наклонившись, достает до него рукой.

— Беритесь! Чего же вы? — кричит Муся.

Но старик даже не поднимает головы. Зыбкий комариный столб толчется над ним. Трясина зловеще хлюпает и пузырится, будто злясь на то, что у нее вырвали жертву. А он лежит ничком в грязи, и плечи его тяжело вздымаются.

— Митрофан Ильич, голубчик, родненький! — кричит девушка. — Да очнитесь же вы...

Наконец он поднимает голову, стирает с лица комариную маску, с удивлением смотрит на серо-красную кашу, остающуюся у него на ладони, и улыбается одними губами...

14

...Приходится повернуть назад. Они долго бредут по своим следам, четко обозначившимся на беломате мху болота, и, добравшись до твердой земли, разводят костер. Августовский день теплый, даже знойный. Костер горит так жарко, что кругом него коробятся и вспыхивают сухие травы, начинает парить и тлеть мокрый торф. Но Муся и Митрофан Ильич дрожат и никак не могут согреться.

Потом девушка стирает в луже одежду спутника. Завернувшись в одеяло, Митрофан Ильич сидит у костра в сухом чистом белье, осунувшийся, похудевший и как-то сразу постаревший за эти несколько часов. Он старается казаться спокойным, но зубы выбивают зябкую дробь. В глазах у старика тоска и смятение.

— Мне не дойти, — шепчет он, но, взглянув на Мусю и, видимо, пожалев ее, добавляет: — Пожалуй...

Девушка развешивает на сосенках его тужурку, гимнастерку, шляпу; услышав эти слова, она резко оборачивается:

— Это еще что? Выдумает тоже! Велика беда — в грязи искупался. Грязью вон даже лечат.

Но шутки не получается. Старик грустно смотрит на Мусю, и взгляд у него такой усталый, тоскливый, что девушке становится еще холоднее.

— За ценности я не боюсь, донесешь и без меня. Я ведь о себе. Там, в чарусе, все стрельбу слушал: ведь это наши бьют. А я вот не у своих помираю... Худо...

— Да будет вам! Вот заладил, слышать не могу! — вскрикнула Муся срывающимся голосом и быстро отошла от костра, будто затем, чтобы собрать ветки.

Перед ней опять замаячило видение: человек уменьшается, точно тает, погружаясь в клокоющую, пузырящуюся грязь. «Да, страшно, наверное, умирать вот так — медленно, сантиметр за сантиметром погружаясь в болото. Тот лейтенант-артиллерист... он умер в бою, даже, вероятно, не успев подумать, что приходит конец».

Когда солнце уже склонялось к закату и над болотом низко, почти касаясь вершин корявых сосенок, тяжело свистя крыльями, потянулись утки, Митрофан Ильич облачился в высохшую одежду, и они продолжали обратный путь, сопровождаемые звенящими облачками комаров. Болото решили обходить.

Но беда шла за ними по пятам и настигла их на ночлеге.

Муся проснулась оттого, что солнце било ей прямо в глаза. Ей сразу стало тревожно. Обычно Митрофан Ильич, поднявшись на рассвете, кипятил воду, заваривал сухой брусничный лист, который они употребляли вместо чая, пёк картошку и только потом, управившись со всем этим, будил девушку.

А тут Муся проснулась сама. Солнце стояло уже высоко. Почувствовав недоброе, она выскочила из-под одеяла. Митрофан Ильич спал поодаль, положив под голову мешок и намотав на руку его лямки. Он лежал на спине, рот его был полуоткрыт, сухие губы

потрескались, лицо и руки были неестественно красные и лоснились. Обычно старик спал чутко, при малейшем шорохе открывал глаза и приподнимался. Теперь он не проснулся, даже когда Муся позвала его завтракать. Он только пошевелился и пробормотал что-то невнятное.

Девушка испугалась и принялась трясти его:

— Что с вами? Проснитесь же, ну!

Наконец он открыл глаза, пощурился и приподнялся с таким трудом, точно ему приходилось отрывать свое тело от земли. Сев, он осмотрелся, болезненно сморщившись, потряс головой, стер со лба пот ладонью и слабым голосом виновато произнес:

— Кажется, захворал малость... Простыл, что ли?

От еды он отказался и все торопил в дорогу. Теперь им овладел приступ лихорадочной деятельности. Он заявил, что они обязаны как можно скорее — если удастся, то сегодня — обойти болото и попасть к своим. Шел он в этот день даже быстрее, чем всегда. Но что-то новое, неуверенное появилось в его обычно ровной, ритмичной походке. Был он теперь и менее осторожен, не так боязливо прислушивался к отдаленному рокоту моторов вражеских машин.

Когда он останавливался, чтобы поторопить едва поспевавшую за ним Мусю, грудь его порывисто вздымалась, дыхание было хриплое, пот ручьями тек по лицу, тяжелыми каплями падал с усов и всклокоченной бороды.

Предчувствие надвигающегося несчастья не оставляло Мусю. Она была рассеянна, то и дело спотыкалась о корни и даже раз упала, сильно оцарапав себе щеку. Обычно в полдень они останавливались где-нибудь в тени деревьев у лесного ручья или дождевой лужицы и пережидали самые жаркие часы. На этот раз привал был сделан на солнцепеке. Митрофана Ильича колотил озноб. Есть он опять отказался и только жадно выпил чуть ли не целый котелок воды.

Их путь лежал через молодой бор. Полянки, открывавшиеся то там, то тут, густо зеленели низкорослым блестящим брусничником. Большие гроздья ягод багровели в зелени бочками, обращенными к солнцу.

Заметив, что Митрофан Ильич с жадным хрустом ест ягоды, сорванные на ходу, Муся вызвалась за пять минут наполнить ему ими котелок.

— Нет, нет... Идем, идем скорее! — испуганно ответил он, рванулся вперед, но тут же наткнулся на куст. Походка старика становилась все более неровной. Ноги, волочась, загребали землю.

— Давайте отдохнем, — предложила Муся.

Старик не ответил и продолжал идти, дыша шумно и хрипло, как загнанная лошадь.

На ровных местах он пытался даже переходить на бег.

На следующем привале Муся освободила его от груза. Лихорадочно блестящие глаза старика, в которых со вчерашнего дня прочно угнездилась печаль, нетерпеливо смотрели все в одну сторону — на восток. Цепляясь руками за сучья сосны, он медленно поднялся и с минуту стоял на месте, бессильно и жалко улыбаясь.

Муся испуганно подумала, что старик уже не сможет идти. Первые шаги ему и впрямь дались с трудом, но дальше он пошел довольно твердо и ходко и шел до самого заката. Он отказывался от привалов, должно быть боясь, что вновь подняться у него уже не хватит сил.



Сгибаясь под тяжестью удвоившегося груза, Муся еле поспевала за ним. Кровь билась у девушки в висках так шумно, что она ничего не слышала. Только перекладывая мешки с одного натруженного плеча на другое, она улавливала ясно различимый звук артиллерийской дуэли. Этот все отчетливее слышимый грохот и был той силой, что неудержимо влекла старого, совершенно уже расхворавшегося, измученного человека.

Неся двойной груз, девушка настолько устала, что вовсе не помнила, как прошли они последние километры. Когда солнце, превратившись в огромный багровый круг, медленно опускалось за пламенеющий горизонт, они вышли из леса, и перед ними открылся просторный луг с длинной чередой стогов сена. Как заколдованные богатыри, поднимались стога, и в то время как подножия их уже тонули в сизовой мгле густеющих сумерек, вершины еще золотели в лучах заката.

Совсем обессилевшие, спутники доплелись до ближайшего стога и почти без чувств повалились в луговое, прямо до головокружения пахнущее сено. Митрофан Ильич пробормотал: «Ради бога, ценности!» — и тут же забылся в тяжелом сне. Муся же долго не смыкала глаз. Зарыв мешок поглубже, она выкопала себе по другую сторону стога норку и улеглась в ней, с наслаждением чувствуя, как понемногу отходит усталость, отдыхает каждый натруженный мускул.

По восточной, еще темной кромке горизонта неясно вспыхивали и гасли тревожные огни разрывов. Там были свои.

Яркий серп луны, косо висевший в небе, напоминал елочную игрушку. И вдруг захотелось Мусе, захотелось «до ужаса», силой какого-нибудь сказочного волшебства перенестись отсюда, из этого страшного мира, где она все время чувствовала себя зверем, травимым охотниками, туда, где живет ее семья, снова стать маленькой и, как в детстве, уткнуться в теплые материнские колени. Казалось, в эту минуту она готова все отдать, всем пожертвовать за радость бездумно прижаться к матери, за прикосновение теплых родных губ.

— Мама, мамочка, мамуся! — прошептала девушка и вдруг, как-то сразу успокоившись, забыла о ноющих мускулах, о болезни Митрофана Ильича, о ценностях, которые надо нести, свернулась клубочком и заснула крепко, без снов...

Проснулась она, как и накануне, с тем же неясным ощущением тревоги. Утро уже розовело над каемкой молочного тумана и заметно сушило отсыревшие и потемневшие за ночь стога. Пронзительно чирикали небольшие пестрые птицы, густой дружной стайкой перелетавшие с места на место. Надсадно надрывались в сене кузнечики. Но чего-то не хватало среди этих привычных звуков, и, не угадав еще, чего именно, Муся тревожно соскользнула со стога. Митрофан Ильич еще спал, постанывая и тяжело всхрапывая. На соседней опушке девушка быстро набрала брусники, сделала из нее густой взвар, от одного аромата которого во рту появлялась обильная слюна, наварила картошки и только после этого разбудила старика. Он, слегка приподнявшись на локте, прислушался. Потом разом поник, глаза его наполнились слезами.

— Что с вами?

— Опоздали, — сказал он, хрипло вздохнув.

— Кто опоздал? Куда?

— Мы... мы опоздали... Канонада... Сегодня не слышно канонады.

Только тут догадалась Муся, чего с утра не хватало ей среди привычных звуков погожего утра.

— Может, затишье, снаряды вышли...

Митрофан Ильич мотнул головой:

— Нет. Ночью били часто. Сегодня день ясный... Муся, Мусенька, я так и не дошел до своих!..

За ночь старик точно высох. Глаза у него то неестественно сверкали лихорадочным блеском, то гасли и мутнели совсем уже по-старчески. Нос заострился, раздвоился на конце. На щеках сквозь седую щетину проступил такой яркий румянец, что тяжело было смотреть.

— Вот выдумывает!.. Слово даю, брусничного чаю напьетесь — и полегчает. А ну, чай пить, и никаких разговоров! Прохлаждаться некогда, идти пора.

Муся решительно усадила Митрофана Ильича, подбила ему под спину сена, заставила съесть пару картофелин и ломоть пресной лепешки, испеченной ею накануне на раскаленном камне.

— Попробуйте только не есть! Сказано: все силы на разгром врага. Так? Мы с вами важное дело делаем. Наши силы нужны? Нужны. Так вот и питайтесь, поддерживайте себя...

Муся трещала без умолку, хлопотала, пробовала даже шутить, но расшевелить спутника ей так и не удалось. Он лежал неподвижный, безучастный ко всему. Есть он почти не мог и только тоскливо поглядывал в сторону, откуда еще вчера слышалась канонада. Он знал, что повторяется приступ той жестокой болезни, избавиться от которой в прошлом помог ему доктор Гольдштейн. Знал он также, что если не достать лекарства, прописанного ему тогда, он уже больше не поднимется. Но где в лесу достать это лекарство? Как он сплеховал, забыв захватить его из дому! Все спешка, все спешка!

Больное тело требовало покоя. Хотелось улечься поудобнее, закрыть глаза и ждать смерти. Это было бы избавлением от мук. Но ценности!

Мысль о том, что он может умереть, не выполнив долга, не давала ему покоя. Столько уже пережито! Вчера еще так отчетливо слышал он каждый выстрел советских пушек. И вот из-за глупой случайности не может идти. Никогда еще чувство собственного бессилия не ужасало его так.

Старик попытался подняться, но, застонав, рухнул на сено.

— Товарищ Волкова! — торжественно обратился он к Мусе минутой позже, впервые за всю дорогу называя ее по фамилии. — Товарищ Волкова, мне уже не подняться... Нет, нет, молчи, я знаю... Забирай ценности и ступай, пока фронт не успел еще далеко отодвинуться. Забирай и иди... Это долг... Ступай, обо мне не беспокойся... Я умру как надо...

Мусю поразили даже не слова, а тон, каким они были произнесены.

— Хорошенькое дело — ступай! Да как вы смеете?... Выкиньте это из головы, слышите, сейчас же!

Серые губы Митрофана Ильича тронула печальная улыбка:

— Да, да, ступай... Вот ты действительно не имеешь права задерживаться...

— Глупости! — отрезала Муся. — Я вас подниму, слово даю. Что у вас такое? Чем вас лечили?

— Есть отличное лекарство... Гольдштейн мне прописал... Лекарство это быстро мне

помогало, но оно... — он горько усмехнулся, — оно не растет на деревьях.

Митрофан Ильич устало закрыл глаза. От света их саднило, будто кто песку насыпал под веки. Говорить было тяжело.

Задумчиво сдвинув брови, Муся молчала. Потом, трижды повторив вслух трудное название лекарства, она мотнула головой и начала действовать. Сварила в котелке остаток картошки, размочила в кипятке твердую лепешку, набрала брусники. Завернув все это в полотенце, она положила узелок с пищей возле Митрофана Ильича и наставительно сказала:

— Вот вам еда на сегодня, обязательно скушайте.

Она продолжала готовиться к дороге. Достала из своего рюкзака платье, сунула его в холщовый мешок, с которым ходила на разведку, повязалась полотенцем, взяла суковатый посошок.

Старик с ласковой грустью следил за всеми этими приготовлениями.

— Дойдешь... расскажешь там... товарищу Чередникову: мол, не смог, не судьба... — Две большие мутные слезы вытекли из запавших глазниц и запутались в бороде. — Скажи, пусть худого не думают... Скажи: мол, старый Митрофан не запятнал...

Занимаясь приготовлениями, девушка с недоумением посматривала на спутника: «К чему это он? Бредит, что ли?» И вдруг, поняв, что это не бред, она не на шутку рассердилась:

— Да вы что, Митрофан Ильич? За кого вы меня принимаете? Чтобы я больного товарища в пути бросила! Да? Так вы думаете? Я же комсомолка!

Взгляд старика остановился на можжевелевом посошке, который она держала, на холщовой торбочке, висевшей у нее за плечами.

— Чудак вы! Я же в деревню, за лекарством. Может быть, у кого-нибудь найду, выпрошу, выменяю... Вот только где деревня? Далеко ли?

С сердитой заботливостью она стала внушать ему: без нее не подниматься, а если появятся на поляне люди, не подавать голоса и ни в коем случае не доставать мешка с ценностями, который она зарыла глубоко в сено. Старик попробовал было снова сказать, что ей надо торопиться перейти через фронт, но Муся так расшумелась, что он сконфуженно смолк. Она уложила его поудобнее, придвинула еду, замаскировала его сеном. Потом тщательно собрала натрушенные вокруг стога очески, отошла в сторону и, убедившись, что стог этот ничем не отличается от остальных, сказала тоном козы-мамаши из детской сказки:

— Ну, я пошла. Вы тут без меня не скучайте, не шалите, дверь никому не открывайте, в дом никого не пускайте... Пока!

Митрофан Ильич с благодарной улыбкой проводил ее взглядом, а когда шаги девушки стихли, вздохнул и устало закрыл глаза. На душе у него полегчало, появилась надежда на невероятное.

Она научилась отлично разбираться в лесных путях, примечать, как едва заметные, заросшие папоротником и брусникой стежки, приближаясь к людным местам, стекаются в тропинки, как тропинки, в свою очередь, вливаются в лесные дороги, которые обязательно выводят на бойкие проселки. А по ним уже близок путь и до какого-нибудь жилья.

Распутав таким образом сплетение лесных троп, Муся довольно быстро выбралась на проезжую дорогу, и дорога эта привела ее к развилку, на котором стоял столб с указателем. На доске четкими, аккуратными буквами было выведено по-немецки: «Ветлино», а чуть ниже — чернильным карандашом по-русски: «Гитлер — гад».

Но приписки девушка не разглядела. Она отшатнулась от указателя, как будто это был не деревянный столб, а вражеский солдат, который мог ее схватить или послать ей вслед очередь из автомата. Пустившись бегом по направлению, указанному стрелкой, она вскоре наскочила на вторую неожиданность. Весь пригорок, с которого открывался вид на просторное неубранное поле, на деревеньку, прятавшуюся в кущах курчавых ветел, ощетинился ровными шеренгами крестов, сколоченных из березовых жердей с белой, неободранной корой. Крестов было так много и сбегали они с пригорка такими ровными рядами, что меж ними наискось просвечивали как бы сквозные просеки. Несколько унылых ворон сидели на плечах крестов.

Кресты стояли точно солдаты, сомкнувшие строй. Было что-то страшное в их молчаливых, по шнурку выстроенных шеренгах. Муся рванулась было прочь, но, оправившись от неожиданности, злорадно усмехнулась и гордо пошла по тропинке наискось через все кладбище чужеземцев, провожаемая удивленными взглядами ворон.

Сбегая с пригорка, березовые кресты доходили почти до задворок деревушки, до сараев, обнесенных изгородью из жердей. Муся перелезла через изгородь и прислушалась. Деревенька тихо млела под полуденным солнцем в тени старых ветел. Вместе с сонным пением петухов, с ленивым брехом собак до Муси доносилось торопливое попыхиванье мотора движка, писк губной гармошки, а из-за ближайшего сарая слышались рыдающий звон ручной пилы и гортанные звуки чужой речи.

В деревне — немцы! Муся задержалась. Идти назад? Пригорок ощетинивался березовыми крестами, как спина дикобраза. Вид кладбища, как это ни странно, ободрил девушку. Подумав, она озорно мотнула головой и, оставив у изгороди можжевелевую палку, уверенным шагом подошла к ближайшему сеновалу. Стараясь действовать неторопливо, она на глазах у двух немцев, плотничавших невдалеке, распахнула скрипучие ворота.

Немцы эти, в одних трусах, работали у соседнего сарая. Аккуратно сложенное обмундирование их лежало на траве. Делая вид, что не обращает на них внимания, девушка вошла в душную прохладу чужого сеновала, осмотрелась, заметила огромную ивовую корзину с веревкой и доверху набила ее сеном. Взвалив плетушку на спину, она по-хозяйски закрыла ворота, подперла их валявшимся рядом колышком и, вся согнувшись, двинулась в прогон меж плетнями огородов.

Она заставила себя идти по кратчайшей прямой, мимо немцев в трусиках. Продолжая плотничать, они о чем-то невесело переговаривались. Оба они были уже не молоды, загар не брал их кожу, и дряблые тела странно белели на солнце. У сарая стояли, прислоненные к крыше, тонкие березовые жерди с неободранной корой, а вдоль стены аккуратным штабелем были сложены готовые изделия — новые белые кресты.

Муся очень волновалась, но шла неторопливо. Пройдя прогон, она заставила себя так же медленно миновать еще двух пожилых солдат, стоявших возле плетня с трубочками в зубах. Девушка прошла так близко, что в нос ей ударил запах плохого табака. У ворот открытого двора сутулая и очень худая женщина что-то стирала в деревянной лохани. Завидев Мусю,

она распрямила спину, вытерла рукавом лоб и стала хмуро следить за незнакомкой, приближавшейся к ней с сеном за плечами. Девушка храбро, точно бывала здесь по нескольку раз в день, прошла мимо женщины в раскрытые ворота двора. Стоявший в нем полумрак был пронизан наискось резкими солнечными лучами, пробивавшимися сквозь шали драночной крыши. Сердце девушки неистово билось. Ей казалось, что все кругом: и этот пятистенный крестьянский дом, и жмыхающая под ногами солома подстилки, и мыльный пар, поднимающийся над лоханью, — все отдает прогорклым чужим запахом, каким пахнуло на нее от солдат с трубками.

Женщина стряхнула с рук пену и, вытирая их о подол, двинулась во двор вслед за незнакомкой. Муся остановилась, устремив на нее умоляющий взгляд.

— Куда понесла? Сюда, сюда давай!.. Вот мы сейчас бляшкам корм и зададим, — неоправданно громко, явно для немцев, а не для Муси, сказала женщина и, цепко схватив девушку за локоть, потащила ее вглубь двора. — Бяш! бяш! бяш!..

И когда в ответ ей заблеяли овцы и черные острые мордочки, смешно тыкая шагреневыми носиками, показались между жердями загончика, женщина дернула Мусю за рукав так, что куртка затрещала:

— Да чего вы там, с ума посходили? Своих голов не жалко, мою б пожалели! Не одна я, сын у меня... И третьеводнись, и вчерась, и на вот — сегодня. Словно, кроме меня, и людей в колхозе нет! Насели, как слепни на корову в полдень...

Муся все еще держала на плечах корзину. Черные мордочки овец просовывались меж жердей. Быстро перебирая губами, овцы ловко выдергивали шматки сена. Девушка поняла, что, как и те люди у ручья, женщина эта приняла ее за кого-то другого.

— Совесть совсем потеряли, ночи им мало. Нате вот, средь бела дня лезут! — сыпала хозяйка Мусе в ухо сердитый торопливый шепоток. — И тоже моду взяли — всё в Ветлино да в Ветлино! А «Первое мая», а «Красный кут», а «Ворошилова»? Там, слышь, тоже немецкие госпитали, по всей округе госпитали, а вы всё к нам да к нам... Только и свету в окне, что разнесчастное наше Ветлино. Хотите, чтоб нас спалили?

— У вас тут госпиталь? — спросила Муся, радуясь, что так удачно попала именно туда, куда надо.

— А ты и не знаешь! — сердито усмехнулась хозяйка. — Ишь, незнайка какая! Да что ты передо мной-то притворяешься? Тут везде госпитали. Наши на реке столько их намолотили, что в избах для раненых уж и мест нет. В «Первом мае», говорят, уже и сенники заняли и на свиноферме вповалку лежат... Ты, милая, не финти, говори, зачем прислана... Поставь мастину-то, чего держишь!

Муся опустила плетушку на подстилку двора, смачно хлюпнувшую навозной жижей. Овцы неистово толкались за забором загончика, блеяли, шуршали сеном. Женщина шептала, жарко дыша девушке в ухо и щекоча ей щеку седыми волосами, выбившимися из-под косынки:

— Ведь отнесли ж вам сегодня, куда договорено, и флягу молока и мешок с хлебом. Чего ж еще! Все мало?

Не понимая, о чем говорят ей, и опасаясь, как бы женщина, узнав, что Муся не та, за кого ее приняла, не прогнала бы ее или не выдала врагам, девушка тихонько произнесла:

— Тетечка, мне лекарство нужно. Есть такие таблетки... У меня батя в дороге заболел, умирает. Помогите, тетечка!

Боясь, что женщина сразу откажет, девушка торопливо вытащила из торбы свое платье и комом сунула его хозяйке:

— Я не даром. Возьмите, пожалуйста, только помогите!

Хозяйка сердито оттолкнула платье узловатой, со вспухшими венами рукой, распаренной и белой от стирки:

— Убери! Не на базар пришла. За тряпки голову в петлю не суют. — И вдруг рассердилась: — Это кто же тебя научил меня тряпками прельщать? У меня у самой трое воюют. Тебе это неизвестно?

— Тетечка, меня никто не учил, я ничего не знаю, я сама по себе. Мне лекарство для отца нужно.

На худом, некрасивом лице хозяйки задрожала невеселая улыбка:

— Упорная... Инструкция у тебя, что ли, такая?... Ну, для отца так для отца, мне все едино. Идем в избу... На вот,хвати, чтоб не с пустыми руками мимо этих иродов проходить.

Она сунула Мусе таз, в котором лежало влажное, жгутами скрученное, крепко отжатое белье.

Со двора они поднялись в сени, и Муся хотела уже было взяться за ручку обитой клеенкой двери, ведущей в избу, но хозяйка отдернула ее назад и втокнула в маленькую, низенькую клеть, приспособленную теперь под жилье.

— Куда лезешь? Ай она тебе и верно не сказала, что в избе-то раненые? Или ты и впрямь не от нее, а от других каких?... Ну говори, ко мне пришла, чего меня таиться!

— Тетечка, слово даю, не знаю, о ком вы говорите.

— Да сестричка ж милосердная, она тут с нашими ранеными в лесу возле ольховой пустоши схоронилась. Кормим вот ее колхозом уж третью неделю. Старые немецкие бинты да марлю для нее стираем. — Должно быть, спохватившись, что сболтнула лишнее, женщина запнулась и, приблизив свое худое лицо вплотную к Мусе, угрожающе спросила: — А ты из каких, кто будешь? Ну!

Во взгляде хозяйки появилось что-то такое, от чего девушке стало жутко.

— Беженцы мы с отцом, — протянула она растерянно.

— Заладила сорока Якова и твердит про всякого: беженцы, беженцы!.. Ну ладно, молчи. Только мой тебе совет, девка: раз ты за такое дело взялась, волков стерегись, а людям доверяйся... Ну, вот что, беженка: лекарства твоего достать попробую. У меня в одной горенке раненые, а в другой их фельдшер стоит, авось выпрошу.

Теперь, когда Мусины глаза свыклись с прохладой полутемной клетки, отполированные мешками стены которой еще хранили сытные запахи зерна, она разглядела, что на полу, прикрывшись большой старой шубой, спал мальчик лет двенадцати, такой же худой и некрасивый, как мать.

Женщина заботливо поправила у него в изголовье подушку, потом достала откуда-то из-под окна крынку молока, большой ломоть несвежего, подсыхающего хлеба и молча положила перед гостьей. Сама она села напротив и, искоса следя за тем, как девушка ест, только вздыхала. Когда Муся, собрав пальцами последние крошки, отправила их в рот, хозяйка поднялась, отрезала еще изрядный ломоть и опять молча положила перед ней. Выражение тревожной тоски ни на миг не покидало ее усталых глаз.

— Что это пушек второй день не слышать? Не ушли ли наши с реки, а? — Не дождавшись ответа, она продолжала: — Молчишь? Опять инструкция иль, верно, не знаешь? Ну, молчи, молчи. Так я сама тебе рассказывать стану. Может, кому там у вас, — она неопределенно махнула узловатой рукой на восток, — может, для чего и сгодится болтовня-то моя. Слушай! Тут вся округа ранеными забита, а новых все волокут и день и ночь, и день и ночь. Здоровый урон тут Гитлер терпит!

Хозяйка помолчала, прислушалась к глухо доносившимся сквозь стену мужским голосам и продолжала:

— Набито их тут видимо-невидимо! Кладбище на горوشке видала? Ну вот, под каждым крестом по двое, по трое, а то и по пять штук кладут. Навалом валят. А оттуда, — она махнула рукой на запад, — свежих на машинах гонят. Откуда берут только?... Что у вас, не слышать, часом, надолго ли их хватит?

Теперь Муся уже понимала, что хозяйка принимает ее не то за партизанку, не то за разведчицу — из тех, что, как говорили в деревнях, по ночам сбрасывают на парашютах на оккупированную территорию. Общаясь теперь с людьми, Муся знала, что в ответ на зов партии советские люди разжигают в тылу врага огонь партизанской войны. Ее принимают за партизанку — пусть. То, что они делают с Митрофаном Ильичом, — это тоже важно для страны, и они имеют право и на сочувствие и на помощь, которые эта женщина адресует лесным воинам. Рассудив так, Муся напрямки спросила хозяйку, где в этих краях лучше перейти фронт.

— С этим делом, видать, обождать придется — очень много натащили они к берегу всяческой всячины. И еще... — хозяйка вздохнула, — и еще там ли фронт-то, где вчера был, не ушел ли? Я ж говорила — тихо что-то. Пушек уж с вечера не слышать, догонять бы его тебе не пришлось.

Хлопнула дверь. В сенях застучали шаги, громко и тяжело, будто по деревянному помосту шагала чугунная статуя. И Муся, и хозяйка, и проснувшийся мальчик, поднявший голову, замерли, прислушиваясь. Скрипнула дверь избы. Шаги стали глуше.

— Вернулся, идол!.. Лекарства-то тебе взаправду надо или только для разговору придумала?

— Нет, нет, нужно! — встрепенулась Муся. Она назвала лекарство и спросила: — Хотите, я с вами пойду?

Хозяйка окинула критическим взглядом худенькую фигурку в лыжном костюме:

— Где тебе! Молода еще и врать-то, поди, путем не научилась. Одна схожу. А ты приляг вот тут рядом с Костькой под тулуп, будто спишь. А в случае чего, ты — моя племянница Нюшка, из «Первого мая». Брат мой Федор, твой отец значит, болен. Вот ты сюда за лекарством и пришла... Я и сама вовек не врала, а вот на старости лет учусь. Эти не тому еще научат! Ну, сидите тут.

Женщина вышла. Через минуту откуда-то, должно быть из закута во дворе, где вздыхала и шуршала соломой корова, донеслись истерические куриные крики. Потом босые ноги хозяйки прошлепали по помосту, глухо скрипнула обитая мешковиной дверь.

Муся прилегла на пол рядом с мальчиком и, стараясь подавить в себе нервный озноб, прислушивалась к мужскому и женскому голосам, глухо доносившимся из-за стены. На своей щеке она чувствовала дыхание мальчика. Рядом в полутьме мерцали его белесые глаза.

— Не дрожи, обойдется. Мамке не впервой их обдурять, — сказал он ломким мальчишеским голосом.

— А ты не боишься?

— Поначалу боялся. А как же! Комендант четырех наших у пожарного сарая повесил... А теперь ничего, уж по боле двух недель под топором живем, привыкли.

Муся придвинулась к мальчику. В соседстве с этим маленьким мужичком не такой уж страшной казалась близость непонятных пришельцев иного мира. Голоса, мужской и женский, казалось, о чем-то спорили за стеной.

— А мама твоя, видать, их тоже не боится?

Мальчик поднялся на локтях. На худеньком длинном личике появилась гордость:

— Про мать один ваш сказал — стальная она, вот! Ее сейчас весь колхоз слушается.

Опять скрипнула дверь. Наконец! Муся сжалась, зажмурилась. Бухающие чугунные шаги простучали по помосту, по заскрипевшим ступенькам крыльца и стихли на улице. В двери клетки показалась хозяйка. Она была бледна. Одна щека у нее была обрызгана кровью. В узловатой руке она держала пузырек с белыми таблетками.

— Дал. Курицу зарезала, курицей ему поклонилась. Дал. Ты там скажи, кому надо: фриц-то, он тоже не одинаковый. Одному война мать родна, а другому, вот хоть, к примеру, нашему, — видать, не по зубам. Все вздыхает: ниht гут, ниht гут. И война — ниht гут, и Россия — ниht гут, и жизнь — ниht гут. По вечерам достанет из кармана карточку — с женой, с ребятами да с внуками, что ли, он на ней снят, смотрит на нее и все вздыхает. Я как-то расхрабрилась, да и спросила: а Гитлер, мол, может быть, тоже ниht гут? Он даже побелел весь, оглядывается кругом, за дверь высунулся, а потом только рукой махнул: тоже, мол!.. Есть, есть у них такие. Только Гитлера этого страх как боятся...

И вдруг без всякой связи с предыдущим она сказала:

— Ты вот ответь нам: скоро ли немцев назад завернут?

Это вырвалось у нее как выкрик. И столько слышалось в нем горя, такая боль прозвучала в нем, что Мусе стало не по себе.

— Скоро, очень скоро, их ненадолго хватит.

— Уж поскорее бы, что ли! Терпенья нет. Слез-то вон реки льются... Ну ступай, ступай! А то их врач как бы не заскочил — этот настоящий фашист, ни одной девки молодой не пропустит.

Муся спрятала пузырек за пазуху и на прощанье попыталась еще раз сунуть хозяйке свое платье. Но та всерьез осерчала:

— Убери! Не такое время, не за картошкой приходила. Слышишь? Дай-ка я тебя провожу, а то не сгребли бы они тебя, голубушку.

Хозяйка накинула старую, порыжевшую жакетку, повязалась платком, повесила на веревке через плечо брусницу, взяла косу, а Мусе дала грабли. Сделала она все это неторопливо, обдуманно — видно, провожать незваных гостей таким способом приходилось ей уже не раз.

— Ну, а бинтиков, марли не надо? — спросила она, уже взявшись за ручку двери. — А то мы тут на помойке старые их бинты собираем, в щелоче вывариваем. Вчера много кому нужно отдала, но маленько еще есть.

— Нет, нет! Спасибо вам, тетечка.



Муся бросилась к хозяйке, крепко поцеловала ее в обветренную, шершавую щеку.

— Нашла время... — сурово отстранилась та. — Ну, иди давай!

Они прошли мимо часового в каске, с автоматом, механически вышагивавшего вдоль палисадника перед избой, встретились и смело разминулись с двумя давешними старыми немцами, тащившими теперь на носилках чье-то покрытое простыней тело, прошли мимо госпитальных фур, запряженных толстозадыми короткохвостыми конями. Из-за брезентов слышались приглушенные стоны. Только что привезли раненых. Миновав двух молчаливых часовых, охранявших въезд в деревню, вышли в поле.

Девушка жадно вдыхала вечерний воздух, густо настоенный запахами подсыхающих трав.

— И еще передай там: беспечные они, фрицы-то. Не стерегутся, особенно ночью. Залягут в избе и храпят на весь колхоз, аж печь трясется.

Когда прощались у лесной опушки, Муся вернула хозяйке грабли. Та сунула ей взамен узелочек, от которого шел аромат кислого деревенского хлеба, печенного на поду.

— Опять за свое! — проворчала хозяйка, когда девушка принялась ее благодарить. — И моим там кто кусок подаст. — А потом шепнула: — А может, знаешь: скоро ль вернетесь? Долго ль нам, горьким, вас ждать?

— Скоро, скоро, тетечка! — ответила Муся с такой уверенностью, будто ей были известны все планы советского командования, и, уловив усмешку в умных усталых глазах хозяйки, смущенно добавила: — Товарищ Сталин сказал же третьего июля, что скоро...

— Нет, неправда, «скоро» он не сказал, — сурово ответила хозяйка. — Партия народ никогда не обманывает... Ну ступай.

И долго еще, уходя полевой заросшей дорогой, девушка видела сквозь шеренги березовых крестов, которыми ошетинился пригорок, белый платок и косу, розовато сверкавшую в лучах заката.

16

Там, в деревне, близость врагов, острое чувство опасности как-то заглушали в Мусе тревогу за судьбу Митрофана Ильича. Теперь, очутившись одна, она со страхом подумала, что потеряла слишком много времени. Она шла все быстрее и быстрее, порой переходя на бег. Прижимая к себе пузырек с таблетками, она чувствовала, что сердце у нее колотится так, будто за пазухой бьется, пытаясь вырваться, живая птица. А солнце уже садилось за лес: вершины елей буйно пламенели, подсвеченные огнем заката.

Тьма накрыла девушку на лесной дороге, где-то вблизи от места, у которого она должна была свертывать на тропу. Место это Муся давеча отметила, заломав две ольхи по обе стороны незаметной тропки. Но сейчас, когда сумерки сгустились так, что кусты и деревья в них слились в сплошную темную зубчатую стену, девушка никак не могла отыскать своих заломов. Как птица, гнездо которой разорил ветер, кружилась она, вглядываясь в тьму, ощупывая руками придорожные кусты. Заломленных ольх не было. Вдруг девушку поразила мысль: а что, если кто-нибудь случайно срубил их? Что, если она безнадежно заблудилась и не найдет дороги обратно?

От такого предположения она сразу ослабела и без сил опустилась на землю.

Ей ясно представилось, как больной Митрофан Ильич мечется, как он зовет ее. Стало страшно. Она вскочила и, спотыкаясь во тьме, царапая о кусты лицо и руки, снова принялась искать исчезнувшую тропинку. Серпик тощей луны, выскользнув из-за леса, медленно забрался в самый зенит, а девушка все еще бродила вдоль дороги. Наконец, совершенно обессилев, она упала в кустах и сразу же уснула, сломленная отчаянием и усталостью.

Первый раз в жизни она спала в лесу совершенно одна. Тревожно шумел порывистый ветер. Тоскливо постанывала невдалеке надломленная сосна. Где-то рядом совсем человеческим голосом подвывала выпь. Маленькие тучки, точно спасаясь от какой-то опасности, торопливо бежали мимо луны. Муся ничего этого не видела и не слышала. Предутренный туман заволок всю окрестность, но девушка не чувствовала ни сырости, ни холода.

Муся спала без снов, как спят очень усталые дети. Но первое же дуновение предутренного ветерка разбудило ее. Она сразу вскочила. К свежему аромату влажного от росы леса ощутительно примешивался кисловатый хлебный дух. Девушка почувствовала спазмы в желудке. Но лес уже выступил из густо-серой рассветной мглы, и есть было некогда.

Муся выбежала на дорогу и почти рядом увидела раздвоенную в виде рогатки сосну. Недели скитаний заострили зрительную память. Девушка сразу узнала эту сосну и побежала по дороге, заметила знакомый камень, напоминавший ей вчера собачью голову, наконец в двух шагах от этого камня — две уже покрасневшие по надлому ольхи, которыми она отметила поворот на тропинку.

Весь остальной путь она бежала что есть сил.

Стояло чудное августовское утро, одно из тех, когда умытая росой природа выглядит особенно яркой, а воздух так прозрачен и чист, что пейзаж теряет перспективу и кажется как бы плоским. Мотыльки покачивались на сухих веточках вереска. Басовито, словно тяжелые бомбардировщики, гудели шмели. Все цвело, звенело, переливалось яркими красками. Но в воздухе чувствовалось уже что-то такое, что говорило о конце лета.

Девушка бежала, не замечая мягкой грусти, разлитой в природе. Она останавливалась лишь на миг, чтобы передохнуть, утихомирить бьющееся сердце, и вновь пускалась бегом, перескакивая через пеньки, продираясь сквозь кустарник. Только бы не опоздать, только бы застать его живым! Она даже не заметила, как переменялась погода. Небо заволокло серой хмарью, все померкло, точно бы полиняло, и начал сеять мелкий дождик.

Совсем уже выдохнувшись, как бегун на последней дистанции, Муся выскочила на поляну. Все перед ней качалось и плыло. Вот она, гряда стогов! Наконец-то! Из последних сил девушка рванулась к крайнему стогу, подбежала, огляделась и, вскрикнув, упала лицом в сено, точно, кто-то сильно ударил ее в затылок.

Митрофана Ильича в стогу не было.

Передохнув, Муся принялась за поиски. Девушка быстро обшарила сено, обежала стог вокруг, осмотрела соседние. Старик исчез бесследно.

Позабыв об осторожности, она принялась громко звать его по имени. Эхо, отдельно и звучно отвечавшее ей из леса, усугубляло ее одиночество. Тогда девушка бросилась обратно к стогу и вновь начала перерывать сено. Она докопалась до сырой поблекшей травы. Мешок тоже исчез.

Может быть, это все же не та полянка, не тот стог? Ах, если бы это так! Нет, вот уголь от костра, который она разводила, вот сереет в траве шелуха молодой картошки, которую она выплеснула вместе с водой.

Отчаяние овладело Мусей. Она бросилась ничком в растерзанный стог и застыла в полной неподвижности, не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой, будто внутри лопнула пружина, все время державшая ее на крутом заводе.

Все! Все усилия, все жертвы пошли прахом. Стоит ли дальше жить? Но куда, куда все исчезло? А все оттого, что она, Муська Волкова, ушла и оставила больного, беспомощного старика и не сумела его даже как следует спрятать.

Девушка застонала, точно от физической боли.

Легкий шорох, раздавшийся где-то вблизи, заставил Мусю насторожиться. Тем особым чутьем, какое вырабатывается у человека в долгих скитаниях, она почувствовала, что не одна: кто-то следит за ней. Но она не испугалась. Тягостное безразличие ко всему парализовало ее волю. Опять хрустнула сухая ветка.

Муся вскочила и отпрянула, прижалась к стогу. Неподалеку, шагах в десяти от нее, среди мелкого и редкого березничка стояла высокая молодая женщина в низко повязанном белом платке. Она смотрела на Мусю спокойно, испытующе. Поборов в себе предательскую дрожь, девушка выпрямилась, тряхнула выгоревшими кудрями и гордо вскинула голову:

— Вы кто? Что вам здесь надо?

Апатии как и не бывало. Вся внутренне оцетинившись, Муся снова готова была бороться.

— Ну что вы на меня так уставились?

— Здравствуйтесь вам, — проговорила незнакомка низким, грудным, приятным голосом. — Вот гляжу и удивляюсь: чего-то вы ищете тут, в стожках? Потеряли, что ли, чего?

— А вам какая печаль? Может быть, я ваше сено смяла?

— Да нет, моей печали тут никакой нету. Гляжу вот только, чего это девушка в стожках шарит? Дай, думаю, спрошу — может, помощь человеку какая нужна...

Говорила незнакомка неторопливо, говор у нее был цокающий, каким говорили не в здешних местах, а в краях, откуда шла Муся. Женщина сказала: «цего», «целовек», а вместо «стожки», «шарит» — «стоски», «сарит». Но цоканье не портило речи, а, наоборот, придавало ей какую-то своеобразную окраску и напоминало Мусе родной город, родные места.

Между тем незнакомка неторопливо вышла из кустов, широкой ладонью заправила под платок густые каштановые пряди, а самый платок сдвинула со лба, и Мусе открылось все ее продолговатое, красивого овала лицо, с черными глазами и такими бархатными бровями, что казалось, будто они искусно нарисованы тушью на смуглой шелковистой коже. Лицо это показалось Мусе очень знакомым. Она сразу решила, что где-то уже встречала эту женщину, но где и когда — вспомнить не смогла. Незнакомка была в умело сшитом темном, хорошей шерсти костюме, голова ее была повязана большим пуховым платком. Так одевались знатные колхозницы из богатых артелей, приезжавшие в город на разные конференции и слеты. Но на ногах у женщины были чистые полотняные онучи и аккуратные лапти, причем онучи были обернуты с таким изяществом, что не скрывали линий сильных икр. Такую обувь Муся видела только раз, да и то не в жизни, а в опере «Иван Сусанин».

Была в облике незнакомки одна необычайная черта, сразу же бросавшаяся в глаза. Что-то — но что именно, девушка сразу не могла понять: может быть, бодрый, свежий вид, а может быть, открытый прямой взгляд, полный достоинства и уверенности, — делало эту женщину не похожей на всех тех, кого Мусе доводилось уже встречать на оккупированной территории.

Девушка решила, что незнакомку, пожалуй, бояться нечего.

— Вы не видели тут больного? — спросила она, мучительно стараясь вспомнить, где она уже видела это открытое, красивое черноброе лицо. — Он здесь вот, в стогу, лежал.

— Молодой, белявенький такой? — спросила незнакомка, дружелюбно, но не без хитрецы посмотрев на Мусю.

— Да нет же, старик, высокий, сутулый, с бородкой... Он уж идти не мог, заболел.

— А фамилию, имечко знаете?

Женщине явно было что-то известно о судьбе Мусиного спутника, а может быть, и об исчезнувших ценностях. «Не фашисты ли ее подослали? — мелькнуло в уме девушки. — Да нет, не может быть! У нее такое хорошее лицо и глаза ласковые... жалеет... И что из того, если даже фашисты и узнают его имя! Мешка-то все равно нет».

— Корецкий, Митрофан Ильич, — устало сказала девушка. — Мы с ним пробира... то есть, я хочу сказать, побирались по деревням. — Муся мотнула холщовой торбой, висевшей у нее за плечами.

— Так вы, стало быть, Катя и есть?

При этом вопросе незнакомка в упор посмотрела на девушку. «Ну да, и эти вот красивые глаза с поволокой, конечно, знакомы. Когда и где я ее видела? И она наверняка что-то знает... Но если знает, зачем она назвала другое имя?»

— Нет, меня звать Марией, Мария Волкова... Мы с товарищем Корецким хотели перейти фронт и пробирались к своим, — твердо ответила Муся и с вызовом посмотрела в глаза женщине.

Незнакомка улыбнулась — улыбнулась открыто, широко, так, что смуглое лицо ее точно бы все осветилось влажным блеском крупных ровных зубов.

— А я Матрена Рубцова из колхоза «Красный пахарь». Может, слышали? Вашего же района. Он у нас громкий, колхоз-то, был.

Она привлекла к себе Мусю большой, сильной рукой и, прижав, сказала тихо и задушевно:

— Приказал он, Корецкий-то, Митрофан Ильич, нам с вами долго жить. Помер. Вчера на закате помер. Хоронить вот собрались, да вас поджидаем.

Муся сразу почувствовала себя маленькой, беспомощной и такой усталой, будто все тяготы и страхи последних недель разом навалились на нее. Она прижалась к женщине, и оттого, что та была рядом, ласковая, большая, и по-матерински гладила ее по голове, слезы неудержимо хлынули из глаз, и девушка забилась в судорожных тоскливых рыданиях.

— Поплачьте, поплачьте, Маша, слезой любое горе исходит, — проговорила Матрена Рубцова. — Хорошо он помер, Митрофан-то Ильич, с открытыми глазами, в ясном уме. Перед смертью волю свою нам сказал... Вас все поминал, беспокоился...

Муся вскинула на Матрену Рубцову огромные серые глаза, которые от наполнивших их слез казались еще больше. Во взгляде ее были одновременно и тревога, и испуг, и мольба, и надежда.

— А мешок? Где мешок, который мы с ним несли?

— Паспорт-то у вас, девушка, сохранился или какой документик? — спросила Матрена, и чувствовалось, что ей неловко задавать этот вопрос.

Муся вытащила из-за пазухи клеенчатый мешочек, в котором хранились у нее паспорт, комсомольский билет и справка, свидетельствующая о том, что отделение банка «выплатило Волковой Марии Николаевне двухнедельное пособие, причитавшееся ей в связи с эвакуацией учреждения». Матрена Рубцова деловито посмотрела на бумаги. Сравнила худенькую задорную девчонку с подведенными сердечком губами, что изображена была на фотографии документов, с загорелым, обветренным, возмужавшим оригиналом и протянула документы обратно:

— Ясно. Вы на меня, девушка, не обижайтесь, сами понимаете, где и когда встретиться-то привелось. Фашист — он хитер, кем только не прикинется. — И, наклонившись к Мусе, она шепотом сказала: — За то не беспокойся, то сейчас в верных руках. Ни соринки, ни пылинки из того не пропадет. Идем-ка с телом простимся, зарывать пора... Ценный, видать, был человек...

Тело Митрофана Ильича, завернутое в старенькую, латаную простыню, лежало в леске, в тени берез. Из белого савана видна была только голова, положенная на свежие березовые ветки. Лицо старика, исхудавшее, просвечивавшее восковой желтью, было спокойно и строго. Казалось, вдоволь потрудившись, он крепко уснул.

Под высокой сосной была вырыта могила. Два заступа торчали в отвалах темно-желтого влажного песка. У могилы стояли незнакомые женщины. Они сочувственно поглядывали на Мусю. Матрена Рубцова подошла к ним и стала шепотом что-то рассказывать. Женщины вздыхали, кивали головой.

Но Муся не слышала их приглушенного говора, не видела их понимающих взглядов. Она вообще ничего не видела, не слышала в эту минуту. Молча стояла она у тела своего товарища по скитаниям и не могла оторвать взгляда от его спокойного лица. Глаза у нее были сухие, но все в ней плакало бурно и безутешно. Ей было страшно оттого, что этот человек, заменивший ей отца, товарищей и весь привычный мир, из которого ее вырвала война, больше не встанет, не будет торопить ее, не побранит ее за легкомыслие. Некому больше приобщать ее к тайнам лесной жизни, которую он так хорошо знал, не с кем продолжать путь. «И это навсегда! Этого нельзя исправить!»

Муся вздохнула и оглянулась. В стороне молчаливой группой, в извечной позе бабьего горя, сцепив на груди руки и подперев щеку ладонью, стояли незнакомые женщины. И опять, как и при встрече с Матреной Рубцовой, подумалось Мусе: что-то отличает их от всех, кого она встречала в эти последние недели, как будто жили они не на оккупированной земле, а в своей привычной обстановке.

С низкого, нависшего тяжелого неба сеялась тонкая изморось. Сеялась она бесшумно, но в лесу, не смолкая, стоял грустный шелест. «Откуда он, этот печальный шелест?» — подумалось девушке, и она посмотрела кругом. Влага скапливалась на сучках и хвое высоких сосен. Мелкие капли падали на березовый подлесок и, встряхивая мокрый лист, сбивали с него капли покрупней, а эти тяжело стучались об узорчатые лапы пышного папоротника. Листья папоротника вздрагивали и покачивались. С них, как с крыш, по желобам стебельков сбегали тонкие сверкающие струйки — сбегали и падали на брусничник, на зеленый мох и потом уже впитывались в землю.

Это движение водяных капель и порождало тот непрерывный печальный шелест, стоявший в лесу. Лес плакал.

Точно поняв, о чем думает сейчас девушка, Матрена Рубцова отделилась от группы женщин, подошла к ней и, легонько обняв, как подружку, как младшую сестру, шепнула:

— А вы поплачьте — легче будет. Немало слез сейчас земля принимает... А жить-то надо, надо жить, девушка!

«Где же, где я ее видела?» — снова подумала Муся, смотря во все глаза на свою новую знакомую.

## Часть вторая

1

Муся никогда не встречала Матрены Никитичны Рубцовой до того самого дня, пока судьба военного лихолетья неожиданно не столкнула их на лесной поляне у раскрытой могилы Митрофана Ильича. Но первое впечатление не обмануло девушку. Она действительно не раз видела это красивое, строгое лицо, дышащее спокойной энергией, но видела не в жизни, а на фотографиях в газетах и журналах. Если бы Муся в минуту их встречи не была так потрясена, она, несомненно, вспомнила бы и фамилию и имя незнакомки, так как знатная животноводка Матрена Рубцова была известна не только в тех краях, где жила Муся, но и по всему Советскому Союзу.

Фоторепортеры местных и столичных газет, частенько навещавшие «Красный пахарь», любили ее снимать. Фотоэюд, на котором Матрена Никитична, прижимавшая к себе две пестрые телячьи мордочки, была сфотографирована в развевающейся по ветру шали на фоне тонких берез, радостная, вся точно искрящаяся молодым весельем, получил золотую медаль на международном конкурсе. Снимок этот в увеличенном виде был издан приложением к известному иллюстрированному журналу, и с той поры портрет колхозной красавицы с телятами, образ которой как бы символизировал собою новую деревню, можно было видеть в предвоенные годы и в крестьянском доме, и в рабочей квартире, и в клубе, и в избе-читальне.

К своей громкой трудовой славе Матрена Никитична пришла не сразу. Не прост и не легок был ее сравнительно еще короткий жизненный путь.

Мать Рубцовой, крестьянская сирота, воспитанная сердобольными соседями, была почти девочкой против воли сосватана за пожилого бобыля, батрачившего у помещика. У нее не было ничего, кроме молодости, редкой красоты да не знавших устали рабочих рук. У ее мужа была ветхая пустая избенка с поросшей зеленым мхом крышей, догнивавшая у околицы большого торгового села. Это был горюн-неудачник, не злой, но хмурый, неразговорчивый человек, давно отчаявшийся выбиться в люди. Матрена отца не помнила. Он замерз в поле, захваченный метелью в своей ветхой, рваной одежонке на пути из барской усадьбы в село. Матрене минуло тогда три года, а ее братишку мать кормила еще грудью.

Не избалованная жизнью, крестьянка стойко перенесла и это горе. Летом она неутомимо копалась на маленькой усадьбе за своей избой, помогала людям на сенокосе, на жнивье и молотье, а зимой ходила поденно трепать чужой лен, вязала на продажу варежки и этим кое-как кормила своих малышей. С трех с половиной лет Матрена оставалась нянькой при маленьком, а пяти уже помогала матери прясть и мотать шерсть. Земли у них не было. И долго, до самых зрелых лет, вспоминала Матрена, как в те далекие зимы, когда над заиндеветшей деревней в желтом морозном воздухе высоко поднимались неподвижные хвосты дымков, их избу совсем заметало. Сугробы надвигались на окна, наваливались на крыльцо, припирали дверь. Через дырявую крышу снег сеялся в сени, проникал в избу и узкой полоской ложился у входа. Ни один живой след не бороздил эти сугробы. Их никто не

разгребал, не протапывал.

Мать ютилась на печке, закрывая детей заплатанной, вытертой, лоснящейся шубой. От зари до глубокого вечера, а то и за полночь, при мерцающем свете чадной лучины, она все вязала, вязала, вязала, как казалось маленькой Мотре, все одну и ту же варежку с коричневым узором, выведенным пряжей, окрашенной в луковой шелухе. Дыхание вылетало у нее изо рта белым паром. Она отрывалась от кропотливой работы только затем, чтобы переменить лучину, засунутую меж кирпичами печной трубы, погреть у себя подмышками заледеневшие пальцы. Часто ее схватывал хриплый кашель, такой тяжелый и надсадный, что детям казалось, будто что-то лопается у нее в груди.

Весной, когда снег сгоняло и под окнами смолкала тяжелая капель, а на старой вербе, что росла на огороде, начинали отчаянно гомонить грачи, Мотря помогала матери копаться на усадьбе во влажной земле, отдающей теплом, сыростью и острым запахом прелого навоза. Это была самая счастливая пора. Мать, помолодевшая, похорошевшая, с неестественно ярким румянцем, разлитым по смуглым щекам, ловко действовала старой лопатой. Мотря и маленький Колька разбивали слежавшиеся комья земли, выбирали коренья сорняков с высоких гряд, взбитых, точно пуховики. Возбужденно, по-весеннему орали грачи, восстанавливая свои поврежденные вьюгами гнезда, солнышко грело, прозрачная дымка колебалась над черной влажной землей. И вдруг мать принималась кашлять, лопата вываливалась у нее из рук, и она бессильно опускалась на землю, покрытую бурой, прошлогодней травой. Откашлявшись, мать сплевывала кровью куда-нибудь подальше в сторону. Девочке становилось жутко.

Иногда, поднявшись на заре, когда их сверстники еще спали, Мотря с Колькой, захватив ведерко, отправлялись по селу собирать навоз для огорода. Они старались управиться до того, как погонят стадо. Но навозу было нужно много, приходилось ходить и днем, и тогда крестьянская детвора бегала за ними, кидала в них сухие конские яблоки и кричала на все лады: «Навозные побирушки! Чахоткины дети!»

«Навозные побирушки» — это было еще терпимо, но «чахоткины дети» — это касалось матери. И тут иной раз тихая, застенчивая Мотря не выдерживала обиды, хватала первый попавшийся под руку камень-голыш, осколки кирпича или палку и с плачем бросалась на своих мучителей. Из дневных вылазок за навозом дети часто приходили с пустым ведром, избитые, исцарапанные, в слезах. Мать утешала их, смывала у колодца кровь, вздыхала и грустно повторяла все одну и ту же пословицу: «С сильным не дерись, с богатым не судись».

И хотя ребятам весь день приходилось копаться на огороде, собирать навоз, таскать из колодца воду для поливки, а когда мать уходила батрачить на чужой сенокос, то и самим поливать, полоть, подкармливать овощи, — летом все было нипочем. Поднималась молодая трава, в полях появлялась кислица, у заборов росла свежая крапива. Из крапивы и кислицы варили щи. Потом начинались ягоды, за ними шли грибы. Их можно было не только есть, но и продавать дачникам. Потом поспевали овощи. В эту пору даже в грустных, оттененных большими синими кругами глазах матери зажигались веселые искорки.

В иной погожий летний вечер, когда вместе с ленивым пением разомлевших на жаре петухов и стуком отбиваемых кос в избу через открытые крохотные окошки просовывались золотые снопы солнечных лучей, мать принималась расчесывать старым деревянным гребнем свои длинные волнистые косы, затем выкладывала их широким венцом на крупной, гордо посаженной голове и подолгу смотрела на свое отражение в радужно отливающим темном стекле. При этом она всегда пела одну и ту же грустную песню:

Хороша я, хороша,

Плохо лишь одета,

Никто замуж не берет

Девушку за это...

Мотря усаживалась у ее ног и мечтала, как вырастет она большая, как будет работать у господ, работать от зари до зари, как наживет она много денег и купят они козу, и будет у них молоко, которое так нужно для здоровья матери. Мать поправится, все вместе станут трудиться, поднимутся, починят крышу, купят стол, скамейки, будут жить как люди, и никто не посмеет дразнить ее и Кольку «чахоткиными детьми» и бросать в них конским навозом. А мать будет всегда такая же красивая, веселая, какой она бывает в эти редкие летние вечера. Главное — сколотить денег и купить козу. Соседка Агафья все время толкует, что жирное козье молоко в два счета поставит мать на ноги. Эта коза, казавшаяся избавительницей от всех бед, превратилась для девочки во что-то сказочное, как перо жар-птицы, как цветок Ивановой ночи.

Разгоралась война. Никто не хотел больше продавать шерсти. Покупатели варежек — возчики, прасолы, мелкий торговый люд — наступали в Восточной Пруссии, гнили в окопах на равнинах Польши. Чтобы спасти ребят от голодной смерти, мать Матрены Рубцовой, заперев Кольку в холодной избе и наказав ему никому не открывать, вместе с дочкой отправлялась собирать подаяние. Просить в своем селе ей не позволяла природная гордость, да своим и не подавали. Мать с дочерью обходили обычно дальние деревни — Мигалово, Кадино, Пожитново — и большое волостное село Ключи. Подавали скудно. Иная тетка и рада бы, да у самой кусок на счету. И в избу пустит и погреться даст, а насчет хлеба — ступай с богом, самим нечего есть. Иной раз, пройдя в день верст пятнадцать-двадцать, мать и дочка возвращались домой с десятком сухих, заплесневевших горбушек, которых едва хватало на два-три дня. На сельской улице Мотре с Колькой теперь и вовсе нельзя было показаться из-за ребячьих выкриков: «Нищенки-вшищенки!»

Мать умерла весной, в половодье, когда Матрене шел двенадцатый год. Сельский сход решил назначить сиротам опекуна. Но Мотря, помня историю матери, наотрез отказалась. Она заявила, что никому до них с Колькой дела нет, они сами себя как-нибудь прокормят. Дети упорно работали зиму и лето, работали и днем, а часто и ночью. Умирая, мать наказывала девочке кормиться от огорода. И Мотря с прежним старанием выращивала овощи, носила их на базар в волостное село. Летом помогала на сенокосе и уборке зажиточным соседям; зимой, по примеру матери, пряла и сучила шерсть, красила пряжу луковой шелухой, вязала варежки.

Так прожили дети несколько лет.

Мотря стала рослой, крепкой, не по годам серьезной девочкой, ловко управлявшейся с жалким хозяйством. Она была смышлена, расторопна, молчалива и вынослива. Заприметив в подростке эти качества, сельский богачей Егоричев «сжалился» над нею и взял ее на сезон батрачить. По неписанным сельским тарифам тех лет ей положено было при хозяйских харчах за сезон: куль муки да платье или полусапожки с резинками — на выбор. Но девочка взамен этого попросила у хозяина телку. Егоричев, спрятав ухмылку в реденькой бороденке, согласился. У него во дворе стояло восемь коров симментальской породы, и такой способ расплаты его вполне устраивал.

Ох, как работала это лето Мотря на чужих полях! Без хозяйской побудки она поднималась задолго до того, как начинало белеть в щелях ворот сеного сарая, где спали батраки, а ложилась с последними петухами. И на скотном дворе, и на хозяйских огородах, и на лугах в сенокос, и на полях в жнивье она трудилась наравне со взрослыми. Надежда на хозяйскую



благодарность подогревала, подстегивала девочку. Мечта о красной телке с белыми пятнами, с бархатистой шерстью и круглыми задумчивыми глазами помогала ей переносить непосильный труд, насмешки кое-кого из батраков и батрачек, невзлюбивших ее за чрезмерное усердие на хозяйском деле. Лишь на минуту по пути на луг или на поле она забегала проведать Кольку, оставить ему короткие распоряжения по дому и огороду. Впрочем, хмурый и молчаливый мальчик, тоже захваченный мечтой о собственной скотине, ухитрялся поспевать не только с огородными делами. Упросив соседа отбить ему старую косу, найденную на чердаке, он сам насадил ее на косовище и по утрам отправлялся с ней в соседний казенный лес. Там он тайком выкашивал травянистые проплешины меж деревьев. Сено затемно перетаскивал в мешке к себе и набивал им пустующую половину избы.

И вот мечта сбылась. Поздней осенью, когда в просторном и крепком хозяйском сарае дотрепывали последний лен и развешивали на жердях под крышей шелковистые кулитки, в сутулой, подслеповатой избенке появилась телка. Дети, не сговариваясь, сразу назвали ее Козочкой в честь той козы, что в их мечтах должна была спасти, да так и не спасла их мать. Эту телку сам Егоричев привез сиротам в плетеном своем шарабане. Вела себя телка странно: ни за что не хотела стоять и вяло отворачивалась от вкусного пойла. Почуввав недоброе, Мотря побежала к соседям. Осмотрев телку, сосед только погрозил кулаком в сторону высокого егоричевского дома, плюнул и, стараясь не смотреть на оторопевших сирот, вышел из избы. А соседка, всплакнув вместе с Мотрей, объявила, что телка больна поносом и не жилица на этом свете, что лучше, пока не поздно, прирезать ее — по крайней мере, хоть мясо можно будет продать.

Бросилась девчонка с братом к Егоричеву, ворвалась в дом, на чистую половину, где тот за самоваром торговался со скупщиком льна, и объявила, что телка околевает. Егоричев — маленький, тщедушный человечек с морщинистым, в кулачок лицом, на котором бегали живые ласковые глазки, — сначала было завздыхал, заохал, принялся сочувствовать и соболезнавать. Когда же Мотря сквозь слезы стала его стыдить и спрашивать перед гостем, разве она плохо, разве мало она работала, Егоричев только руками развел: работала, слов нет, хорошо, рук не жалела, но ведь и он своему слову господин. Рядились за телку — телку и получила, да не какую-нибудь деревенскую замухрышку — отборных кровей, чистой породы. Верно, не лучшую дал, но уговора о том не было, да и кто ж себе враг? Стало быть, и шуметь и людей почтенных попусту ревом беспокоить нечего...

Посоветовали Мотре дойти до председателя комбеда, хромого матроса Игната Рубцова, недавно вернувшегося с гражданской войны. Выслушал Игнат девчонку, сжал огромный волосатый кулачище, так что на натянувшейся коже заблестели вытатуированные на нем якоря и русалки, посулил мироеду такого, что девочка чуть не сгорела со стыда, а потом сказал хмуро:

— Ничего, брат девка, не поделаешь. Форму чертова гидра контрреволюционная соблюл! Его ни судом, ни комбедовской резолюцией не подковырнишь. Разве вот только в «Бедноте» или в «Лапте» его продернуть или набить ему, пауку, морду в праздник под пьяную руку за такие его дела, за сиротскую обиду.

А телка уже и не поднималась, хирела с каждым днем. Мотря и Колька сбились с ног, не спали возле нее по ночам. А когда телка начала уже и вовсе закатывать глаза, девочка снова кинулась к соседу, выпросила у него ручные салазки, настелила на них сена, положила в него Козочку, и, впрягшись в веревочное ярмо, дети отвезли ее за семь километров, в Ключи, в сельскую больницу. Они подтащили салазки к больничному крыльцу, подняли телку на руки и на глазах обомлевших от удивления больных пронесли ее прямо в докторский кабинет. Врач сначала пришел было в ярость, затопал ногами, стал звать сторожа и требовал, чтобы ребят вместе с их паршивой телушкой вышвырнули вон из храма медицины. Но брат с сестрой так плакали, так горячо просили, что он почувствовал наконец за всей бестолковостью этого странного визита лихую сиротскую беду. Сменив гнев на милость, врач приказал перенести

телку в теплое стойло больничной лошади, после приема осмотрел необыкновенного пациента и, проконсультировавшись по телефону с уездным ветеринаром, приказал провизору приготовить микстуру, которую сам и влил Козочке в рот с помощью резинового баллончика...

Весной, когда тощая и грязная скотина, вся облепленная навозной коростой, с пьяным, возбужденным ревом хлынула из прогонов на еще полную непросохшей грязи, но уже прорастающую зелеными сабельками свежей травы сельскую улицу, Матрена и Колька выгнали в стадо свою Козочку, предварительно окурив ее, по обычаю, духмяным дымом богородицыной травы.

Летом Мотря опять батрачила у Егоричева. Это была длиннорукая девчонка-подросток, с ребячьим пушком на щеках и с круглыми черными глазами. Но рядилась на работу она уже вместе со взрослыми и работала не меньше иного мужчины. И какой бы страдний ни выдавался день, как бы ни ломило от работы кости и ни клонило в сон, она, отказав себе в отдыхе или урвав немного времени от ужина, всегда ухитрялась забежать домой, чтобы позаботиться о братишке, взглянуть на свою любимицу, погладить ее жесткую лоснящуюся шерсть, дать ей густо посоленную хлебную корку, утаенную при ужине, или хрустящий ранний огурец, унесенный в рукаве из хозяйских парников.

Из всех многообразных дел, которые Мотре приходилось с утра и до ночи выполнять в хозяйстве Егоричева, любила она лишь работу в коровнике. И хотя царствовавшая здесь Егориха была известна как самая сварливая баба в волости, хотя она не давала девочке ни минуты покоя и не скупилась на пинки и подзатыльники, Мотря безропотно переносила их, стараясь подсмотреть, как хозяйка обхаживает своих славившихся на весь уезд коров, чем кормит, как поит их, и все это запоминала для своей Козочки. На зиму девочка перевела телушку в избу. Они с братом за семь километров возили на санях в бадье из больницы помои, которые доктор, растроганный сиротским горем, приказал собирать для своей бывшей «пациентки». Дети отказывали себе во всем, порой просто голодали, но Козочка питалась не хуже, чем егоричевское стадо. И вскоре у Матрены была лучшая телушка в селе. Зажиточные мужики, даже сам Егоричев, наперебой подбивали девочку продать Козочку или поменять на другую корову с щедрой придачей.

Мотря вспыхивала гневом. Разве Козочку можно продать? Это была осуществленная мечта, это была надежда на сытую жизнь. Козочка была любимым членом сиротской семьи.

Мотре некогда да и не в чем было ходить в школу. Но брата она заставила учиться и с его помощью, по его учебникам сама потом выучилась читать и писать.

В год, когда Козочка, впервые отелившись, принесла маленького крепкого лобастого бычка и начала давать такую уйму отличного молока, что Мотря стала постоянной поставщицей волостной больницы, случилось событие, сразу повернувшее жизнь сирот. По селу прошел слух, что колченогий Игнат Рубцов, тот самый, к которому бегала когда-то девочка с жалобой на Егоричева, организовал какую-то сельскохозяйственную коммуну «Красный пахарь». Говорили, что под эту затею волисполком отвел помещичью усадьбу с парком и даже самый барский дом. У Егоричева, где все еще батрачила Мотря, коммуну эту сразу перекрестили в «Красного калеку», потому что первыми, как посмеивался хозяин, вошли в нее калеки: кроме самого Рубцова, кривой шорник Зозулин Никита, сухорукий подпасок Женька, а за ними уже потянулась всякая голь-беднота из окрестных деревень, будто бы обрадовавшаяся возможности отщипнуть кусок от дарового пирога.

Мотря слушала хозяйские кривые шуточки и не верила им. Несколько батраков, самых дельных и самых толковых, сразу же, не дожидаясь уплаты за отработанное, подались от Егоричева в «Красный пахарь». Да и самого Игната Рубцова, широкоплечего, дюжего человека, в дни революционных праздников ходившего по селу с большим красным бантом

на старом форменном бушлате, девочка привыкла уважать уже за одно то, что его не любили Егоричев и другие богатей. И вот в воскресенье она вместе с братом явилась в бывший господский дом, меж колоннами которого на натянутых веревках сохло теперь латанное-перелатанное белье; дети зашли в разгороженные тесом на маленькие каморки покои, гудевшие и гомонившие, как растревоженный улей, и где-то под самой крышей, в крохотной комнатке с косым потолком, нашли колченого матроса и спросили:

— Сирот в коммуны берут?

Матрос басовито захохотал. Как же не брать! Сироте в коммуны — красный угол! Сам увлекаясь, он начал рассказывать ребятам, как коммуна оградит людей от кулацкой сволоты, с азартом доказывал, что работать совместно куда спорее, и кончил тем, что принялся рисовать картины необычайной и светлой жизни, которая ждет коммунаров впереди.

Недаром, должно быть, говорили по деревням, что был Игнат Рубцов в Октябрьские дни любимым оратором на своем корабле.

Мысль о справедливой жизни крепко запала ребятам в сердце. И как ни грозился Егоричев, как ни шипела Егориха, накликавая беды на беспутного матроса, морочащего голову несчастным сиротам, как ни советовали детям степенные соседи подождать да поглядеть, как и что будет, Мотря с Колькой, поверив Рубцову, записались в коммуны, решив, что жить хуже, чем они жили, все равно нельзя. Вместе со своими пожитками, для которых и телеги не потребовалось, отдали брат с сестрой в коммуны единственное свое настоящее имущество, свою радость и надежду — Козочку и ее первенца, длинноногого лобастого бычка красной масти со звездочкой на лбу.

В те дни случалось, что люди перед вступлением на неведомый еще коллективный путь иной раз тайком распродавали свой инвентарь, а скот ставили во дворы к своим родичам: дескать, посмотрим, как оно там повернется, и если падать придется, то стоит соломки подстелить на всякий случай... Козочка была введена в огромный, пустовавший двор коммуны второй по счету, вслед за собственной коровой Рубцова. И хотя всем землякам известно было, что матрос человек геройский, что за империалистическую войну имел он полный бант георгиевских крестов, а в гражданскую получил от командования за храбрость кожаные куртку и шаровары да серебряную саблю, прошел по деревням слух, будто не выдержал он и заплакал при всем народе, принимая от сирот их щедрый вклад, а потом будто сверкнул влажными глазами и сказал коммунарам, столпившимся во дворе по случаю необычайного события:

— Назовите гадом Игнашку Рубцова, в глаза ему плюньте, если через десять лет не зацветет наша коммуна и не будет у нас столько скота, что когда наше стадо вечером с лугов пойдет, пыль из волости видна будет!

А на следующий день приходили к Рубцову делегаты сельского схода, корили, урезонивали матроса и взяли с него обещание, что если коммуна прогорит, он не продаст Козочку и вернет ее сиротам.

«Красный пахарь» не прогорел. Были в нем на первых порах и дармоеды, хватало бестолковщины, неурядиц, пережил он приливы и отливы, всеми болезнями переболел. Но вокруг матроса-большевика постепенно образовалось сплоченное ядро людей, веривших в правду коллективной жизни, не унывавших при невзгодах, не поддававшихся ни на какие провокации. И хотя виски матроса от вечных забот поседели до срока, а по широкой скуле прошел синий рваный шрам от кулацкой пули, выпестовал он вместе с коммунарами сильное новое хозяйство и, перестроив его потом, в годы великого перелома, по желанию односельчан, из коммуны в артель, вскоре сделал самым богатым колхозом в районе.

Хороши были в «Красном пахаре» и поля, и пчелы, и льны, и пруд, где отгуливались

зеркальные карпы. Но славой его, предметом гордости и особых забот артельщиков была племенная скотоводческая ферма. От чистопородной коровы Козочки, приведенной сиротами в первые дни коммуны, и от могучего племенного производителя Чемберлена, выросшего из маленького красного бычка с белой звездочкой на упрямом лбу, пошли два рода потомства, превратившиеся со временем в отборное племенное стадо новой породы скота, улучшенной в «Красном пахаре».

Вместе со своей артелью выросла, поднялась, прочно встала на ноги, приобрела громкую трудовую славу и Матрена. Брат ее Николай, летом помогая сестре на ферме, зарабатывая трудодни на сенокосе и уборке хлебов, окончил школу второй ступени, затем уехал в Ленинград и больше уже не вернулся в родной колхоз. Он стал ученым-лесоводом и работал где-то далеко в субтропиках.

Матрена уже взрослой девушкой училась в вечерней школе крестьянской молодежи. С годами она стала образованным человеком, пристрастилась читать животноводческие журналы и брошюры и все, что находила в них интересного и ценного, старалась применить у себя на ферме. Она измучила правленцев постоянными требованиями новых и новых усовершенствований оборудования скотных дворов, ставила смелые зоотехнические опыты, вела записи своих наблюдений, состояла в переписке с животноводческим институтом.

А когда лучших животноводов страны пригласили на совещание в Кремль, поехала туда и бывшая бедняцкая сирота Матрена Никитична.

Высокая, статная, не смущаясь, с крестьянской степенностью вошла она в зал заседаний, с чувством большого достоинства уселась на свое место. Она неторопливо положила перед собой очиненный карандаш, блокнот и оглядела искоса, вправо и влево, взволнованных соседей по скамьям, и красивое лицо ее стало еще спокойней.

Но когда в президиуме появился Иосиф Виссарионович Сталин и с ним руководители партии и правительства, которых Матрена Рубцова никогда в жизни не видела, но которых сразу же узнала по портретам, она не выдержала, вскочила вместе со всеми, радуясь и рукоплещая.

В течение всего совещания делегатка «Красного пахаря» спокойно, внимательно слушала речи, делала записи. Взгляды окружающих часто останавливались на статной русской красавице, так и просившейся на полотно. Наблюдая ее, естественно, с природным достоинством сидящую в этом торжественном кремлевском зале вместе с руководителями партии и государства, трудно было себе представить, что женщину эту дразнили когда-то «чахоткина дочь», что соседние дети брезговали с ней играть, что ходила она в рваных лаптишках, под чужими окнами выпрашивая кусок хлеба на пропитание.

Лет за десять до войны, когда слава «Красного пахаря» только еще начиналась. Матрена Никитична вышла замуж за Якова Рубцова, колхозного конюха, сына того самого матроса Игната, которому она когда-то так беззаветно доверила свою Козочку. Это был застенчивый, невидный собой парень. Они сживали рядом на комсомольских собраниях, вместе в зимние вечера, иной раз в метель и вьюгу, ходили за семь километров в Ключи на занятия в школу крестьянской молодежи. Яков приглянулся Мотре своей сердечностью, скромностью, тем, что никогда не хвалился, не лез вперед, готов был каждому помочь чем мог, а в делах общественных был строг, неуступчив и тверд.

У пригожей девушки, чья слава гремела по всей округе, не было отбоя от женихов. Были среди них и красавцы и ухари. Писал ей пространные письма «с намеком» молодой районный агроном; как говорится, «с ходу» сделал ей предложение пылкий командир кавалерийского эскадрона, расквартированного в «Красном пахаре» на недолгий постой во время корпусных маневров; белокурый симпатичный аспирант животноводческого института, приезжавший собирать материалы для книги о новаторах животноводства, звал девушку учиться в Москву,

а заодно робко и нежно намекал на возможность и более прочного и длительного союза науки с практикой.

Но не эти завидные женихи, а тихий скромница Яша, красневший и тушевавшийся при девушках, сам того не ожидая, покорила сердце разборчивой красавицы. Она сама однажды, когда они возвращались с районного комсомольского актива, неожиданно заявила, что боится состариться, пока он наконец решится ее поцеловать. Ошалев от счастья, Яша с таким старанием стал доказывать ей обратное, что они и не заметили, как лошадь, не чувствуя вожжей, свернула в овсы, и увидели это только тогда, когда с накренившейся телеги оба уже летели в придорожную канаву. Свадьба их стала в районе целым событием. На нее приехали даже представители газет, следивших за трудовыми подвигами молодой колхозницы. Но сельские кумушки, отдав дань обильному угощению, вздыхали и предсказывали, что долго молодые вместе не проживут: очень уж «неравная пара». Вопреки всем этим предсказаниям, в новом, по типовому архитектурному проекту построенном доме, куда въехали молодые Рубцовы, царили совет да любовь. Многообразные колхозные дела, растущая слава не помешали Матрене Никитичне стать хорошей матерью трех ребят. Рубцовы первыми отказались от своего приусадебного участка, заявив, что им с избытком хватает заработанного на трудовни, и этим самым повергли в немалое смущение районных руководителей, не знавших тогда, как им отнестись к такому случаю и не является ли почин молодой пары «перегибом».

Колхозные ходоки, приезжавшие с разных концов страны в «Красный пахарь», чтобы ознакомиться с опытом передового животноводства, обязательно осматривали также и дом молодых Рубцовых. Хозяйственные председатели, собиравшиеся строиться, даже срисовывали для себя его необычную островерхую, черепицей крытую кровлю, под которой была светелка, терраску с резными деревянными столбиками, заменившую традиционное крыльцо, пересчитывали венцы бревен, примеряли, прикидывали. Уезжая к себе домой, они вместе с опытом племенного животноводства, вместе с рецептами кормов, чертежами кормушек, планами коровников развозили по стране и весть о том, как славно живет знаменитый животновод Матрена Рубцова со своим мужем — скромным колхозным конюхом Яковом.

Фотографии Матрены Никитичны то и дело мелькали на страницах газет и журналов. Почтальон ворчал на то, что устал он носить ей письма со штемпелями всех городов страны. Игнат Рубцов, бессменно руководивший «Красным пахарем», шутил, что он уже в пиджаке дырку просверлил для золотой медали за животноводческие экспонаты своего колхоза и рамку заказал для диплома Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

Но война неожиданно сломала все эти радостные планы, всю с такими трудами налаженную жизнь.

2

Уже в первую ночь войны над «Красным пахарем» в зеленоватой предутренней мгле пролетела на восток вереница чужих самолетов, направлявшихся бомбить мирные города. Бабка Прасковья Нефедова, возвращавшаяся в эту пору из телятника после бессонной ночи, проведенной возле хворой телки, божилась потом, что разглядела на их крыльях какой-то чудной, «антихристов» знак. А под вечер Матрена Никитична вместе с другими женщинами уже стояла у околицы, смотря сквозь слезы, как, багровея в золоте заката, оседает на дорогу пыль, поднятая подводами, на которых колхозники призывных возрастов отправлялись в районный военкомат. Был среди них и Яков Рубцов. А отец его, Игнат, на второй день войны,

усевшись в плетеный кузов своей двуколки, отправился провожать на мобилизационный пункт колхозных рысаков с конефермы. Перед отъездом он как-то необыкновенно долго и торжественно прощался со снохой и целовал внуков. Матрена Никитична заметила в повозке туго набитый вещевой мешок и поняла, что не в конях тут дело.

Так оно и было. Сдав коней военным приемщикам, председатель колхоза отправился в райком. Стараясь не хромать, вошел он в кабинет первого секретаря, заявил о своем желании идти на фронт и потребовал, чтобы за него, как за члена пленума райкома, походатайствовали перед комиссией военкомата. Годы не в счет, нога не помеха. Уж что-что, а военное дело бывший георгиевский кавалер и красный моряк знает!

Вернулся Игнат Рубцов из города под хмельком, туча тучей. В армию его не взяли, и секретарь райкома, рассердившись, даже шумнул на старого друга и приказал ему немедленно убираться в колхоз и хранить как зеницу ока знаменитое племенное стадо «Красного пахаря».

Весь день, запершись в своем доме, Игнат пил водку и пел старые красногвардейские песни, переживая обиду. Даже внуков к себе не пустил. Но под вечер успокоился, и вновь увидели колхозники на улице грузную фигуру своего председателя, ковыляющего возле колхозных служб. Он снаряжал людей с подводами куда-то на запад — копать оборонительные рубежи.

Матрена Никитична работала теперь за себя и за мужа, попевала и на скотном дворе и в конюшне, дежурила по ночам с ветхой осоавиахимовской винтовкой на постах народной охраны и урывками занималась на курсах медсестер. Людей в колхозе стало вдвое меньше; ушли в армию и уехали рыть окопы самые сильные и работоспособные. Но оставшиеся, преимущественно женщины, хотя порой и засыпали где-нибудь над подойником или над грядой, сломленные усталостью, все же попевали со всеми делами, и появилась у них тайная, вслух не произносимая мечта, что когда мужья и братья вернутся с победой, будет чем их удивить, чем их угостить.

Между тем сообщения Совинформбюро становились все тревожнее. Даже самые ленивые бабенки, завзятые любительницы поспать, на которых не действовали ни воркотня бригадиров, ни ядовитые заметки в стенгазете «Борона», теперь без всякого зова собирались к шести утра в просторной комнате колхозного правления, чтобы услышать знакомый перезвон позывных и суровый голос диктора, передающего сообщения «От Советского информбюро». В сводках назывались пункты, занятые врагом, обозначались новые направления. Люди находили на карте названные в сводках пункты. Линия фронта быстро приближалась. И все же в них жила надежда, что, может быть, это хитрость командования, что фашисту готовятся какие-то стратегические ловушки, в которых он будет захлопнут.

И вдруг, точно обухом по темени, — весть, привезенная Игнатом Рубцовым с районного актива: начинается эвакуация.

В тот же день были отправлены на восток с тракторной колонной МТС многочисленные машины колхоза. Вторым эшелонem должен был двинуться скот — богатство и гордость «Красного пахаря». Из области пришел приказ не допустить потери ни одной племенной коровы. Ответственность за целостность и сохранность знаменитого стада была возложена на самого Рубцова, которому были вручены особые полномочия для получения фуража в любом месте по всему пути следования.

Старый балтиец, убедившись, что со своей шумной для этих краев биографией и слишком приметной хромотой он действительно не годится ни для подполья, ни для партизанских дел, со свойственной ему энергией принялся за подготовку к эвакуации. Он решил поднять в поход не только племенной скот, но и все чистопородное стадо, а на подводы погрузить весь необходимый инвентарь фермы: фляги, бидоны, подойники, сепараторы, легкие ручные

маслобойки — словом, все, что можно было увезти и что могло пригодиться на новом месте. Сопровождать стадо были выделены лучшие колхозницы. Для отъезжающих отвели по подводе на две семьи. Колхозницы сами настояли перед председателем, чтобы Матрене Никитичне была отведена отдельная подвода.

Ночь прошла в печальных хлопотах. Заплаканные женщины метались среди построек фермы. Тревожно мычали коровы. Матрена Никитична сбилась с ног, укладывая и увязывая инвентарь, охрипла, бранясь со скотницами и доярками, успокаивая плачущих. Приготовления к отъезду приходилось вести в темноте, при свете зеленоватых июльских звезд. Где-то над недалеким большаком, невидимые с земли, все время надрывно выли вражеские разведчики. Изредка то там, то здесь вздрагивала на горизонте тьма, проколота красными репьями взрывов. Звенели в рамах стекла, скрипели петли ворот и дверей.

Только под утро вспомнила Матрена Никитична, что у нее у самой ничего не уложено. Передав руководство последними приготовлениями краснощекой, шумной Варваре Сайкиной, она бросилась через все село к своему дому, черепичная крыша которого уже отчетливо темнела на фоне светлевшего на востоке неба. Пустая подвода стояла возле терраски; лошадь дремала, привязанная к резному столбику, над охапкой раструженного по земле сена.

Матрена Никитична бросилась в дом и стала, не разбирая, увязывать в узлы мягкие вещи. Все было дорого, все покупалось с любовью, каждую тряпку было жаль. На подводе не уложилась и половина того, что хотелось увезти. Заплавав от обиды, женщина сбросила на траву узлы и принялась было снова переукладывать их, но тут прибежала бабка Прасковья. Она бранилась и причитала. Двух чистопородных маленьких телят, правнучек знаменитой Козочки, придется оставить: в спешке забыли отвести для них место на подводах. Слушая заплаканную, сердитую старуху, Матрена Никитична задумалась. Вспомнила почему-то, как она с братом везла на санках Козочку в волостную больницу, и вдруг с непонятным даже ей самой ожесточением начала сбрасывать с телеги свои узлы. Она оставила только чемодан с самым необходимым да мешок с ребячьими пожитками, усадила на телегу детей, бабку, ударила по лошадям, и на рысях они подъехали к телятнику.

— Стели соломы и тащи телят!

— Мотрюшка, бог с тобой, ведь невесть куда едем, с чем останешься? — испугалась бабка Прасковья, слышавшая скупой и прижимистой.

— Говорят — стели соломы да брезентом покрой, чтобы они ножки о грядки не помяли! — рассердилась Матрена.

Она так и оставила свои узлы на поляне возле дома и теперь, оторвавшись от них, как это ни странно, почувствовала даже какое-то облегчение...

3

Уже немало дней двигался на восток скот «Красного пахаря», сопровождаемый длинным обозом. На первых же километрах Игнат Рубцов отошел от заданного маршрута; уведя гурт в сторону от шоссе, он направил его по проселкам и лесным дорогам, избегая таким образом встречных потоков военных машин, заторов на переправах, спасая людей и скот от огня фашистских штурмовиков, висевших в те дни от зари до зари над большими дорогами.

Сидя в плетеном кузове своей рессорной двуколки, Рубцов ехал впереди гуртов, искал

луговые поймы для стоянок, договаривался с колхозами о выдаче «под расписку» овса и фуража. Когда гуртам приходилось пересекать большаки, он выставлял поперек дороги коридор из телег и через него прогонял скот. Потери пока были небольшие: три годовалые телки попали под встречную машину да несколько захромавших коров из плохоньких сдали двигавшимся к фронту частям Красной Армии. Даже удой не пропадал: молоко отдавали медсанбатам, а чаще всего просто разливали по солдатским котелкам.

Но хотя гурты двигались целые дни, а иногда и ночами, хотя в последнее время стоянки на выпасах сокращались до крайнего редела, хотя и люди, и стадо, и кони от непрерывного движения исхудали и пропылились, как казалось, до самых костей и дело доходило иногда до того, что погонщицы вдруг, точно споткнувшись, валялись с ног, засыпая на ходу, — фронт постепенно догонял колонну «Красного пахаря», затерявшуюся на пустых, малоезжих дорогах. Позади все слышнее погрохатывала канонада. К этому привыкли, как привыкли и к вражеским самолетам, пролетавшим иногда над головой.

Но однажды канонада загрохотала не сзади, а где-то справа. Игнат Рубцов остановил свою двуколку, прислушался к близким раскатам, повернул назад и, нещадно настегивая лошадь прутом, помчался навстречу колонне, крича погонщикам:

— Давайте самый полный! Не спать, коли живы хотите быть!

Однако и этот тревожный день, казалось, завершится благополучно. Ускорив движение, гурты продолжали тянуться в прежнем направлении.

Но под вечер сзади, в облаках пыли, поднятых проходившим стадом, послышался напряженный рев моторов. Обоз, как обычно, стал сворачивать с дороги, освобождая ее для приближающихся танков, погонщики хворостинами сгоняли с нее коров и телят. Уж сколько раз гуртовщикам случалось вот так очищать путь для танков какой-нибудь перегруппировывающейся части, поить чумазных водителей парным молоком, выспрашивая у них фронтовые новости. Поэтому и сейчас появление машин не вызвало никакой паники. Погонщики сноровисто делали свое дело, усталое стадо желто-белой волной скатывалось с дороги.

Но на этот раз танки, несшиеся во всю мочь, приближаясь к гуртам, не сбавили хода. Головной походя ударил телегу, на которой тряслись на узлах внучата бабки Прасковьи, подмял ее и ринулся дальше, оставив позади груды искореженной щепы и окровавленные тела. Едва не передавив самих погонщиц, сумевших отскочить в последнее мгновение, танк врезался в хвост стада.

Все: ревуший скот, подводы, дети, с воплем ищущие своих матерей, женщины, мечущиеся в страхе и гнев, — все смешалось в панике. Только когда передние машины уже проскочили и скрылись в пыли и по дороге мимо стада катила уже вторая и третья волна, люди разглядели на броне незнакомые белые кресты, пиковые тузы и мечи — разглядели и поняли, что это вражеские машины несутся вперед, что они опережают гурты, закрывая для них путь на восток.

И тогда к воплям бабки Прасковьи, к плачу перепуганных ребят присоединились крики погонщиц. Волнение людей передалось животным: надсадно, захлеб заревели коровы, тоскливо завывали собаки.

В сущности, колонна «Красного пахаря» довольно легко отделалась от этого первого вражеского налета. Оккупантам, совершавшим, по-видимому, один из своих танковых прорывов, было не до гуртов. Да и что значили эти потери по сравнению с тем, что стадо вместе со всеми сопровождающими его людьми оказалось в тылу врага, отрезанное от своих линией фронта!



Некоторое время Игнат Рубцов ошеломленно смотрел на свежие ступенчатые следы вражеских машин, изорвавших зеленый дерн лесной дороги, потом поднял кнутовище и дал знак людям собраться к его двуколке. Женщины бросились к нему, как бросаются овцы к пастуху при первых порывах зловещего ветра, предвещающего приближение бури. Хмуро оглядев столпившихся вокруг него, он просто спросил:

— Что будем делать?

Колхозницы молчали, теснее жались друг к другу, переступали с ноги на ногу, вздрагивая от каждого далекого выстрела. В подавленной тишине было слышно, как на дороге голосила бабка Прасковья.

— Что же станем делать, граждане? — повторил Игнат Рубцов тем задумчивым тоном, каким спрашивают самого себя.

В ответ он услышал только вздохи.

Лучшая доярка Варвара Сайкина, обычно веселая, разбитная, острая на язык бабенка, шмыгнула носом и размазала ладонью слезы по запыленному лицу.

— Домой возвращаться надо, Игнат Савельич, раз такое дело, раз захлопнули нас, как мышшь в мышеловке... Что же еще? — тихо сказала она, неуверенно оглядываясь на притихших подруг.

Толпа вздрогнула, шевельнулась. Еще громче, еще надрывнее запричитала на дороге старуха. Сайкина вздохнула тяжело, шумно:

— Сколько голову ни ломай, больше ничего не придумаешь. Фашист нам путь перешел. Выходит, такая уж у нас судьба...

Сайкина заплакала, запричитала, и вслед за ней заплакали на разные голоса стоявшие возле нее доярки, скотницы, телятницы, заплакали, приговаривая, как в былые дни на похоронах:

— Горькие мы, разнесчастные... Куда мы теперь, кому мы теперь нужные? Закатилось наше солнышко, не видать нам бела света...

Рубцов молчал, играя скулами. Старый шрам, оставленный кулацкой пулей, надулся и побагровел, что всегда служило у председателя признаком крайнего волнения.

Много сложных поворотов в артельной жизни пережил старый колхозный вожак. Казалось, не было трудности, которая поставила бы его в тупик; всегда он знал, что ему сказать народу. Но такой беды, такой ответственности никогда еще не сваливалось на его плечи. Как поступить, что сказать всем этим измученным женщинам?

В нем проснулся старый балтиец, времен штурма Зимнего. Опыта нет — сердце подскажет. Он обвел ястребиным взором всю эту плачущую толпу:

— Смирно! Не реветь! В лесу и без того сыро.

И сразу слышно стало, как шипят под ветром сосны, как вздыхает и щиплет траву успокоившаяся и разбредающая по поляне скотина и как вдали кукушка задумчиво отсчитывает кому-то долгие-долгие годы. Рубцов посопел незажженной трубкой. Час назад ему помешало закурить появление вражеских танков. С тех пор он и держал трубку в кулаке, время от времени машинально посасывая ее.

— Так, стало быть, домой? Со всем скотом, чтоб на наших чистопородных коровушках фашист отъедался? Чтоб на нашем молоке-масле он сил набирался? Чтоб твоего Федора,

твоего Лукича, твоего Николая Степановича бить? Этого вы хотите? — Игнат уставился в широкое, круглое лицо Сайкиной.

— Да пропадай он, скот, в таком разе! — закричала, протолкавшись к председательской двуколке, бабка Прасковья. Черная от пыли и слез, простоволосая, с седыми распушенными космами и исплаканным, исцарапанным лицом, стояла она в притихшей толпе как живое олицетворение всеобщего горя.

Увидев Варвару Сайкину, старуха бросилась к ней:

— Это ты сказала, чтоб домой скот вести?

— А что делать? С этими вон рогатыми танками разве сквозь фронт пройдешь? — отозвалась Варвара и тут же отпрянула, закрывшись руками.

Старуха плюнула ей в лицо:

— Вот тебе за такие слова, тварь бесстыжая! Они вон что, ироды, делают, — бабка Прасковья показала на остатки раздавленной подводы, — а мы их нашим колхозным добром кормить станем? Так? Ну, кто еще за то, чтоб домой стадо вести?

Женщины вздыхали, опускали глаза.

— А что поделаешь? К своим ведь не пройти. Что ж, коровам через фронт летом лететь, как птицам? — тихо ответила Сайкина, предусмотрительно пяясь и прячась за спинами подруг.

— Резать скот — вот что! Пусть лучше вороны склюют, чем этим иродам германским нашим добром пользоваться! — выкрикнула бабка Прасковья.

Женщины даже отшатнулись от нее. Вот так, ни за что ни про что, переколоть это чудесное стадо, в которое каждая из них вложила столько трудов, забот, стараний?! Разом уничтожить давнюю гордость и славу колхоза?! Самая мысль об этом показалась всем кощунственной.

— Ополоумела старая, — такую скотину под нож!

— Кормили, холили, ночи не спали, как детей вынянчивали...

— Матреша, Матреша, где ты? Слышишь, что она тут каркает?

Женщины бросились к Матрене Никитичне:

— Хоть ты скажи ей!

Матрена Никитична не принимала участия в этом женском митинге. Когда танки налетели на гурт, она сорвала с телеги своих маленьких Иришку и Зою, отбежала с ними в сторону, прижалась к березе, да так и застыла, бледная, окаменевшая. Она не видела взоров, с надеждой обращенных к ней, не слышала вопросов, она точно потеряла зрение и слух. «Фашист настиг!» — эта страшная мысль подавляла в ней все. Ей казалось — жизнь кончилась. И она стояла в оцепенении, крепко прижав к себе испуганных, притихших ребят.

Игнат Рубцов порывисто сипел незажженной трубкой. Ему тоже, как и всем здесь, было страшно от мысли, что эти вот холеные коровы, с тяжелым, как куль пшеницы, выменем, рекордистки, которых еще с весны с особой любовью готовили к Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, этот громадный курчавый бык Пан с красивой, надменной мордой, за которого колхоз получил уже две медали, эти тонконогие смешные телята — все это превосходное, славное стадо будет лежать вот тут, на опушке чужого леса, добычей ворон и волков. Но что же, что можно сделать, если немецкие танки перешли дорогу?

Рубцов увидел гнев и ужас, появившиеся на лицах женщин от одного предположения, что скот придется уничтожить. Столько лет он сам терпеливо и упорно прививал всем им святую любовь к общественному добру! Сумел привить и очень гордился этим.

Сколько самоотверженных трудов, сколько благородного человеческого волнения, сколько светлых надежд заключено в этом стаде! И все — прахом, без всякой пользы! Душный клубок подкатывался к горлу председателя. Здесь, в лесу, ему не хватало воздуха. Он рванул ворот гимнастерки, и пуговицы, как переспевшие ягоды, сыпанули на траву. Но как же быть? Нет, старая правда! Партия устами Сталина приказала при вынужденном отходе войск не оставлять противнику ни килограмма хлеба.

— Так что же, фашистам отдадим скот? — крикнул он, стараясь придать своему голосу гневную твердость.

Колхозницы притихли. На Рубцова были обращены вопрошающие, молящие, испуганные глаза. От своего испытанного вожака ждали все эти женщины, девушки и подростки решения, ждали с надеждой, что он найдет какой-то иной, менее страшный выход. С трудом проглотив подступавший к горлу горячий ком, Игнат Рубцов крикнул как можно громче и злее:

— Не станет «Красный пахарь» фашиста кормить! Забить! Забить — и никакая гайка!

Вот тут-то точно проснулась от тяжелого сна Матрена Никитична. Она опустила на траву своих ребят, подошла к толпе, и женщины расступились, давая ей дорогу, с надеждой глядя теперь уже на нее. Она стала рядом со свекром, провела рукой по лицу, словно снимая с него невидимую паутину.

— Валяй, сношка, огласи, какое у тебя мнение по данному вопросу, — хрипловато выговорил Игнат и звучно щелкнул прутом по тугому хромовому голенищу. Он тоже с тайной надеждой смотрел на Матрену Никитичну.

Женщины обступили ее, жадно задышали ей в лицо:

— Давай, давай, говори!..

— А мое мнение такое: скот не забивать, — тихо, но очень убежденно сказала Матрена Никитична.

— И правильно... Ишь надумал, колченогий дьявол! Забить! Мы этих телят, как ребят своих, только что не с рожка кормили... Забивать... У кого это рука подыметя!

— А что ж делать? Кругом проклятый фашист, — тоже тихо, одними губами прошептала бабка Прасковья и снова принялась всхлипывать и причитать.

— А мое мнение такое... — продолжала Матрена Никитична. — Сколько уж дней мы по лесам идем? Вон какие здесь леса-то — нехоженые, нерубленые, в иное место и солнышко луч не просунет. Угнать скот в леса подальше и ждать, пока наши вернутся. Ведь вернутся же они, верно?... Вот мое какое предложение будет.

Удовлетворенный шепот прошел по толпе. Как просто! Почему же это раньше никому не пришло в голову?

— Верно! — обрадовано воскликнул чей-то голос.

— Что верно? Где жить, что есть, чем скотину кормить будем? Еловые шишки грызть? Пеньками закусывать? — спросила по обыкновению во всем сомневавшаяся Варвара Сайкина. Но по ее сразу оживившемуся лицу было видно, что и она рада новому совету и возражает только по привычке противоречить.

Но предстоящие трудности никого не испугали. Только бы сохранить всех этих коров, телок, бычков, лошадей, что, не ведая нависшей над ними угрозы, разбредясь по поляне, спокойно щипали траву.

— При коровах с голоду не помрем!

— А хлеб, а картошка? С берез сымешь? Чай, не телята, на одном молоке...

— На молоко и иной продукт у людей выменяем. Не пустыня.

— Правильное предложение, принимаем на все сто процентов.

— Отсидимся в лесу, фашисту тут не век вековать.

— Ну, чего ты молчишь, председатель? Сношка-то вон умней твоего рассудила... А то — забивать... Придумал!

Рубцов хмурил лохматые брови. Предложение снохи открывало новый выход, не предусмотренный никакими инструкциями по эвакуации. Ничего не ответив, он вынул из-за голенища старую военную карту, выпрошенную у врача санбата, которому колхозники сдавали на днях очередной удой, разложил ее на сиденье двуколки и стал внимательно изучать. Дорога, на которой настигли их немецкие танки, прорезала на карте сплошную зелень огромного лесного массива с редкими, заштрихованными голубым пунктиром пятнами болот.

А что, если и в самом деле послушать сноху? Чем черт не шутит, может и удастся сохранить стадо. Не удастся, найдет фашист — перебить скот можно в любую минуту. Благо на прощанье секретарь райкома расщедрился и выдал на табор знаменитого колхоза несколько гранат да три старые английские винтовки из трофеев финской войны. На инструктаже в райкоме, правда, строго-настрого, под ответственность коммунистов, наказывали, чтобы ни одной колхозной овцы противнику не оставлять. Но того, что случилось с табором «Красного пахаря», инструктаж не предусматривал.

Как и всегда в трудную минуту жизни, старый сельский большевик, попытался представить себе, как посоветовал бы ему поступить в этом случае товарищ Сталин. Как? Он приказал не оставлять неприятелю ни килограмма хлеба. Но они же и не собираются кормить оккупантов. Они даже и убоины не хотят оставлять. А партия всегда учит: держайте!

Игнат Рубцов посмотрел на тех, с кем ему предстояло выдержать самое тяжелое испытание во всей его большой, яркой и сложной жизни. Разные это были люди. Почти все они в последние годы, когда в колхоз пришло богатство и трудодень стал полновесный, работали с огоньком, но не обходилось, конечно, без того, чтобы не пошуметь, не поссориться, не покричать. По плечу ли им перенести небывалые тяготы лесного сиденья? И тут, в момент, когда старый большевик собирался впервые в жизни сознательно нарушить партийную инструкцию, увидел он на лицах всех этих скотниц, доярок, телятниц такое единодушие, что чутье организатора и массовика подсказало ему: выдержат, любое испытание перенесут, костями полягут, только открой перед ними надежду сохранить знаменитое стадо!

Он еще раз взглянул на карту. Места подходящие; хотя немецкие танки, несомненно, засекали гурты, — стадо и люди могут бесследно исчезнуть в лесах, как горсть муравьев в стогу сена.

— Давай сворачивай в лес, чего там над бумагами затылок чесать, не в правлении сидишь!

— Резолюции писать некогда.

— Аль охота еще немцев дожидаться?

— Председатель, исполняй, раз народ требует.

Колхозницы торопили. И хриплым от волнения голосом отозвался народу Игнат Рубцов:

— Воля ваша. Скот бить не будем!

Поручив нескольким женщинам помочь бабке Прасковье похоронить останки внучат, Игнат тронул гурты и на первом же перекрестке свернул на другую дорогу, перпендикулярную той, на какой их обогнали вражеские танки. Отойдя по ней километров десять, он перегнал скот через неглубокую речку и прямо с брода по просеке повел вглубь леса.

Сначала гурты двигались по заросшей травой зимней дороге, потом и вовсе по бездорожью. Все глубже и глубже уходили они в чащу заказника, отмеченного на карте сплошным размывом зеленой краски. Шли от зари до зари, но продвигались медленно, с трудом.

Пять дней тянулись люди и скот по лесу, по руслу высохшей речки, по белым тугим пескам, печально стонавшим под колесами телег. Иногда прорубали путь сквозь кусты, иногда гатили хворостом мочажинки, порой чуть не на руках перетаскивали телеги, скарб и телят через лесные ручьи с неудобными, крутыми берегами.

На шестой день они забрались в такую глушь, куда в мирное время заходили лишь охотники, да и то в зимнюю пору. В глубоком овраге с крутыми скатами, густо поросшими кустарником, Игнат Рубцов выбрал место для лагеря.

4

Здесь, на необычном лесном новоселье, колхозники имели возможность еще раз убедиться в хозяйственных талантах и предусмотрительности своего председателя.

Собирая табор в путь, Игнат Рубцов постарался захватить с собой все, что могло понадобиться для жизни на новых местах, в трудных военных условиях, когда гвоздь и тот стыдно просить у государства. На подводах оказался не только весь инвентарь фермы, необходимый для ухода за скотом, не только косы, грабли, серпы, нужные для заготовки кормов в пути, как того требовала райкомовская инструкция, но и сепараторы, маслобойки, формы для сыров, котлы, плотничий и слесарный инструмент, ящики с гвоздями, мотки проволоки и многое другое, что необходимо было для организации жизни на новом месте. Уже в последнюю минуту Рубцов бросил в одну из телег оборудование легкой походной кузницы, какую обычно давал в дорогу бригадам, отправлявшимся на косьбу на дальние пустоши.

Все это было теперь неоценимым кладом. Как только остановились, подводы и гурты были собраны в овраге, председатель сменил суконную гимнастерку и военные шаровары на брезентовый комбинезон тракториста, в котором дома ковылял обычно в страдную пору по токам да по машинным сараям. Он был хорошим хозяином и считал, что раз решено зимовать в лесу, то благоустроиваться надо прочно и обстоятельно, что бы там ни происходило на фронте.

Для начала он строго организовал труд, создал бригады скотниц, доярок. Бабку Прасковью назначил главной телятницей, отрядив ей в помощь всех мало-мальски пригодных ребят и девчонок. Из старших мальчишек сколотил звено конюхов и поставил во главе его пятнадцатилетнего брата Варвары Сайкиной. Десять самых сильных и самых сметливых женщин он назначил в строительную бригаду. Старшей над всеми животноводами и

конюхами определил сноху; строителей возглавил сам.

Старый балтийский матрос, не имевший в доколхозные времена и клока земли и перебивавшийся в родном селе то плотничьим, то столярным, то слесарным делом, Игнат Рубцов слыл мастером на все руки. Бывало в первые дни «Красного пахаря» увидит он в поле, во дворе или на колхозной службе лентяя либо неумеху, вырвет у него инструмент да, поплевав на руки, такую покажет работу, что лентяю тоскливо станет от стыда и унижения. И будет лентяй под насмешки окружающих неловко толкаться возле своего председателя, смотреть на него жалким взглядом да робко тянуть руку к инструменту. И что бы то ни было — топор ли, пила ли, коса или ручка сепаратора, или лопата... даже баранка трактора или тонкая стеклянная пипетка в хате-лаборатории, — все это как-то очень ловко ложилось в большие руки матроса, и, что бы он ни делал, работа шла у него легко, сноровисто.

За несколько дней были устроены в овраге загоны для скота, накопаны в левом крутом его берегу землянки, их покрыли накатником из тонких бревен, а поверх еловыми ветвями, землей и дерном. Каждая семья получила по такой землянке. Для удобства разместились побригадно, гнездами. Справившись с этими неотложными делами, строители начали валить лес и копать в откосе оврага теплые хлевы на зиму.

У Матрены Никитичны на привычном деле женщины работали споро. Правда, в пути по лесу отбились от стада две коровы да двенадцать голов, в том числе и знаменитую рекордистку Красавку, подавили немецкие танкисты. Но в дороге и в лесу уже приняли пять телят. Соответственно новым, необычным условиям жизни их назвали: «Березка», «Сосенка», «Елочка», «Полянка». Бычок появился неожиданно не в масть стаду — черный, зеленоглазый, сердитый. Его назвали было «Фашистом», но бабка Прасковья, теперь, после гибели внуков, и вовсе не выходявшая из телячьего загона, решительно стала на защиту столь тяжело оскорбленного бычка, пошла к Рубцовой и добилась, чтобы брюнет был реабилитирован. Его назвали «Дубок». Стадо даже начало постепенно отгуливаться на лесных пастбищах, где и в полдень не вились слепни, а трава, никогда не знавшая косы, была коровам по брюхо.

С первых же дней жизни в лесном овраге был восстановлен точный учет трудодней, и строго по трудодням отпускала Варвара Сайкина молоко, творог и сметану со склада, разместившегося в тени огромной шатровой ели. Это возрождение в столь необычных условиях привычных колхозных порядков спланивало людей, заряжало их уверенностью, помогало им переносить тяготы и невзгоды необычного бытия.

После первых хлопот по лагерю Матрена Никитична занялась своим жильем. Она сама расширила землянку, выкопала в стенах широкие ниши, поставила туда козлы и на них из жердей и елового лапника устроила постели для себя и ребятишек. Чтобы стены, высохнув, не осыпались, она укрепила их плетнем из веток. Ящик, в котором везли отруби для телят, приспособила вместо стола, застелила его скатеркой, поставила вокруг кряжистые чурки. Когда благоустройство землянки было завершено, она стала разбирать чемодан и очень обрадовалась, обнаружив на дне его старый номер «Огонька», в котором был помещен очерк о «Красном пахаре». На первой странице журнала был портрет Сталина. Она вырезала этот портрет и прикрепила на стене землянки. Отошла ко входу, довольным взглядом окинула свое новое жилище. Все стояло на своих местах и даже выглядело уютно. У женщины сразу полегчало на душе.

На следующее утро, когда семья уселась за импровизированный стол пить чай, вскипяченный в закоптелом котелке, маленькая Зоя заявила, что в лесу ей больше нравится, а старший, Володька, пожалел только, что нет радио...

Матрена Никитична вспомнила свой золотистый, еще пахнущий смолой и свежим деревом дом и вздохнула. Но горевать было некогда. Большое хозяйство в необыкновенных лесных

условиях непрерывно требовало рук и глаз...

5

Дела в лесном таборе шли неплохо. Только заготовка кормов на зиму вызывала постоянное беспокойство Матрены Никитичны. В свободные часы, когда стадо паслось на лесных выгонах, доярки и скотницы косили сено на болотных лужках. Ребята сушили его, метали копны. Но кос было взято с собой всего девять штук, лето шло на убыль, и при самом самоотверженном труде косарей нельзя было надеяться, чтобы удалось заготовить сколько нужно сена на зиму для такого большого стада да еще для изрядного табуна коней.

Над той же заботой ломал голову и Игнат Рубцов. Иной раз, когда лагерь уже спал и тишина в овраге нарушалась только звоном сосен да писком комаров, он сползал с лежака, устроенного им из пружинистых ореховых жердочек, зажигал светец, сделанный из насаженных на палку скрученных берестичек, и при чадном неярком пламени подолгу изучал карту.

Да, место для лагеря выбрано ловко. Тут не в чем упрекнуть себя. Безлюдье, дорог близко нет, овраг разве только с неба заметить можно, да и на этот случай приняты меры: землянки копали под соснами, в зарослях кустов, и кусты эти рубить было запрещено. Но есть уязвимая сторона: далеко от жилья. Ни новостей узнать, ни обменять молочные продукты на хлеб, картошку, крупы. Взятые из дому у людей кончалось, и как ни изобильно выдавались со склада молоко, творог, масло, русская душа начинала тосковать по хлебу, по котелку щей, по чугунок свежей, рассыпчатой дымящейся картошки. Но и это, в конце концов, не страшно. Люди и не то еще готовы были перенести, когда решали прятать стадо. Корма, корма! Вот главное! Страшно подумать, что зимой береженный скот начнет на глазах падать и сохраненное от стольких опасностей стадо погибнет от бескормицы.

Рубцов смотрел на карту. Сплошная зелень да голубая штриховка болот. Даже и намека нет на близость человеческого жилья. Но так ли это? Не врет ли карта? Колхозному вожаку не верилось, что все эти огромные лесные массивы с поемистыми речками, с хорошими лесными выпасами в годы предвоенного расцвета социалистического хозяйства могли бы пустовать. Однажды, глянув за обрез карты, он заметил дату топографической съемки, напечатанную мелким шрифтом, и даже свистнул: 1929 год! Явно врет карта! Столько воды с тех пор утекло!

И он решил немедленно обследовать близлежащие места, удобные для выпаса и покосов. По его мнению, они не могли не привлечь внимания рачительных колхозных хозяев. Он наметил себе на карте несколько таких мест. Осматривать одно из них, лежавшее километрах в семи от лагеря, он отправился на следующий день вместе со снохой на своей двуколке. Они долго ехали по лесному безлюдью, вдоль песчаного русла высохшей речушки. Когда речка повернула на запад, из-за поворота вдруг открылся перед ними вид на просторный заливной луг. Как гигантские муравьиные кучи, стояли на нем стога сена, порыжевшие от дождей. Рубцов нетерпеливо дернул вожжи. На рысях выкатил на поляну, по-молодому выскочил из двуколки и стал раскуривать обгорелую трубку.

— Сорок два стога — целое «заготсено»! Живем не тужим!

Матрена Никитична сунула руку в стог. Из-под верхнего слоя она вынула горсть глубинного сена, помяла, понюхала, даже куснула травинку. Сено было хоть и не свежее, прошлогоднее, но хорошее, луговое, не пылило и не трусилось. Умелый хозяин, должно быть, метал эти стога.

— Ничего, правильное сено. И его хватит. Только с кем за него рассчитывать, чье оно?

На опушке заметил Игнат Рубцов просторный, крепко рубленый из толстых бревен сарай под крышей из драни, и уже родилась у него мысль: сарай этот разобрать, поднять да перевезти в овраг.

— Все наше, советское! — ответил он снохе, хозяйственно осматривая пронзенную солнечными лучами полутьму просторного сеновала. — С советской властью и квитаться станем. Раз немец сюда пришел, мы с тобой, поскольку мы неоккупированный колхоз, всех богатств наследники. А наши придут — поквитаемся, кто кому что должен.

Игнат бойко ковылял по лужку, с довольным видом сосал трубку, щупал сено, прикидывал, как лучше к нему из леса на телегах подъезжать, и все бубнил: «Дело, дело!» Это был, должно быть, сенопункт какого-то совхоза или воинской части, глубокий резерв большого хозяйства, забытый при эвакуации. Даже колеи дороги, ведущей к стогам откуда-то с юга, уже успели зарости подорожником, муравой, тмином. Это особенно радовало Игната: значит, враг дороги сюда не найдет. «Добре, добре, граждане! А пока они обнюхаются да прознают от кого-нибудь о сене, оно уж будет тью-тью! И сарайчик тоже. И самый след дождем смоет».

Хвост голубоватого едкого махорочного дыма неотвязно тянулся за Рубцовым. В голове роились всяческие интересные планы. Не любя откладывать дела в долгий ящик, он хотел уже садиться в двуколку и спешить звать людей, но его остановил взволнованный шепот Матрены Никитичны:

— Папаня, кто-то там в стожке... Слышите?... Шевелится...

Встретиться с кем-нибудь здесь, у сенных запасов, не входило в планы Рубцова. Он молча подтолкнул сноху к таратайке и жестом приказал ей садиться. Но тут до них со стороны ближнего стога явственно донесся стон. Жалость к неизвестному, которому, вероятно, требовалась помощь, победила в Рубцове все хозяйственные соображения. Матрена Никитична подбежала к стогу и в глубокой яме, выдавленной в сене, увидела очень худого старика. Он лежал на спине и тяжело, прерывисто дышал, тоскливо глядя перед собой воспаленными, лихорадочными глазами.

— Муся, Муся же! — нетерпеливо звал старик, принимая Матрену Никитичну за кого-то другого.

— Папаня, тут человек! — крикнула женщина свекру, который, стоя возле таратайки, настороженно посматривал на сноху. — Он помирает!

Игнат Рубцов поспешил к стогу.

А старик дышал уже с трудом. Он то звал Мусю, то принимался заклинать ее доставить какие-то ценности. Он был в бреду и на вопросы не отвечал. Молча стояли над ним сноха и свекор, понимая, что этому человеку ничем уже не поможешь.

Заметив в сене котелок, Матрена Никитична высыпала из него ягоды, сбегала на речку за водой. Тем временем Игнат расстегнул старику ворот гимнастерки, распустил ремень. Умиравшему вытерли вспотевший лоб, положили мокрую тряпку ему на сердце. Больной очнулся, слегка приподнялся на локте и жадно прильнул к воде. Он глотал шумно, острый кадык его двигался под заросшей жесткими волосами кожей.

Оторвавшись наконец от котелка, старик открыл глаза, увидел над собой два незнакомых лица и испуганно отпрянул.

— Кто? Вы кто? — хрипло спросил он и дрожащей рукой стал судорожно шарить подле себя.



— Все мы люди, все человеки, — неопределенно ответил Игнат, которому этот жест не понравился.

— Вам бы лежать спокойно, а не за оружие хвататься, — добавила Матрена Никитична, следя за руками незнакомца.

Старик грустно улыбнулся и сложил руки на груди.

— У меня нет оружия, — сказал он так тихо, что слова эти не столько были услышаны, сколько угаданы по движению губ. — Вы не знаете, где Муся Волкова?... Худенькая... русая девочка... на ней костюм лыжный...

Матрена Никитична отрицательно покачала головой.

Старик опять захрипел, заметался, точно пытаясь разодрать себе грудь. На лице его выступили крупные капли пота. Он начал задыхаться и, должно быть, последним усилием уходящего сознания успел прошептать:

— Воды!

Когда он снова пришел в себя и в его помутневших глазах забрезжило осмысленное выражение, он посмотрел по очереди сначала на Матрену Никитичну, которая, по-видимому, внушала ему больше доверия, потом на Игната Рубцова.

Умиравший словно изучал этих незнакомых людей. Потом еле заметным кивком головы он попросил колхозницу наклониться. Та опустила на колени, почти приникла ухом к его посиневшим, шелушащимся губам.

— Муся Волкова где-то... — чуть слышно шептал старик. — Мы шли к своим... Сено, сено... Мешок, там ценности... Огромные... городского банка... Государственное имущество... Вот не донес... — Вдруг каким-то последним усилием воли он приподнялся на локте и ожившими на миг глазами опять посмотрел на сноху и свекра. — Поклянитесь... донести туда, — он повел глазами на восток, — сдать... Словом честного советского человека поклянитесь... Скажите: клянусь!

Пораженная вспышкой страстной, упрямой воли в этом полумертвом, холодеющем теле, Матрена Никитична взволнованно прошептала:

— Клянусь!

— И вы! И вы! — настаивал умирающий, требовательно смотря на Рубцова. Видно было, что он расходует последние силы, чтобы удержаться на локте.

— Что ж, коли так, дело святое: клянусь! — ответил старый балтиец и даже вытянулся по-матросски, произнося это слово. — Чьи ценности?

— Государственные, — прошептал умирающий, бессильно падая на спину.

Жизнь уже ушла из его глаз, но рука все еще шарилась в сене.

Матрена Никитична взяла эту холодеющую руку, и ей почудилось, что еле ощутимым, как вздох, движением пальцы старика пожали ее ладонь. Женщина наклонилась к губам умирающего и скорее угадала по их движению, чем услышала, что он хочет, чтобы они подождали какую-то Мусю.

— Где она? Куда она ушла?

Но старик уже вытянулся и лежал прямой, строгий, с успокоенным выражением на лице. Игнат медленно стащил с головы кожаную фуражку.

6

Рубцовы молча отнесли тело в сторону, в тень молодых березок, прикрыли ветвями.

— Приняли волю — надо исполнять, как приказано, — сказал наконец Игнат Рубцов.

Вид у него был задумчивый и торжественный.

— Видать, деньги казенные нес, — шепотом, точно боясь потревожить покой лежащего на траве старика, предположила Матрена Никитична.

— Пойдем наследство принимать, — тоже тихо ответил свекор.

Они остановились у растрепанного стога.

— О мешке каком-то говорил. И все рукой шарил. Уж не его ли искал? Только что-то не видно никакого мешка: вот ведерко, вот картохи в тряпице. Больше, похоже, ничего нет.

— Надо в сене пошарить, — посоветовал Игнат Рубцов.

Бывалый человек, немало видел он смертей на своем веку. Умирали у него на руках в империалистическую и в гражданскую войну боевые товарищи, принимал он последнюю волю от дружка своего, сельского активиста, сраженного в 1927 году пулей, пущенной из кулацкого обреза. Колхозники из «Красного пахаря», да и из соседних артелей, когда подходил их смертный час, часто посылали за Игнатом Рубцовым, человеком верным и справедливым, чтобы ему сказать свое завещание. Но смерть этого незнакомого старика потрясла даже и Игната.

Молча разрыли Рубцовы стожок, откопали сначала рюкзак со скудным запасом еды, походной посудой да девичьими пожитками, а потом, уже на самой земле, покрытой редкой, желтой, без солнца выросшей травой да гранатово блестящими земляными червями, нашли тяжелый, крепко завязанный мешок.

Стали развязывать. Матрена Никитична, помогавшая зубами растащить неподатливый узел, первая заглянула в мешок — заглянула и отскочила, как будто увидела там клубок змей. Игнат нагнулся и только головой покачал. Подняв мешок, встряхнул на руках, прикидывая на вес, поставил на траву и с удивлением посмотрел в сторону березок, под которыми лежало тело старика.

— Да на это два таких стада, как наше, пожалуй, купить можно, — выговорил он наконец, рассматривая какой-то кусок, сверкавший крупными, с добрую горошину, бриллиантами. — Ну и ну!.. Ай да старик!.. И как он только волок такую тяжесть!

Матрена Никитична, присев на траву, с удивлением перебирала драгоценные вещи. Ее поражал не только самый клад, найденный ими в стогу, но еще больше — человеческая сторона, видимо, необычайной истории этого сокровища. Неизвестный старик и какая-то девушка Муся явно уносили эти ценности с занятой врагом территории. Ничего другого тут нельзя было предположить. Но как такое богатство попало в руки этого немощного человека? Откуда оно взялось? Кому он сам обещал, что сохранит и донесет эти громадные ценности?

Роясь в мешке, Матрена Никитична наткнулась на какие-то бумаги, свернутые в тугую трубочку, перевязанную шнурком от ботинок. Игнат развернул сверток, прочел вслух заглавие описи, перелистал страницы, нашел дату, и только тут, вполне уразумев, что два неведомых человека хранили и несли сокровище, которое им никто не поручал, о существовании которого там, за линией фронта, быть может, никто даже и не знает, понял он все величие бескорыстного подвига этих людей.

— Папаня, это ж наши, из нашего городского банка. Они столько ж, сколько и мы, прошли, — задумчиво произнесла Матрена Никитична.

Игнат опять стащил с головы порыжевшую, потрескавшуюся кожаную фуражку.

— Настоящая большевистская душа! — торжественно сказал он, глядя на покойного Митрофана Ильича Корецкого. — Крепкий большевик был!

Так тут же после своей кончины был назван старый беспартийный человек, всю жизнь скромно и незаметно проработавший у банковских касс.

7

Уложив мешок с сокровищем в плетеный кузовок двуколки и оставив сноху у тела покойного дожидаться неизвестной, неведомо где пропадающей Муси, Игнат Рубцов уехал в лесной лагерь за колхозницами. Под вечер явились женщины с лопатами. Могилу вырыли на краю поляны, под самой высокой сосной, пышная зеленая вершина которой первой в лесу принимала лучи восходящего солнца и последней освещалась угасающим закатом. Тело обернули в старенькую простыню, на грудь покойному положили полевые цветы.

Игнат Рубцов не утаил от колхозниц, кем был этот старик, что нес он с собой и какую волю выразил в свой смертный час. Обряжая перед погребением его тело, женщины поглядывали на покойника с уважением, к которому примешивалось удивление.

Наступила ночь, а Муси все не было. Похороны решили отложить на завтра. Колхозницы, поужинав, устроились на ночлег в одном из стогов.

Но плохо спалось им в эту ночь. Острый серпик молодого месяца, поднявшийся над лесом, наклонившись над поляной, щедро осыпал холодным серебром потемневший лес, смолкший луг, шапки стогов, и все это лоснилось под его лучами. У деревьев улеглись черные тени. Кузнечики пиликали так старательно и самозабвенно, что казалось, будто звенит сама эта летняя душистая ночь.

Невдалеке, под березами, белел полотняный саван непогребенного старика. Женщинам невольно думалось об этом человеке, потом мысль перекидывалась к мужьям, что дрались с врагом где-то там, на фронте. Вспоминали о своих гнездах, оставленных без призора далеко позади, тягуче вздыхали. Может быть, для того чтобы отогнать тревожные думы, рассказывали разные истории о кладах, о крови и преступлениях, с которыми всегда связывалось в народном представлении приобретение богатства. Под рассказы эти стали уже понемногу засыпать, но кто-то завел речь о сене, и все сразу оживилось. Эти стога казались всем куда более ценными, чем неожиданно найденный мешок с сокровищами. Золотом скот не прокормишь, а тут уйма сена. Теперь не страшна табору и самая лихая зима. А там, глядишь, и родная армия вернется, выручит из беды.

Сохранить бы все стадо, да телят вырастить, да в отел еще новых принять. Пригнать бы в

колхоз скот целым, упитанным. Ахнут оставшиеся: «Здравствуйте пожалуйста! Откуда? А уж мы тут печалились, думали, что уже и кости ваши волки давно обглодали...»

Эти мечты вовсе отогнали сон. Колхозницы заспорили: перевозить ли сено отсюда в овраг или не тревожить стогов, оставить его тут до снега, до легких зимних дорог. Хозяйственные разговоры затянулись за полночь, и женщины уснули уже перед рассветом.

А утром, когда заморосивший на заре дождик прохладным своим дыханием разбудил женщин, появилась Муся и от незнакомых этих людей узнала тяжелую весть. Но лишь когда над свежей могилой уже поднялся рыжий холмик и влага, капавшая с ветвей высокой сосны, покрыла песок прихотливым тисненным узором, девушка по-настоящему поняла всю глубину утраты, поняла, кого она лишилась, почувствовала себя беспомощной, одинокой, крупные слезы беззвучно побежали наконец по ее загорелым, шелушащимся щекам.

— Поплачьте, поплачьте, милая, слезой любое горе исходит, — говорила Мусе Матрена Никитична, и в ее черных с поволокой глазах тоже блеснула влага.

Остальные женщины со скупой деревенской чинностью вытирали слезинки кончиками головных платков.

Муся посматривала на них, стараясь понять, с кем столкнула ее судьба. Особенно поразил девушку коренастый пожилой мужчина в старой, порыжевшей, потрескавшейся кожанке. Он стоял у могилы вытянувшись, как солдат на часах, держа кожаную фуражку в согнутой левой руке.

— Кто вы, товарищи? Партизаны? Да? — спросила Муся.

Ее впечатление, что эти неизвестные ей люди, так участливо разделившие ее горе, чем-то отличались от тех, кого до сих пор встречала она, бредя по тылам немецкой армии, укреплялось, выросло в уверенность. Это была не внешняя, а внутренняя, незаметная для глаза и в то же время очень ощутительная разница. Сама еще хорошенько не зная почему, Муся после долгих недель постоянной звериной настороженности чувствовала себя среди этих людей хорошо и легко, точно уже перешла линию фронта и очутилась на свободной, неоккупированной земле.

— Вы партизаны? Правда?

— Коровьи партизаны, — отозвалась полная, грудастая женщина с румяными, как клюква, щеками. — Подойниками воюем...

— И чего ты, Варька, болтаешь, сама не знаешь! — перебила ее маленькая, сухощавая, ядовитого вида старушка. — У девоньки этакое горе, а ты зубы скалишь... Колхозницы мы, милая. С вашего же району колхозницы... А это вон Матрена Рубцова, Матрена Никитична. Слыхала о ней, наверное, чай рядом живешь, а она у нас громкая, товарищ Рубцова-то...

Вот тут-то, еще раз взглянув на пригожее, умное лицо своей новой знакомой, Муся наконец вспомнила, что незадолго перед самой войной увидела она в журнале кинохроники, как эта статная красавица, в белом халате, похожем на докторский, водила по каким-то длинным помещениям, где стояли сытые пятнистые коровы, экскурсию крестьян и агрономов из соседней, только что присоединившейся к Советскому Союзу прибалтийской республики.

— А как вы сюда попали? Что вы здесь делаете?

— У здешнего лешего трудодни зарабатываем, — усмехнулась Варвара Сайкина.

Историю лесного табора Муся узнала от Матрены Никитичны уже по пути в лагерь. Женщины шли тесной стайкой, говорили что-то совсем обычное о найденном сене, о том, чем заменить

отруби в телячьих рационах, о каких-то коровьих болезнях с неведомыми Мусе названиями, и вид у них был будничной, деловой, как будто двигались они не дремучим лесом в глубоком вражеском тылу, а в летнюю страду возвращались вечером с поля. И девушка наслаждалась тем, что после стольких скитаний случай свел ее с этими людьми.

Должно быть, оттого, что разрядилось наконец постоянное нервное напряжение, Муся почувствовала вдруг, как она устала. Она еле волочила ноги и мечтала поскорее добраться до места, лечь и заснуть — заснуть, ничего не остерегаясь, заснуть среди своих.

Девушка плохо помнила, как они дошли. Только серые, прямые, пушистые, как лисьи хвосты, дымы, вставшие вдруг перед ней по краям затененного деревьями оврага, запали почему-то в память. Не успела она удивиться, что люди здесь не боятся жечь дымные костры, как послышался лай собак, и целая стая их, сопровождаемая мелкой ребятей, вырвалась из-за деревьев, с шумом покатила за лошадью и таратайкой, в которой ехал хромой человек в кожанке. И, почувствовав себя совсем дома, Муся присела под деревом, чтобы завязать шнурок на ботинке. Она не заметила, как прилегла на мягком, сыроватом, отдававшем лесной прелью мху, и больше уже ничего не видела, не слышала ни в этот, ни на следующий день.

8

Проснулась Муся только на третьи сутки в полдень — проснулась бодрая, с легкой, отдохнувшей душой. Где она? Жаркие солнечные лучи, бившие в узкий ходок, освещали в глубине землянки небольшой портрет Сталина, укрепленный на стене. На столе в банке из-под консервов стояли голубые крупные лесные колокольцы, казалось еще хранившие влагу в своих узорчатых раструбах. Девушка вспомнила: «Я — у своих!» Некоторое время она лежала неподвижно, со счастливым сознанием, что наконец-то окончился ее тяжелый и опасный путь, что уже не нужно настораживаться при каждом шорохе.

А снаружи вместе с мягким шепотом сосновых вершин, к которому ее ухо уже так привыкло, что воспринимало его как тишину, доносились самые обыденные, но такие дорогие ей теперь звуки колхозного полдня: ленивое мычанье сытых коров, озабоченное блеянье овец, звон подоюников, ритмичный стук молотка, отбивающего косу, и гулкие удары топора, повторяемые звонким эхом.

Под потолком землянки гудела большая синяя муха.

Муся неподвижно лежала на застланных хвоей нарах. Сердце билось от радостного ожидания, грудь жадно вдыхала жилые запахи землянки. Девушке подумалось, что вот так должна, наверное, чувствовать себя рыба, полежавшая на песке и возвращенная волной прибой обратно в родную стихию.

Вдруг она услышала приглушенный детский шепот:

— Глядит! Проснулась!

— Иришка, беги скажи мамане!

По ступенькам ходка быстро протопали легкие ножки. Потом совсем уж тоненький третий голосок спросил:

— Тетенька, ты верно проснулась?

Только тут поняла Муся, что «тетенька» — это она и есть. Ей стало весело. Она пружинисто села на своем лежаке. Ребята, как вспугнутые синицы, шарахнулись в противоположный угол землянки. Оттуда, из полутьмы, смотрели на Мусю две пары продолговатых, черных с поволокой детских глаз, очень напоминавших глаза ее новой знакомой.

— Тетя, вы больше спать не станете? — спросил, осторожно выходя из угла, худенький смуглый мальчик лет семи.

— А что? Тебя как зовут?

— Володя. Мать велела вам, как проснетесь, садиться есть.

Володя хозяйственно снял полотенце, закрывавшее что-то на столе, и перед Мусей оказались миска с желтым варенцом, котелок молока и маленький ломтик хлеба. Она жадно принялась за еду. Девочка, которую звали Зоя, тоже вышла теперь из своего угла. Она была упитанная, розовая, походила на морковку-каротельку.

— Ты теперь у нас жить будешь? — осведомилась Зоя. — Тетя, а верно, ты клад нашла?

Наслаждаясь едой, Муся с опаской подумала, что даже вон малыши и те уже знают о существовании ценностей. Но сейчас же отогнала зародившееся в ней опасение: ведь здесь все — свои! Зачем от них что-нибудь скрывать!

По земляным ступенькам снова затопали босые ножки. Вслед за быстрой Иришкой, отличавшейся от сестры и брата своей курносой, некрасивой, густо поперченной веснушками рожницей и белизной волос, туго заплетенных в две тоненькие косички, спустилась в землянку сама Рубцова.

— Разбудили они вас, бесстыдники... Ведь говорила же им! — произнесла она своим звучным грудным голосом. — Да уж и верно пора. Ох, и спали же вы! Даже не слышали, как мы вас сюда перенесли... Гляжу на вас — спит, хоть из пушек пали. Как это вы в дороге груз-то свой не проспали?

Муся хотела было сказать, что за время блуждания по лесам она ни разу как следует не выспалась. Но, вспомнив все, только прижалась к Матрене Никитичне и, зарыв лицо у нее на груди, заплакала шумно, по-детски.

— Ну вот те и раз! — удивилась та. — А ну, повертывайте барометр на «ясно» да управляйтесь с едой поскорей. Председатель наш, свекор мой, все вон возле землянки возится, не терпится ему о кладе вашем потолковать.

Девушка быстро оделась. Хозяйственная Матрена Никитична заблаговременно достала из ее мешка одно из платьев, и оно успело проветриться и отвисеться. Но странное дело, в этом собственном своем платье, которое несколько недель назад было как раз впору, Муся чувствовала себя теперь неловко, непривычно; оно точно стало мало ей и связывало движения. Робко выбравшись из землянки, Муся зажмурилась от брызнувших ей в глаза сверкающих красок ясного полдня. Потом она увидела уже знакомого ей мужчину со шрамом на щеке. Он стоял в нескольких шагах у костра, с раскаленным железным прутом в руке, в стареньком комбинезоне, и с любопытством смотрел на нее из-под серых кустистых бровей, похожих на клочки древесного мха.

Не выпуская из правой руки раскаленного прута, он левой крепко пожал руку Мусе и точно со дна бочки пророкотал:

— Игнат Рубцов из «Красного пахаря»! — И добавил: — Может, слышали? Земляки ведь вроде...

Ладонь у него была жесткая, как подошва.

Не дождавшись ответа, он наклонился к треугольной пирамидке, не без искусства вытесанной из крупного дубового чурбана, и, видимо, продолжая прерванное занятие, стал выжигать на ней надпись. Муся прочла: «Здесь погребен советский гражданин Корецкий М. И., героически погибший на посту в борьбе за со...» Мужчина продолжал выжигать буквы, пока прут не остыл. Тогда он сунул его в костер, подбросил сушняка и вдруг, улыбнувшись широкой, доброй улыбкой, неведомо откуда появившейся на крупном обветренном лице, спросил:

— Отоспалась, странница? Чай, о мешке своем беспокоишься? Не беспокойся, у меня мешок, ни порошинки не пропадет... Ну, пшено, брысь отсюда! — цыкнул он на внуков, потом, подождав, пока стихнет топот босых ножек, показал на дубовое бревно, от которого был отпилен кусок для обелиска: — Садитесь, товарищи женщины.

И когда они сели, добавил тоном, по которому стало ясно, что он привык и умел командовать:

— Мы с Матреной — члены партии. Садись и докладывай нам все по полной форме.

Муся принялась рассказывать историю скитаний, а Рубцовы слушали и сочувственно кивали головой. Когда девушка честно поведала им о спорах с покойным из-за того, что стоит ли нести сокровище и не лучше ли его зарыть в укромном месте до возвращения Советской Армии, и дальше описала, как, по настоянию ее спутника, шли они, сторонясь людей, через лесные чащи, затрудняя и замедляя тем самым свой путь, Игнат Рубцов, усмехнувшись, перебил:

— Вот и сразу видать, кто из вас когда родился... Что ж, по первому делу он прав. В военное время гайка и та не должна на дороге валяться. А тут такое сокровище! Да за него сейчас столько оружия купить можно! А ты — зарыть... А по второму делу дал промашку старик. Ты права: советского человека и в немецком тылу обходить нельзя. Наш человек в честном деле всегда помощник... Ну, говори, говори, перебил я тебя...

А когда рассказ девушки дошел до того, как, утопая в болоте, Митрофан Ильич сначала привязал к протянутой ему жерди мешок, старый балтиец победно поглядел на собеседницу, будто речь шла о его собственном подвиге:

— Вот оно как у нас! — И обратился к снохе: — Расскажи о нем своим телятницам да дояркам — пусть знают, как социалистическую-то собственность блюсти. — Рубцов задумчиво пошевелил в костре железный прут. — Да, хорош дядька был! Только вот напрасно людей чурался... Это зря. Должно, с царских времен дрожжи еще бродили. Тогда только тот и жил, кто зубы умел скалить. Один человек, красавицы мои, — дерево в поле. Чем оно выше поднялось, тем скорее его ветер повалит. А колхоз — бор. Част бор — любой шквал остановит, любая буря его облетает...

Он встал, вынул из костра зардевшийся на конце прут и принялся оканчивать на грани обелиска слово «социализм». Потом, когда железо опять посинело и из-под него перестал виться острый дымок, Игнат выпрямился и вздохнул:

— Ну что ж, красавица, отдохни тут у нас малость, на молочке отпейся, а там дадим тебе верного напарника — да и в путь. Старику твоему слово дано как можно скорее ценности советской власти доставить.

Муся невольно прижалась к Матрене Никитичне. Как! Неужели опять в этот страшный путь, опять чувствовать себя не человеком, а травимым зверем, спать вполглаза, быть вечно настороже?...

— А может быть, война скоро кончится?

— Нет, конца не видать. Далеко до него. Не настал, видно, еще наш денек, — вздохнул Игнат Рубцов.

— И когда он только наступит? — с тоской проговорила Матрена Никитична. — Как подумаю, что они уже за рекой и еще чьи-то поля топчут, чьи-то дома жгут... Что же мы их пускаем-то, что ж это армия-то делает?... Подумать страшно, сколько земли, сколько людей наших под ним!..

Часто задышав, она закусила губу и отвернулась.

Снова сунув в костер железный прут и задумчиво глядя на то, как перебегают искры по синей окалине нагревающегося металла, Рубцов забасил:

— Был я в прошлом году на Октябрьскую в гостях у шефов наших на паровозоремонтном заводе. Видел, как там в одном цехе из стали здоровенную пружину для паровозных рессор гнули. Добела брусок раскалят и завивают. Если сталь хороша — чем больше пружину гнуть, тем прочнее она, тем больше в ней силы. И такую мощь она в конце-концов набирает, что паровозище — вон он какой, а она его держит. А уж если ей разогнуться дать — все кругом разнесет.

— То пружина... Ты это, папаня, к чему?

— А все к тому: чем больше я о войне думаю, тем больше мне та пружина вспоминается. Вот Наполеон нас жал, гнул, мы сжимались, сжимались, а как разжались, от Наполеона одна вонь пошла. Вот и думка у меня о пружине, чую я в отходе нашем великую хитрость и победу нашу вижу. С боями отходим. Кровью исходит враг... Сжимается, сжимается пружина, а разожметса — и нет гитлерии, и от Гитлера грязных порток не сыщешь. Вон у нас какие люди! — Игнат показал корявым пальцем на незаконченную надпись на обелиске. — Вот погодите... помяните мои слова... разогнетса пружина, и полетят фашисты от нас, уж так полетят! Только вопрос — будет ли кому лететь-то? Уцелеет ли кто из них?

— Скорей, скорей бы! — воскликнула Муся.

Слова колхозного коммуниста как-то по-новому осветили для девушки страшные картины: горящий родной город, трупы на дорогах, уничтоженные деревни...

— А может, еще союзники хоть сколько-нибудь подсобят, — сказала Матрена Никитична. — До победы воевать обещали.

— Обещали! Да знаешь ли ты, кто они такие есть, господа чемберлены всякие?... Ага, не знаешь, а я знаю, я с восемнадцатого года помню, какие они мне друзья. — Рубцов хлопнул себя по хромой ноге: — Вот они мне памятку на всю жизнь под Мурманском подарили! Нет уж, сношка, туда не гляди. Рук своих не жалея, вот на что у нас надежда — на руки на наши да на большевистскую партию. Больше никто не спасет: ни бог, ни царь и не герой.

Рубцов набил трубку и закусил ее желтым, крепким зубом. Потом занялся выжиганием и молчал, пока не окончил дела. Тогда он отложил железный прут, раскидал костер и, довольно посмотрев на законченный обелиск, сказал:

— Ну, заболтался я с вами. Прощай, красавица, отдыхай тут да о пути подумывай.

Прихрамывая, он с молодым проворством сбежал по склону на дно оврага и скрылся в кустах. Вскоре до нее донесся его рокочущий бас, по интонациям и выражениям угадывалось, что председатель кого-то распекает.



— Опять идти... — с тоской сказала Муся, поглядывая на еще курившуюся дымкой гарь раскиданного костра.

— И когда все это кончится? — отозвалась Матрена? Никитична, аккуратно затаптывая каждую дымящуюся уголинку. — Ведь как жили, как жили!.. А сейчас я как подумаю, что мой, может быть, уже лежит где-нибудь на земле мертвый, солнце его печет, ворон над ним кружит мух с него согнать и глаза ему закрыть некому, — этому Гитлеру горло б зубами перегрызла!

Матрена Никитична почти выкрикнула последние слова. Странно было видеть эту женщину взволнованной. Что-то напоминало в ней сейчас большую плавную реку, которая, переполнившись дождями, вдруг изменила своему спокойному течению, забурлила и вышла из берегов.

«И куда он ушел, фронт? Сколько за ним идти придется?» — думала Муся.

— А то, слышь, иной раз видится мне: сидит он под кусточком раненый, кровь из него хлыщет, губы запеклись, зовет... А кругом люди с фашистами сражаются, не до него, а он все зовет, зовет, и над ним только злые мухи жужжат... Нет, скажи мне сейчас: «Брось все, Матрена, и ступай в сестры» — все бы бросила, детей, хозяйство, и пошла бы... Не своему, так другому какому помогла бы... И еще...

— Мотря!.. Никитична!.. — позвал откуда-то сверху высокий женский голос.

Женщина встrepенулась, вытерла ладонью глаза и стала обычной, точно прошел поток поднятых дождями вод, вошла река в свои берега, и по-прежнему плавно стало ее величавое течение.

— Иду, иду, минуты без меня не можете... Понадоблюсь вам, Муся, — возле коров ищите. А то Володьке или Иришке накажите — они найдут.

Матрена Никитична легко взбежала вверх по дорожке, пробитой меж кустами серого ольшаника, и уже оттуда, из-за гребня откоса, донеслись ее слова, обращенные, по-видимому, к Мусе:

— А он верно говорит, свекор: разогнется пружина... Ох, и разогнется ж!..

9

Пока Игнат Рубцов одному ему ведомыми путями завязывал связь с внешним миром, добывал сведения о положении на фронтах и обдумывал маршрут, жила Муся Волкова в «Коровьем овраге», как прозвали в лагере колхоза «Красный пахарь» свое новое поселение.

Она быстро перезнакомилась со всеми жителями землянок, научилась узнавать знаменитых коров-рекордисток и даже, на удивление всем скотницам, была мирно встречена маститым быком Паном, мрачный характер и задиристые повадки которого были в лагере известны так, что даже собаки обходили, поджав хвост, его огромную, мускулистую, налитую до краев дикой силой тушу. Этот забияка, с виду степенный, благообразный, но всегда исподтишка высматривающий круглым, налитым кровью нервным глазом, по чьей бы это спине пройти шершавым рогом или нельзя ли хоть кого внезапно прижать крупом к изгороди, — вдруг, на удивление всем скотницам, дружелюбно отнесся к новой обитательнице Коровьего оврага.

Завидев Мусю издали, Пан приветственно ревел во всю мощь своих легких, гремел цепью, тянул через изгородь свою великолепную глупую морду и, как собака, брал у девушки прямо с

ладони картофелину или пучок травы, осторожно трогая протянутую ему руку теплыми замшевыми губами.

Колхозный табор, осевший в глуши векового леса, произвел на Мусю поначалу странное впечатление. Удивительно было не то, что в этих нехоженных местах, где столетиями тишина нарушалась только птичьим писком, воем ветра да звериным ревом, жили теперь люди. Поражало Мусю, как быстро обжили они глухой овраг, как ревниво сохраняли здесь, в лесных пущах, свои привычки и дорогие им формы жизни, принесенные с богатой усадьбы, с просторных, хорошо ухоженных полей «Красного пахаря».

Утром, когда весь лес был еще полон розоватых сумерек — и первые солнечные лучи, пробив древесные кроны, как золотые копыя пронзали туманную полумглу между деревьями, бригады поднимали своих людей. Суетня умывающихся слышалась со дна оврага, где в камнях тихо журчал холодный родник. А на крутом берегу, где уже поднимался серый прямоугольник перевезенного сарая, как дятлы, долбили дерево топоры строительниц. Слышался дробный мелодичный звон. Это у дубового пня, к которому были пристроены тисочки и наковальня, Игнат Рубцов, зажав клещами малиновую железную полосу, ковал какую-то нужную в хозяйстве вещь — ковал лихо, с пристуком, с перебором. Ребятишки, по двое взявшись за ручки, крутили колесо походного горна.

С лужайки возле ручья, где в чугунных котлах варился общий завтрак, тянуло сытным запахом пищи. Подвывали центрифуги сепараторов, громыхали поршни маслобоек. В большой прохладной пещере под елью, где уже прочно поселились запахи молока, Варвара Сайкина, облаченная в белый халат, принимала у доярок пенистый, еще теплый удой. Особенно радовало Мусю, что в деловой, будничной суете лесного лагеря ничто не напоминало о грозной опасности, в окружении которой жили люди. То был крохотный островок советской жизни среди обширной территории, где фашисты пытались установить свои порядки.

Матрена Никитична, посмеиваясь, рассказывала как-то своей новой подружке, что только теперь она по-настоящему узнала всех этих женщин, с которыми вместе прожила столько лет. Люди тут стали рачительней, сплоченней, требовательней к себе. Должно быть, именно то, что здесь они с особой тщательностью соблюдали правила и обычаи колхозной жизни, помогало им переносить тоску по дому и тяготы лесного бытия.

Вскоре Муся перестала всему удивляться и сама втянулась в эту жизнь. Сначала она помогала кому придется, но скоро это ей перестало нравиться. Тем и крепок был созданный Игнатом Рубцовым лагерный уклад, что каждый здесь знал и делал свое дело. Поразмыслив, Муся пришла к председателю, который с помощью старших ребят нагонял у походной кузницы обручи на рассохшуюся колесную втулку, и заявила, что не хочет быть дармоедом и желала бы по мере сил работать на каком-нибудь определенном деле.

Рубцов одобрительно глянул на девушку и, не отрываясь от дела, спросил:

— А что нравится? Приглядишься и приставай к любой работе, к какой сердце лежит.

Дело себе Муся уже присмотрела. Ей нравились телята, маленькие, пестрые, веселые, на длинных тонких ногах и, как казалось ей, «все на одно лицо».

— Что ж... — сказал Игнат, критически оглядывая только что окованную и слегка еще дымившуюся втулку. — Что ж, телята — дело ответственное. Передай бабке Прасковье, что председатель определил тебя ей под команду. Богатое, между прочим, дело — телята. Глядишь, пока что трудодней себе на приданое заработаешь. У нас в «Красном пахаре» знаешь какой был трудодень!

Так Муся Волкова, умевшая по-настоящему увлекаться любым интересным делом, начала под «командой» опытной телятницы колхоза, бабки Прасковьи Нефедовой, свою новую карьеру.

Быстро научившись различать телят не только по кличкам, но и по характеру, она вскоре умело готовила для них пойло, меняла подстилку, кормила, чистила, даже лечила их. Особенно нравился ей закуток для самых маленьких — «ясли», как называла бабка уютный угол, где еще при своих «мамашах» были размещены телята «овражного отела»: Березка, Сосенка, Елочка, Полянка и Дубок — головастый игривый молодчик, впрочем едва еще державшийся на длинных, разъезжающихся в разные стороны ногах.

Прасковья Нефедова славилась на весь колхоз сварливым нравом. Но девушка быстро разглядела под хмурой личиной вечно всем недовольной ворчуньи добрую, привязчивую и верную душу. Бабка начала с того, что выгнала девушку из телячьих закутков за то, что та явилась в пестром платье — «бычков пугать», а кончила тем, что собственноручно перенесла рюкзак с пожитками «горемычной странницы» в свою землянку, вырытую возле телятника, и уступила девушке нары, устроив себе постель на полу.

Муся с радостью переехала на жительство к своей начальнице. Ей тягостно было стеснять Матрену Никитичну с ее тремя ребятишками. Телятница напоминала девушке ее собственную хроменькую бабушку, беззаветно любившую и баловавшую внуков. Прасковье же новая сожительница помогала переносить одиночество. К тому же у бабки была одна, известная всему колхозу, необоримая страсть — она любила поговорить, и ей нужен был слушатель.

Впрочем, этот бабкин недостаток не очень угнетал девушку. Бывалая старуха рассказывала интересно, образно и никогда не повторялась. Когда же речь касалась излюбленных ее «телячьих» тем, бабка становилась прямо поэтом, и Муся не уставая слушала всяческие наставления по уходу за маленькими питомцами.

По бабкиным рассказам выходило, что каждый теленок на свой манер и требует соответственного обращения. Старуха без устали тараторила: о веселых шалостях игривой Полянки; о капризах балованной Елочки, которая никогда без фокусов за еду не приметя и которой для аппетита перед кормежкой надо шейку пощекотать; о прожорливости простушки Сосенки, не удавшейся почему-то породой «ни в мать, ни в отца» и норовившей бесцеремонно оттереть своих соседей от вкусного пойла; о подлом характере маленького Дубка, в сонных глазах которого, сверкавших, как два озерца, среди бархатистой шерсти, бабка склонна была видеть притворную меланхолию и ехидство необычайное.

Старуха всерьез, должно быть, считала, что работа ее в телятнике — самое ответственное дело на земле. Когда в ходе лагерной жизни случалось какое-нибудь «ущемление телячьих интересов», бабка вытирала руки о фартук, потуже завязывала под подбородком платок и отважно шла сражаться с Матреной Никитичной и самим Игнатом Рубцовым, которого, впрочем, втайне побаивалась. Более горячо, чем о собственных удобствах, мечтала она о каких-то особых стойлочках и кормушках, какие видела в прошлом году на сельскохозяйственной выставке.

— Помереть мне без причастия и отпевания, без креста мне в земле лежать, если я из этого жилы Рубцова такие же кормушки не вырву! Уж он у меня, хромой леший, не отвертится, нет! Не таковская я!

— Разве сейчас до кормушек? Война, фашисты кругом!

Старуха спохватывалась, задумывалась, но тут же уверенно возражала:

— Фашист, верно... Так, боже ж мой, навек, что ль, он пришел? Фашист, девонька, как болезнь холера: всех косит, а потом фу-у, и нет ее. И куда только господь бог смотрит? Этакой пакости позволил на земле наплодиться!

В углу Прасковьиной землянки темнели доски старых, засиженных мухами икон, изъеденные жуками-древоточцами. Иконы эти бабка не захотела оставить в деревне «на поругание антихристам». Она была верующая, но бог у нее был свой, простецкий. Сидел он у нее где-то немного повыше колхозного председателя, можно было при надобности у него что-нибудь попросить для себя или для телятника, а при случае даже и поругать его малость.

— Ведь я, Машенька, как война-то началась, за пятнадцать верст, грешная, в церкву побежала, да в самую горячую пору — считай, полтора трудодня верных пропало. Да на свечку, да на тарелку клала, да попу — ничего не пожалела. И уж как я у него просила: «Господи Иисусе, не допусти окаянных антихристов до нашего колхоза, не приведи теляткам моим в путь-дорогу подниматься!» И ведь что ж, не услышал. Видишь, очутились в лесу, в буераке, как звери какие... И внуков малых, младенцев чистых... — Бабка скривилась, часто задышала, захлюпала носом и подняла к иконам свои сердитые глаза. — И куда ты глядишь только, совести в тебе нет! Допустил, чтобы ироды эти младенцев своим танком проклятым...

В свободное от работы время она дребезжащим голоском напевала старинные грустные деревенские песни, и Муся, схватив мелодию, без слов вторила ей.

Голос новой телятницы, звонкий и чистый, как вода в ключе, что бил на дне оврага, окончательно покорила бабку Прасковью, бывшую когда-то, до замужества, первой певуньей на своем конце села. Узнав, что ее помощница даже учится «на певицу», старуха прониклась к ней такой преданной нежностью, точно Муся была самым маленьким и беспомощным из всех ее поднадзорных — телят.

По вечерам, когда в овраге уже сгущались тихие сумерки и только на вершинах старых сосен, стоявших на гребне, еще пламенел закат, девушки и женщины помоложе усаживались на двух поваленных деревьях, меж которых была вытоптана и утрамбована небольшая площадка. Эти бревна, уже залоснившиеся от частого сиденья, заменяли им скамейки на лужайке перед зданием колхозного клуба, где собирались они когда-то в родных местах. Варвара Сайкина принималась играть на балалайке, и под нехитрый перезвон струн девчата надсадными голосами выкрикивали:

Мой миленок что теленок,

Только разница одна:

Теленок лезет целоваться,

Мой миленок никогда...

Частушки сыпались одна озорнее другой, крепче и крепче били каблуки и босые пятки утрамбованную землю. Резкие, крикливые голоса, звуки балалайки будили лесную ночь, поднимали уснувших птиц, и они срывались с веток, свистя крыльями, уносились в теплую темень. Но вдруг в разгар веселья какая-нибудь из женщин вздыхала:

— А где он сейчас, миленок-то?...

И сразу обрывался голос балалайки, стихали песни, женщины и девушки сдвигались на бревнах, стараясь теснее прижаться друг к другу, и начинались тихие, скорбные разговоры о том, что может фашист творить сейчас в «Красном пахаре», о мужьях и суженых, воюющих неизвестно где.

Вот в такую-то тихую минуту бабка Прасковья, обязательная посетительница этих «гулянок», и упросила Мусю спеть.

Разгорались на августовском небе россыпи звезд. Еще не поднявшаяся луна обрисовывала своим светом волнистую стену леса. Таинственно и тревожно шумели сосны. В прохладной ночи нет-нет, да трогал ветер листья ольх и орешника, и они что-то тихо бормотали спросонья. Среди лесной тишины как-то по-особому зазвучала песня о зимнем вечере, о снежных вихрях, об одиночестве поэта-изгнанника...

Нет, даже в Москве перед затаенно притихшим залом, в самый счастливый день своей жизни, девушка не пела так, как поет тут, в лесу, перед этими женщинами, гордо переносившими необыкновенные тяготы жизни в лесной глухомани. Песня, казалось, заполняла весь бесконечный простор, достигала до самих колючих звезд. И когда с неподдельным волнением Муся тихо вывела: «Выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей...», она услышала — именно услышала — в ответ такую тишину, что отчетливо обозначились в ней дальше уханье филина, затаенные вздохи и тихое всхлипывание уже почти невидных во тьме слушательниц.

Потом до уха Муси донеслись сдавленные рыдания. Девушка разглядела, что плачет, опираясь на гриф балалайки, толстая, румяная и обычно такая веселая Сайкина.

В эту августовскую ночь девушка особенно крепко поверила, что когда-нибудь, может и не скоро, и наверное еще не скоро, но обязательно станет она такой же певицей, как та чудесная женщина, что поцеловала ее когда-то за кулисами московского театра.

11

Однажды ранним утром, когда Матрена Никитична, уже одевшаяся, чтобы идти в коровник, наскоро кормила своих ребят, в землянку спустился Игнат Рубцов.

Он басовито сказал с порога: «Здравствуйте вам», поиграл с внуками, потолковал о незначительных каких-то делах и, попыхивая зажатой в кулаке трубкой, пустился вдруг вспоминать старую историю о том, как при обмене мичуринских саженцев на пчелосемьи пытался его однажды объегорить председатель соседнего колхоза «Борец» и как ловко он, Рубцов, вывел хитреца на чистую воду.

Матрена Никитична, хорошо знавшая свекра, со все возраставшей тревогой посматривала на него. Она чувствовала, что, болтая о пустяках, этот деловой, обычно скупой на слова человек, должно быть, умышленно тянет, не решаясь начать какой-то трудный разговор. На сердце у нее становилось все тревожнее.

— Ай беда какая, папаня? Не томи, говори, — попросила она наконец.

Председатель колхоза нахмурил лохматые брови и, старательно извлекая занозу из жесткой ладони, ответил:

— Зачем беда! Дело... Ну, пшено, марш на волю, у нас с матерью разговор по партийной линии будет.

Когда внуки, отстукав босыми ногами по земляным ступенькам, выбежали из землянки, Игнат, примочив ранку от занозы слюной, сказал:

— Мы с тобой, Матрена, тут в Коровьем овраге двое коммунисты. Партийное собрание открыто. Давай решать, кому из нас золото нести.

Матрена Никитична и сама уже не раз задумывалась о судьбе их необычайной находки, не раз появлялось у нее опасение: не пришлось бы самой отправляться в путь с кладом. Но всякий раз она отгоняла эту мысль, как назойливую и злую осеннюю муху.

— Маша — крепкая девчонка, да девчонка ж! Разве ей одной такую ценность доверить можно? Не миновать одному из нас ее провожать.

На мгновение Матрена Никитична представила себе ужас, который она пережила, когда фашистская колонна нагнала гурты на дороге. Схватив тряпичную Иришкину куклу, валявшуюся на детской постели, и прижав ее к себе, она прошептала:

— Папаня, у меня ж дети! Я разве могу?

— О хозяйстве не толкую. С табором и ты не хуже моего справишься, — загудел, как майский жук, Игнат. Он с досадой хлопнул себя по искалеченной ноге: — Вот окаянная господская памятка не позволяет! Знаешь, какой я ходок? А тут — леса, буераки... На таратайке по фашистским тылам не покатишь...

Игнат волновался и не мог этого скрыть. Он то клал в карман, то снова вытаскивал свою трубку. Большие руки его при этом дрожали. Шрам на щеке побагровел и, как казалось, даже вспух. Видно было, что разговор этот старому балтийцу тяжел. Каждое слово он точно вытаскивал:

— Я, сношка, об этом уж сколько дней раздумываю... Формально, конечно, наше дело — сторона, своих хлопот полон рот, своего горя под завяз. Не жируем. Легче всего так-то: вот тебе, красавица, твой мешок, вот харч на дорогу — и счастливого тебе пути. Так? А по существу? Имеем мы с тобой, члены партии, право девчонку одну в такой риск пускать? Ценности-то какие...

Матрена Никитична молчала. Ее напряженные пальцы охорашивали куклу, с преувеличенным старанием расправляли складочки на кукольном платье. Игнат вскочил. Ловко лавируя между столом и чурками, заменявшими табуреты, заковылял по землянке.

— У меня перед глазами все этот старик... Холодеет уж, и на тебе: «Поклянитесь!» А ведь Маша говорила, беспартийный был. А мы с тобой кто? Ну, кто?

Женщина опять прижала к себе куклу, как будто у нее хотели ее отнять.

— Зойке-то три годочка только, — чуть слышно прошептала она. — Ведь за ней глядеть надо.

Игнат сел за стол, положил перед собой руки и, крепко сцепив пальцы, долго молчал, сипя трубкой и густо чадя дымом. Лицо его напряглось, покраснело, на висках обозначились синие вены, будто поднял он с земли и старался унести непосильную тяжесть.

— Тебе идти, Матрена Рубцова, — сказал он наконец, и голос его был хриплый, а дыхание прерывистое. — Другого ничего не придумаешь. Тебе! За внуками сам пригляжу, я за них и перед тобой и перед сыном в полном ответе.

— Когда выходить? — спросила Матрена и, резко вскочив, повернулась к свекру спиной.

А тем временем в другой землянке за миской простокваши и ломтями сухого хлеба из отрубей завтракали бабка Прасковья и Муся.

Найдя наконец человека, который слушал ее с охотой, без насмешек и даже без иронических огоньков в глазах, которые бабка особенно не любила, старая телятница распространялась на любимую тему:

— ...И верно, верно ты говоришь! Клад этот твой что? Тлен, суета сует. На метафе в телятниках — вот где клад свой, девка, ищи! А ты что думаешь? На наших скаредных суглинках только с хорошим скотом богатство и приходит. Вон несерьезный элемент, вроде Варьки Сайкиной, на хвосте несет, будто бабка Прасковья — «телячья богородица» и прочее такое. А я ей, краснорожей, на это скажу: «Дура ты, дура набитая, твои рекордистки где выросли? Ну? У бабки Прасковьи в телятнике — вот где! Стало быть, горлопанка ты этакая, где твоей славы корень, а?» То-то и есть!

Старуха победно глянула на Мусю, как будто перед ней, и верно, сидела ее постоянная супротивница Варвара Сайкина, потом изобразила на лице таинственную улыбку и, наклонившись через стол, доверительно зашептала:

— А знаменитая наша Матрена, думаешь, с чего начала? А? С телки, милая, с телки Козочки, вот с чего. До телки этой кто такая Матрешка была, а? Самая последняя нищенка-побирушка, вот те Христос! Об этом она и сама на собрании говорила, когда ее в областной Совет выставляли. Так и сказала: «Нищенка, побирушка была, граждане!» Все слышали.

Ненадолго в землянке наступает молчание. Постукивают об алюминиевую миску деревянные ложки. Отвечая на какие-то свои, рожденные разговором мысли, Муся начинает напевать услышанную ею от Матрены Никитичны и очень полюбившуюся ей грустную песню:

Хороша я, хороша,

Плохо лишь одета.

Никто замуж не берет

Девушку за это...

Бабка откладывает ложку и присоединяет к песне свой дребезжащий, но еще приятный и душевный голос:

Пойду с горя в монастырь

Богу помолюся,

Пред иконою святой

Слезам зальюся...

— Чудная! Нашла с чего слезами заливаться! — вдруг прерывает Муся песню. — Подумаешь, горе: плохо одета. Поработала побольше — и оделась бы как следует! А то реветь, богу молиться... Вот глупости!

Бабка смотрит на Мусю с ласковой усмешкой. Она не уверена, говорит ли это девушка всерьез и нет ли тут подвоха. Но та как ни в чем не бывало ест простоквашу.

— Вот гляжу я на вас, на молодежь на нынешнюю... и ничего-то вы не понимаете! Ну как есть ничего!.. «Пшла да заработала»! Это сказать просто. Я вот до самого венца в одном ситцевом платьишке латанном-перелатанном отщеголяла. И в пир, и в мир, и в добрые люди — все в одном. «Заработала»! А работать где? Это сейчас вам легко: здравствуйте, куда вас определить? Хотите — на ферму, хотите — в телятник, или, может быть, ваше колхозное благородие, на агронома или ветеринара поучиться желаете?... «Заработала»! Умница какая! Наши Ключи уж на что торговое, богатое село было, а вот, не совру, половина не половина, а уж треть верная с масленой суму на плечи надевала да под чужие окна по куски: «Подайте милостыню, Христа ради...» «Заработала»!.. Это вам теперь легко...

Мусе очень нравятся эти рассказы о прошлом, и, опустив глаза, пряча улыбку, она осторожно поощряет бабку вопросами:

— Больные, что ли, они были, эти нищие-то?

— И больные, конечно, это точно, — отвечала бабка, насмешливо поглядывая на собеседницу. — И больные... В наших тугородных краях, почитай, полволости одним колтуном маялось. Вы, чай, и болезни такой не слыхали. Вся голова болячкой, как шапкой, покрывалась... Вспомнить, милая, жутко... Были и больные, а только по миру больше здоровые ходили. Больной-то, как он пойдет? Он лежит под образами, смерти ждет.

— А чего ждать? В больницу бы шел, лечился.

Старуха всплескивает сухонькими руками:

— Господи боже мой, уж на что ты, Машка, бестолкова! Ну чему, скажи на милость, вас там в школах-комсомолах учат? Это в какую же такую больницу мы тогда идти могли? Была у нас земская на весь уезд, да и до той тридцать верст немереных. Это у кого кони, те верно, в больницу. Только тот, кто коней имел, колтуном не болел. А бедняк-горюн три раза по дороге ноги протянет, прежде чем до больницы до той доберется... Больница! Это теперь доктора да фершала, избаловался народ. А тогда к бабке сходить надумаешься. Ей и то бывало пяток яиц неси, коли хочешь, чтобы она над тобой пошептала... Больницы, эх! Скажешь!..

Схватившись за ложку, бабка принялась ожесточенно хлебать простоквашу. Ест она быстро, шумно, со вкусом.

Лесной лагерь уже проснулся: прозвенели подойниками доярки; как кузнечики в сене, перекликаются молотки, отбивающие косы; где-то за оврагом погромыхивают колеса телеги, мычат коровы, и на весь лагерь крикливо и звонко поносит кого-то Варвара Сайкина.

— Продрала глаза, балалайка! — сердито ворчит бабка и откладывает в сторону ложку, предварительно ее облизав. Потом, покосившись в сторону потемневших икон, бросает на себя три небрежных креста и, вдруг вспомнив что-то интересное, опять придвигается к Мусе: — Вот ты не веришь, что в наших местах целые деревни иной раз по миру ходили. Спроси у Матрешки-то у Никитичны — она скажет.

Глаза бабки разгораются, морщины разбегаются от них острыми лучиками, и Муся чувствует,



что у старухи уж готова интересная история.

— Я ж тебе говорила, что Матрешка-то наша Никитична в гору с телки пошла. Козочкой ту телушку звали. Так ли, нет ли, но я сама от баб мигаловских слышала. Будто это идет раз Матрешка с братишкой Колькой зимой из Подлесья к ним в Мигалово с пустыми торбами — никто им, сиротам, в этот день ничего не подал... Идут полем, а тут, как на грех, метель заварилась, да такая: протяни руку — не увидишь... Идут сироты, чунишки у них замерзли, аж стучат, мороз до костей пробрал. А тут напасть — дорогу потеряли, куда ни ступят — снегу по пояс. Вот беда! Из сил они выбились, сели на какую-то изгородь, сели и стали на бога роптать: дескать, господи Сусе, и куда ты только глядишь, где ж это твоя справедливость? У людей пироги с луком, пироги с кашей да пироги с капустой, а у нас и корки в суме нет и силы кончились. Что ж нам, помирать, что ли?... А дело было на Николу-зимнего. Ты знаешь, какие у нас в ту пору стужи бывают?

— И очень глупо, нашли к кому апеллировать! — усмехается Муся.

Но уж очень хорошо, смачно рассказывает старуха. Девушка отложила ложку, уперла подбородок в ладонь, и в глазах у нее светится такой интерес, что сердитая бабка прощает ей ее слова.

— А ты не перебивай, слушай, что дальше... Только это они на бога заругались и возроптали — хватъ, откуда ни возьмись, выходит к ним из самой метели старичок, седенький-преседенький, хиленький такой, а на лице строгость. Вышел и говорит: «Что же это вы, такие-сякие, немазанные, отроки неразумные, о боге такие слова произносите?» А Матрешка наша — она и в девчонках боевая была, — прямо как в колхозном правлении, ему и вываливает: «А как же нам, товарищ дедушка, на него не серчать, раз он нас, сирот, забыл, и через такую его халатность погибать нам в чистом поле?» Пустила Матрешка такую критику, а старичок в ответ дернул веревочку, что в руке держал, а на веревочке — хватъ, телочка красной масти. Ее, должно, во время разговора-то из-за метели и не видать было. «Ваша, — говорит, — правда, детушки. У бога в делах завал, неуправка вышла. Однако с критикой это вы зря. Нате вам телочку, ведите ее домой, и чтобы больше никакого шума от вас насчет господа бога не было». Сказал он это, а тут как метель сразу крутнет, я не видать старичка стало. А потом она опала, метель-то, ветер стих, небо вызвездило. Глядят сироты — кругом никого. Пропал старичок тот и следка на снегу не оставил. А тут надоумилось им: а не сам ли то Никола-угодник был к ним посланный?...

Вот с той телки Козочки и пошла наша Матрешка в гору. Колька этот, брат ее, теперь уж по-ученому где-то, говорят, леса сажает, а сама Матрена вон куда поднялась, в Кремль совещаться ездила... Вот фашиста выгоним, помяни мое слово, не иначе — ей в Верховном Совете сидеть... А все с телки. Так ли уж было — не знаю. Мигаловские старухи говорили — так. За что купила, за то и продаю. А Козочку эту я сама помню. Первеющая корова в «Красном пахаре» была. Рекордистки Красавка да Мальва ей внучками приходятся...

Послышались шаги по земляным ступенькам. Вошла Матрена Никитична. Обрадовавшись ее приходу, Муся хотела было посмеяться насчет ее знакомства с Николой-угодником да расспросить у нее о Козочке, но девушку остановило какое-то необычное, строгое выражение лица Рубцовой.

— Ступай-ка, тетя Прасковья, до телят, — сказала Матрена Никитична, нервно перебирая пальцами бахрому белого платка, — мне с Машей один на один поговорить надо.

— И верно, заболталась я тут, — отозвалась старая телятница, и, засуетившись, она опрокинула над миской глиняный горлач, из которого жирными желтыми кусками со шлепаньем вывалилась холодная простокваша. — Садись, Никитична, кушай, веселей разговор пойдет... И что это заболталась я нынче! Ну просто диво!

Матрена Никитична продолжала стоять у входа, свивая и развивая косички из бахромы шали. Казалось, она вся ушла в это пустое занятие. Но Муся почувствовала, что женщина явилась с недоброй вестью, и даже догадалась, с какой именно. Сердце ее сжалось.

— Идти, да? — спросила она едва слышно.

В голосе ее звучала надежда на то, что она обманулась, что не затем пришла Матрена Никитична. Но та утвердительно кивнула головой:

— Да. Завтра.

Девушка опустилась на скамью, тело ее вдруг стало бессильным, руки непослушными.

— Вместе пойдем.

Муся встrepенулась:

— Как? Вы тоже?

Матрена Никитична медленно кивнула головой. Она была задумчива и печальна. Но Муся не сразу это заметила. Идти вместе с этой женщиной, к которой она уже успела привязаться, показалось ей не так уж страшно.

— Ой, как я рада! Значит, вместе... Вот здорово! — Вся сияя, девушка бросилась к Рубцовой, прижалась к ней. — Ведь я трусиха, я видела во сне, что иду одна с золотом, и проснулась в холодном поту... Спасибо вам, спасибо!

— За что же спасибо? — вздохнула женщина, рассеянно глядя тугие, жесткие кудри девушки.

Со смуглого лица Матрены Никитичны не сходило выражение озабоченности. Где-то в самой глубине ее глаз углядела Муся тоску и тревогу, и только теперь пришло ей в голову, что у будущей ее спутницы — дети, которых придется оставить тут, в лесу. Она не только рискует собой — ей придется надолго расстаться с тремя детьми. «Скверная эгоистка! — с отвращением подумала про себя Муся. — Обрадовалась, что мать уходит от детей. Только о себе, только о себе и думаешь!»

— Матрена Никитична, отпустите меня одну. Я дойду, я донесу, не беспокойтесь! — прошептала девушка.

Женщина вздохнула, улыбнулась, и мимолетная улыбка эта была, как те солнечные лучи, что иной раз, на миг проскользнув меж туч, коротко сверкнут в струях падающего дождя.

— Разве можно одной? Это ж такие ценности...

Думая о чем-то своем, Матрена Никитична стала вертеть в руках деревянную ложку. Чтобы только нарушить тяжелое молчание, Муся невесело пошутила:

— Мне тут рассказывали, как вы от Николы-угодника какую-то телку Козочку получили...

Несколько мгновений женщина смотрела на Мусю удивленно, должно быть не дослышав или не поняв ее слов. Потом ее бархатные брови поднялись, от глаз и от уголков рта лучиками разбежались тонкие, точно иголкой вычерченные, но очень выразительные морщинки.

— Это Прасковья, что ли, наплела? Вот старая сорока, ведь знает, отлично все знает! И как я в люди вышла, и откуда в «Красном пахаре» богатство пошло — знает, а все плетет чушь несусветную... Ходили, ходили когда-то среди старух такие байки, забыть их уж давно пора... Я, Машенька, того самого «Николу-угодника», от которого телку-то получила, вместе с

комсомольцами потом раскулачивала. Богатый кулачище был, одной ржи у него из ям тонн пять вычерпали. И вся сгнила уж... Сколько времени прошло, а встретиться он мне — я б ему и сейчас в глаза вцепилась, этому святому... За эту телушку я у него все лето от зари до зари в своем поту, как огурец в рассоле, плавала. Расскажу как-нибудь вам всю свою жизнь. Дорога у нас длинная, поговорить время достанет.

Матрена Никитична задумалась и вдруг совсем помолодела от веселой, задорной, белозубой улыбки, осветившей вдруг смуглое, загорелое лицо.

— Чем про всякую чушь сказки слушать, спросили бы лучше, как Прасковья телят святой водой от поноса лечила. Спросите, спросите. Весь колхоз со смеху помирал... Началась было у нас весной эпизоотия — телячьи поносы. Ну, понятно, сразу все меры приняли. В помощь к нашему ветеринару еще один из района приехал, карантин установили, все как надо. А Прасковье этого мало. Она тайком от всех возьми да и вызови попа. Провела его в телятник, тот и начал свое колдовство. А когда поп оттуда уж выбирался, заметил его бык Пан. Знаешь, какой он у нас озорник! Заметил — и ну батюшку по двору гонять... Чашу да кропило уж потом бабка в навозе нашла, к нему носила... Этого старая вспоминать не любит. Всыпали мы ей тогда на правлении за такую медицину... Ну, полно болтать, о деле думать надо.

Обняв девушку, прижав ее к себе, Матрена Никитична сказала, впервые обращаясь к ней на «ты»:

— Что ж, Маша, давай собирайся. «В путь-дорогу дальнюю», как в песне поется.

И они долго стояли обнявшись, думая каждая о своем.

13

Сборы на этот раз были тщательные.

Игнат Рубцов понимал, в какой сложный и опасный путь отправляет новых подружек, и старался предусмотреть каждую мелочь.

Прежде всего он решил, что ни во внешности, ни в одежде путниц не должно быть ничего, что могло бы привлечь фашистский глаз. Он заставил сноху, которая, даже в коровник идя, одевалась всегда хорошо и аккуратно, расстаться со своим костюмом, с пуховым платком. Матрена Никитична надела юбку из бумазеи, одолженную для такого случая у одной пожилой коровницы, повязала голову черным старушечьим платком бабки Прасковьи, обулась в лапти, сплетенные ей как-то свекром и как нельзя лучше подходившие для предстоящего похода. Муся облачилась в свой заношенный из бумажной фланели спортивный костюм и башмаки. Если бы не пышные, отросшие за дорогу волосы да не тонкая девичья шея, в этом костюме она вполне могла бы сойти за мальчишку-подростка. Игнат и посоветовал было ей для пущей безопасности подстричь кудри. Но девушка пришла в такое негодование, что он только махнул рукой.

По замыслу Игната Рубцова, путницы должны были выдавать себя за голодающих горожанок, отправившихся менять свои пожитки на съестное. Он уже знал, что фашистская саранча быстро уничтожает продовольственные запасы в городах и сотни, тысячи людей, подгоняемые голодом, двинулись в дальние села добывать себе пропитание. Поэтому в мешках спутниц не должно быть ничего, что могло бы разоблачить их. По смене белья, пара байковых одеял, взятых будто бы для обмена, да что-нибудь трикотажное понеказистей, что

можно было бы, в случае надобности, надевать для тепла. Ценности он решил положить в мешок, а мешок этот сунуть в другой, больший по размеру, а между ними насыпать прослойку ржи. В случае если фашист пощупает мешок или заглянет в него, — ничего особенного: ржицы добыли себе бабоньки на кашу.

Игнат советовал также путницам ввиду приближения осени в лес глубоко не забираться, от села к селу идти малоезжими проселками, избегать только занятых противником деревень, а свободных не чураться, на ночлег располагаться у добрых людей запросто.

Решив на дорогу выспаться, Муся с вечера простилась со всеми своими новыми подругами, но уснуть не смогла и всю ночь пролежала с открытыми глазами, слушая тонкий комариный звон да вздохи и всхлипы бабки Прасковьи. Чуть свет бабка подняла девушку, всплакнула у нее на плече, осыпав мелкими крестами, по невидной еще в тумане стежке проводила до землянки Матрены Никитичны.

Там не спали. Потрескивая, горела лучина.

— Вовка, гляди, за старшего в доме остаешься, — донесся снизу взволнованный голос Рубцовой. — Все, что дедушка тебе велит, исполняй. Ему за вами некогда смотреть, у него на плечах вон какая махина! Ты, Вовка, сам маленьких корми. Понял? Вместе с Аришкой Зоиньку нянчите.

Муся спустилась в землянку. Мать на коленях стояла перед постелью детей. Володя лежал с открытыми глазами. Должно быть, боясь разбудить сестренку, мирно посапывавших во сне, он лежал неподвижно, закусив рукав рубашки. По лицу его бежали слезы.

Заметив Мусю, Матрена Никитична вскочила. Она была уже одета и стала поспешно обматывать голову темным платком, который сразу прибавил ей лишний десяток лет.

— Мама, мама, не ходи! — зашептал мальчик, глотая слезы, и все его худое тельце затряслось под одеялом. — Не надо, не уходи!..

— Не плачь. Ну чего плачешь? Большой уж, восьмой год пошел! Кабы не война, в школу б пора, — торопливо говорила мать отвернувшись. Она все возилась с платком, должно быть боясь смотреть на детей.

В землянку вошел Игнат Рубцов, необыкновенно хмурый, казалось невыспавшийся. Он кивнул с порога путницам и протянул холщовый латаный мешок так легко, точно набит тот был не золотом и зерном, а сеном.

— Ну, Матрена, велика была до войны твоя слава, прославься еще раз! Послужи родине! Сохрани, сдай в верные руки.

Отдав мешок Матрене Никитичне, он подошел к Мусе. Тяжелая, горько пропахшая табаком рука опустилась на плечо девушки:

— А ты, красавица, во всем на нее надейся. Большевичка, не подведет... Ну, ступайте, что ли!

Не оглядываясь, он пошел к выходу.

Матрена Никитична вскинула тяжелый мешок на спину, поправила лямки, сделанные из льняного полотенца, и решительно двинулась за свекром. Пронзительный детский крик остановил ее. Она встрепенулась, ахнула, как раненая, и, оттолкнув Рубцова, бросилась назад, упала на колени перед постелью и обняла две черненькие и одну белую с косичками головки, задыхаясь зашептала:

— Детушки мои, детушки! Как же вы теперь?... Маленькие вы мои, хорошие!.. Кровиночки мои!..

Володя как повис у матери на шее, так и замер весь, точно оцепенев. У Аришки и маленькой Зои были сонные, испуганные, ничего не понимающие личики.

Потрясенная этой сценой, Муся бросилась из землянки и чуть не сшибла Игната Рубцова, стоявшего у входа. Тут же были встревоженные, необычно молчаливые бабка Прасковья, Варвара Сайкина и другие жительницы лесного лагеря.

Матрена Никитична поднялась наверх, прямая и решительная. Низко надвинув на глаза платок, она твердо сказала женщинам:

— Присмотрите за ребятишками.

Женщины, переступая с ноги на ногу, опустили глаза, точно им было стыдно, что они вот остаются тут, а их подруга отправляется в опасный путь. Игнат Рубцов резко и крепко пожал путницам руки. Матрена Никитична низко всем поклонилась:

— Ну, простите меня, ежели я кого... Прощайте, граждане!

Выпрямилась гордо, поправила лямку мешка и, не оглядываясь, легко пошла по тропке, вившейся между деревьями и петлями поднимавшейся из оврага. Муся двинулась за ней,

И еще долго из сероватой полупрозрачной мглы звучали им вслед слова прощания, напутствия и захлебывающийся детский плач.

Когда голоса стихли и думы колхозного табора затерялись между древесными стволами, девушка вдруг всем телом, почти физически ощутила, что она уходит из родной, близкой ей среды, где легко дышалось, привычно жилось, и снова вступает в иную, враждебную, где всё — и зрение, и слух, и чувства должны быть настороже.

С час путницы шли молча, потом Матрена Никитична замедлила шаг, дала себя нагнать и взяла Мусю под руку.

— Вот и остались мы с тобой, Машенька, одни, как две щепки в ручье, несет нас куда-то... — Она поправила за плечами мешок. — Не горюй, не может того быть, чтоб мы с тобой пропали!

Еще с вечера уговаривались они, что когда дойдут до деревни, где Муся добывала лекарство для Митрофана Ильича, Матрена Никитична с ценностями подождет в леске, а девушка сходит к знакомой женщине. Они знали, что где-то недалеко придется им переходить большую реку, на которой недавно бушевало многодневное сражение, и хотелось им у верного человека вызнать все о переправе и о положении на фронте.

К рассвету они дошли до могилы Митрофана Ильича. Дубовый обелиск возвышался над невысоким холмиком, заботливо обложенным дерном. Убаюкивающе шумела сосна. Ветер, покачивая ее вершину, точно кистью водил по небу. Чернела надпись, старательно выжженная Игнатом Рубцовым. Голубенький мотылек, поводя крылышками, грелся, припав к одной из букв. Озабоченно гудел мохнатый шмель.

Муся хотела только постоять над могилой, но колени как-то сами подломились, и она припала к бугорку, пахнущему землей и молодой травкой. Все эти дни, увлеченная работой в телятнике, новыми впечатлениями и заботами, девушка как-то мало думала о погибшем спутнике. Только сейчас, когда нужно было навсегда проститься с этой могилой, Муся по-настоящему почувствовала, как сильно привязалась она к старому ворчуну, навсегда сложившему свои кости под этой звенящей сосной.

— Идем. Поклялись мы ему все до места доставить, исполнять надо! — сурово сказала Матрена Никитична и решительно подняла девушку на ноги.

14

Как и уговорились, Рубцова осталась в леске, а Муся крадучись добралась до знакомого ей сенного сарая и, не найдя на этот раз ивовой корзины, набрала охапку сена поухватистой и пошла в деревню тем же прогоном, что и в первый раз, когда приходила сюда за лекарством. Хотя сердце у нее тревожно колотилось, она чувствовала себя куда уверенней, чем тогда.

Но ни одного немца по дороге не встретилось. Улица оказалась пустой, проводов на плетнях не было, флаги с красными крестами исчезли с коньков крыш. Даже рубчатых следов машин не было на дорогах. Их, должно быть, смыли дожди. Только необычная для жаркого полдня тишина деревни пугала и настораживала.

Муся, не выпуская из рук охапки, смело повернула дверное кольцо и шагнула через порог в прохладный полумрак сеней. На звук шагов из избы вышла знакомая женщина.

Разглядев Мусю, она не удивилась, ни о чем не спросила и только грустно усмехнулась, взглянув на сено.

— Брось его здесь, ни к чему оно теперь — всю скотину забрал фашист проклятый. Как госпиталя сниматься стали, наехали интенданты, на весь колхоз паршивой овцы не оставили. Наш-то фельдшер-то «не гут», помнишь, что лекарство-то давал, хотел было за меня вступиться. Да где тут, чуть самого к коменданту не потащили... Ну, входи, что ли!

Хозяйка распахнула дверь. В избе к запаху жилья еще примешивались острые ароматы медикаментов, но уже ничто не напоминало о том, что в ней жили чужаки.

Хозяйка села у окна и, сплетя на коленях узловатые пальцы жилистых рук, молча смотрела на Мусю. Ее морщинистое, покрытое тяжелым загаром лицо за эти дни стало еще суше, строже.

— Вот уж и пушек наших не слышать которую неделю. Одни мы остались... — Она вздохнула.  
— Ну, а лекарство-то пригодилось?

— Умер он. Опоздала я тогда.

— Что ж, будь земля ему пухом! Не один он... Смерть теперь везде урожай снимает, — отозвалась хозяйка. И вдруг в ее суровых, усталых глазах затеплился на миг ласковый огонек. — А сестричка-то — та молодец, выходила-таки в лесу своих раненых. Поднялись, третьего дня за реку пошли, на выход. До армии хотят пробиваться.

Ободренная этой вестью, девушка стала просить хозяйку помочь и ей пробраться за реку.

— Трудно теперь, все мосты наши перед отступлением взорвали. Немцы один навели, да охраняют его, как казну какую. А где хоть малость подходящий бродок, там ихний глаз круглые сутки смотрит. Ох, и зорко следят, пугливые стали! Вдоль большаков да железных дорог леса сводят. Партизаны им всё мерещатся. Видать, здорово вы их щекочете...

Сидя все в той же неподвижной позе, хозяйка метнула испытующий взгляд на Мусю.

Девушка густо покраснела. Опять ее принимают за кого-то другого, опять приписывают ей

несуществующие заслуги...

— А что про партизан говорят? — спросила она уклончиво.

— Да какие у нас разговоры! Так, сорочий грай... Лихо, говорят, на дорогах работать стали, поезда под откос летят. Один вон тут, недалеко от нас, вниз по реке, из воды торчит, фрицы с него рыбу удят. С моста слетел.

— И большой ущерб несут?

— Да чего ты меня спрашиваешь? Ваша прибыль, вы и считайте.

— А как же раненые реку переходили?

Хозяйка вздохнула:

— Есть один такой бродочек. Трясина там к самой реке подходит... сколько коров в ней перетонуло... Там, верно, немцы почти не показываются. Только ходить опасно — болото, знающий проводник нужен.

Вспомнилось Мусе, как утопал в трясине Митрофан Ильич, как на глазах уменьшался он, будто таял, и неприятный холодок прошел по спине.

— У нас важное дело, вы должны нам помочь, — сказала она, стараясь произносить эти слова с той силой убежденности, с какой умела говорить Матрена Никитична.

— «Должна, должна»... Никому я, милая, ничего не должна, все долги давно выплатила! — раздраженно ответила хозяйка и, отвернувшись, стала смотреть в окно на пустую, точно мертвую, улицу, залитую солнцем.

Заблудившаяся большая муха с тоскливым упрямством билась о тусклое стекло. За печкой раз-другой, точно настраиваясь, пиликнул сверчок.

— Раз надо, чего ж говорить? — произнесла наконец хозяйка. — Не иначе опять моему Костьке вас вести. Сестричку-то ту с ранеными он провел. А до этого окруженцев провожал, мальчишек еще каких-то целый табун... Опытный!

Хозяйка поднялась, долго смотрела в окно. Когда она обернулась, лицо у нее было печально.

— И что только я, дура, делаю? Муж на фронте, невесть где, ни одного письма до самой оккупации не получила. Старший воюет, а я сына последнего, поильца-кормильца на старости лет под вражью пулю уж который раз посылаю.

Муся вскочила, хотела было заговорить, но женщина осадил ее суровым взглядом:

— Не агитируй — сагитирована!

Она вышла из комнаты и через минуту вернулась со знакомым Мусе мальчиком, вытиравшим о рубаху руки, испачканные в земле. Он чинно поздоровался, сел. По-видимому, узнал девушку, но виду не подал и только изредка исподтишка бросал на нее любопытные взгляды.

— Ты дорогу на брод знаешь?

— На который, на Каменный? А то нет! Мы там весной острожками щук колем, — по-мальчишески пробасил он. — Мне капитан Мишкин, раненый, когда я их на ту сторону доставил, сказал: «Ты, брат Костька, разведчик настоящий!..» А то не знать!

Между тем хозяйка завернула в узелок несколько вареных картофелин и кусок хлеба. Сунув узелок сыну, она, опустив глаза, сказала Мусе:

— Вам не даю, нечего. Все наши трудодни под метлу их интенданты выкачали... Ты там осторожней, сынок, под пулю не лезь. В случае чего, схоронись и лежи.

— Уж знаю... — вспыхнув, отозвался Костя и, покосившись на Мусю, резко отвернулся от матери, когда та хотела его поцеловать. — Пошли, что ли?

15

Молча дошли до околицы. Солнце, перед тем как опуститься за лес, разметало багровые лучи по долине. В прощальном свете догорающего дня открылся вид на немецкое кладбище. Теперь оно занимало не только пригорок, но и всю равнину до самой железнодорожной насыпи, видневшейся вдали. По-прежнему строгими рядами стояли березовые кресты. Целая стая воронья осела на них, точно пеплом их осыпала, и пепел этот розовел в последних закатных лучах. Девушка невольно остановилась. Маленький колхозник по-взрослому усмехнулся:

— Ай не видела? Посмотри, полюбуйся! Это еще не все, там вон, за насыпью, еще есть. Всю березовую рощу на кресты свели. — Он потянул девушку за руку: — Пойдем, пока ветер оттуда не дунул. Дух от них тяжелый.

Когда кресты остались далеко позади, Костя остановил Мусю:

— К вам, в партизаны, таких, как я, записывают?

— Ну, а вы как, ждете партизан? — уклонилась она от ответа.

— А то нет! Конечно, ждем. После того как партизаны поезд с моста в реку свалили, староста наш, Жорка Метелкин, — его, говорят, фашисты где-то в Великих Луках, что ли, в тюрьме откопали, — вроде сам не в себе... Днем ходит по колхозу, охальничает, грозит, а как солнце на закат, напьется, сядет на крыльцо и давай реветь: «Пропала буйная головушка...» Тетя, а у вас много оружия?

Мальчик был так разочарован и огорчен, что вместо предполагаемого партизанского отряда ему придется провожать за реку двух теток, смахивающих на беженок, что сначала было вовсе отказался их вести, а когда повел, целый час обиженно молчал, односложно отвечая на вопросы: «ну да», «а то нет», «была охота».

Спутницы тоже молчали, прислушиваясь к тишине. Ночь была, несмотря на луну, темная. Землю точно пуховым одеялом покрывал низкий молочно-белый и плотный туман, доходивший до колен. Луна светила сбоку, а впереди, на густо посоленном неяркими звездами небе, шел такой частый звездопад, будто там, за кромкой горизонта, был передний край и над ним непрерывно стреляли трассирующими пулями.

За болотистой равниной заросли камыша стали гуще. Дорожка перешла в узкую тропу. Фигурка мальчика, по пояс погруженная в туман, точно плыла впереди, и Муся, шагавшая второй, старалась не упускать его из виду. Вода смачно жмыкала под ногами. Справа и слева, то расступаясь, то сдвигаясь в сплошную стену, шелестел высокий камыш с темными, еще не запушившимися кисточками. Заросли дышали болотной прелью и дневным, сохранившимся в них теплом.



А высоко над головой путников все время, не затихая, тянулись на запад самолеты. Они шли мелкими группами. Их не было видно, но звук их моторов, то пропадая, то нарастая, господствовал в прохладной ночи и как бы растворял в себе и вопли лягушек, и шелест камыша, и чавканье шагов.

— Наши... На Берлин идут, — обернувшись, проговорил наконец Костя. — Вот уж которую ночь над нами ходят... Ох, наверное, и дают они фрицам жизни!

Спутницы невольно остановились. Моторы в эту минуту звенели как раз над их головой. Мусе показалось даже, что она различает темный силуэт машины. И как-то сразу полегчало на душе, будто в прохладной ночи среди болотных испарений и предостерегающего бульканья пузырьков, поднимавшихся из трясины, услышала она далекую песню друга.

— Темно, туман, много ли сверху разглядишь! А они летят себе и с пути не собьются, — задумчиво произнесла девушка. — Прежде я считала, что летчики ночью дорогу находят по звездам.

Мальчик покровительственно усмехнулся: он-то уже давно разузнал тайну ночного вождения самолета.

— Эх, Машенька, вот они в Берлин слетают, гостинец Гитлеру свезут, а к утру уж дома, у своих. А нам с тобой сколько идти! — отозвалась Матрена Никитична, вздохнув, но сейчас же, точно спохватившись, добавила: — А что тут говорить, дойдем! Не можем мы с тобой не дойти. Права не имеем. Верно?

Мальчик уловил в этих словах особый, скрытый смысл. Нет, это не беженки, как подумалось ему сначала. Зачем, скажи на милость, беженкам пробираться ночью по болотам, рискуя головой? Ясно, эти тетки выполняют какое-то особое задание. Может быть, они партизанские разведчицы? Может быть, несут какие-то важные вести? Может, у них в мешках боеприпасы или взрывчатка? И, желая показать спутницам, что он не просто колхозный парнишка, а тоже кое-что смыслит в военных делах, мальчик заявил, что он по дороге этой уж немало перевел на тот берег разного вооруженного люда. Выяснилось, что эта незаметная, вьющаяся в камышах тропа, протоптанная когда-то деревенскими рыболовами, стала тайной магистралью, по которой неведомо для оккупантов население поддерживает связь между двумя берегами реки, что только позавчера прошли по ней тридцать два раненых, которых в дни боев за переправу медицинская сестра спрятала в лесу левобережья, с помощью колхозниц вылечила и подняла на ноги.

Эта история особенно заинтересовала Мусю. Ведь когда-то мать Кости приняла ее за посланную от той отважной девушки. Впрочем, сестра оказалась, по словам Кости, вовсе и не девушкой, а пожилой женщиной, которую раненые именовали «маманя». Раздобыв крестьянскую одежду, она смело заходила в занятую оккупантами деревню, и по ее просьбе женщины выменивали у немецких фельдшеров на кур и овец лекарства, собирали старые бинты и марлю, а Костя вместе с другими ребятами носил медикаменты и еду в лес. Мальчик с гордостью сообщил, что когда он перевел раненых на тот берег, капитан Мишкин с незажившей раной на ноге, которого несли на носилках, сказал ему, что, вернувшись к своим, они обязательно напишут о колхозе Ветлино самому главному военному начальству.

— Напишут, а колхоза-то и нет... разогнал фашист колхоз. Председательшу нашу, тетю Глашу Филимонову, повесил и вместо нее этого рви-дери Жорку Метелкина в старосты на три деревни посадил. Тот как глаза продерет, так и орет: «Вы теперь ин-ди-ви-дуалы!..»

Мальчик с трудом выговорил это незнакомое слово и, прикусив язык, покраснел. Оно казалось ему бранным, и он сомневался, можно ли вообще произносить его при женщинах.

Матрена Никитична сразу точно очнулась. Она принялась выпрашивать, что творят

оккупанты в колхозах. В разговоре замелькали туманные для Муси слова: неделимые фонды, семярезерв... Девушка поняла только, что колхозникам все же удалось как-то обмануть старосту, разобрать по рукам и попрятать наиболее ценное из артельного добра. Постепенно разговор перестал интересовать девушку. Чуть приотстав, она слушала шелест как бы накрахмаленных стеблей камыша, надрывные вопли лягушек, бульканье пузырьков и гуденье моторов, время от времени властно врывающееся в первобытную тишину.

Луна светила теперь сзади, бросая под ноги идущим короткие угольно-черные тени. Девушка думала, что вот этот сияющий круг видят сейчас и летчики, летящие на Берлин, и красноармейцы, бодрствующие на переднем крае, и счастливцы, что живут там, за фронтом, на неоккупированной, свободной земле. Может быть, где-нибудь на передовой смотрит сейчас на луну и отец, вылезший из землянки покурить перед сном. Может быть, видит ее и мать, вышедшая на крылечко покликать братишек, которым уже пора спать.

Вспомнив о родителях, Муся вдруг ощутила такую теску по дому, что изумилась: как это у нее хватило решимости оторваться от семьи! «Милые, милые! Помните ли вы свою взбалмошную Муську?»

Девушка старалась представить себе, что сейчас может происходить дома. Рисую себе одну картину за другой, она так увлеклась, что не заметила, как вышли к изгибу беспокойной реки, с ворчливым плеском перебирившейся через каменистый пережат. От берега к берегу, пересекая посеребренную, всю точно фосфоресцирующую взлохмаченную водную поверхность, тянулся колеблющийся лунный столб. Холодный парок задумчиво расплывался над рекой.

Муся вздрогнула: б-р-р!

— Что же, раздеваться надо? — зябко спросила Матрена Никитична.

— А то как? Здесь глыбко. Мне в ином месте по шейку, а в ином и донышка не достать, — ответил мальчик.

— Я плавать не умею, — упавшим голосом сказала женщина, прислушиваясь к торопливому клокотанью воды среди камней.

Костя критически смерил глазами ее высокую фигуру:

— Ничего, ты большая, так перейдешь... Тебе по шейку, глыбче не будет. Только смотри, как бы водой с камней в омут не сбросило. Там омутище — ух! Сомы кил на двадцать водятся.

— А если сбросит? — Матрена Никитична тревожно смотрела на беспокойный поток, терявшийся в редком тумане. — Я девчонкой тонула раз — пастухи вытащили. С тех пор в воду заходить боюсь.

Мальчик насмешливо фыркнул:

— Большая, а боишься! Точно курица... Я как ребят провожал, ремесленников... на окопах они работали у старой границы, их фашист танками отрезал... Ух, Дружные ребята! Все вместе из окружения и выходили. Так вот у них многие и вовсе не плавали — и не боялись.

— Перешли?

— Пятерых в омут скинуло.

— Утонули?

— Трех вытащили... У них там один — они его Елка-Палка зовут, а он по-настоящему Толька

— ох, лихой парень! Здорово плавает! Он и вытащил.

— А двое?

— В воронку завертело... Этот Елка-Палка нырял, нырял, посинел весь, сам воды нахлебался, а не достал... Вот парень, ни черта не боится! Одного из них, Сашку, белявенького такого, так того он на кашлах перенес... Он у них за командира, этот Елка-Палка, даром что там ребята больше его есть...

— Черный, худой такой? — спросила Муся.

Ей вдруг вспомнилась лесная дорога, толпа ребят в черных гимнастерках с ясными пуговицами, носилки, на которых кого-то тащат. А впереди загорелый, тонкий, смуглый паренек в одних трусах и форменной фуражке. Неужели они, эти мальчишки, всё еще идут на восток?... И почему-то Мусе стало от этого так радостно, что она как-то даже забыла, что им сейчас придется войти в эту холодную, клокочущую воду. Она в трудные минуты столько раз думала об этих ремесленниках, что добрая весть о их маленьком отряде показалась ей хорошим предзнаменованием.

— Так этот чернявенький у них за жоака?

— Во-во-во... Он все «елки-палки» говорит. Его за это они и прозвали... Ты его знаешь? Он тоже ваш? — спросил, оживляясь, Костя и вдруг спохватился: — Так что же, идти так идти, чего языки зря трепать! Затемно вам от берега подальше отойти надо... Там у фашиста везде глаз.

Костя деликатно отошел за кусты и скоро, уже голый, выглянул оттуда, дрожа от холодной ночной сырости. Увидев, что спутницы раздеваются, он спрятал свою одежду в траве, бегом проскочил на поляну и, звучно пристукнув у берега босыми пятками, с разбегу плюхнулся в воду. Раздался шумный плеск.

— Ух, холодна! — слышался снизу возглас.

Раздевшись, женщины, по совету мальчика, уложили свои пожитки в мешки. Укрепив мешок за плечами, Матрена Никитична решительно спустилась под берег, попробовала ногой воду и тихо ахнула, точно вода обожгла ей пальцы.

Стоя наверху, Муся залюбовалась спутницей. Высокая, несколько полная, но не потерявшая стройности, с тяжелыми косами, венцом уложенными на голове, она в задумчивой нерешительности стояла у сверкающей водной кромки. Ее сильное, строго очерченное тело белело и серебрилось в лунном свете.

— Давай, давай, чего ежиться! — слышался голос маленького проводника.

Матрена Никитична решительно вошла в реку. Стараясь не отставать, Муся, которой было и холодно и боязно, сбегала, мелко семеня ногами, вниз и, стиснув зубы, по лохматым скользким камням переката пошла вперед. Вода, бурлившая и с силой бившаяся об ее ноги, обжигала. Казалось, она умышленно стремилась столкнуть девушку с каменного гребня в тихие водовороты таинственно курившегося омута. Муся представила, что двое из тех отважных ребят, которых она когда-то видела на лесной дороге, может и сейчас лежат вот тут, рядом, на дне, где водятся усатые, головастые сомы. Ей стало страшно.

Но впереди она видела прямую, стройную шею, покатые, как у античных статуй, плечи спутницы. Матрена Никитична, не умеющая плавать, смело двигалась к середине реки, раздвигая упрямые, кипучие струи. Вода была ей уже по грудь. Мусе, которая плавала, как рыба, при виде того, как храбро идет ее подруга, стало стыдно своих страхов. Она ускорила

шаги и, всем телом напирая на воду, приблизилась к спутнице, чтобы в случае надобности помочь ей. Беспокойство за подругу сразу убило ее собственный страх. Костя, не достававший уже до дна, плыл впереди, отчаянно гребя наискось течению. Время от времени он оглядывался и, задыхаясь, кричал:

— Левее, левее! На меня держись!

Наконец вода пошла на убыль, и спутницы, взявшись за руки, вышли на мягкую песчаную косу. Значительно ниже их выплыл отнесенный течением проводник. Ежась, как выкупанный щенок, он прыгал на одной ноге, вытряхивая из ушей воду. Все тело его было покрыто пупырышками, зубы клацали. Потом он, отвернувшись от спутниц, стал давать им последние советы:

— Как подниметесь на берег — прямо в лес. Тут тропка направо будет, это на мельницу. На мельницу не ходите: сказывают, там у фрицев пост. Вы возьмите влево через лес на Кадино, потом на Малиновку... Это всё колхозы по опушке. Поняли, что ли?

— Замерзнешь ты совсем, на вот платок, погрейся. Дай я тебя оботру, — забеспокоилась Матрена Никитична, уже облачившаяся в длинную полотняную рубашку.

— Замерзну!.. А раньше-то я мерз? — И, отскочив от спутниц, мальчик побежал по косе, заплескал по мелководью. — Прощайте...

Вскоре русая голова, охваченная расходившимися искрящимися полудугами, замаячила уже посередине переката. Против лунного света она казалась черной.

— Эх, война и таких вот в покое не оставляет! — вздохнула Матрена Никитична. — Один пойдет, а ведь и слова не сказал...

— Мы его так и не поблагодарили, — пожалела Муся.

— Благодарить тут не за что — одно дело мы, Машенька, делаем, все одно. И не за спасибо, не из корысти, не за награды.

16

От реки, долгое время служившей Советской Армии рубежом обороны, путь странниц шел через район, где враги продвигались медленно, с тяжелыми, упорными боями. Не только сёла, лежавшие вдоль большаков, но и те, что были в стороне от пути движения основных вражеских сил, оказались разрушенными и сожженными. Не только берега рек, ручьев, скаты оврагов, не только высоты, лесные опушки и иные удобные для обороны места, но и равнины, поля и луга были густо исклеваны снарядами, минами, изъезжены гусеницами танков. Порой Мусе казалось, что здесь пронесся, все вытаптывая и сокрушая, взбесившийся табун каких-то доисторических животных. Даже леса за рекой не пощадила война. Целые массивы оказались выломанными, вековые сосны, ели, березы валялись среди расщепленных пней и казались богатырями, поверженными в гигантской сечи.

Девушка со страхом смотрела на зеленые и серые туши танков, видневшиеся то тут, то там, на скелеты сожженных машин, поднимавшиеся из черной, обгорелой травы, на бесформенный алюминиевый хлам погибших самолетов.

Матрену Никитичну, которая спокойней относилась к этим памяткам войны, больше сокрушали черные пятна и пепел на месте сожженных стогов и скирд, раздувшиеся трупы

коров и лошадей, валявшиеся в придорожных канавах, перестоявшиеся, сохнувшие травы, истоптанные, перепутанные, приникшие к земле хлеба с уже осыпавшимся или проросшим в колосе белыми усиками корешков зерном.

Земляные холмики с крестами и без крестов, с касками, насаженными на палку, или вовсе без всяких отметок, точно большие кротовые кучи, виднелись то тут, то там.

И спутниц одинаково подавляло необычное безлюдье этого края. Земля здесь казалась даже не покинутой, а вымершей. Встречая на каждом шагу следы человека, плоды его долгих трудов, подруги не слышали ни одного живого звука: ни мычания коров, ни бреха собак, ни далекого петушиного пения, которое всегда так радует сердце путника, истосковавшегося по жилью.

Идти по этому безлюдному краю, где все говорило о недавней жизни, было страшнее и тягостнее, чем пробираться по самому глухому лесу. Однажды, когда они шли через побуревшее льняное поле, тяжело переливавшееся под ветром, Матрена Никитична не стерпела, качнулась, ухватистыми движениями надергала несколько горстей льна, ловко перевязала их в аккуратный снопок, любовно подкинула его на руке:

— Вот ленок! Уродится же такой... Это ж все самым высоким номером пошло бы, богатство!  
— сказала она необыкновенно глухим голосом и, как ребенка, прижала к себе желто-бурый снопок с костяными, шелковисто шумящими коробочками. — Ой, Машка, какой урожай, какие хлеба! И все попусту, все прахом! Как бы, девушка, мы, советские люди, в эту осень зажили!

А под вечер они пересекли ржаное поле. Тугие, тяжелые колосья больно стегали их по ногам, теряя зерна. Густо веяло запахом спелого хлеба. Тучные перепела то и дело неторопливо взмывали из-под самых ног.

Внезапно Матрена Никитична, шедшая впереди, остановилась. Во ржи, уткнувшись лицом в землю, лежал немецкий солдат. По-видимому, он замаскировался здесь, на пригорке, среди хлебов и отсюда вел огонь по дороге, пока кто-то не приколол его ударом штыка в спину. Каска валялась в траве среди целой россыпи уже позеленевших автоматных гильз. Ветер, шелестевший во ржи, тербил рыжие волосы солдата, прямые и сухие, как перестоявшийся лен, и перемешивал сытый дух переспевших хлебов со сладковатым запахом тлена.

Матрена Никитична, зло усмехнувшись, резко повернулась и пошла прочь.

Только когда поле скрылось уже за деревьями, она задумчиво сказала спутнице:

— Себя прямо не узнаю. У этого кольцо на пальце... Видела? Жена, чай, и детишки есть, и мать, может быть, его ждет. Реветь по нему будут. А мне его ни вот столечко не жалко... Ведь какую он, проклятый, нам жизнь испортил, какую жизнь!..

17

Идти теперь Мусе было значительно легче, чем раньше, и легче не только потому, что в лесном таборе «Красного пахаря» щедро снабдили их с Матреной Никитичной продуктами, даже сахару дали в дорогу, а оттого, что Игнат Рубцов наказал им не чураться в пути своих людей и верить в их посильную помощь.

После того как миновали приречный, начисто опустошенный долгими боями участок, на проселках стали попадаться беженцы, и подруги присоединились к ним. Вместе с попутчиками они заходили в селения, расположенные в стороне от дорог, и если там не было

представителей комендатур, а староста не успел прослыть прислужником оккупантов, рисковали ночевать на сеновалах и даже в избах.

И радовало, бодрило то, что тут, за спиной фашистской армии, советские люди не только не падали духом, но даже шли на большой риск, всячески стараясь сохранить прежние порядки.

В одном селе видели путницы длинную виселицу. Неестественно вытянувшись, скосив набок голову, тихо покачивались на ней казненные. «За саботирование уборочного труда», — поясняли надписи на картоне, пришпиленном английскими булавками к одежде повешенных. Часто попадался на глаза пестрый плакат, расклеенный на стенах изб, на воротах сельских пожарных сараев: румяный немецкий офицер показывал розовой пухлой рукой на груди туго набитых чувалов живописному бородачу в лаптях, вышитой косоворотке, высокой поярковой шляпе-грешневике, какие носили крестьяне в некрасовские времена. «Что соберешь — себе возьмешь», — гласила надпись. Но на плакате этом виднелись обычно и другие надписи, сделанные от руки углем или мелом: «Врешь», «Не обманешь», «Накось, выкуси», и к этой последней надписи был даже пририсован весьма внушительный шиш.

И везде тянулись вдоль дорог исхлестанные дождями, полегшие, прорастающие хлеба, косматая побуревшая путаница осыпающихся горохов, заросшие бурьяном, поваленные ветром льны, напоминавшие издали поверхность старых, запущенных прудов, да травы, высохшие на корню.

Все чаще встречались вырванные из тетрадей листки, исписанные разными почерками и приклеенные к телеграфным столбам, к дощечкам немецких дорожных знаков. Они призывали не подчиняться приказам, не выходить в поле, бойкотировать фашистские ссыпные пункты. И все они оканчивались одной фразой: «Смерть гитлеровским захватчикам!», звучащей как заключительный аккорд сурового военного гимна.

Эти скромные, наспех исписанные тетрадные листки, так же как гуденье ночных бомбардировщиков, летавших на бомбежку далеких вражеских тылов, подбадривали путниц в тяжелую минуту.

— Вы знаете, Матрена Никитична, когда я вижу вот эти листовки, мне хочется совершить что-нибудь особенное, героическое! Я не знаю что: взорвать их поезд, убить какого-нибудь самого большого фашистского мерзавца, сжечь их склад, — все равно, но только что-нибудь такое, чтобы узнали там, дома, — мечтала Муся. — Пусть умру, пусть, но пусть потом все говорят: «Вот так Муська Волкова, а? Слыхали? Ведь простая девчонка была, училась с нами, обожала танцульки, песни пела... и вот... кто бы мог подумать!»

— Чудачка! Да разве мы с тобой малое дело делаем?

— Сравнили! Разве это настоящее? Это все равно что окопы копать... Тоже нужно, конечно, а какая радость — роешься в земле и роешься, как крот. А мне хочется сделать что-нибудь особенное, такое, чтобы от того Родине большая польза была, чтобы самому Сталину доложили и он сказал: «Правильно поступила товарищ Волкова, передайте ей от имени народа спасибо...» Вы его видели? Какой он?

Матрена Никитична прижала девушку к себе... Как странно было теперь, здесь, на оккупированной земле, среди необруанных полей, разбитых деревень, на дорогах, загроможденных скелетами сожженных машин и распухшими тушами животных, вспоминать незабываемые дни, проведенные в кремлевском зале. Сразу как-то вся помолодев, Рубцова начала взволнованно говорить о том, что видела и что слышала она на совещании животноводов. К этой теме они потом возвращались не однажды. Каждый раз Матрена Никитична отыскивала в памяти новые интересные подробности, и Муся не уставала ее слушать. Но женщина часто прерывала рассказ на полуслове:

— Нет, ты подумай, Маша, они хотят нас покорить, а?... Надеть на нас хомут после такой жизни... Глупцы несусветные! Разве солнце погасишь?

Иногда с утра на Матрену Никитичну находило задумчивое настроение. Лицо ее становилось неподвижным, замкнутым, в глазах появлялись тоска и тревога. Муся знала, что в эти минуты спутница думает о муже, о детях, и старалась приотстать, чтобы не мешать ей.

— Я со своим десять лет прожила, — неожиданно проговорила Матрена Никитична как-то в одну из таких минут. — Всяко бывало — и пошумишь и поссоришься. Я ведь дома-то, грешная, покомандовать люблю... Раз, когда он на курсы в район меня не пускал из-за того, что я Зойкой тяжелая была, так я даже уходить от него собралась, честное слово! Подумаешь, начальник какой сыскался! А вот сейчас кажется: лучше нашего и жить нельзя... Нет, верно... Где-то он, мой Яшенька?... Сыро вот по ночам становится, а у него после финской ревматизм. Кто ему малину сварит, как суставы опухнут!.. А у тебя, девонька, так-таки никого на сердце и нет?

Муся сконфузилась, горячий румянец проступил даже сквозь густой загар щек:

— Ну вот еще! Конечно, нет... и не будет! Подумаешь, добро — мальчишки! В семилетке в меня не только из нашего класса, но и из параллельного «Б» все влюблялись, а я на них — тьфу, очень они мне нужны!

Лицо женщины подобрело, в нем появилось выражение материнской ласки:

— Так-таки тебе никто сердечко и не занозил?

Муся честно припоминала всех своих былых поклонников: и долговязого Арсю — монтера городской электростанции, обещавшего ей сконструировать какой-то необыкновенный радиоприемник, и младшего лейтенанта-пограничника Федю, певуна и гитариста, вдохновенно рассказывавшего ей на свиданиях о романтике пограничной службы, и взбалмошного Борьку, студента педагогического института, математика, всегда все везде забывавшего, путавшего места свиданий... Все они, меняя голоса, неумоимо звонили ей в банк по телефону, то вместе, то все порознь ходили с ней в горсад и преподносили ей в дни открытых концертов в музыкальной школе весной букеты сирени и жасмина, а осенью — астры и георгины, уворованные в садах у соседей... Верно, хорошие были ребята и даже немножечко нравились, но «занозить» ей сердце — боже сохрани! И поцеловать себя она никому из них ни разу не позволила.

— Я, Матрена Никитична, наверное, никогда замуж и не пойду... Нет, верно, верно... Чего вы улыбаетесь?... Зачем? Очень надо!.. Ну, а если уж когда-нибудь и встанет этот вопрос, — во-первых, это будет после войны, во-вторых, когда я стану знаменитой... ну, не совсем знаменитой, а хотя бы известной певицей, а в-третьих, он должен быть не каким-нибудь там мальчишкой, а во всех отношениях выдающейся личностью, умен, красив собой... Понимаете, Матрена Никитична? Ну тогда, может быть, еще подумаю. Может быть...

— Эх, Машенька, не на лице красоту ищи! Мой Яша с лица не очень, а мне он лучше всех. Верно, верно... Знала бы ты, как я о нем стосковалась! Вот случится горе какое или устану так, что все из рук валится, глаза закрываются, ноги не идут, а начну о нем думать — откуда только силы берутся! Точно живой воды испила...

Так, беседуя о своем, заветном, воскрешая в разговорах милое прошлое, вспоминая дорогие теперь мелочи довоенной жизни, шли по захваченной земле на восток женщина и девушка. А вдаль над большаками все время маячили столбы пыли: там день и ночь непрерывным потоком двигались на восток вражеские машины, машинищи, тракторы и тягачи, уютгообразные броневики, большие и малые танки, самоходные орудия — вся эта бесчисленная техника, изготовленная гитлеровцами на заводах завоеванной Европы и

нареченная человеческими именами и звериными кличками.

В дни гигантской битвы, напряжение которой, как было очевидно, росло с каждым днем, оккупантам было не до двух бедно одетых женщин с котомками, что плелись по малоезжим дорогам то в одной, то в другой толпе лишенных крова людей, согнанных с родных мест. Только однажды остановил их на перекрестке немецкий патруль. Но солдаты, презрительно осмотрев их рублища, нащупав в мешках всего лишь немолотую рожь, погнали их прочь.

Обмотанные черными платками, с вымазанными пеплом лицами и руками, путницы походили на истощенных скитаниями старух. Они научились на людях ходить сгорбившись, опираясь на палку. Понемногу они так вошли в роль, что и между собой уже говорили нараспев. И ни попутчикам, ни хозяевам ночлегов не приходило в голову, что одна из этих двух согбенных, насквозь пропыленных беженок, как бы являвших собой живое олицетворение бед оккупации, на самом деле и есть та знатная колхозница, портрет которой и по сей день украшал иные избы, а другая — молоденькая девушка, почти подросток.

18

Однажды в сумерки Муся заметила на горизонте странный багровый отсвет, окрашивавший облака в тревожный, малиновый цвет.

Матрена Никитична предположила, что это поднимается за лесом луна, предвещающая на завтра ветреную погоду. Но луна вскоре взошла, а горизонт не померк. Наоборот, отсветы становились все ярче, они как бы расплзались и вскоре уже охватили на востоке все небо.

— Зарево?

Путницы обрадовано посмотрели друг на друга. Неужели близок фронт? Но спросить было не у кого. Встречные люди, такие же, как и они, бездомные скитальцы, ничего толком не знали. Захватчики утверждали в своих листовках, что их войска успешно движутся на Москву. Партизанские афишки, написанные от руки, сообщали, что враг задержан.

Что же могло означать это зарево?

В следующий вечер зарево стало видно еще до того, как сгустилась тьма. Оно возникло сразу в нескольких местах, быстро разгорелось и повисло над землей, густое и зловещее. Канонады слышно не было.

Ночь путницы спали плохо. То одна, то другая из них поднималась и молча смотрела на тревожный багрянец ночного неба, гадая, что бы это такое могло означать.

А наутро все выяснилось. Навстречу путницам хлынул густой человеческий поток. По малоезжим проселкам, по лесным дорогам люди бежали на запад. Шли с детьми, вели под руки ветхих стариков, тащили на спине или везли на велосипедах и в детских колясках скудные пожитки. Некоторые, впрягшись по четверо, по шестеро в оглобли, тянули телеги со своим скарбом. Немногие тащили за веревку корову или овцу.

От этих беглецов путницы и узнали страшную правду. Здесь, в тылу немецких армий, фашистское командование начало создавать для защиты от партизан «мертвую зону». Специальные карательные отряды принялись жечь подряд деревни, села, поселки. Всему населению района было приказано за шесть часов эвакуироваться на запад, за реку. Все живое — и люди и скот, — все, что останется здесь после указанного срока, будет уничтожено, говорилось в приказе. Исключение составляли только мобилизованные на



работу, снабженные специальными пропусками военных комендатур и металлическими бирками особого образца.

Посоветовавшись, подруги решили все же идти вперед. Они только прибавили шагу, стремясь проскочить через обреченный район еще до того, как он окончательно обезлюдует. Теперь не нужно было ждать сумерек, чтобы видеть зарево. Впереди, справа и слева — везде, точно горные вершины, поднимались к небу облака серого дыма. Они походили на далекие горные хребты, но хребты эти жили, шевелились и перемещались по горизонту, меняя форму и очертания.

— Эй, куда, куда вас несет?! Что, иль жить надоело? — кричали беглецы двум женщинам, упрямо шагавшим на восток, и, оглядываясь им вслед, горестно качали головой и строили догадки:

— Должно быть, разумом помутились.

— Что ж тут удивительного — такой ужас!..

К полудню толпы беглецов увеличились. Спасавшиеся из «мертвой зоны» уже не шли, а бежали — бежали налегке, без вещей, таща на руках притихших, как бы онемевших ребятишек. На подруг, продолжавших упорно идти навстречу этому людскому потоку, уже мало кто обращал внимание.

Это были уже те, кто, не поверив в угрозы приказа, не покинул к назначенному времени насиженных гнезд. Они сбивчиво рассказывали, как в указанный час в села врывались на мотоциклетах солдаты в черных, не виданных еще в этих краях мундирах, с мертвыми костями на фуражках и куртках. Не интересуясь, остался ли кто в доме или нет, солдаты заколачивали двери, из брандспойтов ранцевых опрыскивателей, похожих на те, какие применяются при борьбе с вредителями, обрызгивали стены какой-то жидкостью, и через мгновение изба вместе со всем, что в ней было, превращалась в пылающий костер.

Эти в черном! Муся вспомнила тех рослых, откормленных молодцов, что в родном ее городе, забавляясь, выстрелами из автоматов гоняли по улицам старого врача. В страхе она схватила спутницу за руку:

— Матрена Никитична, я не пойду! Милая, повернем!

— Что ты, что ты, девушка! Как это — повернем? Столько уже прошли... Разве можно! — Голос у Матрены Рубцовой, за которую все еще держалась Муся, звучал твердо, даже повелительно.

Мелкая дрожь охватывала девушку.

— Вы же не знаете этих в черном. Вы их не видели, а я видела... Это такие... такие...

Девушка не нашла подходящего слова.

— Фашисты, Муся, — тихо подсказала Матрена Никитична, отнимая у спутницы свою руку. — Все они одинаковые, какой национальности ни будь, какой мундир ни напяль... Идем, идем скорее, некогда нам тут... Да гляди в оба. А то отсекут нас, дороги запрудят — что станешь делать?

И они шли, шли навстречу бегущим людям, стараясь не обращать внимания ни на крики, ни на слезы, ни на обессиленных стариков, сидевших у дороги. Какой-то лохматый человек в обгорелой одежде, с обожженным лицом, увидев их,двигающихся прямо туда, в ад, откуда он едва вырвался, пытался заступить, им путь. Но они торопливо разминулись с ним. Подруги шли, стиснув зубы, движимые одним стремлением — скорей пронести ценности через заслон

огня, прорваться сквозь этот ужас, преграждавший им путь.

В конце концов непосредственность восприятия у них притупилась, и они двигались как в страшном кошмаре, потеряв всякую реальность ощущений.

И с той же непоследовательностью, какая бывает в кошмарах, у какой-то невидимой границы поток беженцев оборвался. Дорога, лежавшая впереди, совсем опустела. Путниц окружала первобытная тишина. Ни один живой звук не нарушал ее. Казалось, вся земля пустынна, мертва.

Это было особенно страшно.

Вдруг вдалеке зарокотал мотор. Не сговариваясь, подруги перепрыгнули через канаву и что было духу побежали прочь через картофельное поле, спотыкаясь о грядки, путаясь в ботве. Они бежали, пока хватило сил. Наконец, не выдержав, Матрена Никитична простонала:

— Маша, не могу больше! — и тяжело опустилась на землю, держась за грудь и хватая воздух открытым ртом.

Муся свалилась рядом. Кровь, пульсируя, скреблась у нее в висках. Но напряженный слух продолжал улавливать в тишине отдаленные голоса, рокот и пофыркивание моторов, отзвуки отрывистых команд, чьих-то криков, редкую стрельбу. Потом Матрена Никитична поднялась и подняла Мусю.

— Пойдем! — шепотом сказала она.

Дальше подруги шли уже полем, боясь наткнуться на заставы карателей, выставленные, как предупреждали беженцы, на перекрестках дорог. Шли молча, поминутно останавливаясь и прислушиваясь. Но опять ни одного живого звука, даже птичьего пения, даже треска кузнечиков не раздавалось вокруг.

Это была уже действительно «мертвая зона».

Заночевали в небольшом березовом леске. Костра не разводили. Обе всю ночь не смыкали глаз. Они сидели, прижавшись друг к другу, и, машинально выбирая зерна из колосков, бросали их в рот. А кругом, точно танцуя какой-то медленный страшный танец, колыхались хороводом зарева больших и малых пожаров. Говорить не хотелось. Хотелось плакать, но слез не было. И оттого на душе было особенно тяжело.

19

Когда забрезжил рассвет, подруги покинули свое лесное убежище и, оглядываясь, вышли на ржаное поле, кое-где покрытое черными пятнами воронок.

Низко нависшее серое небо тихо сочилось мелким обложным дождем. Глинистая почва, звучно чавкая, крепко цеплялась за подошвы.

Кругом, насколько видел глаз, не было ничего живого.

— Как последние люди на земле, — сказала Муся, томимая тем же жутким чувством одиночества и ожидания чего-то необычайного, которое она уже испытала в первый день оккупации в домике Митрофана Ильича.

— Что? — нервно спросила Матрена Никитична, замирая на полушаге.

— Страшно очень.

— Ну что ты! Никого ж кругом нет, пусто...

— Вот от этого-то и страшно...

— Идем, девонька, идем...

Здесь, среди поля, они говорили шепотом, да и ступать старались так, чтобы ветка не хрустнула под ногой.

К полудню путницы увидели справа длинную колонну людей в штатском, вытянувшуюся по дороге. По обочинам шли настороженные, озирающиеся конвоиры. Позади, грузно покачиваясь на ухабах, двигался старомодный грузовик.

Переждав во ржи, пока колонна не скрылась за пригорком, подруги продолжали путь. На них уже не было сухой нитки, а серенький дождь все сеял и сеял. Впереди туманно вырисовывалась зубчатая кромка леса. К нему-то и устремились путницы, мечтая скрыться, затеряться среди деревьев и по-настоящему отдохнуть там от пережитого в последние дни.

Лес был уже близко. Сквозь колеблющуюся кисею дождя можно было различить курчавый березняк опушки, а за ним — восковые свечи сосновых стволов. Оставалось пересечь край поля да перелезть через изгородь. И вдруг резкий окрик, точно выстрел, раздавшийся сбоку, пригвоздил путниц к месту:

— Хальт!

Подруги оцепенели, боясь оглянуться. Опомившись, Муся рванулась было прочь, но спутница удержала ее за руку:

— Стой! Пуля догонит!

Девушка с недоумением взглянула на нее: что же, сдаваться? Матрена Никитична, уже ссутулясь, опираясь обеими руками на палку, спокойно, будто ничего не соображая, смотрела вперед.

Тут и Муся увидела двух немцев в мокрых черных пилотках и куцах, знакомых ей куртках с эмблемой смерти над левым карманом. Выйдя из кустов за изгородью, они перескочили через жерди и, не опуская автоматов, шли к подругам.

Один из них, старший, как сразу определила Муся, плечистый, крутогрудый, с пестрым, как яйцо кукушки, лицом, приблизившись, презрительно осмотрел их старушечьи рубища, потрогал мешки и, брезгливо поморщась, отер пальцы о мокрую траву. Он что-то приказал второму, а сам упругим прыжком гимнаста опять легко перескочил изгородь и скрылся в своей засаде.

Высокий больно ткнул Мусю в спину стволом автомата, показал на опушку леса и тонким, бабьим голосом выкрикнул:

— Вер! Вер!

Путницы стояли, не решаясь тронуться. Муся успела разглядеть лицо конвоира, еще молодое, но уже отечно полное, с коровьими, бесцветными ресницами и близорукими, тоже бесцветными глазами, которые казались неестественно большими из-за толстых стекол очков в золотой оправе. У него был пухлый и яркий, как ранка, рот и совсем не было видно

подбородка. Нижняя губа прямо переходила в жировые складки шеи. В этом близоруком, бледном, нездорово пухлом лице не замечалось ни суровости, ни злости, но было что-то такое, что внушало Мусе леденящий страх, какой она не раз испытала в лесных скитаниях, видя рядом ядовитую змею.

— Вег! Вег! — угрожающе командовал эсэсовец.

Верхняя губа у него поднялась, обнажила ровный ряд тускло блестящих стальных зубов. «Нет, этот не пощадит. И не надо его пощады, не надо... Нельзя идти в лес с этой гадиной...»

Муся почувствовала, как внутри у нее похолодело и словно что-то оборвалось. Потеряв контроль над собой, вся трясась, она крикнула:

— Убивай здесь! Убивай, фашист проклятый! Убивай!

Бесцветные глаза удивленно поднялись на маленькую черную старушонку, что-то кричавшую молодым голосом. Солдат снял и протер запорошенные дождевой пылью очки, а потом беззлбно, как-то механически ткнул Мусю кулаком в лицо:

— Вег, вег...

Девушка не сразу даже поняла, что, собственно, произошло. Сознание ее отказывалось верить, что кто-то мог ее ударить. Мгновение она удивленно глядела на врага и ничего не видела, кроме его очков с необыкновенно толстыми линзами. Потом до нее дошло наконец, что этот, без подбородка, ее действительно ударил. В ней поднялась волна неукротимого бешенства.

Но прежде чем Муся успела броситься на конвоира, сильные руки, схватив ее сзади, сковали движения.

— Не смей! — сказал ей в ухо властный голос.

Муся рванулась еще раз, но Матрена Никитична не выпустила ее.

— Он меня ударил... Дрянь, фашист... Пустите! Он меня...

— Опомнись, не собой рискуешь, — сказала ей в ухо с отрезвляющим спокойствием спутница. — Остынь.

Вспышка прошла, Муся как-то вся обмякла, почувствовала опустошающую слабость. Солдат без подбородка одобрительно кивнул Матрене Никитичне:

— Гут фрау, гут, — и снова квакал, показывая автоматом в сторону леса: — Вег, вег...

— Жаба! — вяло ругнулась девушка. Ей было все равно, куда идти, все равно — жить или умереть.

Она не помнила, как доплелась до опушки, как очутилась в молчаливой толпе таких же оборванных, грязных женщин. Кровь продолжала сочиться из разбитого носа, густые красные капли падали на куртку. Кто-то сказал ей:

— Сядь, утрись.

Девушка села на землю, обтерла лицо рукой и, увидев на ладони кровь, провела ею по влажному мху. Вспышка ярости унесла все силы. Муся сидела, привалившись к дереву, смотрела перед собой пустыми глазами, равнодушная к товарищам по несчастью, к

собственной своей судьбе, ко всему на свете.

Между тем Матрена Никитична, всегда умевшая быстро сходитьсь с людьми, уже завела с женщинами беседу и исподволь выспрашивала, кто они, почему они здесь, что их ждет.

Все это были случайные люди, задержанные патрулями на границе «мертвой зоны». Для чего их поймали — никто не знал, и говорили об этом разно. Одни уверяли, что их ловят, чтобы вывести за пределы запрещенной зоны; другие добавляли, что пойманных будут не уводить, а расстреливать; третьи предполагали, что всех погонят на ремонт взорванного вчера партизанами моста; четвертые утверждали, что мост немцы сами чинят, а женщин заставят расчищать минные поля, оставленные частями отступившей Советской Армии. Но большинство склонялось к тому, что их поведут строить блокгаузы и доты для защиты дорог от партизан. Местные жительницы рассказывали, что такие работы уже начаты по всему району, что на опушках лесов оккупанты воздвигают из кирпича, бетона и рельсов целые маленькие крепостцы.

При этих разговорах слово «партизан» не сходило у пленниц с уст. Его произносили вполголоса, опасливо косясь на охранника. И столько вкладывалось в это слово надежд, что Матрена Никитична поняла: за немногие недели оккупации партизаны в этих краях успели уже немало досадить вражеской армии.

— Этот-то наш сторож, видать, новичок. Спокойный. А здешний немец, что тут побыл, этот пуганый. Этот точно на муравейнике без штанов сидит: все вертится да озирается, — сказала, усмехаясь, пожилая дородная женщина в стареньком форменном железнодорожном кителе, не сходявшемся на груди.

Конвоир, тот самый немец, что ударил Мусю, действительно спокойно сидел на пеньке, положив рядом две гранаты с длинными деревянными ручками. На коленях у него лежал автомат. Изредка взглядывая близорукими глазами на женщин, он старательно строгал перочинным ножом какую-то щепочку.

Постепенно выйдя из состояния тяжелой апатии, Муся с любопытством, которое не могли побороть ни страх, ни гадливость, внушаемые ей этим эсэсовцем, стала наблюдать за ним.

Он выстрогал щепочку, огладил ее полукруглый кончик лезвием ножа, пополировал о сукно штанов, неторопливо убрал ножик в замшевый чехольчик, сунул в карман куртки, а щепочкой стал ковырять в ухе. Поковыряет, понюхает кончик, вытрет о штаны и опять лезет в ухо. Он весь ушел в это занятие, и вид у него был такой, какой бывает у человека, оставшегося наедине с самим собой.

— Ишь, и за людей, должно быть, нас не считает, — сказала за спиной Муси Матрена Никитична.

— Сам-то он человек, что ли? — ответил густой, низкий женский голос, и кто-то смачно сплюнул.

Девушка оглянулась.

Матрена Никитична сидела на своем мешке, окруженная группой женщин, и рядом с ней — толстая железнодорожница.

— Эх, налетели бы партизаны! Они б ему уши проковыряли! — вздохнул кто-то.

— А они здесь есть? — оживилась Матрена Никитична.

— Есть, да не про нашу честь.

— А где они? Много их?

— А кто их в лесу считал! Стало быть, много, раз фашист лютует... Сёла вон, как лесосеку какую, выжигает.

— Вдоль большаков да шоссеек чуть что не крепости строят. Для красоты, что ль?

— Вот бы кто гукнул им, партизанам: дескать, томятся бабы, как ягода в крынке, — усмехнулась железнодорожница.

Эта немолодая полная женщина особенно приглянулась Матрене Никитичне и своим сердитым спокойствием, и зорким взглядом маленьких, заплывших глазок, которые точно всё что-то искали, и особенно тем, что поглядывала ока на конвоира без страха и даже с усмешкой.

20

Неслышно сеял мелкий дождь. Порывистый ветер холодил промокшую одежду. Сырость прохватывала до костей. Женщины шепотом передавали слухи о партизанских делах, и во всех их рассказах звучала надежда, что партизаны нагрянут, выручат, спасут от смерти или вражеского надругательства.

Матрена Никитична не разделяла этой самоуспокаивающей надежды. Не так-то все просто! Сидя на своем мешке, она не забывала о его содержимом, и деятельный мозг колхозной активистки неустанно бился над тем, как спасти или, в крайнем случае, хотя бы спрятать ценности.

«Отвлечь внимание конвойного и зарыть мешок вот тут, в мягком зеленом мху? Не годится, увидит... Незаметно оставить в кустах, когда погонят в путь? Или, может быть, безопаснее уже в пути бросить куда-нибудь под приметный куст, а потом вернуться?»

Все эти проекты она браковала, но тотчас же начинала обдумывать новые.

— Ну, а ежели б случилось бежать, как их найти, партизан-то? — спросила она железнодорожницу.

— Кабы я знала, так бы я тут и сидела с вами, как мухомор под елкой! — насмешливо фыркнула та.

— А ты, милушка, встань, ладошки ко рту приложи да покричи: «Партизаны, ау, где вы?» — насмешливо прозвучал за спиной Матрены Никитичны дребезжащий тенорок.

Женщина вздрогнула и оглянулась. Позади нее стоял седой кривой старикашка со сморщенным, как высохший гриб, лицом — единственный мужчина в этой большой толпе полонянок.

Матрена Никитична заметила его сразу же, как только очутилась здесь. Одет он был в поношенную куртку железнодорожника, на голове — форменная выгоревшая фуражка с захватанным козырьком. «Вот, пожалуй, стоит с кем пошептаться насчет побега», — подумалось ей тогда. Но старичок сидел под кустом, глубоко засунув руки в рукава, свернувшись, как еж, и, казалось, дремал. Большая фуражка была надвинута на уши, как бабий чепец. Выглядел он таким нахохленным и беспомощным, что Рубцова, понаблюдав за ним, отказалась от своей мысли.

Теперь он незаметно возник за спиной собеседниц, и его единственный глаз, узкий, по-кошачьи зеленый, смотрел на них с затаенной недоброй хитрецей. В левом углу рта у него темнело коричневое никотиновое пятнышко. От старика густо несло табаком. Запах этот, напомнивший Матрене Никитичне мужа, заядлого курильщика, как-то, вопреки всему, расположил ее к незнакомцу.

Она покосилась на эсэсовца. Тот кончил ковырять в ушах и занялся своими ногтями.

— Эх, знать бы, где эти партизаны, как пройти к ним! — сказала Матрена Никитична, косясь на старика, который, как ей казалось теперь, был не так-то уж прост и беспомощен.

— А кто ж их ведает? — задрезжал тенорок кривого, его единственный зеленый глаз впился в Рубцову. — А тебе на что они, милушка? Что, ай мужик с ними по лесам лазит иль дело к ним есть какое?

От недоброго взгляда старика женщине стало почему-то не по себе. Она не ответила. Старик опять свернулся, как еж, под можжевельным кустом, еще глубже напялил фуражку на уши и, как слышалось Матрене Никитичне, даже стал тоненько, с присвистом, похрапывать. Но, неожиданно повернувшись, она уловила на себе изучающий взгляд его прищуренного глаза.

Нет, с кривым каши не сварить, его остерегаться надо, решила она и придвинула свой мешок к толстой железнодорожнице. Не упоминая больше о партизанах, она стала тихонько убеждать ту попробовать организовать побег. Судьба их всех и без гадалки ясна. Так что ж, и сидеть ждать? Лучше уж напасть вон на этого очкаря, а потом бежать разом врассыпную. Конечно, кое-кто и голову сложит, но остальные спасутся...

— С голыми руками на автомат? — усмехнулась железнодорожница. — А у него вон еще и гранаты. Бросит — и нет никого, куча лому.

Солдат чистил ногти, старательно обкусывая заусенцы.

— Да лучше уж от гранаты помереть, чем как скоту на бойне!

Матрена Никитична отвернулась от железнодорожницы и подвинулась к Мусе. Девушка совсем оправилась. Она искоса поглядывала на охранника, занятого своим туалетом. Под левым глазом у нее наливался синяк. Матрена Никитична ласково окликнула девушку. Муся не сразу отозвалась.

— Прикосновение гадины отвратительно, но не может оскорбить человека, — сказала она, отвечая на какую-то свою мысль. — Гадину, если можно, следует раздавить, сердиться на нее смешно, глупо.

— Раздавить, но с умом. От гадючьего яда помереть — не велико геройство, — ответила Рубцова, радуясь, что ее спутница рассуждает уже спокойно.

Железнодорожница, покосившись на Мусю, спросила у Матрены Никитичны:

— Эх, подружки, пошли?... Эта с тобою, что ли?

— Со мной, не стесняйся.

— Я стесняться не умею! — Толстуха развалилась на земле в самой безмятежной позе. — Я вот о чем. Просто так вот, как курам от ястреба, разлететься нельзя. Не выйдет. Тут, бабоньки, нужно что-то придумать, чтоб он шум поднять не успел, подмогу с поля не вызвал. Их ведь там, поди, немало в засадах схоронилось... Вот заманить бы этого сюда да навалиться б на него всем общим собранием, чтоб он и стрельнуть не успел...

— Много он убьет с перепугу...

— Много не много, а я, бабоньки, помирать не согласна. Тут тихо-смирно надо. Как в театре.

Конвоир встал, отряхнул с колен настриженные ногти, не выпуская из рук автомата, сделал несколько гимнастических упражнений. Потом, чтобы согреться, походил по поляне и, вернувшись к пеньку, возле которого лежали гранаты, сел и стал довольно рассматривать ногти на пухлых белых руках. Что-то бабье было в его фигуре с узкими покатыми плечами, в его рыхлой, отечной физиономии.

Муся уже давно подметила равнодушное любопытство, с которым он смотрел порой на оборванных, голодных, вымокших под дождем полонянок. Этот оскорбительный интерес к чужим страданиям больше всего бесил девушку. Ее почему-то так и подмывало показать ему язык.

— Знаете что? — вдруг прошептала она, вся оживляясь, и отчаянное вдохновение засветилось в ее серых озорных глазах.

Обе женщины придвинулись к ней, и все трое долго шушукались, осторожно косясь на охранника...

Моросил дождь. Полновесные капли звучно падали с деревьев. Холодный ветер пробирал до костей, Пленницы сгрудились, жались друг к другу, стараясь согреться. Вдруг в центре этой молчаливой продрогшей толпы вспыхнула ссора. Никто не успел заметить, как она возникла. Две женщины в рубищах, вцепившись в какой-то мешок, тянули его каждая в свою сторону, зло, визгливо браня друг друга.

Конвойный, сначала было насторожившийся и даже переложивший гранаты поближе к себе, приподнялся, вытянул шею, стараясь увидеть, что же такое происходит там, внутри круга, образовавшегося около дерущихся. Потом, не выпуская из рук оружия, забрался на пенек, приподнялся на цыпочках...

Дрались две женщины. Они уже оставили мешок и вцепились друг другу в волосы. Пухлые губы часового сложились в улыбку. Кирпичный румянец разгорался на его щеках. Он был доволен этим неожиданным развлечением.

Вот высокая опрокинула маленькую навзничь. Не обращая внимания на сердитые окрики, отталкивая руки, которые тянулись к ней со всех сторон, она, по-видимому, душила противницу. В драке наступал самый интересный момент. Но круг полонянок, все теснее смыкавшийся вокруг дерущихся, не позволял видеть подробности. Конвоир соскочил с пенька, вошел в толпу и стал рукояткой автомата прокладывать себе путь...

Что произошло дальше, никто не успел рассмотреть. Послышался звук, короткий и вязкий, как треск разбитого яйца. Брякнулся на землю автомат. Конвойный мягко, будто его тело сразу стало дряблым, осел на землю.

Наступила тишина. Раздался низкий женский голос:

— Эй, разбегайся во все стороны! Да не на поле! В лес, в лес!..

Железнодорожница стояла над телом конвойного с увесистым камнем в руках. Она отбросила камень, осмотрелась и, мелькая тяжелыми икрами, что есть духу пустилась в чашу. Толпа разлетелась с полянки, как семена одуванчика, на которые дунул ветер. Через минуту здесь было пусто.

Муся и Матрена Никитична бежали впереди других. Выпачканные землей, исцарапанные в недавней схватке, они мчались что было сил, пока не свалились на густой и влажный мох. Их



обступал частый ельник.

Они были одни...

21

Запасы, которые уложил в мешки путниц рачительный Игнат Рубцов, давно уже иссякли. Когда, переночевав в лесу, подруги принялись готовить завтрак, у них была только молодая картошка, накопанная накануне на брошенном поле. Они сварили ее и, поев, оставили немного про запас. При самой жесткой экономии картошки могло хватить лишь на день. И все-таки они решили идти напрямик лесом, избегая селений и дорог.

Глушь лесных урочищ с завалами буреломов, с диким зверьем, топкие болота с коварными чарусами не казались им страшными после обезлюдивших, выжженных пространств, которые они прошли накануне. Маршрута у них не было, но Муся уже умела теперь по десяткам признаков правильно определять направление на восток.

В это ветреное, непогожее утро они впервые почувствовали приближение осени. Еще недавно лес издали казался сплошь зеленым, а теперь среди вечной зелени елей нежно желтели курчавые вершины берез, серела, а местами уже начинала багроветь трепетная листва осин. Кусты орешника, буйно и ярко зеленевшие в лесных чащах, на пригорках и открытых местах, загорались снизу золотым пламенем.

Низкие тучки, спешившие под сердитыми ударами порывистого ветра, казалось, цеплялись за вершины елей. Деревья то и дело стряхивали на путниц целые пригоршни тяжелых холодных капель. И все же как хорошо было в этом по-осеннему прохладном лесу! После удачного побега подруги чувствовали душевный подъем, улыбались, напевали.

— Ну, вы мне вчера и дали жару — сейчас больно! — весело вспомнила Муся.

— А ты мне все волосы спутала — и не расчешешь теперь, — отозвалась Матрена Никитична. — Ловко это ты придумала его заманить... Хитрая ты, Машка! За тобой будущему мужу глядеть да глядеть...

Они посмотрели друг на друга, перемигнулись и захохотали. Эхо лесных чащ робко, как-то недоверчиво отозвалось на звонкий, веселый смех.

— А я, как затеялась вся эта кутерьма, вдруг вспомнила: «А мешок!» Батюшки-матушки! Даже похолодела вся: а ну кто под шумок стянет? Гляжу краем глаза — лежит мой милый, лежит, валяется, затоптанный, никому не нужный...

Обе глянули на мешок и опять рассмеялись. Небо словно ответило на их смех. В голубое окно меж торопливых редящих туч выглянуло солнце, яркое и ласковое; на траве, на деревьях, на паутинках, протянутых меж ветвей, весело заискрились, засверкали мириады дождевых капель.

— Разогнется, разогнется пружина, Машенька... Помнишь, свекор-то мой говорил? Туго свернулась — крепче ударит...

Глаза Матрены Никитичны так же искрились и сияли, как и все кругом. На лице ее, омытом дождевой влагой, сквозь шелковистую смуглоту кожи проступил темный румянец. Улыбка обнажила два ряда крупных зубов. Женщина как-то сразу необычайно помолодела. Муся с восхищением смотрела на спутницу:

— Красивая вы...

А та, целиком захваченная своими мыслями, даже и не слышала.

— ...И жить станем по-прежнему. Вот приезжай тогда, Машенька, к нам в «Красный пахарь», как сестренку приму... Ох, и хорошо ж у нас в колхозе!.. — Рубцова вздохнула, сдвинула брови и тихо добавила: — Было...

— Я учиться пойду... Но я приеду, вот увидите, обязательно, только уже когда стану певицей. Ладно? Приеду, соберутся все: бабка Прасковья, Варя Сайкина, Игнат Савельич, все знакомые, а я выйду в вечернем платье, в длинном, белом... нет, не в белом — белое, говорят, толстит, а в голубом, мне больше голубое к лицу. Правда?... Выйду и запою то же, что в Коровьем овраге, помните, пела... Хотите, спою, а?

И, не дожидаясь приглашения, девушка запела вполголоса свой любимый «Зимний вечер».

Но допеть ей не удалось, песня оборвалась на полуслове. Послышался хруст валежника, торопливые шаги, и из зарослей мокрого, щедро осыпанного черными воронеными ягодами можжевельника прямо наперерез путницам вышли двое мужчин.

— Быстрее и не оглядывайся! — успела шепнуть Матрена Никитична, резко меняя направление и ускоряя шаг.

Они двинулись, не разбирая дороги, прямо сквозь можжевельниковые заросли, сквозь кусты волчьих ягод и орешника. Они шли торопясь, не смея обернуться. Позади трещали сучья и слышались шаги. Незнакомцы явно стремились их нагнать. Тогда Матрена Никитична еще раз изменила направление: авось разойдутся их, может быть, лишь случайно совпавшие пути.

Но преследователи не отставали; уже были слышны не только их шаги, но и дыхание.

— Бежим! — сказала Матрена Никитична, поправляя лямки тяжелого мешка.

Вдруг кусты затрещали впереди, и, тут же раздвинув ветви, навстречу подругам вышел белокурый человек в немецкой форме, высокий и такой плечистый, что куртка, надетая им, может быть, с чужого плеча, вся на нем натянулась, как чулок.

— Здравствуйте! — сказал он на чистейшем русском языке.

Он снял пилотку, отер ею пот с крупного загорелого лица. Негустые курчавые белые волосы были тоже мокры и липли ко лбу крутыми завитками. Карманы его шаровар оттопыривались, должно быть от гранат. Под тесной курткой с распластанным орлом, нашитым над карманом, вырисовывалась рукоять револьвера, заткнутого за пояс.

Путницы обменялись быстрыми взглядами и остановились. Бежать было некуда.

Вслед за белокурым сквозь кусты продрался на поляну тот самый кривой старик в форменной куртке железнодорожника, которого путницы приметили еще вчера в толпе задержанных. Фуражку свою он держал в руках; она была полна крепких, отборных боровиков. На темени у него оказалась просторная сверкающая лысина, поросшая по краям курчавым пухом. За спиной висел немецкий автомат.

— Замучили, окаянные бабы! Кто ж так по лесам ходит? Гонят, как курьерский на последнем перегоне. Того гляди, сердце через рот выскочит. — Он уставил на путниц свой единственный глаз, в котором, теперь уже не таясь, сверкал насмешливый, недобрый огонек, и тоненьким тенорком издевательски продребезжал: — Чего же бежите? Чай, не волков — людей встретили... Да, кажись, мы маленько уже знакомы. С добрым, как говорится, утречком!

Старик подмигнул Матрене Никитичне и победно глянул на своего высокого спутника, рядом с которым он напоминал старую, ветхую хибарку, еще уютящуюся возле вновь отстроенного высокого дома. Положив картуз с грибами на землю, он принялся насыпать табаком короткую трубку-носогрейку с сетчатой крышкой, какие обычно курят люди, работающие на воздухе.

Высокий, нерешительно покусывая нижнюю губу, бросал на женщин короткие изучающие взгляды. Его лицо, совсем юное, загорело так густо, что и широкие брови, и длинные бесцветные ресницы, и тонкий пушок еще не загустевших усов выделялись на нем, как высохшая трава белоус на буром мху болота. Вид у него был странный, диковатый, и путницы опять тревожно переглянулись, молча предупреждая друг друга, что хорошего им ждать нечего.

— Ну, поздоровались — и прощаемся. У каждого своя дорога. Доброго пути вам! — с подчеркнутой деревенской певучестью сказала Матрена Никитична и тихонько дернула Мусю за руку.

Они пошли было прочь от незнакомцев, но те тронулись следом за ними.

— Во! Везет нам с тобой, Никола! Благодать-то какая: и нам туда же, — задребезжал позади стариковский тенорок. — А то идем на всех парах, а кругом одни пенья-коренья. Скукота. А тут, пожалуйста, две дамочки попутные. Вот и отлично, вот и превосходно! Глядишь, опять песенку какую сыграют, вроде бы дивертисмент перед кино.

— Полицаи, — тихо шепнула Матрена Никитична, вспомнив, как старичонка притворялся вчера спящим, как, незаметно подкравшись, подслушивал женские разговоры, как из-под прищуренного века неотвязно следил за ней его глаз. — Нас искали...

Муся молчала. Было страшно подумать, что даже сюда, в этот девственный лес, где так вольно дышалось, где ничто не напоминало ни о враге, ни об оккупации, уже дотянулись фашистские руки. Матрена Никитична, все время улавливавшая в стариковском балагурстве зловещие нотки и замечавшая, что недобрый зеленый глаз нацелен на ее поклажу, обернулась к высокому парню. Этот внушал ей больше доверия, несмотря на вражескую форму, в которую был одет.

— Ступайте себе, ступайте своей дорогой, а мы своей пойдём. Можно?

Она подняла на молодого свои черные глаза, и столько было в них обаяния, такой призыв к человеческому благородству звучал в тоне ее просьбы, что тот не выдержал и отвернулся. Но кривой старик опять выскочил вперед и рассыпал скороговорку мелких, сухих, кругленьких, как орешки, словечек:

— А, какво! К входному семафору подошли — станция не принимает. Здравствуйте пожалуйста, от ворот поворот, приходите к нам чаще, когда нас дома нет... А чем такое мы вам не по сердцу? Гляди на него — Бова-королевич. А я? Ничего, миленькая, старый станок дольше вертится... Вместе, вместе пойдём. А чтоб не скучно было, я тебе про партизан буду говорить: и где они стоят, и как к ним пробраться, и какие дороги к ним ведут... Все, что хошь, узнаешь. Я такой, я разговорчивый...

Он нарочито поддернул ремень автомата, болтавшегося у него за плечом.

— Не трещи! — сердито прервал его парень. — Вы кто такие?

Теперь путницы уже не сомневались, что перед ними полицаи. Последнее время им не раз приходилось слышать о том, что гитлеровцы, занимая города, выпускают из тюрем уголовников, спекулянтов, грабителей и убийц, и из них вербуют для себя всяческих старшин, старост, бургомистров и полицаев. По-видимому, фашисты вчера нарочно подсунили этого

кривого старика в толпу задержанных, чтобы вызнать, не связан ли кто-нибудь из них с партизанами.

Ах, с каким наслаждением Муся вцепилась бы в эту насмешливую, пропахшую никотином рожу, в этот наглый, цепкий, беспощадный глаз! Парень, тот хоть и в немецких обносках, но все-таки, кажется, не такой подлый. У него крупное, открытое и, пожалуй, даже симпатичное лицо. Наверное, и пошел он к оккупантам не по своей охоте. Вон он и сейчас все отворачивается — стыдится, должно быть, чужой формы и своих позорных обязанностей. Значит, совесть еще не совсем потерял...

Демонстративно повернувшись спиной к старику, но все время слыша раздражающее сипенье его трубочки, чувствуя острый табачный запах, девушка начала рассказывать парию свою, столько раз помогавшую ей историю, которую она нередко соответственно обстоятельствам изменяла. Сейчас история эта звучала так: дома нечего есть, дети опухли с голоду, и вот теперь, поручив их знакомым, они пошли по деревням менять остатки вещей на пропитание.

На этот раз, имея, очевидно, дело с немецкими наемниками, Муся добавила, что отправились они в путь с разрешения самого господина коменданта.

У девушки, несомненно, был артистический дар. Она расцветила свой рассказ самыми жалостливыми подробностями и так увлеклась, что на глазах у нее даже появились слезы. Молодой полицай слушал ее, казалось, сочувственно и вроде даже сам разволновался так, что засопел носом. У Муси затеплилась надежда: может, ей удастся окончательно разжалобить этого парня и он их отпустит. Но старик продолжал следить за ней с ироническим недоверием. И когда девушка пустилась подробно описывать, как господин офицер, задержавший их вчера на дороге, по недоразумению отобрал у них пропуск, выданный комендантом, в глазу старика вспыхнуло злое торжество:

— Стой, полно врать! Вы, голубушки, из какого города?

— И, вы знаете, мы просто не придумаем, что нам теперь делать, — как бы не услышав вопроса, продолжала Муся, обращаясь исключительно к молодому и даря его той очаровательной улыбкой, перед которой в школе не мог устоять ни один мальчишка не только из ее класса, но и из параллельного класса «Б». — Такой ужас, просто не знаю, как вернемся домой без пропуска!

— Что же вы не отвечаете? — вдруг помрачнев, спросил высокий.

— Что вы спрашиваете? Ах да, откуда мы? Я так расстроена... Мы с Узловой, — храбро соврала Муся, назвав один из городов, лежавших на их пути.

Мужчины многозначительно переглянулись.

— А где живете? На какой улице? — осведомился старик.

— Недалеко от базара, улица Володарского, двадцать три, — не задумываясь, выпалила Муся первый пришедший в голову адрес.

Молодой нахмурился еще больше. Не умея скрывать своих чувств, он отвернулся от девушки и пощупал под курткой рукоять пистолета.

Матрена Никитична подавала Мусе какие-то знаки из-за спины старика, но та и сама уже понимала, что сделала, должно быть, ложный шаг, и теперь изо всех сил старалась не выдавать своего смущения.

— Ага, землячки, значит. Вот и хорошо, вот и расчудесно! Будем друг к другу ходить чай

пить... — задрезжал старик.

Муся, чувствуя, что краснеет под взглядом молодого великана, краснеет до слез, мучительно думала: «Мамочка, да что же я смущаюсь? Это же враги, их и нужно обманывать. Не красней же, не смей краснеть, дура!»

— Это где же там улица Володарского? — мрачно спросил высокий. — Я в этом городе родился, вырос, а что-то такой не помню. Не знаешь ли ты, Василий Кузьмич?

— Ага, ага, что я говорил! — заликовал старик, снимая автомат. — Вот и мешок тот, из-за которого они вчера дрались. — Он подскочил к Матрене Никитичне, поднял оружие и скомандовал: — А ну, кажи, что в мешке! Снимай торбу!

Женщина гордо стояла перед стариком, прямая, высокая. Она презрительно смотрела на него сверху вниз, и было в ее взгляде такое бесстрашное презрение, что тот опустил оружие и растерянно оглянулся на парня.

— Пойдем, Маша, ну их! — повелительно сказала Рубцова и, резко повернувшись, широким, размашистым шагом двинулась на восток.

Муся бросилась за ней.

— Вот-вот, эта чернобровая все и выспрашивала, где партизаны, как к ним пройти, — услышали они сзади возбужденный, дребезжащий тенорок.

— Попались! — шепнула Матрена Никитична.

Муся представила, как эти двое заглядывают в мешок, представила, как они обрадуются, как будут издеваться над нею и ее спутницей, не сохранившими ценности. Все в ней тоскливо кричало: «Не донесли! Сколько вытерпели, сколько пережили — и все напрасно! Теперь сокровище попадет врагам».

Вдруг у девушки мелькнула мысль, от которой сердце забилося так неистово, что похолодели кончики пальцев. Вот он — подвиг, о котором мечтала! Она остановится, бросится на бандитов, будет цепляться, царапаться, бить, пока в ней теплится хоть искра жизни, а Матрена Никитична тем временем успеет скрыться в лесу или хотя бы, воспользовавшись заварушкой, спрячет ценности.

— Бегите, я задержу их! — шепнула Муся спутнице.

Но прежде чем та успела отозваться, высокий уже снова преградил им дорогу. В руке у него был револьвер. Он не тряс и не грозил им, но оружие лежало в широкой ладони так привычно и плотно, что было ясно: этот, в случае надобности, не моргнув глазом, нажмет спуск.

— Снимайте мешок! — скомандовал парень Матрене Никитичне.

Даже не взглянув на наведенное на нее дуло, Рубцова, вдруг преобразившись, стала на весь лес сыпать визгливые бабьи слова, которых в обычной обстановке боятся и не выносят даже самые спокойные и волевые мужчины:

— Бандит!.. Мужики все на фронте с немцами бьются, а он, оглобля чертова, силосная башня, с такой рожей по лесам с пистолетом лазит! С баб последнюю одежду снимает... Прохвост, стрекулист паршивый! Не стыдно? Ну говори: не стыдно, бандитская твоя рожа? Бесстыжие глаза!..

— Снимайте мешок! — еще грознее повторил высокий; скулы его играли так, что казалось, будто под загорелой кожей катаются костяные шары.

— Ага, ага, не дает! — кричал старик, благоразумно отступая от Матрены Никитичны на почтительное расстояние. — Что в мешке прячешь? Что? Показывай сейчас же! — Единственный глаз его светился злорадным торжеством.

Матрена Никитична вдруг как-то сразу успокоилась, выпрямилась.

— Что же, стреляй, фашист!.. Помни только: вернутся наши мужья — за каждую нашу косточку с вас спросят. И под землей не скроетесь — земля вас, таких, не примет.

Она произнесла это спокойно и устало устремила взгляд вдаль, на небо, по которому, мягко переливаясь, спешили на восток облака с пышными светящимися краями.

Муся смотрела на молодого светловолосого великана с открытым лицом, с голубыми глазами, такими по-детски чистыми, что в них отражались и небо и плывущие по небу облака, — смотрела и мучительно думала: что могло заставить такого юношу, выросшего, по-видимому, в Советской стране, пойти на службу к врагу, напялить на себя вражеские обноски, рыскать по лесам с немецким оружием, выслеживать своих сограждан, безоружных и беззащитных?

Как он мог, как посмел изменить родине? Почему он на это пошел? Ведь такой славный парень... Что же это делается с людьми?

Горечь этого первого в жизни девушки глубокого разочарования в людях как-то совершенно подавила страх, отогнала мысли о том, что через минуту она, вероятно, будет лежать здесь бесчувственная, неподвижная и больше никогда уже не услышит, как шумит лес, не увидит, как позолоченные облака бегут по голубому небу...

Часть третья

1

Теперь придется несколько отклониться в сторону от основного повествования и рассказать о том, что же в трудный час истории нашего советского государства заставило молодого белокурого богатыря взять в руки пистолет, изготовленный в фашистской стране, и облачиться в форму вражеской армии.

Николай Железнов родился в станционном поселке того самого города, название которого Муся так некстати упомянула в своем рассказе. Его дед работал машинистом в железнодорожном депо при большой узловой станции. Отец Николая был уже машинистом-наставником. По семейной традиции, братья тоже начинали свой жизненный путь в деповских мастерских, но понемногу младшее поколение Железновых стало разлетаться из родного гнезда и изменять потомственной профессии.

Старший брат, Семен, отслужив действительную службу рядовым, в депо не вернулся. Он пошел в командирское училище и, успешно его окончив, укатил на Дальний Восток.

Второй брат, Евгений, еще учась в ФЗУ, обнаружил на редкость пылливый ум в области техники. В свободное время, когда его товарищи отправлялись на рыбалку или по грибы, он забирался на чердак, где приладил себе возле слухового окошка маленькие тиски, и все

что-то пилил, вытачивал, мастерил. Когда он стал помощником машиниста и уже готовился, как говорится, «с левого крыла паровоза» переключиться «на правое», страсть к изобретательству в нем так окрепла, что в депо его уже считали способным рационализатором. Попасть на «правое крыло паровоза», то есть стать машинистом, ему так и не привелось. Одно из его смелых производственных предложений деповское начальство переслало в Москву. Вскоре, помощника машиниста Евгения Железнова вызвал к себе нарком. Изобретателю вручили крупную премию и заявили, что чертежи его посланы для детальной разработки в исследовательский институт, что его предложение будет использовано конструкторами при создании новых моделей паровоза. На прощанье нарком посоветовал помощнику машиниста учиться, обязательно учиться. И перед войной Евгений работал уже старшим научным сотрудником Института транспорта вдалеке от родного депо.

Третий брат, Георгий, любимец отца, дольше других оставался верен потомственной профессии. Он точно родился паровозником. Отец и не заметил, как сын из кочегаров перешел на «левое крыло паровоза». Хладнокровный, спокойный, на работе он был педантичен до мелочей, но, когда нужно, умел идти на риск и быстро принимать смелые решения. Георгию дело давалось легко. Не проведя в помощниках и двух лет, он занял место «на правом крыле» машины, а еще через год прославился на все отделение как мастер вождения большегрузных поездов.

Георгий женился на поселковой девушке; женой его стала старшая дочь соседа — Власа Карпова, старого деповского мастера, закадычного друга отца. Казалось, что третий сын, к радости обоих стариков, прочно, навсегда прирос к деповской ржавой, заскорузлой, пропитанной мазутом земле.

Но однажды, во время перевыборов, Георгия избрали в партийное бюро. Он стал заместителем секретаря. Секретарь, как на грех, вскоре захворал, и он, неутомимый, деловой, как и все Железновы, простившись на время с паровозом, с головой ушел в партийную работу. Да и увлекся ею и так сумел наладить дело, что на следующих выборах был единодушно избран секретарем парторганизации депо, членом пленума, а потом и членом бюро горкома партии. Так незаметно перешла его жизнь на новые рельсы. Вскоре он уже считался одним из самых крепких и инициативных партийных деятелей области. Одно мешало ему — недостаток теоретической подготовки. И он упросил обком послать его в Высшую партийную школу в Москву. Вслед за ним переехала и его семья.

Машинист-наставник, сидя субботним вечером в беседке своего садика с приятелями за поллитровкой и хорошей домашней закуской, любил при случае потолковать о «железновском кусте», похвалиться высокими постами, которые занимали его сыновья. Но про себя старый паровозник не простил им измены родовой профессии. Похаживая по опустевшему домику, он часто вздыхал и укоризненно качал головой, смотря на портреты сынов, и бормотал в усы: «Не дело, не дело, ребята...»

Теперь все его помыслы были сосредоточены на младшем сыне — Николае, которого старый честолюбец вознамерился сделать красой и гордостью не только депо, но и всей дороги.

Николай, как все последыши, был баловнем в доме. Мать в нем души не чаяла. Ей хотелось иметь дочку, но рождались всё мальчишки. Тоскуя по девочке, она наряжала толстого, крупного малыша в платица, повязывала его льняные кудри голубой лентой. Все это она делала, когда муж уезжал в очередной рейс. Отец же любил забирать меньшого с собой в депо, водил его в гигантские стойла, где отдыхали после рейсов стальные чудовища. Малыш без страха, но и без особого любопытства смотрел на огромные колеса, истекавшие янтарной смазкой, на могучие поршни, на лоснящиеся бока машин, точно потевших маслянистыми каплями. И, вероятно, оттого, что родители каждый по-своему уделяли младшему сыну столько внимания, пухлый румяный мальчишка рос тихим, задумчивым, мечтательным.

Коля не играл в любимую всей поселковой детворой игру в «поезда». Другие ребята носились, сверкая загорелыми икрами, по пыльным улицам, солидно пыхтя «Пу-пух-пух!» и оглашая окрестности требовательным криком «Ту-ту-ту!» А он в это время один сидел, подперев кулаком щеку, у открытого окна и задумчиво наблюдал, как роются в палисаднике куры, как сверкают подсвеченные солнцем пыльные листья кленов, росших под окном. Также без скуки он мог, лежа на спине в садике за домом, часами следить за тем, как, меняя очертания, расплывается в небе длинный курчавый хвост дыма, оставленный прошедшим поездом, слушать хлопотливое пересвистывание маневровых паровичков, комариный писк рожка стрелочника, деловитое погромыхивание проходящих товарняков, отдаленный перезвон буферов, неумолчный тонкий гул телеграфных проводов, который казался ему таинственным звуком пролетающих по линии телеграмм.

В школе Николай брал не прилежанием, а памятью и сообразительностью. И хотя порой бывал на уроках рассеянным, все же быстро схватывал мысль учителя и приносил хорошие отметки. Желая с детства привить сыну вкус к любимому делу, отец однажды, нарушив правила, рискнул даже послать мальчика с бригадой в рейс. Николай все задания отца выполнил аккуратно, но как-то без огонька, и старый машинист, любивший, как все истинные мастера, возиться с молодежью, только вздыхал и качал головой.

Когда мальчик учился уже в третьем классе, отец сделал еще одну попытку приохотить его к родовой профессии. Он отыскал тисочки и инструменты, хранившиеся еще со времени детских увлечений Евгения, и устроил в сених верстачок. Но Николай и к этому остался равнодушен. Тисочки и инструменты все лето ржавели без употребления, пока отец однажды не сложил их в мешок и не забросил подальше на чердак, чтобы не напоминали они ему о его педагогической неудаче.

Сын много и беспорядочно читал, ходил в театр, в кино, знал на память множество стихов, сказок, но даже и к искусству не проявлял особого влечения. Это был не по годам рослый, румяный крепыш с мягкими вьющимися льяными волосами, всегда казавшийся выросшим из своей одежды. Он совсем не походил на чернявую, поджарую, быструю в движениях, цепкую в жизни железновскую породу, и отец, глядя на него, украдкой вздыхал: нет, не удался у него меньшей! Рассеянный, равнодушный какой-то, не похожий на живую и инициативную деповскую молодежь, и учится и живет вроде на малом ходу.

Но машинист-наставник, давший путевку в свою профессию уже нескольким поколениям молодых механиков, на этот раз все-таки ошибался. Выехав однажды на лето в пионерский лагерь, Николай неожиданно увлекся природой. С тех пор он стал одним из самых активных членов кружка юных натуралистов. Все перемены он проводил в биологическом кабинете, кормил толстых, ленивых рыб, чистил клетки горластым, склочным чижам и солидным, франтоватым снегирям, ловил на окне мух для лягушек, ящериц, аксолотлей, тритонов и других прожорливых обитателей школьных аквариумов и террариумов.

В чистеньком, как бельевого ящик комода, домике Железновых появился галчонок со сломанным крылом а крикливым, вздорным нравом, потом толстый и тихий еж. Семейство тритонов разместилось на окне в стеклянной четырехугольной банке из-под сухих элементов. Все это были довольно мирные квартиранты. Снисходя к увлечению своего любимца, мать безропотно убирала за ними и мирилась с резкими запахами, которые они принесли с собой в ее жилье. Но к этой компании вскоре присоединился уж, и у тихой, покладистой матери начало лопаться терпение.

Новый постоялец не желал довольствоваться просторной жилплощадью, отведенной для него между двойными рамами окна в комнате Николая. Он протыкал своей упрямой головой марлеву сетку и тихо ускользал. Его неожиданно обнаруживали в самых неподходящих местах: в корзинке с бельем, только что выстиранным и отглаженным, в плите, которую собирались затапливать, и даже под подушками на родительской постели. Потревоженный



уж, не стесняясь, проявлял свою природную сварливость: сердито шипел, подняв голову, грозил своим острым и узким синеньким язычком. И все же старики терпели и этого постояльца.

Но однажды уж нарушил все правила приличия и гостеприимства. Он незаметно вполз в комнату в то время, когда у матери заседал уличный комитет, слушавший сообщение городского архитектора о проекте самостоятельного озеленения поселка железнодорожников. Увидев столько чужих людей и ощутив столько незнакомых запахов, уж поднял голову, занял боевую позицию и, зловеще сверкая чешуей, издал воинственный шипящий клич. Уличный комитет разбежался. Докладчик в панике вскочил на комод, сея по полу чертежи и проекты. За это уж был изловлен щипцами для угля и выброшен на помойку. Но долго еще «ужинный инцидент» в железновском доме обсуждался поселковыми кумушками и был темой для зубоскальства в паровозных бригадах.

Но и после этого отец не препятствовал сыновнему увлечению. Пусть сын заведет себе хоть крокодила, лишь бы зажглась в нем упрямая железновская искра, а главное, лишь бы не улетел он из родительского гнезда, как братья. Так думал отец. А у Николая уже появился свой замысел, все больше и больше его увлекавший. Но родителей он до поры до времени в этот замысел не посвящал, не желая их огорчать. Он решил стать естествоиспытателем. Николай мечтал приручать диких животных и изменять географию их размещения в лесах страны.

Вслед за семью классами железнодорожной школы Николай окончил курсы помощников, и его определили на паровоз. Как и все Железновы, недолго поездив в кочегарах, он занял место помощника машиниста. Отец радовался: сын-таки пошел по его дороге! Однако приходилось отцу и недоумевать. У каждого из воспитанных им молодых паровозников был свой конек: один поражал знанием путевого рельефа, мог водить поезд чуть ли не с завязанными глазами; другой слыл как мастер ремонта, и ему, знавшему «организм» машины до последнего стального мускула, не страшны были никакие испытания пути; третий слыл аккуратистом — его паровоз всегда сверкал надраенными деталями... У Николая всего было понемногу; он считался исправным помощником, но и только. Это-то и огорчало отца.

Старый Железнов знал, что сын хорошо учится в вечерней школе. Но не знал он, что, выглядывая из окна паровозной будки, сын не только следит за путевыми знаками и смотрит на проносящиеся мимо леса, а и мечтает о времени, когда по воле человека в этих, теперь уже покинутых «настоящим» зверем, чащах будут вновь водиться громадные лоси и быстрые козы, появятся куницы и соболи, будут жить и плодиться на свободе чернобурые лисы и даже, черт возьми, — кто знает! — может быть, и какие-нибудь новые полезные породы, которые удастся вывести ему, Николаю Железнову. Не знал отец и о том, что в прокуренных комнатах отдыха бригад на узловой станции, где старые машинисты с треском стучали о стол костяшками домино, а молодежь горланила песни, болтала о девушках или склонялась над техническими книгами, над чертежами паровозных частей, младший из железновской фамилии читает Дарвина и Тимирязева и упрямо мечтает со временем в годы и десятилетия добиваться таких видовых изменений у животных, которые естественным путем происходят в миллионы лет.

Николай решил поступить на биологический факультет городского педагогического института. Стремясь к этой цели, он проявил поистине железновский характер. В полную меру сил работая на паровозе, сумел Николай в то же время отлично закончить вечернюю среднюю школу. Однако теперь, когда жизнь, как говорят паровозники, «вышла на главную магистраль» и можно было уже жить «на всю железку», непредвиденное обстоятельство нарушило его план. Паровоз, на котором ездил Николай, занял первое место по отделению. При перевыборах комсомольских органов молодого помощника машиниста единодушно избрали секретарем комсомольского комитета. Между тем его заявление и документы уже лежали в приемочной комиссии института.

Николай пошел за советом к секретарю парткома, в недавнем прошлом знаменитому паровознику, ученику и другу отца — Степану Титычу Рудакову. Как же теперь быть? Взять обратно документы?

Маленький, худощавый Рудаков только развел руками: избрали — послужи народу! Депо расширяется. В цехи приходит колхозная молодежь; ее надо воспитывать, втягивать в производственную жизнь. А кому ж ее воспитывать, как не Железновым: отцу — у паровозных стойл, сыну — в комсомольской организации. Ведь на всю дорогу знаменита железновская фамилия!

Живые, карие с золотой искрой глаза секретаря парткома ласково усмехнулись:

— Думаешь, я по паровозу не тоскую? Я, брат, машинист такой: мне завяжи глаза — я на слух скажу, по какому километру машина бежит... А вот избрали — служу партии, стараюсь оправдать доверие... — И, погасив в глазах веселые ласковые искры, секретарь серьезно и даже сердито сказал: — Вот поработаешь, дело наладишь — слово большевика, отпустим тебя к твоим ежам и ужам, если сам к тому времени не раздумаешь. Но чтобы работать у меня на совесть, фамилию Железновых не позорить!

Николай принял комсомольские дела и работал действительно по-железновски: напористо, изобретательно, с огоньком.

Новый комсомольский секретарь тщательно готовил собрания, серьезно обдумывал свои выступления, даже иногда писал их заранее, стремясь, чтобы за каждой фразой стояла ясная и нужная мысль, помогал молодым новаторам в их начинаниях, посещал заболевших товарищей. Вскоре его избрали членом бюро райкома, ввели в обком.

Он вкладывал в комсомольские дела всю душу, но страсть, поселившаяся в нем еще с детства, не оставляла его и теперь. В свободную минуту между двумя цеховыми собраниями или сидя в президиуме во время какого-нибудь затянувшегося доклада, юноша по-прежнему мечтал об учебе и научной работе.

Через год, ранней весной, Николай явился в кабинет Рудакова и очень твердо напомнил ему о его обещании.

— Что ж... — задумчиво сказал секретарь парткома, трогая веснушчатой рукой коротко подстриженный рыжий ус. — Что ж, за настойчивость хвалю. Дело наладил. Заместителя вырастил?

— Вырастил.

— Знаю. Правильный парень... Жаль, конечно, да что поделаешь! Будем просить комсомольцев, чтоб отпустили своего ужатника... А где думаешь учиться?

В вопросе секретаря зазвучала тайная тревога. Рудаков знал, как тяжело старый Железнов переживает опустение своего гнезда. А тут у знаменитого машиниста может уйти из дому последний сын. Узнав, что Николай намерен учиться в родном городе и жить у родителей, секретарь облегченно вздохнул. Он даже обещал ему помочь уломать старика, чтобы тот без лишних прений отпустил сына учиться, так сказать, без отрыва от родной семьи.

И все, казалось, пошло отлично. Старый Железнов противиться желанию сына не стал. Чему быть — того не миновать!

Николай сдал дела заместителю. Теперь-то он уже осуществит свою мечту!

На песчаном пляже пригородного озера, где Николай, лежа в трусах, по учебникам готовился к вступительным экзаменам, и настигла его весть о войне. С непросохшими волосами, с книжками, заткнутыми за ремень, и мохнатым полотенцем на плече, он прямо с пляжа, не заходя домой, побежал в райвоенкомат. Но по пути его перехватил посыльный секретаря парткома.

Николай застал Рудакова в его маленьком кабинете, помещавшемся за стеклянной переборкой над паровозными стойлами. В комнате было так густо накурено, что сизый воздух, наполнявший ее, казалось, жил сам по себе, колыхаясь волнами. Изгрызенные окурки, валявшиеся на столах, на полу, на подоконнике, красноречиво свидетельствовали о том, что с утра здесь побывало уже много людей и люди эти волновались. За несколько часов худощавый Рудаков еще больше осунулся, крупные золотистые веснушки еще заметнее проступили на его побледневшем лице.

— Загораешь? Окрока на солнышке коптишь? — сурово спросил он, встретив Николая хмурым взглядом.

Рудаков заявил, что об институте надо забыть. Запретил идти в военкомат. Узел их, игравший важную роль в железнодорожном сообщении с прибалтийскими республиками, уже объявлен на особом положении. Николай должен снова взяться за комсомольские дела, быстро перевести всю работу на военные рельсы, сформировать из молодежи роту для истребительного батальона, создать в цехах комсомольские фронтовые бригады.

Так вторично пришлось Николаю расстаться со своей мечтой. Но даже пожалеть об этом было некогда. По опыту он знал, что самой убедительной формой агитации является личный пример. Он пришел в цех, достал в шкафчике отца его запасную спецовку и, надев ее, присоединился к молодежной бригаде, ремонтировавшей комсомольский паровоз.

В конце смены в депо стало известно, что в ответ на нападение фашистов комсомольцы хотят отремонтировать паровоз и выпустить его на линию в невиданные сроки.

Производственная работа слилась теперь с комсомольской, и как-то сами собой нарушились границы внутри суток. После рабочего дня Николай уводил молодежь в поле; там юноши повторяли военные упражнения, учились стрелять, метать гранаты. Потом дружинники из комсомольской роты отправлялись рыть траншеи для бомбоубежищ, а ночью дежурили по противовоздушной и пожарной охране, выставляли секреты для борьбы с диверсантами. Комсомольцы спали по очереди, да и то урывками.

С первых же дней войны Николай так вжился в ее суровый быт, занимавший без остатка все силы его души и воли, что мечта об институте ему самому теперь казалась очень далекой и странной. В эти дни и он, и его отец, и его товарищи жили сводками Совинформбюро да сведениями о том, сколько лишних пар поездов с войсками и снаряжением пропустил узел. И если среди массы дел все же иногда выпадала свободная минута, Николай думал уже не о биологии или ботанике, а о том, как научиться из винтовки сбивать «лампадку», подвешенную над путями немецким разведчиком, как натренировать руку, чтобы она не дрожала и мушка не «гуляла» по небу, когда берешь на прицел медленно спускающегося вражеского парашютиста, как побороть в себе противное оцепенение, невольно связывающее человека, когда сверху с нарастающим сверлящим визгом несется к земле авиабомба.

Роту истребителей из молодых железнодорожников похвалила «Комсомольская правда». Заместитель наркома вызвал Николая к прямому проводу и долго благодарил комсомольцев депо за отвагу, мужество, самоотверженную работу. Но и порадоваться было некогда.

Селектор, даже опережая порой сводки Совинформбюро, приносил сообщения, что враг отхватывает от железнодорожных магистралей новые и новые станции. И по мере того как сеть дорог на западе сокращалась, росла нагрузка узла, где работал Николай. Домой он теперь почти не заглядывал.

Вместе со своими комсомольцами-дружинниками Николай переселился в комнату отдыха поездных бригад, переоборудованную под штаб истребительной роты. Обедал он в буфете. С отцом встречался лишь на работе, да и то все реже и реже. Отец, в эти горячие дни опять занявший место в будке паровоза, положил почин новому патриотическому движению паровозников. Его бригада теперь не расставалась со своим паровозом. Люди, сменившись, отсыпались в пути в товарном вагоне, который специально прицеплялся к поезду. Почин этот поддержали. Он быстро распространился по фронтовым магистралям.

Николай порадовался успеху отца, но даже поздравить его не мог — отец кочевал неведомо где.

Однажды, после отбоя воздушной тревоги, в штаб сообщили, что в ближайшем леске приземлились диверсанты. Николай поднял дружинников. Они побежали напрямик, по железнодорожному полотну, вкладывая на ходу запалы в гранаты, заряжая свои старые винтовки. Как раз в эту минуту и догнал Николая Влас Карпов, сосед, друг отца. Он что-то взволнованно кричал. Но лесок был уже близко. Николай продолжал бежать. Карпов снова догнал его и на бегу крикнул, что бомба упала в железнодорожный садик и что их дом горит.

На минуту Николай остановился.

— Мать? — быстро спросил он.

— Жива!.. К нам перебралась. У нас.

У Николая сразу отлегло от сердца. Он махнул рукой и побежал догонять товарищей.

Когда лес прочесали и отправили в медпункт своих раненых, а пойманных диверсантов, документы и оружие убитых сдали военному начальнику, Николай почувствовал тоскливую тревогу: «Что такое? Ах да, дом горит!» Возникла в памяти пристанционная улица, поросшая пыльной муравой, приземистый домик за красным забором, весело глядящий из-за слоистой листвы кленов. Без этого домика Николай улицу представить не мог. Тоскливо заныло сердце. Он наказал заместителю подежурить за него у аппарата, пока сам он сбегает на пожарище и проведает мать. Но снова зарыдали сирены воздушной тревоги. Сердито зазвенел телефон. Голос Рудакова требовал всех, кто есть, на пятые пути — гасить пожар в эшелоне с эвакуированными. Потом приспели еще и другие срочные дела.

А ночью Николай проверял посты, тушил зажигалки, латал искалеченный паровоз. Под утро он сидел на бюро парткома и в конце заседания сладко заснул, прикорнув в уголке, опираясь на винтовку, зажатую между колен.

3

Грузопоток, по мере приближения фронта, продолжал расти. Огромный узел, казалось, превратился в гигантский табор, набитый людьми, вещами, грузами. Постороннему человеку, попавшему в те дни с каким-нибудь эшелонем на Узловую, могло показаться, что все перепуталось в этой суতোлке людей, теснящихся и гомонящих в вокзале и на путях, штурмующих комендатуры, битком набивающих вагоны, гроздьями висящих на тормозных

площадках и на платформах с эвакуированным добром. Вражеские самолеты, как говорили тогда здесь, «с неба не слезали». Вопили сирены и паровозные гудки, били зенитки. Даже в яркие летние дни небо над станцией было тускло и хмуро.

Все это создавало впечатление путаницы, неразберихи.

Но диспетчеры, изолированные у своих карт, телефонов и графиков от случайных внешних наблюдений и каждую минуту мысленно видевшие перед собой весь поток поездов, знали, что в этом, как казалось бы непосвященному, хаосу сердце железнодорожного узла бьется не менее четко, чем в мирные дни; что все службы работают с предельным напряжением и без перебоев; что точно в срок на восток отходят эшелоны с эвакуируемыми заводами, фабриками, институтами, научными лабораториями, сокровищами музеев; что с такими же интервалами идут им навстречу поезда с войсками, боевой техникой и боеприпасами.

И диспетчера, отделенные от внешнего мира стенами своих кабинетов, решая сложнейшие задачи движения, удивлялись, как невозможному и необъяснимому, той поражающей силе выдержки и организованности, которая позволяла обстреливаемым с воздуха поездам нестись через сожженные станции со скоростью, нередко превышавшей все рекорды мирного времени.

Теперь Николай уже не испытывал чувства скованности, когда в воздухе, как внезапно заторможенное колесо, визжала авиабомба. Бросив взгляд на небо, он безошибочно определял, куда она упадет, и продолжал свое дело. Люди Узловой закалились. И хотя по-прежнему звуки сирен заставляли сердце невольно сжиматься, на путях, не смолкая, деловито попискивали маневровые «щучки»; на сортировочных горках переформировывались составы; стараясь перекричать далекий и близкий лай зениток, дежурный по станции крупно объяснялся с начальниками эшелонов; в депо вертелись станки; электросварщики, бросая в полутьму пригоршни синих молний, как ни в чем не бывало продолжали ставить латки на простреленные бока паровозов...

И если между всеми этими многообразными и опасными делами у дружинников оказывалась свободная минута для отдыха, они отдавали ее блиндированию поезда. Это был подарок, который деповская молодежь готовила Советской Армии. Блиндированный поезд решено было назвать «Комсомолец». «Комсомолец» этот обещал стать не бог весть каким чудом военной техники. Однако и старенькая «щучка» с двумя металлическими платформами, обшитыми толстыми железными листами, могла пригодиться в большом военном хозяйстве. Во всяком случае, генерал, принимавший подарок, очень крепко жал руки молодых патриотов.

Торжественно проводив новорожденный бронепоезд на фронт и пребывая по этому случаю в самом хорошем расположении духа, Николай разыскивал по мастерским Рудакова, чтобы во всех подробностях доложить ему о похвале генерала. И вдруг у паровозных стойл он встретился с родителями, которых не видел с неделю. Отец и сосед Влас Карпов, стоя у верстака, ели из общей миски. Возле них на большой ржавой чугуине сидела мать, которая, по-видимому, и принесла им завтрак. Увидев сына, она ахнула, протянула к нему руки, и крупные слезы побежали по бороздкам ее морщин.

Радость сменилась у Николая тягостным чувством вины перед родителями. Ему показалось, что он не видел их много лет.

Старики очень изменились. Отец стоял похудевший, сутулый, с устало опущенными плечами. Его густые волосы, черные, как антрацит, засеребрились на висках. А мать, всегда жизнерадостная, деятельная, против обыкновения по-деревенски повязанная темным платком, вдруг превратилась в тихую старушку. Как-то уж совсем по-старчески лежали у нее на коленях руки, оплетенные сеткой вздутых синих вен. Лицо покрылось глубокими

морщинами; глаза, всегда ласковые и веселые, как-то погасли, голубой их цвет точно поинял. Возле нее на промасленных торцах пола играла синевато сверкающими стружками младшая дочь Карпова, Юлочка.

— Что с тобой, Николушка? Болен, что ли? — тихо спросила мать, встревожено глядя на сына. Сняв с чугунок салфетку, она заботливо подвинула его: — Покушай, мальчик, небось голодный.

Николай с удивлением смотрел на родителей. И вдруг почувствовал, что и сам он очень устал и будто постарел.

— Мы теперь у свата, у Карповны живем. Заходи, Николушка. Ишь, белье-то совсем черное стало. Сменить-то теперь нечем — приходи, хоть постираю, — по-старушечьи зачастила мать, когда он принялся есть из котелка томленную с яйцами картошку. — Зайди хоть глянь, ведь разбомбило нас, совсем разбомбило, одни ямы остались. Заходи, а то ведь совсем я одна. Отец-то тоже неделями не показывается, все в поездках. Кочует, как цыган какой, вовсе дом забыл...

— Постой, мать, — нарочито сердито прервал ее старый Железнов и стал было рассказывать сыну о своем последнем опасном рейсе.

Но Николай вдруг вспомнил, зачем он шел. Он вскочил, поцеловал мать, кивнул отцу и соседу и убежал искать Рудакова, даже не поинтересовавшись, почему Юлочка, балованный ребенок Карповых, подаренный им судьбой уже под старость, на которого обычно и ветру не давали дунуть, играет стружками в депо, на пропитанном мазутом полу. Только позже узнал он от секретаря парткома, что жена Карпова убита фашистским ассом, обстрелявшим из пулемета очередь женщин перед продовольственным магазином.

Рудаков рассеянно выслушал торжественный рапорт Николая о проводах бронепоезда на фронт. Он только что получил сообщение, что немецкой бронетанковой армии удалось совершить прорыв и захватить смежный железнодорожный узел. Вскоре пришли известия о взятии еще нескольких полустанков. Из области был получен приказ о срочной эвакуации последних, еще не уехавших на восток предприятий и городских учреждений, о свертывании узлового хозяйства. Все это нужно было выполнить, не сокращая движения на основных магистралях.

Наступили самые трудные дни, когда жизнь безошибочно определяла, чего же действительно стоит тот или другой человек. Израненные осколками паровозы ремонтировались уже на дворе. Путь до фронта измерялся теперь часами.

Рудаков созвал партийный актив. Он огласил список коммунистов, кому следовало ехать с оборудованием депо в тыл. Потом в горком были вызваны те, кто оставался на узле до критического часа. Отправив на восток последние поезда, они должны были уходить в лес. Старики Железновы уезжали, Николай оставался. Его назначили ответственным за безопасность путей в час всеобщей эвакуации. Вместе с ним перед уходом в лес должны были держать испытание его дружинники.

4

Фашистское командование, очевидно рассчитывавшее захватить этот важный узел внезапно, до сих пор ограничивалось обстрелом и бомбежкой эшелонов, горловин и пристанционных поселков. Теперь же, узнав, очевидно, от разведки о демонтаже и эвакуации, оно решило

нанести мощный бомбовый удар по Узловой.

Вражеские бомбардировщики устремились теперь на Узловую, как стая слепней на усталого коня. Ни контратаки истребителей, ни зенитный огонь не могли уже их отогнать. Отдельным звеньям удавалось прорываться к станции. А тут, как на грех, скопились в непосредственном соседстве эшелон с боеприпасами, санитарный поезд, направлявшийся с ранеными в тыл, и только что прибывший состав с горючим и маслами.

Осколки бомбы угодили в цистерну с маслом. Цистерна превратилась в костер. Масло, расплесканное взрывом, горело, зловеще треща и пенясь, на путях, на боках пузатых цистерн с авиационным бензином.

Дружинники, дежурившие неподалеку от места взрыва, были сбиты воздушной волной с ног. Но в следующее мгновение Николай, сообразивший, чем угрожает занимавшийся на путях пожар, уже бежал к горящей цистерне с маслом. Ребята видели, как он нырнул под колеса соседней платформы и низом, по шпалам, пополз к kloкочущему огню. Они поняли: он хочет отцепить пылающую цистерну, изолировать состав с бензином.

Комсорг агитировал примером. Все юноши и девушки, сколько их тут было, бросились за ним. Когда тяжелая сцепка наконец упала, дружинники, прикрываясь от жара тлеющими пиджаками и куртками, обжигая руки о накалившееся железо, принялись толкать пораженную цистерну. Страшный костер стал медленно удаляться от состава. Потом дружными усилиями отогнали в сторону загоревшуюся цистерну с бензином. Взрыв, разнесший ее в куски, произошел уже в пустынном тупике, не причинив существенного вреда.

А сзади уже гремели странные, дробные взрывы, не похожие ни на стрельбу зениток, ни на разрывы бомб: на соседнем пути, постепенно разгораясь, пылал вагон со снарядами. Разрывы звучали все чаще. Раскаленные гильзы, щепка вагонной обшивки, ключья кровельного железа разлетались далеко вокруг. И наконец, подброшенная силой взрыва, взвилась в воздух вагонная крыша.

— Растаскивать эшелон! — кричал Николай, стараясь перекрыть голосом треск и гром.

Чумазые, закоптелые дружинники, уже получившие урок бесстрашия, в прожженной, тлеющей одежде, снова бросились за ним.

Пробегая мимо санитарного поезда, ребята видели в окнах испуганные лица раненых, мечущиеся фигуры в белых халатах, слышали чей-то крик и протяжный, нечеловеческий вопль.

Вот и горящий эшелон: гудящее, судорожно вихрящееся пламя, разлетающиеся в щепки доски, раскаленный воздух, бьющий упруго, как струя из брандспойта. Если не пригнуться, он валит с ног.

В дыму и копоти Николай видел смутные фигуры товарищей, расцепляющих, растаскивающих вагоны. Кто-то из них упал на рельсы и больше не поднялся. Кто-то, вскрикнув, присел, зажимая рану. Николаю врезалось в память, как после одного особенно оглушительного взрыва из будки паровоза, уже зацепившего санитарный состав, выбросило две темные человеческие фигуры. Они упали на шпалы и остались лежать на полотне, точно это были куклы из тряпок.

А затем он увидел, как к осиротевшей машине, перепрыгивая через шпалы, босые, без пиджаков, в одних нижних рубашках, бежали его отец и сосед Карпов. Они скрылись в будке, и через мгновение израненный состав, перекликнувшись буферами, тронулся и стал медленно уходить. Санитарный поезд исчез в дыму. Продолжая растаскивать состав с боеприпасами, Николай почему-то удивился лишь тому, что отец и сосед прибежали к

паровозу неодетые, точно только что соскочили с постели.

Наконец состав со снарядами растащили. Пахнуло свежим ветром, и сразу почувствовалась боль ожогов на лице и руках. Возле Николая стоял Рудаков, как и все черный от копоти. Фуражку свою он потерял, волосы его были опалены, левый ус исчез, и над губой виднелся кровавый ожог. Согнутая рука была засунута по локоть за пазуху гимнастерки. Секретарь говорил таким же, как и он, опаленным, усталым дружинникам простые, будничные слова о том, что вот сейчас коммунисты, комсомольцы и беспартийные большевики — старый Железнов и Карпов — совершили невозможное: спасли раненых, бензин, снаряды. Он сказал, что такой народ победить нельзя, и хотел было, по привычке, подчеркнуть значительность этого вывода взмахом правой руки, но только охнул и побледнел: лежавшая за пазухой рука не повиновалась.

— Спасибо, ребята! Не подведем славное железнодорожное племя! — сказал он.

Этими словами в бытность машинистом он любил заключать разговор со своей бригадой после трудного рейса.

Только глубокой ночью удалось Николаю прикорнуть на газетных подшивках в комнате комсомольского комитета. Его товарищи, успевшие уже в медпункте смазать и перебинтовать ожоги, умыться и закусить, крутили патефон, часто ставя одну и ту же пластинку. «Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты...» — пел тенор сквозь сипловатое шипенье заигранной пластинки.

— «Средь шумного бала»... — грустно усмехнулся Николай.

Было странно и в то же время приятно слушать нежную мелодию любви под грохот отдаленной пушечной пальбы, под храп усталых товарищей и крики рабочих, грузивших внизу на платформу тяжелые ящики с разобранным оборудованием.

Николай проснулся от какого-то странного звона. Ему казалось, что он едва успел закрыть глаза. Слова романса еще звучали в ушах... Нет, прошло, должно быть, порядочно времени. Дружинники уже спали, и патефон служил одному из них изголовьем... Что же случилось? За недели войны Николай привык от сна сразу же переходить к бодрствованию. Вскочив, он осмотрелся. С одежды на пол посыпались почему-то мелкие осколки стекла. Телефон?... Телефон молчал. В углу уютно пиликал сверчок, внизу по-прежнему кричали: «Взяли, взяли! Еще раз!»

Вдруг над головой что-то тревожно прошелестело, и через мгновение невдалеке раздался взрыв. С купола депо плеснуло разбитым стеклом. Стало ясно: враг под городом и бьет из пушек по узлу.

Николай схватил винтовку, лежавшую возле него, растолкал своего заместителя и приказал ему будить дружинников.

— Слышишь? — Он кивнул в ту сторону, откуда били орудия. — Выводи ребят! Проверь оружие!

Сам он побежал искать секретаря парткома. Огромный зал депо, тускло освещенный затемненными лампами, был тягостно пуст, как обжитая квартира, когда из нее вынесут мебель. Там, где с детства глаз привык видеть живые ряды работающих станков, темнели бетонные фундаменты, торчали замурованные в пол болты. Рабочие выносили большой ящик. Старый Железнов, одетый почему-то по-зимнему — в праздничной шубе на хорьковом меху и в барашковой шапке, — командовал ими. Еще несколько снарядов разорвалось невдалеке. С купола снова и снова посыпались осколки стекла.



Старый Железнов уже издали заметил сына. Когда рабочие вынесли ящик из помещения, он обнял Николая, устало повис на его плече:

— Слышишь, слышишь?... Из дому нас выгоняет, уезжаем... Ты, сынок, куда не надо не суйся. Жизнь-то одна человеку дается... А мать — она совсем у меня подалась: все плачет, все убивается...

Николай чувствовал лицо прикосновение небритой мокрой щеки отца, и ему было очень жаль этого сурового, молчаливого человека, раньше даже и не умевшего на что-нибудь пожаловаться.

— Буду беречься, батя! — сказал он, с трудом преодолевая волнение.

— Берегись, сынок, да так берегись, чтобы Железновым за тебя не стыдно было! Нас, Железновых, вся дорога знает, — шептал старик. Заслышав шаги рабочих, он легонько оттолкнул сына: — Ну, ступай, ступай, некогда мне, не до вас тут... Эй, шевелись там, уснули, вареные! За смертью вас посылать...

Николай отер со щеки отцовские слезы и побежал в партком. Рудакова не было. Не нашел он секретаря ни у грузившегося у депо последнего эшелона, ни на станции, где за отвалившейся стеной вокзала, точно среди театральных декораций, открытых для зрителя, была видна девушка-телефонистка. Не было его и на путях, на которых то тут, то там рвались снаряды. После пережитых бомбежек это казалось совсем не страшным. Почти все встречные отвечали, что видели Рудакова недавно, но где он сейчас, никто указать не мог.

Наконец, миновав развалины вокзала, Николай увидел секретаря. Вместе с деповским стрелочником Василием Кузьмичом Кулаковым — маленьким кривым стариком, известным в депо своей неодолимой страстью высказываться на собраниях по всякому поводу и страдавшим, как говорили, «бестолковой активностью», — Рудаков делал что-то непонятное у поворотного круга. Потом оба они побежали в депо, а на том месте, где они только что стояли, с грохотом взлетел в небо столб огня и дыма. Такой же столб тотчас взметнулся и на путях у главных стрелок. В воздух полетели обломки шпал и скрученные штопором рельсы. Глухим взрывом отозвалась водокачка; внезапно осев, она точно растаяла в бурных клубках дыма и пыли. Тугой, тяжелый рокот донесся со стороны западной горловины.

Николай понял: все кончено! Понял и, прыгая через рельсы, побежал в депо вслед за секретарем парткома. Но тронувшийся состав с оборудованием перерезал ему дорогу. На ящиках, громоздившихся на платформах, сидели знакомые поселковые люди: мужчины с суровыми, окаменевшими лицами; женщины, прижимавшие к себе испуганных детей. Словно прощаясь с родными местами, тоскливо, длинно свистел паровоз. Остающиеся толпились на изуродованных и развороченных путях. Никто не махал руками, никто не кричал прощальных слов. Среди остающихся Николай, к удивлению своему, увидел соседа Карпова с дочкой Юлочкой, сидевшей у него на закорках. Только она одна весело кричала что-то вслед эшелону, набиравшему скорость, и приветливо махала ручкой...

Точно во сне, расплываясь в серой дымке, прошла мимо Николая платформа, где среди других сидели на ящике отец и мать. Мать, вся согнувшаяся, тупо смотрела перед собой невидящими глазами. Отец, без шапки, но в шубе, прижимал мать к себе, точно хотел своим телом прикрыть ее от опасности. По небритому лицу его текли крупные слезы. Он все смотрел в толпу — должно быть, искал в ней сына, — а Николай видел это, но боялся подать голос, чтобы самому не разрыдаться. Впрочем, этого никто бы и не заметил. У отъезжающих и остающихся были одинаково каменные лица, одинаково полные горя глаза.

В ту минуту, когда, убыстряя ход, уже постукивали на стыках последние вагоны, из черных дверей депо выскочил стрелочник Кулаков. По-заячьи прыгая со шпалы на шпалу, он догнал уходящую тормозную площадку и бросил на нее что-то черное.

— Захватывайте уж и метлу! Не Гитлеру же оставлять! — крикнул он дребезжащим тенорком.

Нервное напряжение провожающих как-то ослабло, даже тень улыбки мелькнула на лицах.

— Ишь, рачитель народного добра!..

— А в чем дело? Всё погрузили... что ж им, иродам, метлу оставлять? Метла, она тоже в данный конкретный момент не должна доставаться проклятым фашистам. — И Кулаков, подмигнув своим единственным глазом, лихо сбил на ухо форменную фуражку.

Смешок прошел по рядам. И уже не так тоскливо смотрели глаза, когда за виадуком переезда скрылась тормозная площадка последнего вагона.

5

— Товарищ командир партизанского отряда, рота комсомольцев-дружинников... — начал было рапортовать Николай, вытягиваясь перед Рудаковым.

— Танки под городом... — устало прервал его секретарь парткома, показав рукой в ту сторону, откуда слышались звуки ближнего боя. — Комсомольцев твоих сам уведу. Беги на станцию к телефонам. Там Зоя Хлебникова. Что бы ни случилось, вместе с ней проводите состав до разъезда. Понятно? Передашь по аппарату об эвакуации, примешь последний приказ и взорвете коммутатор. Нас ищите в Малой роще, у однодневного дома отдыха. Понял?

Ничего не ответив, Николай во весь дух пустился назад к вокзалу. Взбегая на изрытую осколками платформу, он чуть не упал от удара сильной воздушной волны. Земля заходила под ногами. Он оглянулся и вскрикнул, застыв на месте: там, где с раннего детства глаз привык видеть черный купол депо, поблескивавший причудливой мозаикой из новых и закопченных стекол, высоко поднималось бурое всклокоченное облако.

Депо не стало.

Среди развалин вокзала, точно в театральных декорациях, все еще сидела маленькая остролицая девушка-телефонистка. Она была бледна, и все кругом: осыпь разбитой штукатурки, сохранившаяся часть стены с расписанием поездов, полированная панель аппарата — было забрызгано кровью. Девушка сидела в странной позе, прижимаясь лбом к обломку стены, точно бодая ее.

— Еще не подошел к Крюкову, — чуть слышно прошептала она серыми губами, без удивления смотря на Николая. — Маме не говорите... Сломайте... аппарат...

Только тут заметил Николай, что джемпер телефонистки темнеет от влажных пятен.

— Не могу больше... Возьми трубку... Маму, маму не вол... Мамочка! Ма...

Девушка поникла. Николай подхватил ее. Удивительно легкое тело безжизненно обвисло на руках юноши, и он понял, что маленькая, тихая телефонистка, которую никогда не слышно было на собраниях и не видно было на танцах, которую комсомольцы считали девушкой пассивной и недалекой, уже отстояла свою вахту. Николай бережно положил ее тело в сторонке на пол и осторожно, распутав волосы, снял с ее головы наушники.

Слушая живое потрескивание, доносившееся, как казалось, оттуда, где еще не было фронта, он следил за тем, что происходит здесь, на просторе изувеченных путей. Шум боя передвинулся вправо, к заводскому району. Постепенно переставали рваться снаряды. Было видно, как, упрямо отстреливаясь, красноармейцы организованно отходят за переезд под прикрытием насыпи. Там они, должно быть, засели, так как вскоре над гребнем насыпи полетели легкие, как семена одуванчика, дымки. Потом вдаль показалось нечто похожее на опрокинутый набор газетный киоск. Еще и еще. «Танки!» — догадался Николай. Красные искры слетали с их таких безобидных издали хоботков. На броне сидели солдаты. Они прижимались к броне, прячась за башни, и очень напоминали Николаю маленьких паразитов, которые всегда путешествуют, прячась в панцирях навозных жуков.

Танки двигались к вокзалу, рыча моторами, скрежеща гусеницами о рельсы. Небольшие снаряды начали часто рваться на путях, и казалось, что это крупный дождь бьет по лужам. Черные дымы поднимались в безветрии. В отдалении уже горело несколько подбитых машин.

После всего пережитого Николаю не было страшно. Им овладело чувство тупого безразличия к себе и своей судьбе. Только жгучая тоска оттого, что враг уже появился здесь, где выросли и работали и дед, и отец, и братья, и он сам, угнетала его. Приладив получше наушники, он достал пистолет, достал патрон и, переведя предохранитель, присел пониже за обломком стены, рядом с телом девушки.

А трубка все безмолвствовала. Солдаты, в рогатых касках, в куртках с закатанными рукавами, короткими перебежками, стреляя на ходу, приближались к месту, где было депо, зиявшее теперь огромной ямой. В ответ им слышались частые выстрелы из-за насыпи. Все больше и больше серых фигур оставалось лежать на путях. Но уцелевшие лезли и лезли. Передние уже показались среди развалин. Николай различал даже их возбужденные лица. Вот тут-то обыкновенный девичий голос и сказал в трубку:

— Зойка, слушаешь? Шестьдесят второй прошел... Как там у вас?

Этот голос, донесшийся точно с другой планеты, поразил Николая своей спокойной жизнерадостностью.

— Зоя Хлебникова погибла на посту смертью храбрых, — прошептал он в трубку. — Говорит секретарь комсомольского комитета Николай Железнов. Передай по линии — Рудаков с людьми действует по плану. У нас немцы. Взрываю коммутатор.

Но, уже запалив шнур, следя за тем, как, шипя, искрясь, бежит по нему пламя, Николай снова преник к трубке:

— Девушка! Передай по линии, что коммунисты и комсомольцы Узловой будут биться до последнего. Передай: смерть фашистским гадам! Передай: да здравствует коммунизм!

Забывшись, он кричал во все горло. Немцы уже подползли к платформе; услышав его, они открыли на голос частый огонь. Пули, как градины, защелкали среди осколков стен, рикошета и брызга известью. Тяжелые шаги гулко стучали уже по деревянному помосту. И тут раздался взрыв. Целый фонтан кирпича ударил вверх, и развалины станции заволокло багровым облаком пыли и дыма.

Николаю Железнову, с детства знавшему на Узловой каждый закоулок, удалось под носом у неприятеля выбраться из руин вокзала, перебежать на восточную платформу и оттуда — в железнодорожную слободку. Впрочем, напуганные взрывом солдаты и не пытались его преследовать.

Бой у станции продолжался.

К вечеру Николай догнал отряд Рудакова, сделавший первый привал в так называемой Малой роще.

Когда-то роща эта служила любимым местом комсомольских маевок. Потом железнодорожные организации построили тут однодневный дом отдыха. Машинисты, деповские мастера, слесари ездили сюда по субботам целыми семьями попить на холодке в лесной тишине чайку под мурлыканье весело кипевших самоваров, выдававшихся напрокат в буфете, поиграть в домино, в шашки, опрокинуть на ночь в хорошей компании чарочку-другую, потолковать о деповских делах, старину вспомнить, пока молодежь пела и танцевала.

В этот лес, лежавший за городом, на восточном берегу озера, немцам пробиться еще не удалось. Тут, среди ажурных цветастых беседок, среди киосков и столиков, стоявших под сенью пестрых полотняных грибов в молодом низкорослом курчавом соснячке, возле кружевных веранд, открытых читален, отряд и расположился на ночлег.

Теплая тишина озера, нарушаемая лишь озабоченным писком стрижей, скользивших в позеленевшем воздухе, как бы подчеркивала трагизм совершившегося. Люди почему-то располагались не на верандах, не на скамьях, а прямо на земле и лежали молча, погруженные в невеселые думы. Только Юлочка, приехавшая в лес на плечах отца, была довольна внезапной экскурсией. Она что-то весело чирикала, как шустрая синичка, перепархивая от одной группы к другой, смеялась, болтала, радуясь теплу, лесу, солнцу.

Стрелочник Кулаков, успевший уже принять на себя в отряде свою всегдашнюю роль всеобщего увеселителя, дребезжащим тенорком рассказывал окружающим забавные истории, будто бы случившиеся с ним самим, и, рассказав, награждал себя частым дробным смешком, от которого слушателям становилось еще больше не по себе.

Но скоро и он понял, что сегодня этих людей ничем не развеселишь, понял — и стих, свернувшись, как еж, под елкой.

В эту минуту общего тяжелого молчания и появился Николай Железнов.

Его обступили, засыпали вопросами.

— Заняли узел. Бои идут за фабричный район, — ответил он и молча протянул Рудакову комсомольский билет телефонистки с корочками, слипшимися от крови.

Он не добавил больше ни слова, но руки людей как-то сами собой потянулись к кепкам и фуражкам.

Так началась для Николая Железнова новая, лесная жизнь.

Партизанские будни оказались куда менее романтичными и более трудными, чем он себе представлял. За несколько длинных и быстрых переходов Рудаков увел свой отряд далеко в чащу леса, туда, где неожиданно для большинства партизан оказалась заблаговременно заложенная база с оружием, снаряжением и продовольствием. Пока вчерашние токари, слесари, паровозники, путейцы, служащие, кладовщики, еще не успевшие свыкнуться со своим новым положением, медленно и неумело рыли землянки и оборудовали их, командир

занялся организацией партизанского труда. Он так и говорил: «труда», потому что еще смолоду, водя пассажирские поезда, привык к тому, что в каждом деле самое важное — организовать труд.

Отряд свой он разбил на группы, позаботившись, чтобы в каждой была партийно-комсомольская прослойка. В группу минеров, которым предстояло вести главным образом рельсовую войну, он отобрал преимущественно путейцев: кто же лучше их знает уязвимые места своего хозяйства! Начальником минеров он назначил Власа Карпова, служившего в годы гражданской войны сапером я знавшего подрывное дело. В «легкую кавалерию», предназначенную для быстрых диверсий на автомобильных и гужевых дорогах, для налетов на вражеские комендатуры и склады, были определены воспитанники Николая Железнова — подвижная, выносливая молодежь. Маленькую группу связи составили из особо проверенных стариков с почтенной и по возможности безобидной внешностью. Они должны были под видом беженцев бродить по дорогам, проникать в занятые противником села, устанавливать связь с населением и соседними отрядами, с городским подпольем. Из людей постарше Рудаков создал «жилищно-хозяйственный отдел». Женщин и девушек, которых было немного, определили в «медицину».

Николай, назначенный сначала начальником «легкой кавалерии», вскоре был переведен на самое важное и опасное дело — в разведку. Напарником ему был назначен Василий Кузьмич Кулаков. Железнов сперва возмутился, заявил было протест, но Рудаков не принял это во внимание и тем еще раз доказал здесь умение разбираться в людях.

Не сразу и не легко вращал молодой железнодорожник в суровый партизанский быт, в котором оказалось мало романтики и много труда, невзгод и лишений. Поначалу ему казалось, что, оккупировав территорию, враг занял все деревни, села, все дома, контролирует все дороги, прячется за каждым кустом. Это тягостное ощущение преследовало его все время, как только он уходил из отряда, от знакомых с детства людей и оставался один или с Кулаковым. Оно сковывало его предприимчивость, вязало по рукам и ногам, и он, человек, которому на постройке землянок ничего не стоило сделать работу двух-трех человек, возвращался порой с самого пустякового задания совершенно измотанным и разбитым.

Но Николай переболел этой болезнью и вскоре уже твердо знал, что оккупированная территория продолжает оставаться советской, и убедился, что отважному и вместе с тем осторожному партизану враг не страшен. И, что особенно было ценно для его опасной специальности, он научился в любой деревне, даже там, где стояли фашистские гарнизоны, находить смелого человека, готового посильно снабдить разведчика нужной информацией, показать дорогу, покормить.

Да и весь отряд Рудакова постепенно овладевал искусством лесной войны. Этому содействовала та будничная деловитость, какую командир сумел внести в сложное, новое для него дело. Именно будничная, привычная, выражавшаяся даже в том, что подразделения в отряде старые производственники, по привычке, называли «цехами», боевые задания — «нарядами», военное обучение — «техминимумом». В «цехах» были даже зачитаны перед строем тщательно разработанные Рудаковым «правила внутреннего распорядка», до мелочей регламентировавшие быт и боевую жизнь партизан.

После первых же вылазок, успешно проведенных на дорогах против строительных команд и транспортных колонн, отряд не только внутренне окреп, но и начал расти. Сама весть о его существовании стала стягивать к нему тех, кто, так или иначе оказавшись в оккупации, не знал, что предпринять, или растерянно выжидал, что будет. Рудаков, правда со строгим отбором, в первые же дни боевой деятельности принял в отряд нескольких сельских активистов, людей из партактива, по разным причинам застрявших в городе, и военных — из тех, что двигались по вражеским тылам, выходя из окружения. Эти последние оказались

особенно полезными своим военным опытом, знанием противника и ненавистью к нему, которую они накопили, двигаясь по его тылам.

Когда же линия фронта отошла еще дальше на восток, Рудаков, взаимодействуя с соседом, отважился дать несколько открытых боев немецким тыловым гарнизонам и так в этом преуспел, что Совинформбюро посвятило даже специальное сообщение деятельности отряда товарища Р.

Понемногу партизаны становились хозяевами положения на дорогах.

Фашистское командование, обозленное тем, что ему не удастся быстро восстановить железнодорожную связь на этом стратегически очень важном направлении, сначала ограничилось тем, что разослало по местным комендатурам, тыловым гарнизонам и железнодорожным частям инструкцию, предписывающую крайнюю осторожность при передвижении, усиление охраны складов и военных объектов.

Одно из этих предписаний попало в руки Рудакова. Он узнал слабые места противника и именно в них направлял свои удары.

Боевые операции, которые Рудаков и его соседи развернули в этих лесных краях, листовки, появлявшиеся в городах и селах на заборах, на дорожных указателях, на стенах самих комендатур, постоянный страх перед партизанской местью, овладевавший тыловыми гарнизонами, стали наносить такой ощутительный ущерб, что фашистское командование приказало широкими полосами вырубать леса вблизи дорог, создавать «мертвые зоны», выселяя и уничтожая там все живое. Откуда-то из Польши на эту операцию были вызваны специальные эсэсовские части, уже прославившиеся своими страшными делами в Варшаве.

Гестапо стремилось засылать в партизанские отряды своих лазутчиков, и несколько таких агентов было уже разоблачено.

Партизанский штаб передал Рудакову приказ быть осторожным при приеме новых людей и постараться раскрыть и выловить хоть одного такого шпиона.

Вот тогда-то командир отряда поручил Железнову и Кулакову пробраться в район «мертвой зоны», проследить тактику новых карательных частей, постараться напасть на след немецких наймитов, засылаемых для подрыва партизанского дела. Отправляясь на это задание, Николай напялил форму немецкого солдата, вооружился автоматом и решил изображать конвойного, который ведет в комендатуру арестованного Кузьмина. Для районов, где населения уже не было и где действовали каратели, это было неплохо придумано.

7

Двое суток бродили разведчики по обезлюдившим пространствам «мертвой зоны». Они уже вызнали, какие части здесь свирепствуют. Пробравшись по задворкам в одно из обреченных сел и спрятавшись в развалинах колокольни, они видели, как, сопровождаемые эскортом мотоциклистов, ворвались на сельскую улицу автомашины с поджигателями. Мотоциклисты загородили въезды и выезды; солдаты, выскочив из машин, начали подряд зажигать дома. Дело это уже было механизировано и умело организовано. В то время как одни эсэсовцы уничтожали дома, другие ловили жителей, сбивали их в колонны и куда-то уводили под конвоем.

«Куда? На расстрел? На работы? В фашистскую неволю. Николай понимал, как важно точно

выяснить судьбу исчезающего населения «мертвых зон». Кроме того, может быть, именно в такие толпы жителей, потерявших голову от горя, гестапо под шумок и подсовывает своих шпионов. Точно разузнать обо всем этом можно было, только попав в одну из таких колонн.

Посоветовавшись, разведчики решили рискнуть. Но Кузьмич, обычно сговорчивый, решительно запротестовал против того, чтобы главная роль в этот раз принадлежала Николаю. И верно: тот был слишком уж приметен. Эсэсовцы ни за что не поверят, что этакий дюжий парень околачивается без дела в тылу. Да и одет был Николай неподходяще. Сменить же немецкую форму на гражданское платье в «мертвой зоне» не представлялось возможным. Словом, договорились на том, что, умышленно попав в облаву, Кузьмич даст себя схватить, а Николай постарается держаться где-нибудь поблизости, чтобы, в случае чего, с автоматом и гранатами прийти на выручку товарищу.

Замаскировавшись в придорожных кустах, Николай видел, как Кузьмич, изображая полоумного, наткнулся на дороге на засаду, как, столкнувшись с солдатами, он весьма натурально испугался, закрестился, запричитал, как заорал на все поле, когда его ударили. Потом, перебираясь от куста к кусту, разведчик проследил за арестованным напарником до того самого момента, пока конвоир не толкнул старика в толпу женщин, собранных на опушке леса. Теперь оставалось ждать.

Партизанская жизнь многому научила Николая, но бездейственно ожидать он по-прежнему не умел. А тут еще мелкий дождик, монотонно шелестевший в листве. Судорожная зевота раздирала рот разведчика. Чтобы преодолеть дрему, он снимал пилотку, подставлял лицо под изморось, принимал неудобные позы и даже положил под себя две сосновые шишки. Ничто не помогало. Шелестящий шум дождя, однообразный звук капель, падающих с листьев, убаюкивали, и все вокруг: кусты, деревья, глянцевиная от сырости трава — все начинало плыть в сторону, тускнеть.

«Не спать! Не спать!» — приказывал себе Николай.

Вдруг с опушки донесся шум драки — визгливый женский крик, глухой удар. Мимо Николая пробежали в лес несколько женщин. И сейчас же из-за кустов выскочил Кузьмич. Единственный глаз его возбужденно сиял, на щеках розовел румянец. Напарник тащил за руку круглолицую толстуху в железнодорожной форме.

— Вот, вот она самая, Катерина Вторая, немца пристукнула, весь табун освободила! — кричал Кузьмич, когда они втроем укрылись в чаще леса. — Царь-баба, выдающееся явление природы, уникал!

Смелый поступок незнакомки служил ей лучшей рекомендацией. Разведчики поняли, что перед ней можно не таиться. Узнав о существовании партизанского отряда железнодорожников, женщина только всплеснула руками:

— Милые вы мои, а я все головушку ломаю: куда мне, сироте, податься? Женщин-то в партизаны принимают? Я ж тоже ваша, путевая обходчица с четыреста тридцать второго километра. Из будки своей я уже выбралась, в лесу живу, в шалаше, все головушку ломаю, что делать...

Нет, вы верно — наши, с Узловой? А с дистанции кто-нибудь из наших у вас есть?

— Дорогуша, ты ж не Катерина Вторая, ты ж Петр Великий! — восхищался Кузьмич, обходя женщину вокруг, как башню, и умильно поглядывая на нее своим единственным глазом. — Сразу видно, путевская косточка! Одного мы с тобой роду-племени, милая, одного!

— А с сынишкой как мне быть? Не одна я — меньший-то со мной, ему б еще только в третий класс идти, На кого я его оставляю? — озадаченно спросила обходчица, которую и впрямь, как

оказалось, звали Екатериной.

— Крошка моя, это положения не меняет. Порядок полный. У нас командир один, товарищ К., так и вовсе с трехлетней девчонкой в отряд пришел. На кашлах ее носит. Как передислокация, так девчонку на кашла.

Екатерина обрадовалась.

Но Николай, помня наказ Рудакова, рассудил иначе. Сейчас, когда немцы, перешив колею, восстановили железнодорожное сообщение, важнее было иметь верных друзей на месте у самых путей. Он посоветовал Екатерине вернуться в свою будку и идти к немцам на работу и пообещал принести ей директиву командира с указаниями, что и как дальше делать. Точно сразу прозрев, женщина уставилась на Николая, на его немецкую форму, потом вдруг схватила его за борта куртки и прошипела в лицо:

— Ты чему же это меня, охальник, учишь? — Затем она грозно повернулась к Кузьмичу: — Это к какому ж такому партизану ты меня привел, кривой леший?

Оттолкнув Николая, она быстро пошла прочь. Пришлось бежать за ней, на ходу втолковывать, что партизан не только тот, кто бьет врага в открытом бою, но и тот, кто тайно следит за врагом и наносит ему исподтишка удары в самое чувствительное место.

Наконец Екатерина остановилась, задумалась.

— А чем докажете, что вы не на немца работаете, ну? — Она угрожающе посмотрела на партизан. — Говорите, железнодорожники... А кто вы такие?

Николай назвал себя.

Екатерина даже руками всплеснула:

— Ивана Захарыча Железнова сынок?... Да я с папашей с вашим в санатории два раза вместе отдыхала. Только не похоже что-то, он ведь, как жук, черный... Стало быть, самый меньшенький? А папаша ваш где ж?

Только после этого разговора согласилась Екатерина на время вернуться в свою будку на 432-й километр и стать, как говорили тогда в отряде, «партизанским глазом». Она ушла, наказав не задерживать директив, так как даже и дня не хотела без пользы для партизан сотрудничать с немцами, считая это делом постыдным и непростительным.

Когда под тяжелой стопой удаляющейся Екатерины перестал трещать валежник, Кузьмич, наклонившись к уху Николая, таинственно зашептал:

— Это не все... Я, брат Никола, двух таких немецких овчарок выследил, только — ах! — чистопородные...

И, потирая руки, старик рассказал, что среди задержанных там, на поляне, сразу бросились ему в глаза две очень подозрительные бабенки, поговору явно не здешние.

— Они все с разговорами подъезжали — как, да где, да что?... А одна, побольше, гладкая, чернобровая, все пытала: «Где партизаны, да много ли их, да как к ним пройти». Другая, поменьше, ни о чем не говорила — видать, так, «на подначке» работает. И обе они какой-то все мешок берегли. Грязный, латаный мешок, а они из-за него друг дружке в волосы вцепились, не поделили чего-то или, может, нарочно, для отвода глаз. Я, брат Никола, зоркий, я одним глазом лучше, чем ты обоими, вижу, от меня не скроешься! Я сразу себе смекнул: «Гляди, Кузьмич, эти как раз из тех и есть, о которых товарищ командир наказывал...» Вишь, скажи ей, где партизаны! Этаким-то маневром хочет на наши главные



пути выйти...

Николай задумался: может быть, и действительно эти две — из тех гестаповских агентов, о которых предостерегал партизанский штаб?

— Куда пошли?

— Ты на Кузьмича положишься! Кузьмич, брат, такой, он проницательный, все примечает. Когда фашиста кокнули, я за ними глядел, куда они... И вижу: все по опушке, а они в самый лес... Ты, милый, Кузьмича слушайся, с Кузьмичом не пропадешь!.. Ну-ка, брат, возвращай кисет да трубку, без табаку подыхаю прямо, разом помутнел и мысля плесневевет.

Разведчики решили, пока не стемнело, догнать подозрительных женщин. Взяв указанное Кузьмичом направление, они без труда отыскали две пары следов, отчетливо обозначившихся на зеленом, пропитанном влагой мху. Одни были побольше, поглубже, овальные; другие — поменьше, с явным отпечатком подошвы и каблука.

— Они! — радостно крикнул стрелочник. — Видишь, чернобровая-то погрузней и в лапоточках, а маленькая — в башмаках. Точно и определенно идем, брат, по графику.

Следы вели вглубь леса. Сначала они были четкие, с глубоко вдавленной передней частью. Николай понял — бежали. Потом следы стали ложиться ровно, носками чуть врозь. Здесь женщины перешли на шаг, видимо успокоились. Преследовать их было тем легче, что с неба продолжала бесшумно сеять все та же тончайшая водяная пыль. Она покрывала мох, траву, ветви серым налетом, и следы, а также потревоженные травы и ветки отчетливо темнели на ровном сером фоне.

Разведчики сильно умаялись, но женщин в этот день так догнать и не удалось. Сгущавшиеся сумерки быстро наполняли лес сырой плотной мглой. Следы начали теряться. Пришлось заломать приметную сосенку и располагаться на ночлег.

Неугомонный Кузьмич разбудил напарника, когда еще только начало светать. Сосновые стволы, хвоя, листья блестели, как будто за ночь кто покрыл их лаком. Николай, сделав несколько резких гимнастических упражнений, разогнал озноб. Тем временем спутник его по-братски разделил краюху партизанского хлеба, кислого, со скрипящими на зубах угольками в нижней корке, — последнее, что оставалось у них из продовольствия.

По времени солнце уже поднялось, но в лесу еще стоял непогожий сумрак. Партизаны быстро нашли отмеченное деревце, уже прослезившееся на изломе каплями прозрачной душистой смолы. Следы на девственно зеленом мху были еще видны. Переглянувшись, напарники быстро зашагали по этим следам, радуясь, что, догоняя возможных шпионов, они идут на восток и тем самым приближаются к партизанскому лагерю.

Зябко шелестела загрубевшая за лето листва. Густо пахло прелью, грибами и еще каким-то стойким и грустным запахом, каким пахнет лес ранней осенью в ненастные утра. То там, то тут на полянке сверкали полированными шляпками сыроежки; разрывая мох, смотрели на солнце белые тарелки груздей, опущенные по краешкам бахромой; возле пеньков золотели веселые россыпи зайчушек, и иногда на взлобочках, где было посуше, виднелась замшевая шляпка боровика.

Кузьмич только постанывал, глядя на это грибное изобилие. Наконец он не выдержал, стащил с головы форменный картуз и стал собирать в него белые, что были поменьше и покрепче.

— Гляди, гляди, Никола, сколько даром добра пропадает! Первоклассные дикорастущие. Благодать-то какая, а брать некому. Червям пойдет... Этого бы Гитлера в муравьиную кучу

закопать, пусть бы муравьи его, подлеца, по крупиночке живого съели!

Как кузнец, привыкнув, не слышит обычно грохота молота, а паровозник — шума колес машины, так и Николай за дни скитаний с Кузьмичом научился не слышать болтовни спутника. Он шел, погруженный в свои думы, вдыхая ароматы леса, подставляя разгоряченное лицо прохладным каплям, падавшим с деревьев. Когда-то, глядя на леса и рощи из паровозной будки, как мечтал он в такой вот денек забраться в лесную чащу, слушать птиц, подсматривать жизнь зверей! И вот он — лес! Но теперь другим занят ум Николая, другое желание заполняет все его существо: фашист ходит по нашей земле, и надо сделать все, чтобы поскорее разбить и изгнать врага...

И все-таки в лесу чудесно! Не хочется думать ни о фашистах, ни о страшных картинах «мертвой зоны», ни об этих человеческих следах, по которым нужно сейчас идти...

Как великолепна русская природа! Сколько в ней скромной красоты, мудрой, успокаивающей поэзии... Но что это?

Где-то впереди, в лесной чаще, не очень далеко, звонкий и чистый голос тихонечко запел:

Буря мглою небо кроет,

Вихри снежные крутя...

Партизаны остановились. Сердце Николая учащенно забилось. Эту песню любила напевать его мать, склоняясь над шитьем или возясь на кухне. Здесь, в лесной глуши, полной осенних ароматов, знакомая мелодия, смягченная расстоянием, звучала неправдоподобно хорошо. А тут еще, точно стремясь послушать, солнце прорвалось сквозь поредевшие облака, и целые потоки сверкающих лучей обрушились на лес, и он сразу ожил, помолодел, засиял.

— Они! — прошептал Кузьмич, вытягивая жилистую, старческую шею. — Видно, сигналият кому-то песней... Никола, не теряйся, слушай меня! Незаметно обгоним, зайдем во фланг и ударим всеми наличными боевыми силами.

— Что ж, пошли... — не сразу отозвался Николай.

8

Партизаны взяли вправо, обогнали женщин и вышли из кустов, преградив им дорогу.

Песня оборвалась на половине последнего куплета. Незнакомки явно испугались и, не вступая в разговор, попытались уйти. Это было и подозрительно и в то же время естественно. В такие времена, да еще в глухом лесу, хоть кто испугается, услышав преследование. А это ведь женщины!

Но надо выяснить, кто они.

Николай остановил незнакомку. С первого же взгляда внешность их произвела на него самое благоприятное впечатление. Черт возьми, какое красивое лицо у старшей! Даже в минуту опасности оно не потеряло уверенности и достоинства... На младшую Николай сначала не

обратил внимания: так, курносая девчонка с синяком под глазом, с царапиной на щеке. Только вот глаза хороши: большие, серые, чистые. Но как сердито смотрят они из-под длинных ресниц! «А пела все-таки она», — почему-то догадался партизан и взглянул на девушку попристальней.

Тут вдруг почувствовал Николай, что ему неловко стоять в чужом, немецком мундире перед этими незнакомками. И ему очень захотелось, чтобы они оказались честными советскими людьми.

Однако старик с еще пушей подозрительностью разглядывал задержанных. Странно, вчера среди пленниц они казались чуть ли не старухами, а сегодня... за одну ночь обе так удивительно помолодели!

Между тем младшая, торопясь и волнуясь, принялась рассказывать партизанам свою историю. Рассказывала без запинок, излишне часто, впрочем, ссылаясь на разрешение «господина коменданта». Печальная, трогательная история эта казалась очень правдоподобной. И Николай, слушая, начал искоса бросать на напарника насмешливые взгляды: «Эх ты, бдительный товарищ! Недаром про тебя в депо говорили, что страдаешь бестолковой активностью. Какие же это фашистские наймитки? Разве у изменниц могут быть такие правдивые глаза?» Кузьмич начал хмуриться.

Но вот девушка вдруг назвала их город. Николай как бы внутренне скомандовал себе: «Смирно! Как стоишь, партизан?» Теперь он понимал: незнакомка лжет, лжет, как лгут только опытные обманщики, с самым искренним видом. И этот мешок! Как они обе всполошились, когда он попробовал дотронуться до мешка, висевшего за спиной у старшей! Неужели они действительно фашистские лазутчицы?

Теперь торжествовал Кузьмич. Его зеленый глаз издевательски пощуривался: «Эх ты, партизан! Вымахал в телеграфный столб, а ума не нажил. Силища как у большегрузного паровоза, а от одного взгляда смазливой девчонки таешь, как сало на сковороде! Разведчик...»

Чувствуя, что Кузьмич прав, Николай как можно грозней приказал:

— Снимите мешок!

Но тут старшая набросилась на него с таким неподдельным гневом, такое засверкало в ее глазах презрение, когда она выговорила слово «фашисты», что юноша опять заколебался: «Неужели можно так искренне лгать?»

Работая партизанским разведчиком, Николай всякого навиделся и отнюдь не был идеалистом. Видел он выползших из щелей лютых врагов советской власти, снявших маски; бандитов и воров, выпущенных из тюрем оккупантами и из чистой корысти служивших фашистам; малодушных людишек, предавшихся захватчикам из трусости. Все они имели темное прошлое, были отмечены каиновой печатью отверженности, и, повстречав такого выродка, партизан чувствовал то же, что чувствует охотник в лесу при виде гнусного и опасного хищника. А тут впервые за свою разведывательную работу Николай испытывал раздвоенность. Факты настораживали, а сердце отказывалось им верить. Раздражаясь, он крикнул:

— Вы кто такие? Говорите правду!

— Честные советские люди — вот кто мы! — ответила старшая, повертываясь так, чтобы загородить собой от него мешок. — Не то, что вы... — и она презрительно добавила: — бандиты!

— Но-но, за такие слова... — Кузьмич вскинул автомат.

Руки у него тряслись, уголки тонких губ вздрагивали. Чувствуя, что оскорбленный старик, чего доброго, может нечаянно нажать спуск, Николай загородил собой незнакомок.

— Мы партизаны — вот кто мы! — отдельно сказал он, впиваясь взглядом в лицо младшей и стараясь уловить, какой эффект произведут его слова.

Женщины радостно переглянулись, но старшая тотчас же предостерегающе подняла брови:

— И что ты на партизан врешь? Партизаны с фашистами воюют, а ты на большой дороге у баб пожитки отнимаешь. Коли у самого стыда нет, не врал бы хоть на партизан.

— Покажи, что в мешке, покажи, змея подколотная! — кричал Кузьмич, потрясая автоматом и чуть не плача от обиды.

— Коли верно вы — партизаны, ведите к командиру. Командиру покажем! — твердо сказала высокая, и такая уверенность прозвучала в ее словах, словно не только правда, но и сила была на ее стороне.

Вот это выход! Ведь при всех условиях их нужно доставить в отряд. Николай как можно резче приказал женщинам идти вперед и громко, чтобы они слышали, предупредил Кузьмича, в какую из них он должен стрелять, если незнакомки вдруг вздумают бежать в разные стороны.

9

Молча шли они по лесу и час и два, пока солнце не стало на полдень. Кузьмич изредка нагибался, чтобы подхватить какой-нибудь особенно соблазнительный боровичок. Николай шагал позади младшей, время от времени поглядывая на ее затылок. Должно быть, давно не была она в парикмахерской: русые волосы отросли, завивались тугими прядками; курчавый пух золотился на густо загоревшей шее.

Когда тропинка у куста, осыпанного волчьими ягодами, сделала крутой поворот, девушка неожиданно обернулась. Николай не успел отвести взгляд, глаза их встретились, и он почувствовал, как тревожно ворохнулось у него сердце и кровь горячо прилила к лицу. Партизан даже растерялся. Краснеть от взгляда какой-то чубатой девчонки с облупившимся носом — это уж слишком! И тут он понял, что ему уже трудно отвести взор от тонкой девичьей шеи, курчавившейся золотым пушком.

Тогда он обратился к рассудку. Все это — от лесной жизни. Оттого, что давно не видел он девушек. Ну, скажите на милость, что в ней хорошего? Вот старшая верно, та настоящая красавица, рослая, стройная. «Пройдет — точно солнце осветит, посмотрит — рублем подарит». А эта? Так, пигалица. И эти драные лыжные штаны. Подметки на ботинках проволокой прикручены. А ножищи! Такая маленькая — и такие огромные башмаки! Но идет она все-таки легко, вон, точно мотылек, перепорхнула с кочки на кочку. И глаза... да, просто удивительные глаза. И голос... «А голос так дивно звучал, как звук отдаленной свирели, как моря бушующий вал...» Фу, черт, откуда это? Ах да, с той пластинки, что ребята крутили в последнюю ночь в депо... Славный мотив, и слова хорошие. Чьи они? Кажется, Алексея Толстого. Как это у него там дальше? «Мне стан твой понравился тонкий и весь твой задумчивый вид, а голос, печальный и звонкий, с тех пор...» С тех пор... смех или голос?... Забыл. Словом, что-то и где-то там звучит. Ну и пусть звучит! Ничего в ней особенного нет, так, озорная девчонка с нахальными глазами. Чепуха! Думать о ней нечего... Да и не

следует... Может быть, гестапо нарочно таких красивых и выбирает... За чем это она там наклоняется?...

— Эй, прямо! С тропинки не сворачивать! — как можно строже крикнул Николай.

Старшая остановилась и обернулась:

— А что, ребята, не отдохнем? Пора ведь. И здорово жарко.

Она сказала это так доверчиво, просто, обмахивая платком разгоряченное лицо, что даже Кузьмич, следивший за каждым движением женщин, согласился: да, действительно, сейчас присесть в холодке как раз впору.

Устроились на траве, в тени курчавого орешника. От Николая не ускользнуло, что старшая как бы невзначай, но явно не без умысла уселась на своем мешке и даже юбку при этом одернула, будто бы прикрыв его.

— Едой не богаты? — спросила она тоном хозяйки.

— Чего нет, того нет, — развел руками Кузьмич.

— Ну ладно, бог с вами, становитесь на наше иждивение.

Из мешка младшей старшая достала завернутые в полотенце и успевшие уже ослизнуть вареные картофелины и разложила их на четыре равные кучки. Посреди поставила баночку с солью.

— Ну, давайте к столу! — позвала она совсем домашним голосом. Позвала и добавила: — Всё разделила, больше ни картошинки нет. К ужину-то дойдем до вашего лагеря?

— Когда положено, тогда и придем, — проворчал Кузьмич.

— Ишь, какой строгий! — усмехнулась женщина и вздохнула: — Ну, ешьте, что ли.

Спокойствие и доверчивость, с какими она теперь держалась, примиряли с нею даже старого стрелочника. Заметив, что у женщин есть котелок, он вызвался, в дополнение к картошке, потомить в нем грибы, сам сбегал за водой, проворно сложил костер. Старшая тем временем быстро и ловко крошила боровички.

Николай лежал перед моховой кочкой, рассматривал кустики красивой, нежной травы. Круглые пухлые листики ее, обросшие по краям длинными красными ресничками, широко стелились по мху. Сухой хвоинкой партизан ворошил прозрачные, точно росяные, капли, сверкавшие на каждом листке. Весь погруженный в это занятие, он не сразу почувствовал, что кто-то следит за ним. Хрустнула ветка — рука сама дернулась к пистолету. Партизан оглянулся — позади стояла сероглазая девушка.

— Что вы тут рассматриваете? Эту красивую травку? Да?

— Красивую травку.

Николай усмехнулся, поймал звеневшего в воздухе комара, осторожно положил в прозрачную и, по-видимому, клейкую каплю в центре листка. Сразу же реснички дрогнули, зашевелились, стали загигать внутрь. Комар еще бился в клейкой массе, сучил длинными ножками, но реснички крепко держали его, листок свертывался, точно сжимался в кулачок. Все было кончено.

— Как интересно! Что это? — спросила девушка, присаживаясь рядом.

Николай нахмурился и отодвинулся.

— Красивая травка, — повторил он, пытливо смотря на девушку. — Это природа дает нам урок бдительности: не верить красивым... травкам.

Нет, девушка не опустила глаза. В них, широко распахнутых, чистых, лучащихся, увидел он живой интерес — и только.

— Трава ловит комаров? Не понимаю.

— Это росянка. Хищное растение. Хватает доверчивых дураков из мира насекомых и питается их соками, — холодно ответил Николай, стараясь настроить себя на враждебный лад: «Чего она пристает? Уставилась своими глазищами!»

Он уселся на кочку и тут заметил, что его тесная куртка расстегнута, из-за потертого сукна видна открытая грудь. Краснея, партизан хотел застегнуть пуговицы, но их не оказалось: незаметно все поотрывались. Начхоз не смог подобрать ему немецкую форму по росту. Волей-неволей пришлось натянуть эту узкую куртку и прямо на голое тело.

Чуть усмехнувшись одними глазами, девушка вскочила, порылась в своем мешке и вернулась, неся горстку пуговиц и иголку с длинным хвостом нитки.

— Снимайте! — скомандовала она.

Николай покраснел еще гуще.

— У меня там ничего нет, — еле слышно проговорил он.

— Ладно. Можно и так.

Девушка опустилась на колени, придвинулась к Николаю и стала ловко пришивать пуговицу. Пальцы быстрой руки иногда касались его шеи или щеки, и от этих легких прикосновений он вздрагивал, точно с кончиков их слетали колючие электрические искры.

Пришив пуговицу, девушка наклонилась, чтобы перекусить нитку. Дыхание ее коснулось лица Николая. Он весь напрягся, одеревенел, боясь пошевелиться.

— Муся, осторожней, сердце ему не пришей, — заметила старшая.

Щелкнув ниткой, девушка отодвинулась, нахмутив выгоревшие брови, довольно оглядела свою работу и вдруг озорно засмеялась:

— Не беспокойтесь, Матрена Никитична! У него и сердца-то нет...

Легко вскочив, девушка убежала к подруге и что-то зашептала ей.

От костра уже несло густым духом белых грибов, похлупывавших в котелке.

— Эх, беда, маслица шматочка нет! Я бы такую поджарку сотворил... — вздохнул Кузьмич, щурясь на огонь и бросая в котелок соль.

— А у нас дома их в сметане томили. Зальют сметаной — они в ней пыхтят, пыхтят и такие вкусные получаются... — мечтательно сказала девушка, наматывая остаток нитки на иголку, которую она приладила за лацканом своей куртки.

— Это далеко ль — у вас? Где ж это по такому манеру с боровиками расправляются? — будто невзначай спросил Кузьмич, весь, казалось, поглощенный возней у костра.

И тут младшая назвала город, находившийся далеко на западе, город, где, как знал Николай, действительно говорили цокающим говорком.

Кузьмич вскочил и, потрясая маленькими, сухонькими кулачками перед носом девушки, торжественно закричал:

— А, попалась! А что утром говорила? Ну? Когда врала — тогда или сейчас? Говори! Кому служишь? Немцам? Ну, отвечай, отвечай, подлая!

Николай попробовал его утихомирить, но Кузьмич накинулся и на товарища:

— Отойди, Никола-угодник! Раскис, как гриб-шляпак. Ну, кто прав? Ты лучше Кузьмича слушай, Кузьмич не подведет... — Он снова обратился к девушке: — А ты чего отворачиваешься? Ты что фашисту продала? Гляди на меня, подлая, и отвечай! Родину ты продала, вот что! Вот развернусь да как дам по бесстыжим глазам... овчарка немецкая!

Но тут поднялась и старшая. Она спокойно отряхнула с юбки грибные очистки и тем ровным, уверенным голосом, каким сильные характером жены успокаивают вздорных мужей, сказала, глядя на старика сверху вниз:

— Ты что расшумелся? Со снохой, что ли, говоришь? Тебе кто дал право допрашивать, ты кто такой? Сказано: веди к командиру — веди. Побежим — стреляй... А то разошелся!..

Грибы ели молча, стараясь не смотреть друг на друга.

Старшая хозяйски собрала посуду, взвалила на плечи свой тяжелый мешок и с тем же спокойствием сказала:

— Пошли, что ли. А то этот и вовсе на людей кидаться станет. Одурел от своего табачища.

И опять они шли тихим лесом.

10

Новая обмолвка девушки не давала Николаю покоя: «Зачем они лгут, путают? Неужели все-таки лазутчицы?»

Назойливо перебивая эти тревожные размышления, снова и снова звучали в его ушах слова, слышанные в последнюю ночь там, дома, в депо, и потому, должно быть, особенно дорогие: «Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты...» Ничего себе бал! И тайна скверная. Ведь, главное, лжет она с таким искренним видом. А для чего? К чему?... А с другой стороны, сам-то он, повстречайся вот так в лесу с незнакомыми вооруженными людьми, да еще одетыми в немецкое обмундирование, разве сказал бы правду?

Но этот проклятый мешок!

Чтобы отвлечься, Николай начал тихонько напевать. Звонкий девичий смех послышался в торжественной тишине леса. «Это, конечно, она... «...и смех твой печальный и звонкий...» Какой, к черту, печальный! Над кем это она?»

— У вас слуха вот ни на столечко! — Девушка обернулась к Николаю и, давась от смеха, показала кончик мизинца. — Вам, наверное, в детстве медведь на ухо наступил, правда?

— Я не Козловский, для меня слух не обязателен, — не очень удачно отпарировал озадаченный партизан.

— Бить фашистскую сволочь и без слуху можно, а Никола у нас на такой случай — спец наипервейший, — пришел ему на помощь Кузьмич. — Он вашего брата, фашиста...

И тут произошло нечто совершенно неожиданное. Девушка бросилась к старику, вцепилась ему в лацканы пиджака, прежде чем он успел остеречься, и затрясла так, что материя затрещала, а голова Кузьмина стала мотаться, как у тряпочной куклы.

— Что ты сказал?... Ты что такое сказал?... Как ты смеешь, скверный старикашка!..

Смущенный Кузьмич попытался оторвать цепкие руки, но не тут-то было.

— Какие вы тогда партизаны? Вы тогда знаешь кто?...

— Отцепись... букса несмазанная! — отбивался от нее Кузьмич.

— Маша, брось ты его, старое трепло! Пошли! Там командир разберется, выпишет ему трудодней... он уже заработал!

Николай втайне был рад происшествию. «Как она расходилась! Нет, так притворяться нельзя. Горячая голова, и как смела — на вооруженного с кулаками... Ничего не боится...»

— Пошли, пошли, путь не близкий, — примирительно торопил он.

И снова они шли еле заметными охотничьими тропами. Лес то мельчал, переходил в болото, то снова выстраивался сплошной стеной, могучий, вековой, заваленный буреломом. Только хруст веток под ногами, жадный крик соек, дравшихся под дубом из-за палого желудя, да скрипучий стрекот сорочьей стаи, то догонявшей путников, то отстававшей от них, нарушали густую тишину.

Тропа вывела на заброшенные лесоразработки. Еще недавно все здесь, должно быть, было полно деятельного стука топоров, напряженного звона электрических пил, человеческих голосов и шипящего свиста падающих сосен.

Это было большое механизированное хозяйство. Вдоль деревянных дорог выстроились высокие штабели готовых бревен, желтые кубы пересохших дров. Как трупы на поле брани, валялись вырубленные, но не разделанные сосны с пожелтевшей, осыпавшейся хвоей. Из зарослей дударника и иван-да-марьи виднелась покрасневшая от дождей туша брошенного локомотива, и подле него — уже вовсе заросший травой электрический мотор. Ржавели свернувшиеся штопором оборванные провода. Вдалеке, в кустах, как уснувший слон, стоял высокий трелевочный трактор, груженный очищенными от коры бревнами, которые уже посерели от дождей. Лес, словно мстя за свои поверженные деревья, спешил закрыть человеческие следы и тропы травами, кустарником, бархатистым мхом.

Путники старались не смотреть по сторонам. Безлюдье тут было особенно тягостно. Маленькая веселая белочка смело прыгнула с дерева на капот трактора, удивленно посмотрела черными бусинками на приближавшихся людей: дескать, откуда это вы появились? — почесала лапкой за ушком, неторопливо, пластая свой хвост, сиганула на бревна, с них — на ветку. И всюду виднелись светло-лиловые перья иван-чая, покрытые снизу длинным шелковистым пухом. Густо разросшись, они закрывали собой ржавое железо машин, покрасневшие рельсы узкоколейки, деревянные дорожки.

— Ох, обезлюдует наша земелька! — вздохнул Кузьмич, сшибая палкой иглистые головки татарника, нахально загородившего тропинку. — И откуда только эта поганая трава берется? При человеке вроде ее и не видать, а ушел человек — сразу в рост пошла. Вон какая



вымахала!

Никто не отозвался.

Когда трелевочный трактор, которому война помешала довезти до места бревна, уже остался позади, Кузьмич пробормотал, ни к кому не обращаясь:

— В населенных пунктах этак же вот. Была советская власть, жили люди по-человечески, всякую погань не слышать, не видать было. А пришел фашист, и откуда только вылезла шпана проклятая — бургомистры да всякие полицаи?

Старик многозначительно покосился на женщин. Те его не слушали. В сердцах Кузьмич что есть силы рубанул сукон по наглому кусту татарника. Сук переломился; конец его, как бумеранг, описал дугу и стукнул старика по голове. Кузьмич плюнул и махнул рукой. Он считал себя неудачником в жизни и привык к подобным неожиданностям.

11

Только под вечер, когда сумерки стали незаметно заволакивать подлесок, на девственном мху отчетливо обозначились живые тропинки, пробитые в разных направлениях.

— Пришли, что ли? — спросила старшая, поправляя плечом ляжку мешка и стирая ладонью пот со лба.

Партизаны не ответили. Тропинки становились все заметней, они сходились и расходились. Незнакомки шли спокойно и, как показалось Николаю, несмотря на усталость, даже ускорили шаг. Не видно у них было ни страха, ни растерянности.

Кузьмич, поняв, что это значит, все пытался дружелюбно заговаривать со старшей.

«Может быть, это советские парашютисты, сброшенные в тылу с особым заданием, о котором они не могли сказать первым встречным? Может быть, связные одного из отрядов, действующих на западе? Может быть, посланцы подпольного обкома? — думал Николай. — Тогда здорово будем выглядеть мы с Кузьмичом со своей сверхбдительностью! Ну и язык у старика! Вот уж, верно, трепло... Трепло? Что это значит? Так, кажется, зовут колотушку, которой треплют лен. Точно она подметила это, именно старая колотушка. И как это старик ухитрился, ничего о людях не узнав, окрестить их фашистскими агентами? Разве у немецких наймитов могут быть такие правдивые, чистые глаза? А эта, младшая... Какая девушка! Ведь столько за день прошли! Я вот мужчина — и то как устал! Броситься бы вот на землю и лежать — ни рукой, ни ногой не шевелить. А она вон шагает — и горя ей мало. И легкая же у нее походка! И вся она гибкая, тонкая... Как это там поется? «Мне стан твой понравился тонкий и весь твой задумчивый вид...» Да, да, задумчивый, и лицо у нее очень милое...»

— Стой! Кто такие?

Из-за кустов возникла коренастая фигура. Человек в длинном драповом пальто и форменной железнодорожной фуражке, с очень мирным худощавым лицом вскинул автомат, преграждая им путь. Вид у него при этом был такой, будто он спрашивал у них билеты.

Узнав своих разведчиков, часовой опустил оружие, но все еще продолжал загораживать путь.

— Эти — с вами? — указал он на женщин, которые с нескрываемым любопытством

озирались кругом.

— Точно, порядок полный, — многозначительно ответил Кузьмич. — Тут без нас всё как следует?

— Не скучали, — ответил часовой, пристально смотря на подруг.

— Свои, свои! Пропусти, — уверенно подтвердил Николай.

Теперь он не сомневался, что незнакомки — честные советские люди, и торжествовал победу над подозрительным Кузьмичом. Дело было даже не в том, кто из них оказался пронизательнее. Шут с ним, с Кузьмичом. Здорово вот, что он, Николай Железнов, не ошибся в сероглазой девушке. Недаром она ему сразу приглянулась. И где-то в глубине его души слабо замерцала радостная мечта: может быть, она останется у них в отряде.

Снова зашелестели кусты. Из них вышли на этот раз два крепких, как желуди, паренька в форме ремесленников. У одного в руках была винтовка. У другого из карманов торчали ручки трофейных гранат.

— Стой! — решительно сказал тот, что был с винтовкой.

— Свои, — ответил Николай.

— А эти?

— Да с нами они, пропусти, Аника-воин, — заговорил Кузьмич и хотел было пройти, но паренек вскинул на него винтовку.

— Не положено, — ответил он и скомандовал товарищу: — Петька, давай за начальником караула!

Через минуту Петька вернулся со стройным худощавым человеком. Лицо начальника караула до самых глаз заросло короткой, точно каракулевой, бородкой. Железнодорожная куртка, туго перехваченная ремнем, ладно облегалась его гибкую фигуру. Пошептавшись с Николаем, он скомандовал:

— Пропустить!

Бородатый и пареньки отступили с дороги. Путники прошли мимо. Но когда женщины, двигавшиеся впереди, уже миновали заставу, Николай заметил, что бородатый партизан все еще пристально смотрит вслед девушке, будто что-то вспоминая.

Уже целая сеть тропинок раскинулась теперь под огромными разлапистыми елями. Они сходились и расходились, огибая могучие стволы. Тянуло кисловатым запахом пекущегося хлеба. Вдали меж деревьев виднелись ряды небольших земляных холмов. То там, то здесь дымили костры, и чад их сероватым полумраком наполнял лес от земли до самых крон. Меж зелени белело сохнущее белье, раскачиваемое ветром.

На поляне горел большой, уже потухавший костер. Там, у огня, расположилась порядочная группа по-разному одетых людей, рассматривавших разобранный миномет. Немолодой, лобастый человек в очках и немецкой походной форме что-то объяснял им, показывая густо смазанную деталь. Поодаль, на траве, девочка с остренькой, туго заплетенной косичкой играла с большой овчаркой. Девочка выбирала из носового платочка брусничные ягоды поспелее и бросала их вверх. Собака, щелкая зубами, ловила ягоды на лету и, морщась, с преувеличенной старательностью жевала их. Ягоды были ей явно не по вкусу, и ела она их, по-видимому, только из вежливости.

— Присядьте здесь, пожалуйста, — сказал Николай, показывая на грубо сделанную круглую скамейку, опоясавшую сбитый из горбылей стол. — Посидите тут с Кузьмичом, я сейчас приду.

Устало волоча ноги, он пошел между рядами землянок, видневшихся теперь уже невдалеке. У одной из них находившейся в центре подземного городка, он остановился и, одернув куртку, принялся обтирать сапоги пучком травы.

Женщины тяжело опустились на скамью. Старшая со стоном сбросила мешок и стала, морщась, растирать ладонью натруженную поясницу. Младшая прижалась к ней. И обе они, несмотря на крайнее утомление, с живым любопытством рассматривали лагерь, людей у костра. Партизаны тоже смотрели теперь на них. Даже тот, что был в немецкой форме, перестал объяснять, вытер руки и аккуратно надел пилотку. На пилотке, пришитая наискосок, алела красная ленточка.

— Это откуда же маленькая у вас? Сиротинка, что ли? — спросила старшая у Кузьмича.

— Зачем — сиротинка? Одного нашего командира дочь, Юлочка, — ответил старик и со слезой в голосе спросил: — Да скажите вы, наконец, кто вы такие есть? Черт бы вас совсем побрал!

Женщины переглянулись и промолчали. Потом младшая показала подруге на немца с ленточкой на пилотке. Они пошептались, и старшая обеспокоено спросила:

— А этот тоже ваш партизан?

— Много будешь знать — скоро состаришься! — огрызнулся Кузьмич.

Из землянки, где скрылся Николай, появился верткий смуглый подросток в темной гимнастерке ремесленника, туго перехваченной ремнем. Он подбежал к столу и, ловко бросив руку к козырьку трофейной офицерской фуражки, лихо сдвинутой на ухо, с явным удовольствием отчеканил:

— Товарищи женщины, до командира! Шагом марш! А тебе, Кузьмич, приказано тут дожидаться.

Женщины стали забирать свою поклажу. Ремесленник, желая помочь, схватил мешок, что был поменьше, ахнул и выронил из рук. Он удивленно посмотрел на мешок, оказавшийся необыкновенно тяжелым, но тут же покраснел, поднял его и взвалил на плечо. Глаза его встретились с глазами девушки. Та смотрела на него, наморщив лоб, будто что-то силясь вспомнить.

— Дошли? — вдруг спросила она, рассматривая маленькую ловкую фигурку.

Паренек удивленно ответил:

— Я вас не знаю...

— А я тебя знаю. Вы шли оттуда, с границы, толпой? Да? Одного на носилках несли, верно?

Они уже спускались по ступенькам в командирскую землянку, и паренек не успел даже удивиться такой осведомленности незнакомки.

Оставшись один, Кузьмич мрачно вздохнул: «Что за притча? Мальчишку вон откуда-то знает. Чудеса! — Он присел было около девочки, попытался поиграть с собакой, но взгляд у него был рассеянный, тревожный. — Велено ждать, даже в землянку командир не позвал. Видать, Николай уже настучал. Тоже друг называется!»

— Дяденька Кузьмич! Дяденька Кузьмич же! — трясла его за плечо девочка. — Дяденька Кузьмич, скажи Юлочке — у Дамки детки есть?

— Были, маленькая, были.

— А где они, дяденька Кузьмич? Ты слышишь, Юлочка спрашивает: где у Дамки детки? Дядя же!

— Не знаю, Юлочка, не знаю. Чего не знаю, того не знаю.

— Их фашисты убили, да?... Чего ты молчишь?

Погруженный в невеселые размышления, Кузьмич не заметил, как к нему подошел стройный щеголеватый партизан с густой каракулевой бородкой, тот самый, что останавливал их на внутреннем посту. Это был Мирко Черный, старый его знакомец, из своих, деповских. Он тяжело дышал, коричневатые белки глаз возбужденно сверкали, ноздри тонкого с горбинкой носа вздрагивали.

— Где эти, что вы привели? — спросил он, с трудом переводя дыхание.

— У командира на допросе, — хмуро отозвался Кузьмич.

— Кто они? Эта маленькая — кто?

— Я почему знаю! В лесу их задержали, подозрительного поведения. А ты что про них знаешь?

Но Мирко не ответил. Он уже бежал во весь дух к командирской землянке.

Видел Кузьмич, как он, резко жестикулируя, должно быть бранился у входа с часовым, не пускавшим его внутрь. «И этот точно взбесился!» — покачал головой Кузьмич.

Наконец показался Николай. Уже издали, по широченной улыбке на лице друга, старик понял, что доброго ему ждать нечего.

— Знаешь, кто они? — спросил Николай торжественно.

— А кто б ни были, какое мне дело! В этом пусть начальство разбирается, — ответил старик, продолжая играть с собакой. — Мое дело петушиное: прокричал, а там хоть и не рассветай.

— Они же — героини!

Понимая, что попал впросак, что ему может и не поздоровиться, Кузьмич с надеждой покосился своим единственным глазом на друга, который, как ему казалось, в эту минуту даже весь светился от радости.

— А обо мне они... того... командиру не говорили?

— А как же, в первую очередь. Как ты их там называл, как на них с автоматом лез, всё... Но это чепуха, они смеются. Главное, знаешь, кто они оказались?

Николай вдруг схватил старика, закружил его по поляне, а за ними закружились Юлочка и Дамка, захлебывающаяся веселым лаем.

— Пусти, вовсе с ума спятил! — отбивался Кузьмич.

И когда наконец Николай оставил его в покое, старик сердито плюнул:

— «Чепуха»! Вам всё чепуха, а Кузьмич всегда в ответе... Ясно и определенно, профессия у меня такая — стрелочник. Стрелочник всегда во всем виноват.

12

Первое знакомство с партизанским лагерем удивило и даже немного разочаровало Мусю. Еще с пионерских лет самое слово «партизан» было окружено для нее романтическим ореолом. Двигаясь по оккупированной земле, девушка постоянно слышала от случайных попутчиков рассказы о партизанских делах, порой звучавшие как легенды, то и дело натывалась на следы боевой работы лесных воинов, и незаметно для себя она создала в своем воображении образ партизана Великой Отечественной войны, в котором странно сочетались и гусарская лихость охотников Дениса Давыдова, и удалая отвага фадеевского Метелицы, и таежная, мрачноватая мощь партизан из книг Всеволода Иванова.

Даже после того, как Николай сказал, кто они, девушка не вполне поверила, что этот увалень и его одноглазый товарищ — действительно партизаны.

Но особенно удивил Мусю партизанский командир, к которому они были приведены. Она ожидала увидеть перед собой увешанного оружием бородача, услышать от него необычные воинственные слова и, спускаясь в командирскую землянку, сама готовилась отвечать ему в том же духе. А тут с наспех сколоченных нар, застланных зеленым брезентом и, по-видимому, служивших и койкой и скамьей, навстречу им быстро поднялся невысокий рыжеватый человек с бледным веснушчатым лицом болезненного оттенка, с красноватыми усиками, подстриженными коротко, щеточкой. Одет он был в полувоенный костюм из синего шевиота. Кобура с револьвером на ремне висела у него подле живота как-то совсем по-штатски. Старая ватная куртка с железнодорожными петлицами, наброшенная на плечи, завершала будничность его облика.

Но карие глаза, смотревшие открыто, прямо и строго, две глубокие складки, пересекавшие худые щеки, да плотно сжатые тонкие бледные губы обнаруживали в этом человеке твердую волю, а уважение, с которым обращались к нему окружающие, говорило о том, что это все-таки настоящий командир, что его слушаются и, вероятно, даже побаиваются.

— Ну что ж, гражданки, садитесь, рассказывайте, кто вы и что вы. Вы ведь, мне передавали, хотели говорить с партизанским командиром. Вот я таковой и есть, — сказал он резким тенором и указал подругам на грубо сколоченную скамью, вкопанную в землю перед столом.

Все это он произнес совсем по-домашнему, даже покашливая в кулак, и все красивые, возвышенные слова, которые Муся по дороге заготовила для этого разговора, сразу вылетели у нее из головы.

Карие глаза командира спокойно, без любопытства, но внимательно изучали женщин, под усами у него таилась задорная усмешка. Это не смутило Мусю. Она уселась поудобней, положила локти на стол; напряженная настороженность, с которой она спускалась в землянку, теперь исчезла. Как тогда, в колхозном лагере в Коровьем овраге, она всем своим существом почувствовала, что снова переступила невидимую границу чужого, злого, непонятного мира и вновь очутилась в привычном, своем.

— Что ж о себе говорить? Мы сейчас в таких местах, где ни слову, ни документам верить нельзя, — устало ответила Матрена Никитична, преодолевая тягучую зевоту. — Тут только делам верят.

Она неторопливо развязала свою торбу, вынула из нее холщовый мешок поменьше, весь облепленный отсыревшей рожью, и, тоже развязав, приподняла и перевернула его вверх дном. На стол сверкающей гремучей волной хлынули золото и драгоценные камни. Худое лицо командира как-то сразу застыло, отразив удивление и озадаченность.

— Богато! — сказал он помолчав. — Чье? Куда несете?

— Она расскажет. Расскажи им, Машенька...

Матрена Никитична, зевнув, потянулась. Муся с удивлением косилась на подругу. Что-то странное произошло с женщиной, которая всю дорогу была для нее образцом неутомимости. Она вся обмякла, ссутулилась, сидела вялая, покачиваясь.

Командир, подперев маленькими кулачками свое худощавое лицо, внимательно смотрел на девушку.

Волнуясь и сбиваясь, Муся начала рассказывать свою историю с того момента, как она случайно осталась в оккупированном городе. Опасаясь, что этот неразговорчивый, строгий человек не поймет или, еще хуже, не поверит ей, девушка углубилась в подробности, запуталась в них и никак не могла приблизиться к самому главному. Командир терпеливо слушал, рассеянно перебирая драгоценные безделушки. Иногда он переглядывался с людьми, толпившимися в землянке.

— Стойте! — вдруг перебил он Мусю, словно что-то вспомнив. — Как называется город, откуда вы шли?

Девушка сказала. Вокруг глаз командира сложились лучики хитрых морщинок. Теперь глаза его светились уже весело и ласково.

— Адъютант, — тихо приказал он, — найдите и позовите Черного.

Один из партизан, с выправкой кадрового военного, вскочил, сделал налево кругом и, резко скрипя новенькими сапогами, вышел из землянки. Прищурясь, командир в упор взглянул на Мусю:

— А где старик, что вместе с вами принял эти ценности у железнодорожников?

Девушка вздрогнула. Что он — волшебник, что ли, этот рыжеватый человек? Откуда он может знать о Митрофане Ильиче, о железнодорожниках? Ведь в своем рассказе она так и не дошла до их появления в банке.

— Он умер, — тихо произнесла девушка, опуская глаза под взглядом командира. — А вы откуда о нем знаете?

Вернулся франтоватый адъютант в скрипучих сапогах, с острыми картинными, словно прилепленными, бачками. За ним шел тот самый партизан с черной курчавой бородкой, что так пристально и удивленно рассматривал Мусю, когда подруги проходили пост внутреннего секрета.

Что-то очень знакомое почудилось теперь девушке в скуластом лице этого складного, подтянутого человека. Ну да, где-то она уже видела его. Вошедший с таким же удивлением смотрел то на девушку, то на груды драгоценностей, тускло сверкающую на столе. Разноцветные камни остро искрились в розовом вечернем свете, пробивавшемся через маленькое окошко-бойницу.

— Узнаете друг друга? — спросил Рудаков и вдруг захохотал, да так заливисто и звонко, что все кругом рассмеялись, заговорили.

У вошедшего партизана в каракулевой его бороде тоже сверкнула белозубая улыбка, и по ней Муся сразу вспомнила, как вот этот смуглолицый, так же ослепительно улыбаясь, вытряхивал в банке из мешка золото на старое сукно канцелярского стола.

Почти одновременно оба воскликнули:

— Так это вы нам тогда вот этим удружили?

— Вы приволокли это сюда на себе?... Разрешите доложить, товарищ командир: вот за эти за чертовы блестяшки мы с Иннокентьевым тогда на партбюро по выговору и получили... Чтоб они пропали! — молодцевато вытянувшись и пристукнув каблуками, произнес Мирко Черный.

— А они вот не пропали, — рассеянно ответил Рудаков, погружаясь в чтение документов, найденных им в грудe золотых вещей.

Он читал, удивленно покачивая головой, и яркий клочковатый румянец, какой бывает у рыжих людей, размытыми пятнами расплывался у него по лицу.

— Вот люди! — воскликнул он наконец, звучно ударив ладонью по бумагам, которые всё стремились свернуться в трубочку.

Он прочел вслух заглавие описи, сделанной Митрофаном Ильичом на оборотной стороне «почетных грамот», потом резко отвернулся к окошку и долго что-то разбирал. Когда наконец он обернулся, глаза его были влажны.

— Да не курите вы здесь! Кто разрешил курить? Дышать нечем, — проворчал командир, сосредоточенно глядя на скрутившиеся листки описи. — Из-за этих курцов ослепну скоро, башка трещит... Кончай курить!

Но в землянке никто не курил. Свежо пахло смолистой сосной, мокрой кожей сапог, грибной сыростью и тем особым острым и довольно приятным запахом, который всегда заводится в бивуачном военном жилье.

Положив голову на сложенные на столе руки, доверчиво спала Матрена Никитична. Кроме нее, все, кто был в землянке: и командир отряда, и партизаны, и Муся, и адъютант с острыми бачками, и худощавый смуглый ремесленник, тоже почему-то находившийся здесь, — все смотрели мимо сверкающей кучи золота и драгоценных камней на опись, лежавшую на другом конце стола.

— А я думал, товарищ командир, погорели ценности. Ведь фашист тогда сразу по нашим следам к центру города прорвался. Мы едва эшелон увели. Под пулеметным огнем уводили, — произнес наконец Черный. — Ведь это ж надо столько километров такую тяжесть тащить! Ай да бабы! Извиняюсь, товарищ командир, — женщины!

Командир ту же свернул бумаги Митрофана Ильича и снова перевязал трубку шнурком от ботинка. Лицо у него стало строгое, замкнутое, деловое.

— Ну, спасибо! От имени советской власти спасибо, от Красной Армии спасибо, — сказал он и крепко тряхнул руку Муси своей маленькой, сильной, покрытой веснушками рукой. — Ступайте отдыхайте. А мы тут подумаем, что нам с вами делать. — Он посмотрел на Матрену Никитичну, прикорнувшую у стола, на ее сбившийся платок, на разрумьянившееся от крепкого сна лицо и улыбнулся. — Нет, стойте. Не надо будить ее. Оставайтесь здесь, хозяйничайте, отсыпайтесь, а я перейду в палатку к начштабу, на свежий воздух... Все — вон!

Командир подтянул пояс, поддернул за ушки высокие голенища охотничьих сапог, забрал оружие, сумку с бумагами и пошел к выходу, выпроваживая остальных. Уже снаружи донесся до Муси его резкий голос, отдававший кому-то распоряжение выставить к блиндажу

круглосуточный караул и предупреждать проходящих, чтобы не шумели. Потом все стихло. Были слышны только шаги часового да ровное дыхание Матрены Никитичны.

Муся отвела сонную подругу к застланной брезентом постели, уложила и, сама устроившись рядом с ней, сразу же уснула, не раздеваясь, не успев даже разуться. Сквозь сон ей порой не то слышались, не то чудились чьи-то шаги, отдаленный топот копыт, приглушенные голоса. Чудилось, будто она — маленькая и старческий голос, похожий на голос ее давно умершей бабушки, уговаривал ее раздеться; будто бабушка, подойдя к ее детской кровати, подбивает ей под головой подушку, подтыкает вокруг ног одеяло, и в этом одеяльном мешочке становится так уютно, так тепло, что хочется спать, спать и спать...

13

Сон увел Мусю в детство. Даже проснувшись, она не сразу вернулась из путешествия по давно ушедшим радостным дням. Казалось, стоит раскрыть глаза — и она увидит сквозь веревочную сетку кровати знакомую комнату, игрушки, бабушку или мать. Захотелось, как и в дни детства, понежиться, натянув на голову одеяло. Но вместо одеяла рука схватила что-то холодное, кожаное. Муся открыла глаза и вскрикнула от неожиданности. Она лежала в низком, тесном бревенчатом помещении. За продолговатым столом, вкопанным в земляной пол, сидела Матрена Никитична с алюминиевой кружкой в руке и с наслаждением пила чай, скупно откусывая от куска сахара. Худенькая носатая старушка интеллигентного вида, одетая несколько странно — в ватнике, стеганых штанах и в марлевой косынке, — наливала кипяток из плоского закопченного котелка в другую кружку.

— Знаете, сколько вы спали? Больше суток. Вы не проснулись, даже когда мы с Матреной Никитичной вам белье меняли, — сказала старушка Мусе. — Весьма редкий случай, состояние, похожее на летаргию.

Тут только заметила Муся: вместо сорочки на ней — свежая, непомерно большая мужская нижняя рубашка; брезент на постели, на котором она заснула, заменен простыней, появились подушка в наволочке и даже байковое, госпитального вида одеяло, поверх которого было наброшено кожаное пальто на меху.

— А я думала, Машенька, что ты и прощанье проспичь. Я ведь опять в путь собираюсь. Назад пора... Налейте-ка мне, Анна Михеевна, еще кружечку. Что-то разохотилась я на чай. Соскучилась, что ли?

Матрена Никитична успела, должно быть, уже побывать в бане. Смугловатая кожа ее лица приобрела шелковистый оттенок, брови выделялись теперь блестящими полукружиями, словно выписанные смолой. Волосы, аккуратно уложенные тем же широким венцом, стали пышнее.

«Прощаться? В какую дорогу?» — не сразу поняла Муся.

— Опять в этот ужас? Зачем? Оставайтесь здесь.

— Что ж поделаешь, Машенька, люди-то, хозяйство-то ждут ведь! Мы со свекром — двое коммунистов на весь Коровий овраг.

— Обойдутся... Оставайтесь, родная...

— Ах ты, чудачка моя! Зачем оставаться-то? Я свое сделала — тебя довела, это вот, — она махнула рукой в сторону ценностей, лежавших на прежнем месте и только прикрытых



какой-то тряпицей, — это вот в верные руки сдала, совесть у меня чиста. Теперь к ребятишкам, к моим маленьким... Заждались, истосковались, небось, милые мои... Они мне, Машенька, каждую ночь снятся, зовут меня, руки ко мне тянут. Я только тебе не рассказывала.

— Ну и я, и я с вами! Вместе шли, вместе и вернемся. Муся спрыгнула с кровати. Теперь она была полна веселой решимости.

— Одной и скучно и опасно, а вместе лучше, мы теперь с вами опытные. Верно? Ведь так?

Муся уселась на скамью рядом с подругой и, поджав босые ноги, прижалась к ней. Носатая старушка, от которой резко несло какими-то лекарствами, посмотрев на девушку, только вздохнула, а Матрена Никитична стала гладить Мусю, как маленькую, по ее выгоревшим жестким кудрям.

— Степан Титыч, товарищ Рудаков, так рассудил: мне к своим возвращаться. Со мной его люди идут. Они прикинут: может быть, по зимнему первопутку можно сюда для отряда сыр да масло вывезти да скота пригнать, что породой поплоче. А тебе, Машенька, по всему видать, пока тут партизанить. Это вот докторица партизанская, Анна Михеевна, с ней в медицинской землянке и жить будешь. Помогать ей станешь.

— Вы рокковские курсы проходили? — осведомилась старушка, опять наполняя кружку. — Чайку плеснуть?

— Не хочу я никакой медицины, я с Матреной Никитичной пойду, — решительно заявила Муся и топнула босой ногой.

— Вот кончится война, каждый из нас и пойдет своей дорогой. Ты — петь, я, может, в зоотехникум поступлю, если примут, а Анна Михеевна опять врачом на курорте стать мечтает. А пока что должен каждый из нас там стоять, где ему приказано, где от него больше пользы. — Матрена Никитична проговорила все это очень твердо, но, увидев, что девушка сразу обиделась и замкнулась, вдруг заахала шумно и хлопотливо: — Что ж ты босая да неприбранная сидишь-то, в одной рубашке? А ну из мужиков кто войдет? Одевайся да ступай в баньку. Здесь, даром что в лесу живут, такую баню оборудовали, какой у нас и в колхозе не было... Ой, Машенька, что я тебе скажу-то!..

И вдруг, точно скинув с плеч годков десять и став веселой и озорной деревенской девушкой, Матрена Никитична звонко засмеялась, подняла в углу два кудрявых дубовых веника и показала их Мусе:

— Этот кривой-то, Кузьмич-то, что на нас с автоматом лез, гляди, какие букеты преподнес! Мы в баньку вон с Анной Михеевной бредем, а он тут как тут на дороге, вывернулся откуда-то из-за землянки и подает их: дескать, примите от чистого сердца, примите и извините за дорожные неполадки. Вот, старый мухомор, нашел с чем подкатиться... Хорошие, между прочим, веники, так хлещут — дух захватывает!

— А тот, высокий, не заходил? — спросила Муся, делая вид, что занята одеванием и спрашивает только для того, чтобы поддержать разговор.

— Николай, что ли? — Матрена Никитична многозначительно переглянулась с врачом. — Этот медведь-то косолапый?

— Почему же — медведь? Парень как парень... Что вы смеетесь?

Муся изо всех сил старалась показать полнейшее равнодушие, и оттого ее волнение стало еще заметнее. А тут, как на грех, противно загорелись уши, точно ее кто крепко отодрал за

них.

Матрена Никитична обняла девушку, прижала к себе:

— Чего ж краснеешь? Ишь, как зорька разгорелась... Был, был твой Николай почтенный. Мыльца нам трофейного принес. Одеколону вот бутылочку подбросил да еще... Ты вон в его рубахе-то сидишь!

Муся осмотрела на себе просторную, как мешок, мужскую рубашку из грубой желтоватой солдатской бязи, и ей стало приятно и немного стыдно оттого, что на ней вещь, которую, может быть, носил тот большой застенчивый парень. Но, заметив ласковые смешинки, посверкивавшие в глазах подруги, девушка произнесла как можно небрежнее:

— Очень она мне нужна, его рубашка! А моя где?

— А ваша, милая, на ленточки разорвалась, когда мы с Матреной Никитичной вас сонную переодевали, — сказала Анна Михеевна и радушно налила чаю себе и собеседницам.

Начхоз, или, как шутя называли его в отряде, «зав. орсом», квадратный человек с пышной холеной бородой цвета воронова крыла, слывший среди партизан неисправимым «жилой», встретил Мусю очень дружелюбно и без обычных препирательств выдал ей комплект солдатского белья, пропахшего лесной прелью. Потом он долго рылся в ящиках, отыскивая для нее самые маленькие шаровары, ватничек и сапоги. После примерки он все завернул в аккуратный тючок, протянул его девушке и, галантно пожелав ей легкого пара, заявил, что отдал ей «лучшее из всего, что имел в наличии».

Власть попарившись в партизанской бане, просторной, облицованной бревнами землянке, где имелись и раскаленная каменка и высокий дощатый полоч, Муся, однако, не стала трогать выданную ей партизанскую одежду, а нарядилась в свое единственное уцелевшее цветастое платье, шелковые чулки и лаковые туфельки-лодочки, сбереженные в скитаниях. Одеваясь, она удивилась: одежда и обувь почему-то стали ей тесноваты и заметно связывали теперь движения.

Глядясь вместо зеркала в воду, темневшую в кадке, Муся старательно расчесала и уложила волосы, посушила их над остывающими камнями очага, потом обдернула платье и, ощущая прилив сил и необычайную радость, легко выбежала из бани.

Лагерь был залит скупым осенним солнцем. Муся направилась к дальней землянке, у которой, понурясь в безветрии, висел большой белый платок с красным крестом посередине. Ах, как приятно было снова чувствовать себя чистой, свежей, юной, красиво одетой!

На полянке, памятной Мусе со дня прихода в лагерь, партизаны опять изучали какое-то трофейное оружие. Другие, сидя на бревнышках перед землянками, чистили винтовки. Кое-кто резался в домино, раскладывая самодельные костяшки прямо на дорожке. Целая толпа стояла у сосны, на толстом стволе которой белел лист с рукописной сводкой Совинформбюро. Одеты все эти люди были по-разному. На глаза попадались железнодорожная форма, военные гимнастерки, синие шоферские комбинезоны, застиранные косоворотки, немецкие кургузые тужурки и кители со споротыми кантами и нашивками. На некоторых были черные прорезиненные трофейные плащи с бархатными воротниками.

И вот среди этого пестро одетого вооруженного люда с тяжелым осенним загаром на лицах появилась тоненькая девушка в легком платье, в изящных туфельках. Она шла по лесному лагерю как видение из далекого и потому всем еще более дорогого довоенного мира. И партизаны смотрели на нее — кто удивленно, кто восторженно, кто с ласковой грустью, как смотрят в позднюю осеннюю пору на солнечный луч, вдруг прорвавшийся сквозь холодные,

свинцовые тучи.

Муся чувствовала на себе эти взгляды и старалась не подавать виду, что замечает их и радуется им.

Еще издали Муся заметила Николая, терпеливо шагавшего перед входом в санитарную землянку. Одетый в стеганку, в ватные штаны, он казался еще больше, еще массивней. Девушка, как бы не замечая его, остановилась у сводки Совинформбюро, поиграла с собакой. Но с чисто женской дотошностью она уже успела заметить: партизан подстригся, белесые его кудри даже чем-то напомажены.

Муся шла, напевая, небрежно посматривая по сторонам.

— Ах, это вы? — сказала она удивленно, чуть не наткнувшись на юношу.

Николай смотрел на нее с тем видом, с каким смотрят люди, внезапно вышедшие из темноты на яркий свет.

— Ну, здравствуйте же. Что вы стоите? Руку бы протянули, что ли. — Едва сдерживаясь, чтобы не прыснуть со смеху, Муся поинтересовалась: — Чем это вы волосы примаслили? Касторкой, да?

— Ух вы какая! — произнес наконец Николай.

— Что вы сказали? — плутовато опустив глаза, переспросила девушка.

Но ответить Николай не успел. Вдали послышался торопливый цокот копыт, меж деревьев замелькал всадник. На всем скаку он осадил коня перед входом в санитарную землянку и, точно выброшенный из седла силой инерции, слетел на землю. Не обратив внимания на молодых людей и, вероятно, даже не заметив их, он прогрохотал сапогами по деревянным ступеням, и уже из глубины землянки донесся до Муси его взволнованный голос:

— У переезда ребята на маршевую колонну налетели. Идет бой. Есть раненые. Командир приказал — медицину на поле.

Партизан тут же выскочил наверх и что есть духу побежал к штабной землянке. Взмыленный его конь, волоча поводья и тяжело поводя потными, блестящими боками, побрел следом за ним.

Муся хотела было расспросить Николая, что могло произойти у переезда, но он уже исчез. Кто-то часто колотил по буферу, подвешенному у сосны. Всюду меж деревьев мелькали люди. С оружием в руках партизаны бежали каждый к своему месту сбора.

Тревожный, требовательный звон разносился по лесу, повторяемый эхом.

Муся бросилась в госпитальную палатку и в проходе столкнулась с врачом. Старушка на ходу напяливала поверх ватника халат. Матрена Никитична спешила за ней, застегивая брезентовый ремень толстой санитарной сумки.

— Я с вами! — воскликнула девушка.

— В таком виде? — Врач с досадой посмотрела на Мусю, на ее платье, туфли.

— Я с вами, я кончила рокковские курсы отличницей.

— Переоденьтесь, да быстро! Нашла время наряжаться!..

Анна Михеевна преобразилась. В ней ничего не осталось от добродушной чаевницы. Носатое

лицо ее было сурово, в голосе звучали волевые нотки.

Через несколько минут Муся, в ватнике, спрятав кудри под пилотку, уже бежала позади окованной железом фуры, покачивавшейся на толстых, надутых шинах. Крупная короткохвостая лошадь, явно трофейного происхождения, привычной рысцей тянула подводу по лесному бездорожью, обгоняя короткие цепочки партизан...

14

До позднего вечера и потом, после маленького перерыва, всю ночь Муся и Матрена Никитична помогали врачу: промывали и перевязывали раны, кипятили инструмент, накладывали шины и повязки.

Совсем сбившаяся с ног Муся заснула уже под утро, прикорнув в тамбуре санитарной землянки.

Ее разбудил адъютант Рудакова. Он вместе с Матреной Никитичной стоял в проходе, поскрипывая сапогами.

— Виноват, командир приказал немедленно к нему, — сказал он, щелкнув каблуками.

Он пропустил подруг вперед. Когда из землянки вышли на свет, Муся заметила, что и этот щеголеватый парень за ночь осунулся и побледнел. Звуков стрельбы уже не было слышно, но попадавшие по дороге партизаны все шли с оружием, и вид у них был утомленный и озабоченный.

Рудаков сидел в землянке, облокотившись о стол, положив голову в ладони. Казалось, он погружен в какую-то думу. Но по тому, что не сразу поднял он голову, а потом несколько секунд смотрел на Мусю и Матрену Никитичну ничего не понимающими воспаленными глазами и долго откашливался, прежде чем начать разговор, подруги поняли, что командир просто уснул над старой, истертой по краям картой, вдоль и поперек исчерченной овалами и стрелками.

Откашлявшись, Рудаков как-то сразу весь подтянулся. Строго и прямо глянули его карие глаза. В них не было и следа сонной мути. Перекатывая по карте красный карандаш, он задумчиво произнес:

— Положение осложнилось. Сначала фашисты, чтобы убереечь от нас свои коммуникации, всё вокруг них выжигали. Я приказал подрывникам действовать именно в «мертвой зоне». Мы показали врагу, что измывательства над мирным населением не спасут ему дороги. Фашисты это поняли и переменяли тактику. — Рудаков зябко передернул плечами, запахнул ватник и засунул руки в рукава. — Они нас выследили. Как — не знаю, но выследили. Вчера они остановили маршевый батальон и повернули его против нас. Что произошло, знаете?

Матрена Никитична и Муся утвердительно наклонили голову. По очереди пристально посмотрев на каждую, точно пытаясь заглянуть им в душу и узнать, что они думают, Рудаков продолжал:

— Короче говоря, вы обе должны отсюда исчезнуть. Вы, Матрена Никитична, сегодня. Ты же, Волкова, при первой возможности вылетишь в тыл с ценностями.

Командир встал и, словно забыв, что он не один, долго рассматривал карту. Потом застучал по ней жесткими ногтями и что-то даже фальшиво запел.

— Пойдите, — сказал он вдруг. — У вас, товарищ Рубцова, там, при гуртах, подводы и кони есть?

— Есть девятнадцать подвод и таратайка, при двадцати конях, — ответила Матрена Никитична, любившая точность в хозяйственных делах.

— Так, так, так... — Карандаш медленно двигался по бумаге. — Вот что: передайте вашему председателю, чтобы он пока нам запасов не направлял. Может быть, придется нам самим к вам пробиваться. Возможно... очень может быть... Посмотрите, правильно я нанес на карту месторасположение ваших гуртов?... А переправу?... Отлично. Можете идти. Кланяйтесь там всем, скажите, пусть нос не вешают — не только на фронте, а и по всем лесам война идет. Ну, прощаемся, что ли! — Он крепко стиснул руку Матрены Никитичны и пошел провожать подруг до выхода. — Как говорится, ни пуха вам, ни пера. О том, чтобы, в случае чего, об отряде ни гугу, не предупреждаю, — сами понимаете, не маленькая. Лучше язык проглотите...

Уже в сумерки Матрена Никитична прощалась с Мусей на границе передовых партизанских секретов. Выделенные Рудаковым в спутники Рубцовой два партизана, самого безобидного, стариковского вида, слывшие в отряде ловкими связными, и Николай, вызвавшийся проводить Мусю, деликатно отошли в сторонку и уселись покурить.

Муся уткнулась лицом в плечо подруги, крепко прижалась к ней, да так и оцепенела, стиснув зубы, боясь разрыдаться. Та задумчиво гладила ее голову. Матрене Никитичне тоже нелегко было расставаться, хотя теперь, когда она свалила с плеч драгоценную ношу, все ее мысли были далеко отсюда.

— Ну, чего ты, чего ты? — ласково уговаривала она девушку. — Вот погоди, после войны доучишься, певицей станешь и приедешь к нам. Уж мы тебя, Машенька, так встретим, так встретим, как заслуженных каких не встречают... Муженька моего увидишь, детки к тому времени подрастут... — И вдруг она зашептала горячо, с дрожью в голосе: — Ведь подумать только, как жили, как жили!.. Я, Маша, в своей жизни курицы никогда не резала, крови ужас как боюсь, гадину, змею какую и ту мне жаль убивать, а вот, кажется, дорвись я до всех этих гитлеров — зубами б им горло перегрызла!

— И я, и я тоже! — шептала Муся.

Из полутьмы густевших сумерек до подруг донеслось вежливое покашливание. Партизаны загасили окурки, бережно ссыпали в кисеты остатки табачку.

— Нацеловались, что ли? Вроде бы и хватит, — поторопил один из стариков.

— Прощай! — громко сказала Матрена Никитична и, отстранив Мусю, быстро пошла к партизанам, темные силуэты которых отчетливо виднелись на фоне догоравшей зари.

— Прощайте! — крикнула Муся и, не оглядываясь, направилась в сторону лагеря.

На душе было грустно, хотелось плакать. Прислушиваясь к тяжелым шагам Николая, молчаливо шедшего позади, девушка думала: ну чего этот смешной парень не подойдет, не возьмет ее за руку, не утешит ласковым словом? И еще думала она: почему это в тяжелые дни войны даже такие неуживчивые натуры, как она, так легко привязываются к окружающим?...

...Однажды утром, когда Муся, уже окончательно освоившаяся на новом месте, в тамбуре госпитальной землянки стирала в разрезанной надвое бочке из-под бензина бинты и окровавленную марлю, из-за брезентового полога донесся цокот копыт. У землянки он сразу затих. Упруго скрипнуло седло, и послышался глухой удар подошв о землю.

Девушка не успела стряхнуть с распаренных рук клочья мыльной пены, как полог откинулся и в ярких лучах полуденного солнца на пороге возник командир. Он пожал девушке мокрую руку выше локтя и заговорщицки прошептал:

— На Большой земле знают о твоём золоте. Партизанский штаб приказал готовить посадочную площадку. За ценностями придет самолет. Вылетишь с ним вместе. Там уже ждут.

Рудаков весело смотрел на девушку.

Муся стояла растерянная. Мыльная вода капала с ее рук в самодельное корыто, где, опускаясь, точно живая, шипела кудрявая пена.

— Что еще? — спросил себя Рудаков. — Ах да, вот! Секретарь обкома лично наказал передать тебе, что ты — молодчина, наказал расцеловать тебя от имени всей областной партийной организации. — Командир наклонился к смутившейся Мусе и засмеялся: — В щечку, в щечку!

Почувствовав на щеке прикосновение щетинистых усов, Муся вспыхнула. А Рудаков уже прошел в «палату», и из глубины просторной землянки было слышно, как он весело здоровался с ранеными. В ответ ему дружно загудели голоса, и по тону приветствий было ясно, что командира любят, уважают, радуются его приходу.

Муся рассеянно слушала невнятно звучащий командирский тенор и улыбалась. Ей вдруг тоже стало радостно. Почему? То ли оттого, что вместе с солнцем занес командир сюда, в полутьму тамбура, весть, что там, за линией фронта, уже знают: ценности спасены, и сохранял их не кто иной, как она сама. То ли потому, что шутливый поцелуй командира напомнил, как в детстве, еще сонную, целовал ее отец, отправляясь по утрам в полк. «Где он сейчас, отец? А мама? Хорошо, если бы и они узнали, что их сумасбродная Муська жива и даже делает такие дела...» А может быть, радостно потому, что скоро с Большой земли прилетит за ней специальный самолет и она, поужинав в партизанском лагере, будет завтракать уже по ту сторону фронта...

Нет, нет, не поэтому, определенно не поэтому! Разве ей хочется улетать? Ведь здесь, в госпитальной землянке, она, конечно, нужнее, чем там за пишущей машинкой или, что сейчас уже совсем смешно, у рояля в музыкальном училище. Разве можно упражняться в пении, выводить бесконечные сольфеджио и писать музыкальные диктанты теперь, когда идет война, когда раненые требуют ее забот, когда вот из-за этого полога то и дело слышатся стоны? Но ведь и за линией фронта есть госпитали, и еще одна пара старательных женских рук будет там не лишней. «А ну, Муська, сознавайся по-честному, что тебя тут держит?»

Девушка разогнула спину. Мыльная пена у нее на руках сохла, застывая шелушащимися пленками. «Значит, есть еще что-то? «Точно!» — как говорят партизаны». Муся плутовато подмигнула сама себе и, склонившись над корытом, с новой энергией принялась за стирку. Она так ушла в свои приятные размышления, что не заметила, как командир, выйдя от раненых, быстро прошел мимо нее, и оглянувшись, лишь когда он, исчезая за пологом, впустил в тамбур охапку ярких солнечных лучей.

Нет, никуда она отсюда не полетит! Предсмертный завет Митрофана Ильича выполнен, ценности сданы в верные руки. Вот пускай теперь о них Рудаков и заботится, на то он и командир. А она, Муська Волкова, останется здесь, будет ходить в разведку, научится

минерскому делу, будет взрывать поезда, участвовать в налетах на неприятельские гарнизоны, как это делают остальные партизаны. Или... ну что ж, и это неплохо... может быть, станет разведчицей. А выдастся свободная минута — будет гулять по лесу с Николаем...

Проворные молодые руки трут, выжимают, выкручивают бинты и марлю, меняют воду, взбивают мыльную пену, и вот, в такт движениям, Муся даже начинает напевать себе под нос. В самом деле, зачем улетать отсюда, когда кругом такие чудесные люди: эта старушка — «докторница», как зовут ее раненые, и этот цыган Мирко, который нет-нет, да и завернет в «госпиталь», чтобы занести «сестричке» какую-нибудь трофейную безделушку, и ремесленник Толька, которого партизаны называют Елка-Палка, и, конечно, Николай.

Песня девушки звучит все громче. Она разгорается, как костер, в который подкладывают сухие ветки. Но сама Муся, занятая стиркой и думами о новых друзьях, не замечает, что поет уже вслух, и очень удивляется, когда из-за полога в тамбур высовывается забинтованная голова пожилого партизана, дяди Осипа.

— Сестричка, давай пошибче, раненые претензию заявляют: иным и не слышать.

Оттуда, из землянки, доносятся голоса. Каждый из них девушка сразу узнает — запомнила в бесконечные ночи, проведенные у коек. Раненые наперебой просят:

— Сестрёночка, спой сначала... В полный голос спой, чтобы для всех...

— У меня от песни вроде бы и рана отпустить начала... Ох, давай еще раз!

Муся входит в землянку. На душе у нее светло и беззаботно, как, наверное, бывает у жаворонка, когда тот взмывает над полем в голубую высь, полную солнца. Распаренными пальцами, побелевшими и съезжившимися на кончиках, она заправляет под марлевую косынку рассыпавшиеся кудри. В душной палате, еще минуту назад полной говора и стонов, все сразу стихает. И вдруг в этой благостной тишине раздается юный, чистый голос, он крепнет, и песня звучит радостно и жизнеутверждающе...

16

Так, в госпитальных хлопотах, ночных дежурствах незаметно проходят дни, недели. До сих пор Муся не только не побывала в разведке или в бою, не только не участвовала во взрыве моста или вражеского воинского эшелона — словом, не совершила ни одного из тех будничных и героических дел, о которых она постоянно слышит от раненых, но даже и центральный партизанский лагерь из-за недосуга не успела как следует осмотреть.

Времени не оставалось даже на сон. Сметливая, переимчивая, она уже многому научилась от Анны Михеевны, и старуха признала ее своей первой помощницей. А раненые привязались к «сестричке» так, что у нее не хватало духу надолго отлучаться от них.

Только раз Муся сделала попытку переметнуться к минерам. Части карателей с каждым днем усиливали нажим на партизан, и схватки разгорались все чаще. Влас Карпов, то и дело отлучавшийся на операции, поместил свою Юлочку у Анны Михеевны.

Девочка целые дни играла возле медицинских землянок, награждала своего верного друга Дамку трофейными медалями и крестами, которые дарили ей раненые, рыла в песке «окопы» и, переставляя ряды стреляных гильз, развертывала наступление на «немцев», «засевших в обороне». На весь лагерь раздавался ее звонкий крик «бу-бу-бу» и возбужденный лай Дамки.

Анна Михеевна всерьез считала, что этот маленький человечек с косичкой-хвостиком действует на раненых лучше, чем любые успокаивающие и обезболивающие средства, которых, кстати сказать, давно уже и не хватало. В изъятие из строгих правил, заведенных в этой подземной, как выражались партизаны, «поликлинике», запрещавших посторонним появляться в палате возле раненых, девочке позволялось беспрепятственно входить туда. Муся даже сшила ей из марли крохотный халатик и косыночку с красным крестом, и Юлочка трижды в день — утром, днем и вечером — важно расхаживала между койками, раздавая раненым градусники.

Когда маленькая девочка проникала в полумрак госпитальной землянки, сияющая и милая, как утренний солнечный луч, суровые лесные воины, на время выбывшие из строя, забывали свои боли и страдания.

Карпов редко навещал дочь. Странно было смотреть на этого пожилого, замкнутого, молчаливого человека в эти минуты. Он мог часами сидеть неподвижно, как статуя, если Юлочка засыпала у него на руках. Иногда он участвовал в ее играх и даже, если поблизости никого не было, изображая лошадь, возил дочку на себе вокруг санитарных землянок. Вот в такую минуту Муся как-то и попросила Карпова научить ее подрывному делу. Партизан удивленно взглянул на юную «сестрицу», подумал, невесело усмехнулся, утвердительно кивнул головой и велел девушке приходить вечером к «сигналу», на кружок минерского техминимума.

В назначенный час Муся явилась на полянку, где на старой, раздвоенной снизу сосне висела буферная тарелка, которая использовалась в лагере вместо горна.

Знаменитый минер пришел на занятие с темным листом кровельного железа подмышкой и с мешком. Железный лист он приладил к развилке сосны наподобие классной доски, а из мешка извлек деревянный, аккуратно сбитый ящик, какие-то металлические — медные и алюминиевые — детали. Аккуратно разложив все это на траве, он достал из кармана ветошку, кусок мела и сунул их в пазуху развилки под «доской». Движения его были привычны и неторопливы, и Мусе показалось, что перед ней не партизанский подрывник, а школьный учитель, приготавливающийся начинать урок. Черная кобура с тяжелым трофейным парабеллумом, висевшая у него на поясе, только мешала ему.

Сходство с учителем, а вернее всего — со старым мастером, преподающим на стахановских курсах, еще больше увеличилось, когда Карпов начал занятия. Говорил он медленно, ворчливо и при этом привычно чертил мелом на железном листе схемы железнодорожного пути в разрезе, делал наброски устройства мин, взрывателей. Он стирал чертежи ветошкой, набрасывал другие, часто слизывал следы мела с кончиков пальцев.

Сначала Муся рассеянно следила за объяснениями, то и дело оглядывалась, рассматривала загорелые лица слушателей, их внимательные глаза, наморщенные лбы, но постепенно урок увлек ее. Она стала вслушиваться в каждое слово Карпова и скоро, позабыв обо всем, что отвлекало ее мысли, погрузилась в тонкости минерного дела.

Девушка узнала, что крушение составов с боеприпасами лучше устраивать в крутых выемках, где вагоны не летят свободно под откос, а лезут друг на друга, крепко сцепляясь балками металлических каркасов, калеча и надолго загромождая путь, что воинские эшелоны, наоборот, лучше отправлять под откос с высоких насыпей. Она удивлялась поразительной точности, какая требуется от минера, когда он устанавливает мину под шпалой. Нужно поставить ее так, чтобы взрыватель пропустил предохранительные платформы с песком, которые немцы пускали теперь перед каждым поездом, и сработал только от сотрясения, вызванного «рабочим колесом».

Перед Мусей раскрывалась целая наука, наука сложная, суровая и опасная. Карпов этого и



не скрывал. Человека, просившегося в его боевую группу, он обычно предупреждал, что минер ошибается лишь раз в жизни, отсылал подумать об этом и принимал к себе только после вторичного заявления. Говорили, что Карпов «мучит своих людей учебой». В остальных «цехах» в свободную минуту партизаны успевали и выкупаться, и полежать на солнышке, и позубоскалить со стряпухами у кухни, и к девушкам в село за семь километров сбегать, и попеть. Минеры же всегда возились со своим оружием. Тем не менее к нему шли охотней, чем в другие подразделения.

— Ну как, всё поняли? — спросил Карпов, тщательно стирая с железного листа свои наброски.

— Усвоили... Знаем... Всё поняли, товарищ командир, — зашумели в ответ партизаны, которых долгое занятие заметно утомило.

— Не хитрое дело, — зевая и потягиваясь, сказал один из них — высокий, сутуловатый парень в военной шинели внакидку.

Карпов нахмурился, насмешливо посмотрел на этого партизана:

— Стало быть, не хитрое? Поставить сумеешь?

— Так точно, товарищ командир, — встав и по-военному вытянувшись, отрапортовал парень.

— Хорошо... Вот тебе мина. — Карпов протянул ему аккуратный деревянный ящик. — Вот мы взрыватель сажаем на место. Мина заряжена. У тебя приказ минировать полотно. Вот бери и показывай, как будешь ставить. Только осторожней — мина боевая.

Партизан взял ящик и, держа его на вытянутых руках, как неопытные отцы держат новорожденных ребят, стал бойко и толково рассказывать.

Карпов слушал его, задумчиво вертя в руке какую-то деталь. Вдруг он поднял голову:

— Стой! А куда ты щебенку денешь, когда будешь для мины яму под шпалой копать?

Высокий партизан замолчал и оглянулся на притихших товарищей. Слушатели насторожились, переглядывались. Муся, все время опасливо косившаяся на заряженную мину, забыла о ней и поближе придвинулась к Карпову.

— Ну, ну, так как же со щебенкой-то? — торопил он, усмехаясь одними глазами.

— Щебенку, обыкновенно, в сторону.

— А потом?

— Что потом? Мину поставлю, песком зарую, щебенку на место.

— Правильно он говорит? — спросил Карпов.

В ответ послышалось неловкое перешептывание. Лишь кто-то неуверенно сказал:

— Да вроде так...

— Ну и, выходит, пропала ваша мина, зря трудились, зря головой рисковали, — заворчал Карпов. — Вашу мину обходчик сразу заметит. Ведь щебенка-то на путях всегда в мазуте, черная. Так? Один камешек на полотне перевернешь — за версту видно. А фашист, он не дурак. Как тут делать надо? — Карпов опять шагнул к доске и стал набрасывать профиль полотна. — Во-первых, когда ночью ты ползешь к полотну с миной, бери с собой плащ-палатку и рядом с собой, вот здесь, ее расстели, чтобы чистым песком зря по полотну

не сорить. Во-вторых, щебенку с полотна аккуратно сними и на плащ-палатку переложи так же, как она на полотне лежала. В-третьих, когда дело сделано, тем же порядком щебенку на место переложи. И чтобы ни один камешек не перевернуть! Понятно?

Муся, увлеченная рассказом Карпова, живо представляла себе, как она ночью подползает к полотну с таким вот деревянным ящиком, в котором сосредоточена невообразимая разрушающая сила, как, приглушая дыхание, прислушивается к тишине, перекладывает на плащ-палатку черные, клейкие от мазута камни, копает скрипучий песок, ставит ящик под шпалу и...

Кто-то качнул девушку за плечо:

— Маша, Маша! Анна Михеевна сердает. Раненых привезли. Один тяжелый, весь в клочьях, — шепчет на ухо дядя Осип, старик-партизан из выздоравливающих, добровольно выполняющий при госпитале обязанности посыльного.

Муся жалобно взглянула на Карпова.

— Ступай, ступай, у каждого свое дело, — сказал минер.

17

Надев халат и забрав волосы под косынку, Муся вбежала в отгороженный простынями угол землянки, где у двух самодельных носилок уже хлопотала Анна Михеевна. Старушка бросила на девушку сердитый взгляд.

— Сейчас, сейчас, только руки сполосну! — виновато проговорила Муся.

Дядя Осип, поливая девушке на руки, рассказал, что вновь прибывшие — пулеметчики. Их обнаружил в засаде вражеский разъезд. Вдвоем они долго отстреливались от наседавшего неприятеля. Когда враги навалились на них сзади, один из пулеметчиков, изловчившись, бросил им под ноги гранату. Осколки скосили нападавших, но и сами партизаны были ранены. Подоспевшим на подмогу пришлось чуть ли не извлекать их из-под вражеских тел.

— Лихо сработали! — закончил старик.

Один из пулеметчиков был легко ранен в плечо, другой находился без сознания. В легко раненном девушка, к своему удивлению, узнала того самого пожилого лобастого немца, которого она заметила сразу же по прибытии в лагерь. Немец просил, чтобы сначала оказали помощь тяжело раненному. Он сам помог Анне Михеевне и Мусе стащить с товарища окровавленную одежду.

Тяжело раненный долго не приходил в себя. Когда Муся смыла кровь с его густо заросшего лица, то даже вскрикнула: это был Мирко Черный. От холодной воды партизан пришел в сознание. Увидев себя раздетым, на руках у женщин, он рванулся, схватил простыню и закрыл свою наготу. Но тут же он обмяк, стал медленно валиться на пол. На простыне проступили темные пятна.

Мирко уложили на койку. Нижняя часть тела и особенно ноги его были покрыты маленькими рваными ранками. В каждой сидел осколок. Их приходилось извлекать без наркоза. Потеряв сознание, раненый метался, стонал, скрипел зубами, но, придя в себя, затихал, угрюмо смотрел на Мусю темными мрачноватыми глазами. Тело его, напрягаясь, порой точно каменело. Наконец Мирко перевязали.

— Ну, вот я и у вас, сестричка, и на свидание ходить не надо, — тихо сказал он Мусе; подобие улыбки чуть покривило его побледневшие губы.

Товарищ Черного, пожилой немец Кунц, не отходил от койки. Он вызвался дежурить возле Мирко и всю ночь просидел у него в ногах, морщась от боли в плече.

На следующий день у Муси столько оказалось забот, что ей было некогда не только пойти на занятия минеров, но даже и вовремя покормить Юлочку. Девочка, привыкшая к вниманию, ходила за ней и, дергая ее за полы халата, обидчиво тянула:

— Тетя Мусь, тетя Мусь же, Юлочка есть хочет...

Анна Михеевна, пуще всего на свете любившая свое дело, первоначально с недоверием посматривала на хорошенькую помощницу. Но Муся неожиданно проявила столько терпения, заботливости, столько дружеской ласки к раненым, так быстро приобрела необходимые навыки в новой работе, что строгая старуха-врач безбоязненно оставляла на нее раненых и даже признавалась, что немножко ревнует их к своей помощнице.

Муся сделалась любимицей партизанского госпиталя. Стоило ей на минуту отлучиться, как из землянки слышались разноголосые крики:

— Маша, Маша!.. Сестреночка! Сестричка!..

Дело тут было не только в том, что она научилась смело и вместе с тем осторожно промывать раны, менять повязки, накладывать шины. Просто чем-то свежим, весенним веяло от ее тоненькой, ловко охваченной халатом фигуры, от юного задорного лица, от непокорных кудрей. Старики-партизаны, наблюдая, как бесшумно движется она между койками, вспоминали свою юность и своих дочерей; люди зрелые, глядя на нее, думали о женах и ребятишках; молодежь смотрела на сестру с обожанием. Все были понемножку влюблены в нее той тихой и чистой солдатской любовью, какая расцветает иногда среди окопной глины, пороховой гари, среди крови и тягот войны, — любовью бескорыстной, простосердечной, не требующей ничего взамен.

Чувствуя это, Муся старалась быть со всеми ровной, не имела любимчиков, всем слабым в свободную минуту с одинаковой охотой стригла ногти, поправляла подушки, а иных даже брила. Делая что-либо, она всегда напевала, будто была наедине сама с собой, и это особенно нравилось ее подопечным.

— Когда я первый раз вас там, в банке, увидел, не понравились вы мне. Так, подумал, трясогузка какая-то, — признался ей однажды Мирко, когда она брила ему бороду.

Крепкий волос трещал под тонким лезвием. Из-за белой мыльной маски на Мусю смотрели горячие, мрачноватые глаза. Она знала, что глаза эти всегда неотвязно следят за каждым ее движением. И всякий раз от этого взгляда ей становилось не по себе. Мирко Черный был единственным из раненых, с которым она чувствовала себя неловко, связанно, которого она даже почему-то побаивалась.

— А теперь удивляюсь, как же это я так про вас тогда подумал...

— Молчите, Мирко, нос отрежу! — попробовала отшутиться Муся, чувствуя, что разговор принимает тягостный для нее оборот.

Продолжая брить, девушка избегала смотреть в глаза молодому партизану. Руки у нее начинали дрожать, теряли обычную свою ловкость.

— ...Думал — так, трясогузка, а вы вон какая! — настойчиво продолжал Мирко. — Дал, дал тогда промашку Черный, милая барышня!

— Я не барышня... и не вертите головой! — сердито перебила девушка.

— Эго у нас в таборе так говорили: «милая барышня». Я ведь цыган, в таборе родился. Мы, может, тысячи лет по миру таскались — ни границ, ни крыши. А потом рассыпался наш табор. Зачем кочевать, когда никто не гонит!.. Я вот на паровозника выучился, помощником ездил, тоже кочевая профессия: сегодня здесь, завтра там... Много вашего брата, милая барышня, повидал, а такую, как вы, сестреночка, первую встретил. Зазнобили вы мое сердце...

Мирко перешел на шепот. Горячее дыхание его обжигало щеку девушки. Дышал он тяжело, с хрипотцой, и это было особенно слышно, оттого что в землянке наступила почему-то необыкновенная, тяжелая тишина. Лишь звучно трещал под лезвием жесткий волос.

— Может, думаете, о золоте говорю? Золото что? Я б и сам его так вот, как вы, понес, — продолжал Черный. — Золото это вашего мизинчика, сестреночка, не стоит... Я вас теперь даже во сне вижу. И знаете, как я вас вижу?

— Ой!.. Ну вот и порезала... Болтаете под руку глупости всякие! — воскликнула Муся. Она выпрямилась, серые глаза ее сузились и потемнели. — Еще слово, и я уйду... — Чувствуя, что все раненые слушают этот разговор, девушка постаралась смягчить свой гнев шуткой: — Вот и будете лежать недобрый, с половиной бороды...

И сразу веселым, добродушным гомоном наполнилась просторная землянка:

— Ай да сестричка!

— Не выйдет, цыган, семафор закрыт!

— Таких звонарей на любом полустанке сколько хочешь. Пучок — пяточок цена... Нужен он ей...

Мирко смахнул полотенцем мыльную пену, отвернулся к стене и, не дав себя добрить, так и пролежал до вечера.

С тех пор Муся стала бояться Черного. Перевязывая ему раны, она старалась глядеть в сторону, избегала разговаривать с ним. Но глаза-угли молча преследовали ее. Даже отвернувшись, она все время чувствовала на себе их взгляд.

18

Иногда под вечер в госпитальную землянку заглядывал Николай. Он делал вид, что ходит проведать свою соседку Юлочку. Взяв девочку на руки, он выходил с нею наружу. Но Муся знала, к кому он приходит, и, найдя удобный повод, сама выскальзывала наверх.

Втроем, держа между собой за ручки девочку, шагавшую посередине, они бродили по лесной опушке, недалеко от госпитальных землянок. Бродили чаще всего молча или изредка обмениваясь незначительными замечаниями. Но иногда, преодолев застенчивость, Николай начинал рассказывать о боевых новостях, о взрыве железнодорожного виадука или о крушении двух встречных воинских поездов, устроенном Власом Карповым, о партизанском суде над предателем в большом селе или о том, как была брошена противотанковая граната в солдатский бар, разместившийся в Доме пионеров на Узловой.

Рассказывая об отличившихся партизанах, Николай оживлялся, но как только Муся пыталась перевести разговор на его собственные дела, которые ее очень интересовали, он сразу

замолкал. О себе он говорить не любил, да и считал, что хвалиться ему нечем.

Теперь он руководил строительством партизанского аэродрома, который, по приказу Рудакова, спешно сооружался на продолговатой сухой луговине, вклинившейся в торфяные болота. И хотя партизан знал, какое важное это дело, ему было совестно, что в страдные боевые дни, когда все его товарищи, даже иной раз ездовые и старики-связные, сражались с захватчиками, он занимается выкорчевкой пней, засыпкой ям, уничтожением кочек.

Николай жил теперь в состоянии постоянной раздвоенности. Он сознавал, как важно скорее принять самолет для эвакуации ценностей и вывозки раненых по чернотропу, пока нет снега, на котором станет заметным каждый след, и всеми силами старался ускорить строительство. Договорившись через разведчиков с верными людьми окрестных селений, он посылал туда вооруженных партизан. Партизаны, постреляв вверх, с шумом, с угрозами обходили избы, а затем целые деревни, якобы под конвоем, с подводами, с лопатами, с топорами уходили на работы. Трудились колхозники с охотой, старательно и добросовестно. Видимость же насильственного угона создавалась для гестаповских осведомителей, чтобы избавить работающих от фашистской мести.

Работы подвигались быстро. Не щедрый обычно на похвалы, Рудаков не раз благодарил Николая за хорошую организацию дела. Но все это не доставляло радости молодому партизану. Ведь он сам, своей волей ускорял отлет Муси. Об этом он старался не думать, но думал даже во сне. Николай понимал, что влюбился, влюбился первый раз в жизни. И это новое, необыкновенное чувство, нагнавшее на него так внезапно, не только радовало, но и беспокоило его. Он не думал об этом своем чувстве, не копался в нем. Просто образ стройной сероглазой девушки, гибкой, неуступчивой, смелой, ничего на свете не боявшейся, кроме разве лягушек, и умевшей так легко ступать по земле, все время жил в нем.

Весь день занятый своими хлопотами на строительстве посадочной площадки, усталый, охрипший от криков, он представлял себе; как вечером подойдет к госпитальной землянке, как Муся поднимется к нему, что он ей скажет, над чем пошутит, о чем сострит, как бойко и умно поведет он с ней разговор. В этих бесконечных обдумываниях будущей встречи как-то сама собой растворялась усталость, черпались силы, терпение. И, ах, какой бойкий, веселый, речистый, находчивый бывал партизан в этих своих мечтаниях!

Но вот наставал желанный час, слышались легкие шаги, Муся точно выпархивала из ходка землянки, ведя за собой Юлочку. Она улыбалась закату и чистому, влажному вечернему воздуху, тишине. Она срывала косынку, встряхивала головой, и освобожденные кудри ее рассыпались свободными естественными кольцами. Она смело подходила к Николаю, протягивала ему руку:

— Ну, здравствуй...

Юлочка тоже тянула ему свою ручонку и с той же задорной, насмешливой интонацией говорила:

— Ну, здравствуй...

Он молча, с величайшей серьезностью по очереди жал им руки. Все заранее обдуманное слова, шутки, остроты — все его заготовленное красноречие разом разлеталось.

И они втроем начинали молча расхаживать по дорожкам, слушая настороженную тишину засыпающего лагеря. Но и в самом молчании этом была радость. Он готов был до утра ходить вот так, лишь изредка косясь украдкой на тонкий задорный девичий профиль. И ему начинало казаться невероятным, что вот скоро, на днях она может навсегда улететь отсюда...

Стояла необычная для этого времени года сушь. По вечерам в лесу бывало так тихо, что деревья казались призрачными. Быстро темнело, становилось прохладно, но Николаю и Мусе не хотелось расходиться. Они закутывали девочку, начинавшую дремать, в ватник, брали ее на руки и носили по очереди, теперь уже совсем молча и лишь изредка посматривая друг на друга. Когда становилось совсем темно и по всему простору глубокого неба пробрызгивали россыпи дрожащих, точно живых звезд, Николай вздыхал, доставал откуда-нибудь из-под куста заблаговременно спрятанный туда кулек с брусникой или крепкой, хрустящей на зубах клюквой, молча отдавал Мусе и исчезал, словно таял в густой тьме.

Девушка возвращалась в землянку, где жила с Анной Михеевной, укладывала девочку в кроватку, сделанную в разрезанной пополам корзине — футляре от крупнокалиберной бомбы, а потом шла в госпитальную землянку и, разделив ягоды на равные кучки по количеству раненых, распределяла их по справедливому солдатскому способу: «Кому? Кому?»

19

В день, когда Муся готовилась вместе с другими партизанами из новичков принимать присягу и потому была с утра радостно взволнована, при дележке ягод произошло событие, омрачившее светлое настроение девушки. Мирко Черный, обидчиво сверкнув глазами, оттолкнул руку с причитавшейся ему долей ягод. Брусника красным градом посыпалась на пол. На мгновение наступила тишина, потом двое раненых сорвались с коек, бросились к обидчику:

— Ты что ж делаешь, олух царя небесного?

— Тебе сестрица уважение оказывает, угощает, а ты...

— Не надо мне ее уважения, пусть сама ест! Вы знаете, откуда у нее ягоды? — Черный сел на койке. Обычно бескровное, лицо его сейчас пылало неровным ярким румянцем, ноздри тонкого носа вздрагивали. — Спросите, откуда у нее ягоды? Пусть скажет.

Почувствовав, что взгляды всех присутствующих обращены к ней, девушка вдруг закрыла лицо руками и выбежала из землянки. Она прислонилась щекой к стволу сосны и замерла, мучительно думая: «За что он меня? Как он смеет? А все они? Ведь я так их всех люблю...»

Прохлада осенней ночи понемногу успокоила ее.

Снизу, из-за брезентового полога, глухо доносились возбужденные голоса; постепенно в землянке стало стихать. Потом появился дядя Осип. Он подошел к Мусе, все еще стоявшей у дерева, откашлялся, помолчал.

— Уж вы, сестричка, того, оставьте без внимания... Раненый — он как дите малое, с него полного спросу нет... — Старик опять покашлял. — В палату вас народ просит. Этот черт бешеный прощенья просить будет.

— Ну что вы! Ступайте-ка на кровать — роса, вам вредно, — вяло отозвалась девушка.

— Нет уж, один не пойду. Народ вас просит, сестрица, вся палата... — стоял на своем старик.

Девушка сошла в землянку. Тишина не была тяжелой, как давеча, а какой-то разряженной, благостной, какая бывает в лесу после грозы. Раненые, приподнявшиеся на койках, строго

смотрели на Черного. Он лежал вытянувшись. Побледневшее лицо его неясно серело на белой наволочке. Медленно, казалось с трудом, он повернулся к Мусе.

— Простите, сестричка, нервы, — глухо выговорил он чужим, холодным голосом. Потом, словно преодолев в себе что-то, приподнялся на локте и уже теплее пояснил: — Раны проклятые словно песок в буксе, вот и скрипишь. Вы, сестричка, худое что про меня не думайте — я человек женатый. У меня жена Зина — красавица, все время ее в голове держу. А это... так, тормоза отказали, понес под гору.

Раненые молчали, видимо одобряя форму извинения. Только Кунц с удивлением смотрел на Черного, на Мусю, на остальных. Все это, похоже, поражало немца.

Девушка успокоилась и, спохватившись, заторопилась к «сигналу», где партизанам-новичкам предстояло, принимать присягу. И все же радостное чувство, с которым она ждала этого часа, было омрачено происшествием в госпитале.

У «сигнала» горел большой костер. Присягавшие стояли тремя ровными шеренгами. Муся оказалась крайней на левом фланге. Напротив были выстроены все находившиеся в лагере «ветераны». Свет раздуваемого ветром пламени изредка выхватывал из мрака ночи чье-нибудь задумчивое лицо, руку, лежавшую на прикладе автомата, ствол винтовки.

Рудаков подошел к костру, скомандовал «смирно» и, достав из нагрудного кармана листок бумаги, стал читать торжественные слова партизанской присяги, и все партизаны-новички в один голос повторяли за ним фразу за фразой.

— «Я, гражданин великого Советского Союза, верный сын героического советского народа, клянусь, что не выпущу из рук оружия, пока последний фашистский гад на нашей земле не будет уничтожен...» — читал Рудаков.

— «... будет уничтожен!» — дружно выкрикнули конец фразы молодые голоса.

«...ожен, ожен, ожен...» — откликнулось эхо из глубины леса.

Налетел ветер. Взвихрившееся пламя осветило торжественные лица, горящие глаза.

Понемногу все, что огорчало и беспокоило девушку, ушло. Суровая сила простых слов клятвы захватила все ее существо. Рудаков читал их по бумажке. Порой он даже наклонялся к костру, чтобы лучше рассмотреть текст, но девушке казалось, что слова эти рождаются сейчас в глубине ее души, и, чувствуя, как волнение распирает ей грудь, она вдохновенно выговаривала за командиром:

— «Я клянусь всеми силами помогать Красной Армии уничтожать бешеных гитлеровских псов. Я клянусь, что скорее умру в жестоком бою с врагом, чем отдам себя, свою семью и весь советский народ в рабство кровавому фашизму...»

Сердце сильно билось, холодок возбуждения бежал по спине. Вся вытянувшись, девушка восторженно чеканила вместе со всеми:

— «Если же по своей слабости, трусости или злой воле я нарушу эту присягу и предам интересы народа, пусть я умру позорной смертью от руки своих товарищей. Кровь за кровь и смерть за смерть!»

Эти последние слова Муся выкрикнула во весь голос. Она так взволновалась, что когда расписывалась под присягой, поставила свою фамилию совсем не там, где было нужно.

Командир поздравил принявших присягу, каждому пожав руку своей маленькой, очень сильной рукой.

Партизаны остались у костра. Муся очень любила эти вечерние часы у огня, когда свободные от дел партизаны пели советские песни, точно возвращавшие их за линию фронта, к родным и милым. Но сегодня она не могла петь.

Она ушла от людей и неторопливо направилась вдоль «улицы» землянок к партизанскому госпиталю. Сзади слышались частые шаги.

— Товарищ Волкова... — робко окликнул ее мальчишеский голос.

Девушка остановилась. Так официально к ней здесь еще никто не обращался. Даже ее начальница, Анна Михеевна, вряд ли помнила ее фамилию.

Из тьмы вынырнул маленький партизан Толя, тот самый худой чернявый подросток, который тогда, в дремучем лесу, вел колонну ремесленников. Уже здесь, в лагере, Муся подружилась с ним и узнала, что это действительно они, эти маленькие, стойкие ребята, переходили тогда реку по тайному броду за несколько недель до них с Матреной Никитичной. Сейчас большинство ребят осели здесь, в отряде Рудакова, и старшие из них вместе с Мусей принимали сегодня присягу.

Толя протягивал девушке что-то небольшое, тяжелое. Муся разглядела офицерский револьвер системы «Вальтер».

— Вам! Вы теперь партизанка. Эх, елки-палки, мировая штука! Сам с фашистского майора снял. Мне за него ребята немецкий автомат, губную гармошка и зажигалку сулили — я не отдал. А для вас не жалко. Носите!

— Спасибо, Елочка!

Растроганная Муся хотела было пожать маленькому партизану руку, но тот уже исчез в темноте так же внезапно, как и появился.

Чувствуя, что сегодня ей не уснуть, не поделившись с кем-нибудь избытком радости, девушка нерешительно свернула к госпитальной землянке — может быть, кто-нибудь из раненых еще не спит.

И действительно, из-за брезентового полога глухо доносились голоса. В палате о чем-то горячо спорили; крепкие словечки, уснащавшие беседу, остановили Мусю на пороге.

— ...А я не посмотрю, что тут Рудольф Иваныч, я правду прятать не привык! Я прямо скажу: вредные вы, немцы, — звучал густой, с сипотцой голос дяди Осипа. — Твоя нация, товарищ Рудольф Иваныч, она вроде медведя. Как где пчелы меда в свой улей натаскают, так он тут как тут — бац по улью лапой. Все, подлец, разрушит, растопчет, чтобы мед чужой слопать. Что, скажешь — не так?

— Я ничего не скажу, я не могу представить возражений, — ответил немец, четко и старательно выговаривая русские слова.

— Молчишь? Отучил вас Гитлер правду вслух говорить? Языки себе пообкусали? — слышался раздраженный голос Черного. — Ты сейчас кто, Рудольф? Партизан? Партизан. Фашистов вместе с нами бьешь? Бьешь. У одного пулемета со мной кровь пролил? Пролил. Стало быть, ты здесь равноправное слово имеешь, как мы все. Чего ж молчишь? Говори!

Муся тихо стояла у порога землянки. Товарищеское, даже дружеское отношение партизан к немцу-перебежчику Купцу всегда удивляло, а поначалу даже и коробило ее. Когда-то, в годы первой пятилетки, Кунц работал на советских заводах и сносно научился русскому языку. Переходя к партизанам, он в доказательство своей искренности притащил с собой оглушенного и связанного эсэсовского офицера. В отряде он добросовестно обучал партизан



владеть трофейным оружием, храбро сражался против своих соплеменников. Обо всем этом Муся знала. И все же в присутствии этого человека девушка невольно настораживалась, замыкалась. А раненые партизаны — люди, больше ее потерпевшие от оккупантов, лишенные дома, семьи, привычной, родной работы, величали Купца на русский манер «Рудольф Иванович», делились с ним табачком, добродушно подтрунивали над ним и, что особенно удивляло девушку, ничем не выделяли его из своей среды.

Потому вот теперь, застыв у полога, она с особым интересом прислушивалась к спору.

— Правильно! Рудольф Иванович, отвечай, что думаешь.

— Не стесняйся, не в гитлерии находишься, тут все свои, в гестапу не поволокут.

— Мне тяжело нести ответ на слова товарища дяди Осипа, — выговорил наконец немец.

— Стой, я тебе помогу, — опять ворвался в разговор Черный. — Обидел твой народ дядя Осип — ведь так? Это хочешь сказать? Ну, вот прямо и говори, валяй, чего вертеться!

Послышался глухой шумок. Муся поняла, что никто не спит, вся палата участвует в споре.

— А ты в разговор не лезь, тебя не спрашивают. Пусть Рудольф Иванович сам ответит... Что ты их оправдываешь? Они вон весь мир кровью умыли!

— Я разве оправдываю? — возразил Черный. — Я ж вам сказал: кто к нам с войной пришел — немец ли, итальянец ли, финн ли какой, я его бить буду, пока сила в руках, рук лишусь — ногами пинать стану, ноги перебьют — зубами горло перегрызу... А Рудольф тут при чем? Мы вместе с ним по фашистам стреляли, вместе кровь пролили, вместе вот в госпитале валяемся. Пусть он немец, а я ему говорю: «Вот тебе моя рука — на, держись, Рудольф!»

— Ну, Рудольф Иванович — он немец особенный. Я о фашистской сволочи — вот о ком, — отозвался дядя Осип. — Такому немцу, как он, и я руку дам... На, Рудольф Иванович, подержимся. Давай уж и поцелуемся, что ли... Вот так...

По палате прошел добродушный смешок:

— Начал за упокой, а кончил за здравие.

— И правильно: немец — одно, а фашист — другое. Фашисты разных наций бывают.

— Эх, моя бы воля, я этих эсэсов да гестапов всех бы живыми в муравьиные кучи позарывал! Как, Рудольф Иванович, не возражаешь?

— Я бы вам помогал, — отозвался немец.

— Во, правильно, Рудольф! Я считаю, как мы Гитлера разобьем, вся Германия нам в пояс поклонится. Что ты на это скажешь?

За пологом настала напряженная тишина. Мусе казалось, что она слышит, как бьется ее сердце.

— Я не знаю по-русски такого слова, — медленно, волнуясь, начал немец, — такого слова, чтобы сказать вам, какие вы все... какие у вас души...

Муся откинула полог, остановилась в проходе и, обведя раненых влажным взглядом, произнесла дрожащим голосом:

— Родные, поздравьте: я теперь, как и вы, партизанка!

Между тем положение становилось все более тревожным.

Многочисленные осведомители, которых отряд завел по колхозам, сообщали, что фашистское командование стягивает в окрестные деревни карательные части. Немецкий интендантский офицер, которого Кузьмич ухитрился накрыть во время купанья и, для пущего эффекта, прямо голым, в одних только сапогах, доставил в отряд, дал важные показания. Из штаба воинской группы получен приказ во что бы то ни стало до осенней распутицы ликвидировать соединение партизан, совершенно дезорганизовавших в этом районе движение на железных и шоссейных дорогах, дрожа от холода и страха, офицер добавил, что объединенный штаб карательных отрядов, созданный на Узловой, разрабатывает против партизан какую-то «акцию», сути которой интендант не знает, но на которую возлагают большие надежды.

Потом приходила к Рудакову путевая обходчица 432-го километра, та самая Екатерина, которую завербовал Николай. Она сообщила, что в немецком воинском эшелоне, пущенном партизанами под откос на ее участке, уже после крушения возник огромный пожар. Обломки вагонов, казалось бы ни с того ни с сего, вдруг начали загораться красноватым пламенем. Немцы из вспомогательного поезда, прибывшего на место происшествия, вместо того чтобы гасить огонь, разбежались в стороны и только издали, качая головой, наблюдали усиливавшийся пожар. Позже Екатерина нашла там среди обломков, в железном ящике, странные шары величиной в два кулака. Мягкая оболочка из прозрачной пленки была наполнена серо-зеленой, флюоресцирующей на свету жидкостью. Эту свою находку железнодорожница положила в металлический футляр из-под немецкого противогаса и принесла в отряд.

Партизанские командиры долго рассматривали непонятные трофеи. Один из шаров упал на пол и был случайно раздавлен. Вылившаяся из него жидкость сейчас же вспыхнула красноватым жарким пламенем. Ни вода, ни песок не смогли его погасить. Быстро разгоревшись, огонь перекинулся на бревенчатую обшивку землянки. Партизаны успели спасти только самое необходимое. Зловредные шары были тщательно упакованы для отправки с первой же оказией на Большую землю.

Рудаков, перебравшийся после пожара в штабную землянку, всю ночь просидел над картой; обведенные синим карандашом деревни, занятые карателями, образовывала собой на карте широкую подкову. Она как бы охватывала болотистый лес, в центре которого находился партизанский лагерь. Оставался незакрытым лишь северный участок, примыкавший к торфяным болотам. Их обширные пространства считались непроходимыми.

Что же такое фашисты задумали? Почему в последние дни они почти прекратили бои с передовыми партизанскими постами? Трудно поверить, что неприятеля испугали потери, которые он понес в схватках у перекопанных, заваленных деревьями лесных дорог. Пленные один за другим подтверждали, что существует приказ как можно скорее расправиться с партизанами и очистить район. Так почему же такая тяжелая тишина установилась сейчас кругом?

«Эх, скорее бы был готов тот аэродром! Отправить раненых, эвакуировать ценности, отослать эти дьявольские шарики и развязать себе руки! Налегке проще решить любую боевую задачу. Так, так, так... Что же они затеяли? Блокада? Но ведь партизанские диверсанты и подрывники продолжают просачиваться лесами. Боевая работа на железных дорогах и грунтовых магистралях не прекращается... Нет, тут что-то другое... Да еще и эти

шарики... И почему подкова, а не замкнутый круг? — Рудаков тер ладонью шишковатый упрямый лоб, пощипывал латунную щетину усиков. — Тут что-то другое. Но что, что? Как это угадать?»

На следующий день, уже затемно, пришел Николай. Он доложил командиру, что аэродром почти готов. Утром, засветло, сделают последние зачистки, и можно будет принять связные и санитарные самолеты. Работы на аэродроме предполагалось закончить лишь через неделю, и сообщение Железнова было приятной неожиданностью.

Сдержанный Рудяков обнял и крепко, по-русски, со щеки на щеку, расцеловал молодого партизана. Сразу же повеселев, он приказал адъютанту немедленно готовить рацию для большой ночной работы и заодно попросил принести флягу спирту из своего неприкосновенного запаса. Положив ее перед Николаем, командир сел писать сообщение на Большую землю. Вскоре он, однако, заметил, что герой дня к спирту не притрагивается, понуро сидит на скамье, уставившись глазами в пол, и лицо у него расстроенное.

— Ты чего нос повесил?

— Все в порядке, товарищ командир. Разрешите идти? — сказал партизан, точно просыпаясь.

— А выпить? Ведь заслужил!

— Спасибо, в другой раз.

— Ну, иди.

Николай повернулся и медленно направился к выходу.

Рудаков взял флягу, потряс ее и, покрепче завинтив горлышко, задумчиво отложил в сторону. Он хорошо разбирался в людях, а Железнова знал с детства, и он понял, что какая-то необычная забота, может быть даже горе, угнетает молодого партизана. «Заболел, что ли?» И по старой парткомовской привычке не забывать даже мелочей, когда речь идет о человеке, Рудаков мысленно заметил себе для памяти, что надо при случае «исповедать» молодого партизана.

21

Наскоро перекусив, командир отправился к шалашу, где уже попискивала по-комариному рация. Пока искали связь с Москвой, Рудаков через адъютанта передал приказание, чтобы снарядили несколько подвод для перевозки раненых на аэродром. Потом адъютант был послан за медсестрой Волковой. «Что же еще? Кажется, все!» Рудаков устало присел на пенек возле шалаша, потянулся так, что захрустели суставы, и с удовольствием закурил.

В мирное время, возвращаясь бывало из депо после работы или с затянувшегося собрания, любил он зайти в палисадник перед домиком и, вдыхая неистовый ночной аромат табаков, резеды и левкоев, выкурить папиросу-другую, подытожить прожитый день, обдумать день завтрашний.

Эту привычку Рудаков принес и в партизанский лес, в жизнь, полную неожиданностей и опасностей. И сейчас, хотя в прошлую ночь ему не удалось и прилечь, а рядом радист, пощелкивая ключом, искал позывные Большой земли, командир, как бывало, поддался обаянию ночи, погожей, звездной и уже прохладной. Неподалеку во тьме, переступая с ноги

на ногу, сонно вздыхали кони. В дальнем конце лагеря пиликала гармошка, такая неожиданная и милая в этом настороженно притихшем лесу, и откуда-то, должно быть от кухонь, приглушенно звучали мужские голоса и рассыпчатый женский смех. Жизнь шла своим чередом.

Все это напоминало мирные дни, казавшиеся теперь Рудакову далекими и милыми, как юность. Улыбаясь, он жадно вдыхал густые ароматы осеннего леса с той же радостью, с какой в молодости, еще будучи кочегаром, он иногда, разгоряченный, усталый, поднявшись на груду угля, подставлял всего себя влажным порывам ночного ветра.

Рудаков не слышал, как подошла Муся. Она подчеркнуто пристукнула каблуками и, подбросив руку к виску, с видимым удовольствием отчеканила:

— Товарищ командир отряда, по вашему приказанию партизанка Волкова явилась!

Рудаков поднял глаза и не сразу отозвался:

— Садись вот на траву, партизанка Волкова. Садись и признавайся: по Большой земле скучаешь?

Муся не ответила. Стоя навтыжку, она старалась угадать, что сулит ей этот ночной вызов.

— Ну, что ж молчишь? На завтра с Большой земли самолеты запрашиваю. Готовьте раненых к эвакуации. Осторожно, под охраной, перевозите в район нового аэродрома. Ежели самолеты пообещают, до рассвета перевозку нужно закончить. И чтобы у меня тихо возить, без шума.

— Есть эвакуировать раненых на аэродром! — обрадовано отозвалась Муся, снова старательно щелкнув каблуками.

Значит, ничего особенного! Значит, ее оставляют и смутные опасения последних дней были ложной тревогой!

— Разрешите идти?

— Постой, куда торопишься? Ночи теперь длинные, успеете, — остановил ее Рудаков. Он любил приберегать добрые вести к концу беседы. — И еще вот что: складывай свои пожитки. За тобой придет особый самолет, вооруженный. Ценности повезешь. Понятно?

Девушка продолжала стоять. Темнота скрывала ее лицо. Рудаков не увидел, скорее почувствовал, что его слова не обрадовали, а, пожалуй, смутили или даже опечалили медсестру.

— Товарищ командир, разрешите мне остаться в отряде, — тихо попросила Муся.

Вот тебе раз! Что это? Уж второй человек за ночь так странно отвечает на приятные слова! Рудаков сопоставил эти два случая, и внезапная догадка мелькнула у него. Он даже свистнул. Но прежде чем он успел уточнить ее, радист, освещаемый голубыми вспышками электрических искр, с легким треском вылетавших из-под ключа, радостно крикнул из шалаша:

— Большая земля!

Рудаков направился к рации. На ходу он успел сердито обронить:

— Исполняйте приказ, партизанка Волкова!

До самого рассвета Муся эвакуировала раненых. Николай напросился в проводники, заявив Рудакову, что ночью никто не найдет дорогу к аэродрому. А уж он-то ее знает!

Коня с первой подводой Николай сам вел под уздцы. Путь проходил по высохшему торфяному болоту. Вернее, никакого пути не было — двигались целиной, по азимуту. В некоторых местах фуры так бросало, что раненых приходилось вести под руки, а тех, кто не мог ходить, перетаскивать на носилках. Кони с трудом тянули даже порожние повозки. Николай брал раненого на закорки и без единой остановки ровным, размашистым шагом спортсмена переносил через непроезжий участок.

Раненых сосредоточили на лесной опушке, в густом соснячке, поблизости от посадочной площадки. Их оставили на попечение Мусиных знакомцев — ремесленников из строительной бригады, которыми командовал Толя.

— Мой помощник, великий специалист аэродромного строительства, легендарный партизан Елка-Палка, — представил его Мусе Николай.

— А мы с Елочкой уже давно знакомы, — ласково сказала девушка.

— Это когда же вы успели?

— А что, мне нужно вам обязательно обо всем рассказывать? Вот не знала! — ответила Муся и засмеялась дробным, обидным смешком.

— Не надо, — попросил Николай и добавил, вздохнув: — Вы же сегодня улетаете... Совсем...

— Почему совсем? Вовсе не совсем. — Муся вздохнула и, взяв Николая за руку, глядя ему в глаза, пояснила: — Этих ребят я первый раз увидела далеко-далеко отсюда. Они были совсем измученные, вели раненого, тащили больного. Я подумала тогда: вот мелькнули, как во сне, и потерялись в бесконечном мире. А потом была выжженная земля, пустыня, ужас. Мне думалось, только нам с Рубцовой и удалось прорваться. Но, видите, они тоже здесь. Опять встретились!.. Я сдам ценности и вернусь. Должна вернуться.

В волнении Муся стиснула обеими руками пальцы Николая. Чувствовалось, что ей хочется убедить в этом не только Николая, но и саму себя.

Партизан стоял не шевелясь, глядя на девушку сияющими глазами.

Понимая, что еще немножко — и она разрыдается, Муся отпустила его руку:

— Не надо об этом. Не надо...

Николай пересилил себя и принялся рассказывать, как маленькие партизаны во главе со своим изобретательным юным вожаком сделали налет на немецкий дорожный склад, богато разжились там строительным инвентарем, а склад сожгли; как Толя в разгар работ предложил хитрый, им самим изобретенный способ выкорчевки сосновых пней, ухотивших корнями глубоко в землю; как один старый колхозник, работавший на строительстве, называл маленького партизана «министерской башкой».

Муся рассеянно поддакивала, думая о своем. Как удивительно скрещиваются иной раз на

войне человеческие судьбы! Сколько хороших людей встретилось ей на пути из родного города сюда, в партизанский лес: Матрена Никитична, бабка Прасковья, Рубцов, пожилая колхозница и ее сынишка Костя, Анна Михеевна, Мирко, Рудаков, Толя и, наконец, этот большой ребенок Николай, который о себе, о своих делах слова сказать не умеет, но готов часами расхваливать своих боевых товарищей. Со сколькими из них она уже рассталась! Неужели завтра в самом деле ей придется навсегда проститься и с партизанами? Навсегда? А может быть, все-таки не навсегда? Ведь встретила же она Толю уже дважды. Кстати, с кем это он спорит, на кого кричит своим по-мальчишески петушиным, но напористым баском?

Муся и Николай прислушались. Спор шел из-за брезентов, самовольно взятых ребятами со склада для раненых.

— Товарищ Железнов, товарищ Железнов! Вы посмотрите, что только этот ваш замечательный Елка-Палка делает! — послышался из тьмы возмущенный голос начхоза.

— А чего, а чего я делаю? Что же, раненым на траве лежать?

— Всем хорош, только выдержки нет, — сказал Николай Мусе и бросился на выручку своему маленькому помощнику, которому и впрямь за самоуправство угрожала неприятность.

23

Муся присела на мягкую шершавую кочку, опять задумалась. Как странно это бывает в жизни! Давно ли она встретила Николая, давно ли показался он ей смешным, неповоротливым увальнем, а вот теперь... Она смотрит, как выпрямляется молоденькая сосенка, на которую он второпях наступил, слушает издали его голос, и сердце у нее бьется тревожно, радостно. И нет сердцу никакого дела до того, что отряды карателей обложили партизанскую базу, что вот-вот опять начнутся тяжелые бои и на опустевшие сосновые топчаны в лесном госпитале снова лягут раненые и что — кто знает! — может быть, и сама она живет свой последний час. Она готова снова переносить любые лишения, жить в опасности, лишь бы не улететь отсюда, лишь бы не расставаться с этим белокурым богатырем, с которым ей ничто не тяжело и не страшно, в присутствии которого ей хочется сделать что-нибудь смелое, необыкновенное, что изумит его, понравится ему.

Сегодня она не удержалась. Но, конечно, больше она не подаст и виду, что он ее интересуется. Очень нужно! Эти мальчишки все страшные зазнавали и чуть что задирают нос и воображают о себе невесть что. Да и ничего особенного она не чувствует к нему — так, простой человеческий интерес. Вот только почему-то так тоскливо от мысли, что скоро придется с ним прощаться... Ах, эти ценности! Разве мало того, что она уже сделала? Разве обязательно из-за них жертвовать еще и своим счастьем?

Счастьем? Неужели счастьем? Да, да! Зачем притворяться, зачем скрывать от самой себя! Ведь она же любит Николая. Ну да, любит, любит первый и, конечно же, последний раз в жизни...

Но вот скоро посадят ее в самолет. И она повезет за линию фронта этот тяжелый скучный мешок, который и без нее может быть великолепно доставлен. Ведь это подумать только: осталось быть вместе всего каких-то несколько часов!

Небо на востоке уже начинало розоветь. Стало холодно. Краски погожего восхода, опять предвещавшие ясный, тихий день, сгущались и смывали звезды одну за другой. Воздух стал зеленовато-прозрачным. Все вокруг: и лесная опушка, и унылое торфяное болото, и

пятнистая луговина расчищенного аэродрома — вырисовывалось хотя еще и плоско, но уже ясно, отчетливо, когда наконец кусты затрещали и появился Николай.

— А я уж хотела одна идти, — холодно сказала Муся, пряча радость, вспыхнувшую при его приближении. — Я у вас здесь последний день, кажется можно было бы быть повнимательнее...

— Муся, кабы не я, этот Кашей Бессмертный обязательно упек бы парнишку под арест... У Рудакова насчет самовольства знаете как... не помилует.

— И правильно бы упек! Этот ваш знаменитый Елка-Палка вовсе распустился, — непримиримо отозвалась Муся и, дернув плечом, быстро пошла через болото к сизой стене леса.

Николай виновато брел сзади девушки, едва поспевая за ней. Они двигались в том же порядке, как и при первом знакомстве, когда он конвоировал ее в лагерь. И, как тогда, при первой их встрече, в ушах партизана снова звучали слова старого романса. Только сейчас звучали они совсем по-иному. Теперь слышалась в них Николаю песнь молодой любви, которой не нужно ни признаний, ни красивых слов, ни многозначительных взглядов, которая захватывает, покоряет, возносит человека, сама за него говорит.

— Муся, вы не знаете этого романса... на слова Алексея Толстого?

— «Средь шумного бала», да? — Девушка остановилась и выжидающе посмотрела на спутника.

Ее широко раскрытые глаза, мерцавшие в полусумраке раннего утра, казались большими, глубокими, как лесные озера с родниковой водой.

— Чудно, этот мотив все вертится у меня в голове с тех пор, как мы с вами встретились... Как вы догадались?

— Вот так просто и догадалась... — Она вздохнула. — Спеть? Только без аккомпанеента трудно, сложная мелодия.

И над унылым болотом, на дальнем краю которого дрогли в сырой прохладе друг против друга партизанские и вражеские засады, негромко зазвучала песня.

Муся вкладывала в чужие, старомодные слова все, что хотела и не решалась сказать сама, что переполняло ее душу. Она была очень смешна в ватной стеганой куртке с непомерно длинными засученными рукавами, в больших шароварах и грузных сапогах, голенища которых ей тоже пришлось отвернуть. Но именно в эту минуту и в этом виде она казалась Николаю самой прекрасней из всех девушек, каких только он знал.

Он стоял, боясь неосторожным движением спугнуть песню. Губы его беззвучно повторяли вслед за девушкой: «В часы одинокие ночи люблю я, усталый, прилечь: я вижу печальные очи, я слышу веселую речь...» Он шептал и думал о том, какая это пронизательная штука — поэзия, и о том, что почти сто лет назад поэт сумел так хорошо и тонко угадать то, что сейчас чувствует он, партизан Николай Железнов...

Муся еще пела, но острый слух партизанского разведчика уже уловил отдаленный звук приближающихся шагов. Все в нем, привыкшем к внезапным опасностям, уже настораживалось, рука сама тянулась к кобуре пистолета.

— Я плохо пою? — обидчиво спросила Муся, заметив, что Николай не слушает.

— Идут... Кто-то идет, — шепнул партизан, бесцеремонно толкая девушку в кусты и

заставляя ее присесть.

Шаги приближались. Теперь их различала и Муся. Щелкнул предохранитель парабеллума. И вдруг невдалеке над кустами показалась голова Рудакова. Худощавый, поджарый, он легко прыгал с кочки на кочку, а за ним поспешал его адъютант, тот самый фронт с косыми бачками, в скрипучих сапогах, которого Муся почему-то прозвала про себя «дон Педруччио». За спиной дон Педруччио болтался автомат, на поясе висели две гранаты.

Девушка сердито фыркнула и, оттолкнув Николая, вышла из кустов. Но Рудаков их уже и так заметил. Вокруг его глаз лучились хитрые морщинки.

— Чего это вы, ребята, так поздно или так рано... не знаю уж, как точнее сказать... среди болот распеваете? — спросил он.

А когда адъютант услужливо хохотнул, командир неприязненно поморщился:

— А что тут смешного? Солнце еще не встало. Как им сказать — рано или поздно? Нам вот рано, мы уж выспались.

Николай и Муся стояли перед командиром, не зная, куда девать взгляды. Карие глаза Рудакова лукаво шурились. Так вот отчего с такой грустью Николай докладывал, что досрочно закончил аэродром, а она так огорчилась, узнав, что ей придется лететь на Большую землю!

И почему вдруг так покраснела эта сорви-голова, вынесшая сокровища из самого пекла? Даже вон пот на висках брызнул.

— Волкова, ты чего?

— Да вот, товарищ командир, распелась-то я. Нашла время...

— Ну?

— Стишки, песенки... Это сейчас-то... Такая чепуха! Веселые искорки запрыгали в карих глазах Рудакова, бледные губы его тронула едва заметная улыбка.

— Чепуха? Наоборот. Без поэзии, ребята, нам жить нельзя. Без поэзии ночь — это только тьма, труд — только затрата физических усилий, хлеб — только род пищи. Да, да, вы что думаете! Поэзия... Разве это только стихи?...

— А разве нет? — спросил Николай, простодушно глядя на командира, в то время как Муся дипломатично отступила за его спину.

— Вот и говори спасибо, что до экзаменов дело не дошло. А то сразу и схватил бы неуд, — сказал Рудаков, но тут же, точно спохватившись, стер с лица улыбку и почти скомандовал: — Железнов, пойдешь со мной, покажешь мне свой аэродромстрой. Твои чудо-богатыри со своим Елкой-Палкой там? Ладно, договоримся о системе сигнализации.

Николай растерянно взглянул на Мусю.

— А тебя, Волкова, вот он проводит до лагеря. — Рудаков кивнул на адъютанта, просиявшего при этом. — Там проверяют ценности по описи, тебе стоило бы при этом присутствовать. С верхом договорено — в двадцать часов прибывает первый самолет, санитарный. Если все пойдет хорошо, в двадцать тридцать прилетит второй, за тобой. Готовься.

Не ожидая ответа, командир пружинисто перескочил с кочки на кочку и пошел не оглядываясь. Николай, чуть помедлив, тронулся за ним.



Муся холодно смерила с ног до головы сияющего дона Педруччио, остановила взгляд на его косых острых бачках, презрительно прищурилась и, резко повернувшись, быстро пошла по кочкам к лагерю, сразу же оставив позади своего кавалера.

Смотреть, как проверяют ценности по описи Митрофана Ильича, она не стала. В лазарете было пусто и оттого особенно мрачно. Котелок с чаем булькал на чугунной времянке. Анна Михеевна с Юлочкой завтракали. Старуха стала расспрашивать, как устроили раненых, какой за ними присмотр, как чувствует себя каждый из них. Она достала третью чашку и поставила ее перед Мусей. Пить чай после такого утра девушке показалось просто кощунственным. Она торопливо ответила на вопросы. Сославшись на неотложное дело, забрала девочку и направилась, как мысленно сказала себе, «прощаться с лагерем», во всяком случае с той его частью, где по возвращении с аэродрома мог появиться Николай.

Но партизана все не было, и Муся медленно бродила меж землянок, рассеянно слушая болтовню девочки и невпопад отвечая на приветствия встречавшихся партизан.

Лагерь уже пробуждался от сна. Молодые партизаны, в трусах, босиком, обмотавшись полотенцами, побежали на ручей. Старики пофыркивали у глиняных умывальников, висевших под деревьями. Иные умывались в одиночку, поливая себе на руки изо рта. Под тесовым навесом две толстые девушки с яркими, помидорными щеками варили пищу в чугунных, вмазанных в глину банных котлах. Оттуда тянуло запахом клейстера, по которому можно было угадать, что на завтрак будет опять «блондинка», как звали тут всем осточертевшую пшеничную кашу. Поодаль на двух пеньках сидели друг против друга плечистые обросшие дяди, и два других партизана машинками стригли им бороды. Оружие клиентов и парикмахеров лежало тут же, на траве.

Появился радист, несший переписанную от руки утреннюю сводку Совинформбюро. Следом за ним двигалась, все разрастаясь по пути, толпа партизан, среди которых было немало полуодетых и даже не успевших добриться. Радист хлебным мякишем приклеил свой листок к сосне, и люди сразу же тесно сгрудились перед нею.

— Ребята, эй, передние, давай читай вслух! — шумел низкорослый парень в одном сапоге, безуспешно пытаясь что-нибудь разглядеть за стеной плотно сомкнувшихся спин.

Кто-то начал читать сводку вслух. Вести, должно быть, были нерадостные, так как слушали молча и, прослушав, так же молча расходились по своим делам, стараясь не смотреть друг на друга.

Когда у сосны никого не осталось, Муся подошла с Юлочкой к сводке. Ей сразу бросилась в глаза фраза: «После тяжелых боев наши части оставили...» Написана она была менее четко, чем все остальные, словно у того, кто выводил строку, задрожала рука. Фраза эта точно по сердцу резанула девушку. Муся задумчиво отошла от сосны. Но вдруг ей вспомнились полные веры и убежденности слова сельского коммуниста: «Ничего, ничего, разогнется пружина. Чем сильнее сжимается, тем крепче она ударит». Перед ней как бы возник озабоченный хлопотун Рубцов, со своими большими, татуированными, не знавшими усталости руками. И сразу как-то легче стало на душе.

— Подбей ему, чтобы до Берлина не стоптались! — крикнула девушка пареньку, расположившемуся сапожничать под курчавой сосенкой.

Он с сокрушением рассматривал совершенно развалившийся сапог. Владелец сапога, молодой партизан в военной форме, убеждал мастера спасти сапог, сулил ему в виде премии трофейную зажигалку, такую, что не гаснет и на ветру. Оба обернулись на слова Муси. Сапожник приосанился и, выплюнув в горсть гвозди, подмигнул в сторону клиента:

— Я вот, сестричка, говорю: кто ж ему велел так от немцев бегать, что сапоги сгорели?

— А ты не языком, ты шилом работай! Герой нашелся! — хмурился клиент.

Муся пошла дальше.

Из пестрой палатки напротив слышался стрекот швейной машинки и доносилась песня, которую потихоньку вели несколько женских голосов. Там чинили партизанскую одежду, и трое молодых партизан нерешительно топтались у входа, заинтересованно заглядывая за полог и не решаясь войти в палатку.

Все это было буднично, совсем не романтично. Но теперь именно эта будничная деловитость лесного лагеря, со всеми тяготами и опасностями партизанской жизни, с ее редкими радостями и маленькими грешками, делала лагерь для Муси особенно дорогим. Грустно бродила она меж землянок со своей маленькой спутницей. Вслед ей летели веселые, порой не очень скромные замечания, шуточки, но это не смущало девушку: в госпитале она научилась угадывать под внешней, часто нарочитой грубостью лесных воинов чистые, верные и даже нежные души.

Каким счастьем казалась для нее теперь возможность остаться среди этих загорелых, хриплоголосых самоотверженных людей, участвовать в их борьбе, служить им по мере сил, перевязывать им раны... Но, увы, скоро, очень скоро самолет оторвет ее от этого лагеря, от этой израненной снарядами земли...

— Тетечка Мусечка, тетечка Мусечка же, когда можно будет жить дома? Юлочке хочется домой. Тетечка Мусечка же! — теребила девушку ее маленькая спутница.

В голосе Юлочки слышалась обида: тетя Муся не слушает ее, а смотрит куда-то далеко, не поймешь куда, и глаза у нее такие, будто она только что крошила луковицу.

Самая ласковая и веселая из всех теть, каких только девочка знала, в это утро почему-то не обращала внимания на свою маленькую спутницу.

24

Николай не появлялся в лагере весь день.

Когда солнечные лучи, проникавшие в дыры полога, закрывавшего вход в землянку, покраснели, начали меркнуть и по-вечернему громко зазвенели комары, он ввалился в землянку, усталый, запыхавшийся, и, увидев Мусю и Анну Михеевну, радостно брякнул вместо приветствия:

— Вот здорово!

Потом, разглядев, что девушка одета по-дорожному, что стеганая ее тужурка даже завязана уже на все тесемки, а рядом на пустом топчане лежит знакомый ему мешок и на нем офицерский «вальтер» в красной щегольской кобуре, тайна появления которого у Муси давно уже интересовала и даже мучила молодого партизана, он сразу помрачнел и тихо опустился на топчан.

— Шапку бы следовало снять, молодой человек, — заметила Анна Михеевна. — Здесь дамы.

Муся заторопилась, быстро пристегнула кобуру к ремню, крепко подпоясалась, взялась за мешок.

— Вас ведь за мной прислали? — решительно заявила она Николаю и, не давая ему удивиться, торопливо добавила: — Иду, иду! До свиданья, Анна Михеевна, не скучайте. Все ваши требования на медикаменты здесь. — Она хлопнула себя по карману. — Уж я из души у них все вытрясу, не беспокойтесь, до самого главного дойду. Вы ж меня знаете... Может быть, вы возьмете мешок, товарищ Железнов? Тяжелые вещи за дам носят обычно их спутники. Так ведь, Анна Михеевна?

— Совершенно правильно, Мусенька... Береги себя, девочка. Там, наверху, наверное, очень холодно. Не простудись, шею закрой, а то схватишь ангину или бронхитик, какой интерес...

Старуха проводила девушку до выхода, расцеловала ее, сунула ей в карман баночку с мятными пилюлями от кашля — единственное лакомство, которое скрашивало их вечерние чаепития.

Когда они совсем уже распрощались, Муся вдруг спохватилась, бросилась обратно в землянку, к кровати, где, положив толстые ручки поверх одеяла, надув пухленькие губки, спала Юлочка. Девушка прижала к себе сонную теплую головку своей маленькой подружки и на миг замерла. Не просыпаясь, Юлочка охватила руками ее шею.

Николай нетерпеливо кашлянул. Муся осторожно разомкнула руки девочки, поцеловала ее и на цыпочках вышла из землянки.

Молодые люди направились к аэродрому. Часовой, бесшумно отделившись от ствола сосны, спросил пароль. Железнов ответил. Девушка еще раз оглянулась на неярко горевшие уже вдали костры лагеря и решительно взяла Николая под руку. Несколько минут они шли молча.

— Ты будешь меня вспоминать? — спросила Муся, в первый раз обращаясь к нему на «ты».

— Я вас никогда... никогда тебя не забуду... Я тебя, тебя... Это здорово звучит — «тебя», правда?

— Ты думаешь, после войны мы обязательно должны встретиться?

— А как же, непременно!

— Ну, а если наш самолет сегодня собьют, когда будем перелетать фронт, вот и не встретимся.

Муся никогда прежде всерьез не думала о смерти, не боялась ее, но теперь при мысли о ней опечалилась.

— Я буду помнить тебя всегда, пока будет работать хоть одна клетка в мозгу... А вы... а ты, Муся? Ведь меня тоже могут убить. Я не прошу, чтобы ты меня всегда помнила, но хоть изредка вспоминай, хоть иногда. Ладно? Будешь?

И откуда только взялись в этот вечер у стеснительного юноши ласковые слова! Правда, они были не очень вразумительные, зато часто и на все лады склонялось местоимение «ты».

Еще раз их остановили на внешней заставе. Часовой, осветив фонариком счастливые лица, хотел было отпустить соленую шуточку, но, узнав «сестрицу», прикусил язык, спросил, сколько времени, и предложил закурить.

Шли они по высохшему болоту, то и дело натываясь на кочки, кусты цеплялись за их одеждой, ветки иной раз больно хлестали по лицу, но оба ничего этого не замечали, как если б двигались в облаках. Расстояние от лагеря до аэродрома им показалось совсем коротким.

Посреди поляны горел костер. Высокое пламя его освещало знакомые фигуры и лица

маленьких партизан. Толя рассказывал что-то, размахивая руками. Неподалеку от костра, вне освещенной зоны, ходил Рудаков, невидимый во тьме, но легко угадываемый по скрипу новых ремней портупеи, которую он надел по случаю предстоящей встречи с посланцами Большой земли.

Муся отправилась проведать раненых. Лежа на сене, покрытом брезентами, они прислушивались к тишине ночи, взволнованно дымили сигарками. Все были взвинчены, раздражены.

Чувствовалось, что уже не раз вспыхивали между ними ссоры. Появление любимой сестры раненые встретили дружным шумом:

— Забыли они нас, что ли? Лежим тут, как шпалы в кювете.

— Ну что там, сестричка, слышать? Улетим или тут помирать придется?

— Ночь-то проходит, а они там чешутся. Говорили — вечером прилетят, а где они? Немцев ждут? Как раз и дождутся! Фашист, он тоже не дремлет.

— «Уж полночь близится, а Германа все нет», — пропели во тьме, и Муся по голосу узнала Черного. Он не терял бодрости.

— Чу! Тише!

Разноголосый гомон сразу замер. Но, кроме сухого скрипа дергача да отдаленных голосов у костра, ничего не было слышно. Весело, будто для того только, чтобы нарушить тягостную тишину, Черный произнес:

— А мы уж тут по вас, сестреночка, всем коллективом сохнуть начали. Куда ж это, думаем, наша Машенька делась? С меня вон штаны падают, вот как высох!

Шутку поддержали.

— Врет цыган, не верь ему, сестрица. Вон какой разъелся на госпитальных харчах — паровоз «Фэдэ»!

— У него, черномазого, ко всему женскому полу присуха, — прохрипел из тьмы чей-то простуженный голос и сипловато, хохотнув, пропел: — «Эх, да полюбил я сорок милок...»

— Но-но, насчет женского пола помолчим: я человек женатый.

— Эх, жалко, Рудольф выписался, поспорить путем и то не с кем...

С аэродрома донесся ликующий крик:

— Летит! Летит!

Черные фигуры у костра засуетились, заметались. Послышался топот ног, возгласы. Но уже и эта суматоха не могла теперь заглушить приближающийся рокот мотора. Желтоватым бензиновым пламенем, точно вырвавшимся из-под земли, вспыхнули один за другим восемь костров, обрамлявших посадочную площадку. Кто-то ворошил их палками, и целые столбы искр крутящимися смерчами взмывали в воздух. Гул мотора усиливался. Вот самолет плывет уже над головой, невидимый в черном, усыпанном звездами небе. И вдруг всем показалось, что шум начал стихать.

— Уходит... — упавшим голосом сказал кто-то из раненых. — Не наш...

— Вернется! Это тебе не то, что курице на насест сесть. Должен он оглядеться.

— Тише вы! Никак, опять гудит... слышите?

Но слух не улавливал ничего, кроме плача выпи.

На опушке, среди раненых, и там, на поляне, наступила тишина. Костры, которых никто уже не ворошил, больше не взметали к небу сверкающих искр. Теперь они горели ровно и тускло. На их фоне чернели неподвижные фигуры людей.

У Муси сжалось сердце: неужели всех ее питомцев, которые в надежде очутиться на Большой земле так мужественно перенесли трудную дорогу на аэродром, придется увезти обратно в лагерь? Но где-то в глубине сознания звучала радостная, эгоистическая нотка: «Ну и пусть, ну и пусть! Великолепно вылечим их и здесь, в лесу!» Зато она, Муся Волкова, сможет остаться у партизан, и не надо будет ей расставаться с Николаем.

Исчезнувший было звук мотора возник вновь. С новой силой стали ворошить горячие головни, вихри искр опять взмыли в небо. Самолет кружил над головой, то приближаясь, то удаляясь. А на земле в сердцах людей надежда и отчаяние сменяли друг друга.

Наконец в небе вспыхнула и рассыпалась зелеными звездочками сигнальная ракета. Рев винта перешел в свист. Как сказочный Змей Горыныч, изрыгая синеватый огонь, ринулся вниз самолет, чиркнул о землю у самого дальнего костра и, снова, уже с самодовольством победителя, затрещав мотором, стал подтягиваться к большому костру. Партизаны бросились туда, где в свете огня поблескивали крылья гигантской птицы.

Муся подбежала к самолету, когда пилот, приоткрыв дверь фюзеляжа, еще только опускал ноги вниз. Партизаны нетерпеливо смотрели в полутьму открытой двери, где тускло мерцала маленькая лампочка, щупали, гладили сырые от ночной росы крылья машины, точно желая окончательно удостовериться, что это не снится им, а действительно настоящий самолет прилетел с Большой земли.

Летчик спустил ноги и прыгнул, но земли не достиг. Сильные руки подхватили его, подняли, подбросили вверх. Беспомощно кувыркаясь в воздухе, этот человек, только что перелетевший фронт, вопил:

— Ребята, оставьте, с ума сошли! Разобьете! Что за дурацкая мода? Ребята, у меня сердце...

Наконец его поставили на землю. Он жал чьи-то шершавые сильные руки, целовал колючие, заросшие, пропахшие табаком рты, невпопад отвечал на вопросы, которые неслись из тьмы. Казалось, этому не будет конца. Но сзади раздался негромкий, властный голос:

— Разойдитесь, некогда!

Толпа расступилась и пропустила Рудакова. Крепко потрянув руку летчику, он представился:

— Командир отряда Рудаков! Пакет?

Летчик вынул из планшета толстый пакет, засургученный пятью печатями.

Тем временем толпа кинулась к штурману, унты которого уже высунулись из кабины. Но первый порыв радости уже схлынул. Штурмана не качали. Сжатый со всех сторон, он должен был отвечать на сыпавшиеся градом вопросы: как Москва? Где готовится наступление? Что такая за «катюша» будто бы появилась на фронтах? Как она бьет? Спрашивали даже о том, какая там, за линией фронта, стоит погода, как будто на свободной земле даже климат должен быть иным, чем здесь, на оккупированной территории.

Штурман был многоопытный парень, не раз приводивший самолет на такие вот тайные

лесные партизанские аэродромы. Недаром он помедлил выбираться из машины, предоставив партизанам израсходовать самые бурные взрывы радости на менее опытного в этих делах летчика. Штурман стоял среди галдящих людей, большой, косолапый в своем меховом реглане и собачьих унтах. В ответ на вопросы он только улыбался пошире и говорил неизменно: «Хорошо, порядок полный». Именно благодаря этой лаконичности ответов казался он партизанам, истосковавшимся по хорошим новостям, особенно симпатичным и чрезвычайно осведомленным человеком.

Между тем летчик вслед за казенным пакетом передал Рудакову толстый, тщательно заклеенный да еще перевязанный ниткой конверт, надписанный почерком его жены. Командир схватил письмо и, обернувшись к костру, стал было его вскрывать, но, должно быть пересилив себя, сунул поглубже в карман и начал расспрашивать летчика о доставленных грузах. Через минуту в зеве люка показались тяжелые ящики и пухлые тюки с газетами. Руки, тянувшиеся из тьмы, принимали их осторожно и нежно, тихо опускали на землю, как будто в ящиках этих были не сталь и взрывчатка, а тонкий хрусталь или фарфор.

С опушки уже вели и несли раненых. Выяснилось, что самолет за один рейс может взять только шестерых. Раненых же было семеро да один тифозный — знатный колхозник Бахарев, недавно пришедший в отряд. Девятой должна была лететь Муся. Девушка стояла понуриив голову, не принимая участия в общей суете и ликовании. У ног ее рядом с рюкзаком лежал тщательно перевязанный и засургученный мешок. Возле девушки, не отрывая от нее взгляда, стоял Николай; он точно старался навсегда запечатлеть ее лицо, бледное даже при красном свете костра.

Мусе казалось, что она слышит, как у нее на руке постукивают часы. До отлета оставались минуты, и эти минуты неудержимо таяли. Вдруг подошел недовольный, озабоченный Рудаков и сказал, что для приема ценностей со второй, военной, вооруженной машиной вылетел специальный человек и Мусе придется обязательно ждать его прибытия. Юноша и девушка так этому обрадовались, что командир даже рассердился.

— Ветер у вас в голове! — с досадой сказал он.

Муся и Николай улыбались. Так дороги были эти лишние минуты, которые им предстояло провести вместе.

25

Самолет улетел.

Все бросились к тюкам с газетами. Вмиг веревки были разрезаны. Листы бумаги, отсвечивающие от костров, как лепестки гигантских огненных цветов, раскрылись на темной поляне. Газеты читали, щупали, передавали друг другу. На даты никто не обращал внимания. Из статей старались вычитать не только то, что в них было написано, но и то, что, как казалось, могло быть между строк. В каждой военной корреспонденции искали намек на готовящееся контрнаступление.

Чтобы немного самой успокоиться, Муся начала было читать вслух «Правду» старикам. Но из этого ничего не вышло. Каждому захотелось заглянуть в родную газету, девушку затолкали, и читать стало невозможно.

Подошел Рудаков и отвел Мусю в сторону. Конфузясь, смущенным тоном, какой у него странно было и предполагать, он попросил:

— У меня к тебе, Волкова, есть большая просьба, личного, так сказать, характера... Видишь ли, у меня там... — он махнул рукой по направлению, куда ушел самолет, — там семья: жёнка, ребята. Вот пишет: хорошо живем, не волнуйся и прочее. Успокаивает. А я чувствую, что-то их там жмет, туго им... Понимаешь?...

Девушка удивленно смотрела на командира. Ну чего он смущается? Чудак! Разве он не заслуживает, чтобы о его семье как следует позаботились?

— Женка пишет, — продолжал Рудаков, — что хранит до встречи мою новую шубу и какие-то там еще вещички, чтобы, видишь ли, сразу после победы я мог переодеться в штатское и почувствовать себя вполне дома. Как это тебе нравится?... Я тебя очень прошу, Волкова, они живут сейчас в... — Он назвал город, где временно обосновался областной центр. — Тебе там все равно придется быть. Зайди к ним, подбодри. И убеди ее, чудачку, чтобы она все мое продала, сменяла... Бережет! Ой, и народ эти жены!

Должно быть, оттого, что Рудаков всегда так тщательно прятал от окружающих свое личное, было особенно странно увидеть его в роли заботливого мужа, любящего отца.

— Я пойду в обком и прямо скажу. Не беспокойтесь, уж я добьюсь, чтобы им все дали, что нужно.

— Нет, нет, Волкова! Запрещаю, слышишь? Ты, наверное, не представляешь, как сейчас живет страна. Категорически запрещаю! Скажи ей — пусть все продает, ничего, кроме здоровья, не жалеет. Здоровье — самое важное. Ай, чудачка, чудачка!.. И еще прошу тебя, Волкова, когда будешь с ней говорить, никаких там страхов ей не рассказывай. Ни-ни! Она у меня немножко нервная. Скажи, что живу тут спокойно, ну как, скажем, на лесозаготовках. Немцы, мол, там, на фронте, наступают, им не до нас, а мы, мол, здесь наводим свои порядки. Дескать, вольный воздух, природа, на охоту ходим, грибы собираем... Ничего, ничего, не смущайся, она поверит! Ведь когда по-настоящему ждешь, то веришь в то, о чем мечтаешь.

— Товарищ командир! Товарищ командир! — позвал голос начхоза.

Точно кто выключатель повернул: погас на лице Рудакова ласковый, нежный свет. Через минуту командир уже был у костра, холодным голосом отдавал распоряжения. Мусе даже подумалось, не ослышалась ли она, Рудаков ли минуту назад смущенно разговаривал с ней о своей далекой семье.

Вокруг привезенных самолетом ящиков ходили, уже помирившиеся начхоз и Толя. Мальчик читал надписи: «Автоматы», «Патроны», «Тол», «М. мины», а начхоз составлял опись. Оба шумно восхищались щедростью Большой земли.

— Товарищ Железнов, эй, гляди-ка, «М. мины — магнитные! Два ящика!.. Вот затрещат теперь фрицы! — кричал Толя.

Николай и Муся, держа друг друга за руки, стояли в стороне от костров. Их уже не смущало, что кругом много людей. Они не думали ни о чем, кроме того, что скоро, через полчаса — час, снова послышится рев мотора и они расстанутся надолго, может быть навсегда.

«Как только услышу самолет, я его поцелую... слово даю, поцелую в губы!» — загадывала Муся. Николай думал о том же. Он убеждал себя быть мужественным, не терять попусту этих быстро пролетающих минут, но по мере того как минуты эти шли, он все более и более смущался, и его большие руки, бережно державшие тонкие и холодные Мусины пальцы, начали даже слегка дрожать.

Оба они с щедростью юности, не задумываясь, отдали бы по году своей жизни за каждую

лишнюю минуту, которая отдалила бы час разлуки. Даже когда горизонт на юге вдруг засверкал красными сполохами и до аэродрома докатились глухие раскаты артиллерийских залпов, они не вдруг очнулись и не сразу заметили суету, поднявшуюся у костров.

— Товарищ Железнов, к командиру! — крикнул подбежавший Толя. Он тяжело дышал, голос его срывался.

Только тогда дошли до сознания Муси и Николая уже охватившая всех тревога, этот отдаленный гром, зарницы выстрелов и разрывов. Каратели наступают на район центральной базы! Эта мысль сразу вернула молодых людей на землю. Через мгновение оба бежали через поле к костру.

Рудаков был уже в седле. И конь и всадник казались в свете костра отлитыми из бронзы. Пожилой партизан из колхозников, исполнявший в отряде обязанности конюха и коновода, держал в поводу вторую подседланную лошадь.

— Где вы там пропадаете? Видите, что делается! Можно ожидать нападения на аэродром. Второй самолет принимать опасно. Запретите ему посадку красной ракетой... Волкова, останетесь здесь при раненых за старшую. Ваш помощник — этот, как его... ну... Елка-Палка. Мешок закопать, автоматы и гранаты из привезенных обтереть и приготовить к раздаче. Всех, кто может носить оружие, — на охрану аэродрома. Ждите приказа... Железнов, на коня, за мной!

Рудаков пришпорил коня и сразу же скрылся во тьме. За ним на гнедом трофейном мерине затрусил Николай.

Глухой артиллерийский гром звучал все сильнее. У костра разбивали ящики. Новенькие советские автоматы, густо смазанные, обернутые в промасленную бумагу, вызвали всеобщее восхищение. Отдельно были упакованы тяжелые диски, заботливо заряженные еще на Большой земле. Счастливый Толя, опытный в военных делах, помог начхозу и Мусе выставить на подходах к аэродрому засады. Два автомата девушка отнесла Черному и Бахареву, тоже оставшимся до следующего рейса. Схватив оружие, Мирко сразу приободрился, бережно обтер рукавом остатки смазки, попробовал затвор. Глаза партизана загорелись.

— Видать, не судьба лететь нам с вами, сестричка, — сказал он. — Ну, не горюйте, может к лучшему. Эх, мы еще поиграем вот в эти игрушки! — Он любовался новеньким автоматом.

Партизан живо сообразил, как заряжается новое, еще не виданное в отряде советское оружие, и приладил диск.

— Вещь! Наверное, патронов на семьдесят... Пулемет!..

Муся присела возле Черного. С этим человеком было спокойней.

— Что ж вы, Мирко, с первым самолетом не улетели? Были бы сейчас на Большой земле, у своих.

— Мне без вас, сестричка, как машинисту без жезла, пути нет, — не то шутя, не то серьезно ответил партизан.

Мусе опять стало неловко. Черные глаза Мирко сверкали совсем рядом. В свете догорающего костра были хорошо видны его осунувшееся лицо, тонкие вздрагивающие ноздри.

— Сыро стало. Давайте я вас прикрою... Раны-то не болят?



— А, что там раны! — Партизан, порывисто отвернувшись, стал смотреть на зарево разрывов вдали.

Девушка тоже смотрела в ту сторону. Она думала о Николае. Наверное, он уже на линии обороны, в бою, и, конечно, на самом опасном месте. И ей вспомнилось только что услышанное: «Вольный воздух, природа, грибы собираем, на охоту ходим...»

— Что там сейчас делается? — тоскливо прошептала она.

— В атаку, должно, фашист идет, вот что. Ва-банк, все козыри на стол!

— А наши, бедные, как-то они сейчас там?

— «Бедные»! Скажет тоже!.. Это мы вот бедные: в такую минуту валяемся тут, как тыква на огороде... Эх, Маша, мне б ноги, я бы им сыграл на этой балалайке цыганскую! — Черный свистнул и потряс автоматом.

— Ой, что это? Мирко, милый, что?

Артиллерия уже умолкла, сполохи разрывов погасли, и вдруг по всему горизонту четко осветились темные зубцы леса. Багровое неяркое зарево охватило полнеба. Оно росло, ширилось и наконец поднялось, казалось, до самых звезд.

Озадаченные зрелищем внезапно возникшего, непонятного пожара, партизаны, остававшиеся на аэродроме, даже не заметили, как над ними пролетел самолет. Его услышали, когда он пошел уже на второй заход и пророкотал мотором над самой головой. Мягко хлопнула ракетница. Красная звездочка плавно взмыла в небо и, тихо лопнув, неторопливой кометой стала падать вниз.

Муся со смешанным чувством страха и радости слушала, как медленно затихал вдали гул мотора. Уже близок был восход солнца. Нежный блеск молодой зари постепенно гасил зарево. Порывистый южный ветер уже доносил до аэродрома горький запах лесной гари. Муся закопала свой мешок под приметной курчавой сосной, где она простояла с Николаем почти всю ночь. Посыпав хвоей это место, девушка вернулась к Черному и Бахареву.

Оба были в полной боевой готовности. Лежа за молодой сосенкой, с автоматами и запасными дисками, они наблюдали за заревом, постепенно терявшим в свете занимающегося утра зловещие краски.

Раненый и больной тихо переговаривались.

— Он нас из леса выжигает. Факт! Осилить не сумел — огнем, как клопов, выжечь хочет, — говорил Черный.

Старик Бахарев, с мокрыми волосами, с пылающим лицом, все еще находившийся в состоянии полубреда, дико смотрел на седые курчавые дымы.

— Что только делает, что делает! — шептали его воспаленные, потрескавшиеся губы.

И вдруг, вскинув автомат, он прилачился было стрелять, но Черный вышиб у него из рук оружие:

— Лежи, воин!

Он укрыл товарища одеялом и улыбнулся Мусе.

— Что же там происходит? — прошептала Девушка, глядя на облака дыма, уже начинавшего

заволакивать молодое румяное солнце.

26

Отстав от Рудакова на первом же километре, Николай, весь мокрый от пота, на таком же мокром, взмыленном коне добрался до лагеря, когда артиллерийская канонада стихла.

Чуть брезжил розовый рассвет. И хотя туман был еще густ и деревья вырисовывались в нем нечетко, точно отраженные в мутной воде, партизан сразу понял, что неприятельские пушки били не наобум, что удар их был нацелен на центральную базу.

То там, то тут дорогу преграждали поваленные сосны. Под ногами коня неожиданно возникали свежие песчаные ямы с темными, еще не обдутыми краями. Меж деревьев тянуло противной гарью, как будто там жгли гребенку.

Не обращая внимания на понуканья неумелого всадника, конь шел неторопливо, осторожно. Вдруг он заржал и шарахнулся в сторону: у дороги лежал труп партизана, должно быть часового.

В лагере было безлюдно. Партизаны, по-видимому, все дрались на укреплениях. С той стороны глухо доносились частый треск ружейной перестрелки и упрямые пулеметные очереди. У штабной землянки, волоча по земле поводья, щипал траву непривязанный конь Рудакова. Адъютанта в тамбуре не оказалось. Спросив: «Можно?» и не дождавшись ответа, Николай шагнул внутрь землянки.

Здесь все было сдвинуто со своих мест. Подле входа лежали упакованные тюки. У стала склонялись над картой Рудаков, Карпов и еще двое командиров. Рудаков называл окрестные деревни, а Карпов, глядя на карту, мрачным голосом отвечал: «Занята... занята... занята...» Командир на миг задумывался, тер пальцем щетку медных усов, снова наклонялся к карте. В уголке на соломе, укутанная в командирскую, подбитую мехом кожанку, сладко посапывая, спала Юлочка.

Николай не успел доложить о своем прибытии. Вслед за ним в землянку, громко топоча по ступенькам, спустились два партизана, черные, опаленные, без шапок; одежда на них во многих местах была прожжена.

— Огонь! Огонь идет! — прохрипел один, опираясь рукой о стену.

— Горим! — сквозь одышку выкрикнул другой. — Жгут!

Рудаков оторвался от карты. Щуплый, подтянутый, он поднял на вошедших холодные, усталые глаза и вдруг грозно крикнул:

— Как стоите? Докладывать по форме!

Партизан вздрогнул точно от удара. Не сразу отделившись от стены, он опустил руки по швам.

— Горим, кругом все горит, — выговорил он точно во сне.

— Смирно! Докладывать по порядку!

Словно окончательно придя в себя, партизан вытянулся и глухим, срывающимся голосом, но

уже связно рассказал о новой опасности, нависшей над лагерем. Передовые посты, сидя в засадах на внешнем кольце, благополучно, без особых потерь переждали в стрелковых ячейках артиллерийский обстрел. Партизаны приготовились уже отражать атаку, как вдруг заметили, что кругом, спереди, сзади — сразу во многих местах вспыхнул странный, красноватый огонь. Было похоже, что по непонятным причинам вдруг запылала сама развороченная снарядами земля. Потом дружно, с воем и треском занялся мелкий сосняк, и раздуваемый резким ветром пожар, все больше и больше разгораясь, огненным валом двинулся на лагерь.

Рудаков оттолкнул говорившего и в два прыжка выскочил из землянки. В лесу еще стоял прохладный туман рассвета, но весь он, точно кровью, был пропитан темно-багровыми отсветами. Густое зловещее зарево нависало над верхушками сосен.

— Ясно, — тихо и очень спокойно, как будто решив про себя трудную задачу, сказал командир. — Вот они, таинственные шарики. — С минуту он задумчиво тер пальцами жесткую щетину усов. — Карту!

...В лагерь со всех сторон стали стекаться партизаны. Испуганные новым, неизвестным оружием, примененным против них врагом, опаленные, в тлеющей одежде, они, зажимая мокрыми тряпками ожоги на лице, что-то кричали друг другу о товарищах, погибших в огне, вытаскивали из землянок свои вещевые мешки, баульчики, цинковые ящики с патронами.

Среди деревьев показалась шумная толпа. Увеличиваясь на ходу, она валила к штабной землянке. Искоса поглядывая на приближающихся партизан, Рудаков с подчеркнутой неторопливостью принялся закуривать. Он долго обминал пальцами табак, продувал мундштук папиросы, пока передние, крича и размахивая винтовками, не поравнялись с ним.

Командира окружили. Он сунул папиросу в рот, полез за спичками. В толпе возбужденных, гомонящих людей он походил на камень, стоящий среди бурного потока.

— Горит же, кругом горит!

Сзади кто-то зло выкрикнул:

— Папироски раскуривает!.. Эх, мать честная! С таким сгоришь заживо...

Рудаков спокойно смотрел в лица наседавших на него людей, и те невольно опускали глаза под его твердым, холодным взглядом. Все это были новички, вступившие в отряд недавно: колхозники, ушедшие из оккупированных сел; «окруженцы», долго бродившие по лесам, пленные, бежавшие из-под конвоя. Эти люди неплохо сражались в бою, но новое, неизвестное средство нападения, примененное врагом, эта страшная стена огня, которую ветер гнал на лагерь, испугала их. «Что им сказать? Как успокоить этих людей, не закаленных в партизанских боях, еще не изживших в себе страха перед немцами?» — думал Рудаков, с виду совершенно спокойно и даже с удовольствием куря папиросу.

Как на грех, в толпе не было видно ни одного из железнодорожников, каждого из которых командир знал, как самого себя.

— Товарищ командир, после докуришь, давай выводим народ из огня.

— Ему что, он спасется... У него вон конь в запасе...

Толпа шевельнулась, загудела. Николай, Карпов, адъютант плотнее стали вокруг командира, но этим они будто бензину в костер плеснули.

— Чего загораете? От огня вон не загородишь...

Чья-то рука схватила Рудакова за плечо. Командир обернулся. Точно удивившись, взглянул на эту вцепившуюся в него руку, поднял глаза на тощего небритого солдатика в рваной, без хлястика шинелишке, в пилотке без звезды, надвинутой на самые уши, и спросил не очень громко, но так, что услышали даже и те, что шумели сзади:

— Ты чего кричишь?

Солдатик убрал руку и, пытаясь затеряться в толпе, смущенно забормотал:

— А что ж молчать? Сами не видите, что творится?

Теперь уже весь лес был полон дыма.

— А что особого творится? — повышая голос, спросил Рудаков.

— Слепой, не видит!

— Кругом фашист поджег, вот что! Пропадем, как ужак в муравейнике! — загомонили со всех сторон.

— А когда изба загорается, что у вас в деревне делают? — спросил командир, надвигаясь на неопрятного солдатика. — За голову хватаются, орут? Как у вас колхозники во время пожара себя ведут? Ну?

Холодная уверенность командира начинала уже действовать. Голоса звучали спокойнее, рассудительнее.

— Взять оружие и строиться у сигнала! — скомандовал Рудаков. — Кто с пустыми руками вернулся, за оружием обратно в огонь пойдет! Коммунистам и комсомольцам остаться здесь. Остальные разойдись. Исполняйте приказание!

Оставшихся оказалось человек пятнадцать. Коммунисты, комсомольцы и весь рабочий костяк отряда продолжали сражаться на укреплениях в горящем лесу. Тем, кто оказался налицо, Рудаков приказал: одним — помогать Карпову минировать базовый склад и землянки; другим, под руководством адъютанта, — снимать людей с укреплений и организованно выводить их из огня к центральному лагерю, третьим, во главе с Николаем, — руководить погрузкой боеприпасов и раненых на фуры и на коней.

Вскоре стали приходиться люди с укреплений. Все были при оружии, все в задымленной одежде, зияющей коричневыми по краям дырами, с черными, как у шахтеров, лицами. Прямо с ходу они подбегали к ручью и, припав к воде, долго, шумно пили. Большинство из них были железнодорожники, свои, но, покрытые копотью, все они казались на одно лицо, и Николай узнавал их только по голосам. Привели нескольких раненых. Один партизан принес на закорках обожженного.

— Вот, уложите получше, здорово опалился. Из горящего блиндажа отстреливался, уходить не хотел, еле выволокли, — сказал партизан, осторожно опуская свою ношу на солому.

Обожженный был без сознания, стонал, метался и в бреду выкрикивал непонятные слова. Николай узнал немца-антифашиста, которого не раз видел в госпитале у Муси. Кунца бережно уложили на подводу...

Лагерь все-таки покидали организованно. Когда хвост колонны миновал линию внешних застав и партизаны, охранявшие их, влились в общий поток, позади, в глубине леса, послышались взрывы. Один, другой, третий... При каждом ударе воздух гулко сотрясался. Вдруг раздался взрыв такой силы, что дрогнула земля и стремительный вихрь с шумом прошел по верхушкам сосен, сшибая мелкие ветки, сея хвою.

А вскоре, неумело подскакивая на грузном адъютантском коне, колонну догнал Влас Карпов. Худое лицо его было хмуро, в запавших глазах отражалась тоска.

— Ну что, нет уже лагеря? — спросил пожилой партизан, берясь за стремя.

— Дело сделано, — не оглядываясь, ответил Карпов и облизнул потрескавшиеся губы.

— Слыхали твою работу.

— А ежели слыхал, так и нечего спрашивать!

Юлочка, ко всему привыкшая за последние месяцы, спокойно проспала в теплой командирской шубе все время, пока шел артиллерийский обстрел. Николай, которому Карпов, отправляясь готовить взрыв лагеря, наказал посмотреть за дочкой, так, сонную, и поднял ее на руки. Открыв глазки, Юлочка подивилась красному свету, в котором будто танцевали знакомые сосны, пожевала губами и, доверчиво прильнув к груди партизана, опять уснула. Потом ей стало почему-то трудно дышать. Кругом стлался дым. Девочка пожаловалась: «Юлочке во рте горько». Совсем проснувшись, она заинтересовалась, куда это все спешат, и пожелала занять свою любимую позицию на плечах у Николая: так обычно совершала она все походы. Сидеть удобно, все видно, чего же еще! Юлочка то и дело оглядывалась назад, чтобы видеть колонну, темной змеей извивавшуюся в сизоватом дыму. Девочке казалось, что она летит на самолете выше туч. Она развеселилась, даже запела. А когда позади показался отец, ехавший на настоящем коне, Юлочка пришла в восторг. Девочка тотчас же решила, что она не летит, а тоже едет верхом, и стала подпрыгивать на плечах партизана, весело его понукая:

— Но, но, лошадка! Беги скорей!

Юлочка очень огорчилась, когда отец спешил и отдал лошадь, но стоило Карпову приблизиться к ней, как она крепко впилась в него ручонками, перебралась к нему на плечи. Со своей позиции она гордо оглядывала всех этих дядей, которые сегодня почему-то не улыбались ей, не заговаривали с нею и вообще не обращали на нее внимания. Сердятся, что ли? Ну и пусть! Очень они ей нужны! Ведь сегодня отец с нею, никуда не торопится, не говорит, что ему некогда. Крепко обхватив шею отца, девочка наклонилась к его волосатому уху:

— Папаня, куда Юлочка едет? Папаня же!

Это даже не было вопросом. Просто девочка затевала дорожный разговор. Но отец не ответил и только вздохнул.

— Папаня, Юлочка спрашивает, где мы теперь будем жить? Где будет у Юлочки кроватка?

Девочка настойчиво раскачивала голову отца — раскачивала и удивлялась: ее ладошки ощущали на его шершавых щеках что-то мокрое и теплое. Девочка подняла руку, лизнула язычком — соленая. Балансируя ногами, Юлочка ловко наклонилась, чтобы сбоку заглянуть отцу в лицо. Карпов резко повернул голову.

— Папка же! — Дочка капризно надула губы. — Юлочка спрашивает же, где мы будем жить? Разве ты не слышишь?

Наконец партизан ответил глухим, незнакомым девочке голосом:

— Вот под этой крышей, маленькая. — Он показал на розовое небо, что бесконечно простиралось над сизой шкурой дыма, стелившегося по земле. — Высокая эта крыша, доченька! Под ней всем места хватит. И прочная. Ее никакой фашист не разрушит и не зажжет.

Шумная суматоха, поднятая на рассвете новичками, прекратилась сразу же, как только подтянулись к центральному лагерю кадровики отряда, отозванные Рудаковым с укреплений, где они продолжали упорно вести бой. Эти люди умели вносить в сложное, полное неожиданностей, требующее моментальной ориентировки и дерзких решений дело партизанской войны свою профессиональную аккуратность, организованность, свое непоколебимое, поистине «железнодорожное» спокойствие, и уже самое появление их ввело в берега реку, начавшую было рвать плотину.

Резкий ветер, час от часу продолжавший крепчать, быстро раздувал огонь, но из охваченного огнем леса Рудаков вывел свой отряд в походном порядке. Он выбросил вперед разведку, выставил на фланги боевое охранение. Партизанская молодежь под началом Николая, вооруженная автоматическим оружием, была выдвинута во главу колонны. Она получила задачу — в случае обнаружения вражеских засад с ходу атаковать их и пробивать отряду путь на север.

Осмотревшись в горящем лесу, командир сразу понял, что кольцо огня, которым вследствие стоявшей в последние недели суши и резкому ветру фашистам удалось окружить партизанский лагерь, имеет брешь. Она открывала путь в район аэродрома и дальше, в необозримые пространства торфяных болот, отмеченных на карте сплошной бледно-серой штриховкой, с редкими голубыми пятнами небольших озерков и синими жилками ручьев. Было непонятно, почему в такой большой и так тщательно подготовившейся карательной операции вражеский штаб оставил эту брешь открытой. То ли неприятель, потерявший много своих людей при многочисленных попытках взять партизанский район штурмом, не решался забираться в болото, куда он не мог протащить за собой пушки, минометы и броневики; то ли начальники карательной экспедиции, торопившиеся поскорее доложить в ставку о ликвидации партизан, парализовавших движение на дорогах, опасались затяжных боев при круговой обороне и умышленно оставляли этот выход в безлесную болотную пустыню. Могло быть и так и этак. Но скорее всего за этим таится новая, неразгаданная вражеская хитрость.

Но что бы они там ни задумывали, иного выхода не было. Приняв меры против неожиданных засад, Рудаков двинул отряд в эту брешь.

Сразу, как только вышли на болото, Николай приказал авангарду приготовиться к бою. Партизаны вложили запалы в гранаты, висевшие на ремнях, автоматы взяли в руки, спустили предохранители. Боя не последовало, и часам к десяти, когда солнце уже стало ощутительно пригревать спину, авангард выходил в район посадочной площадки. Оттуда ему навстречу, размахивая новенькими автоматами, бежали те партизаны, что ночевали там. Впереди всех были, конечно, ремесленники, среди которых Николай тотчас же заметил своего друга Толю.

На аэродроме сделали первый привал. Партизаны тихо опускались на землю, снимали кладь, но оружие держали поблизости и все время посматривали назад, на юг. Никто не разувался, не перематывал портянок и даже не развязывал тесемки ватников, хотя становилось уже тепло. Так и сидели, хмуро поглядывая в сторону покинутого лагеря. Там, затмевая солнце, качаясь, вставали до самого неба клубящиеся столбы сизого дыма. Южный ветер гнул их к земле, вслед партизанам. Казалось, пожар гнался по пятам уходящих людей.

Командир сидел на пеньке и задумчиво чертил ивовым хлыстиком по земле. Он понимал, что враг, неожиданно применивший эти дьявольские «шарики», не замедлит повторить атаку, как только убедится, что отряд выскользнул из огненной западни. Правда, на карте к северу лесов не было. Сразу же за расчищенной площадкой аэродрома открывалось торфяное

болото, где нет ни дорог, ни селений. Но в такую сушь болото тоже могло загореться. Когда Рудаков был еще машинистом, ему не раз приходилось наблюдать из будки локомотива торфяные пожары — бесконечное море серого, едкого, льнувшего к земле дыма, — пожары без огня, когда невидимо для глаз горит сама почва, пожары долгие и страшные, потому что ничто, кроме сильного ливня, не могло их погасить.

Не в том ли и заключается хитрость фашистов, оставивших выход из огненного кольца?

А небо угрожающе прозрачно, барометр в командирской палатке сегодня утром предсказывал «сушь». Да, нужно выступать, выступать немедленно, двигаться как можно быстрее. Нужно скрыться в болотах, пока каратели не убедились, что в лесу не осталось ничего, кроме разрушенных землянок.

А тут еще новое осложнение. Прибежал расстроенный начхоз и доложил, что ему, при всех стараниях, не удалось погрузить на подводы часть боеприпасов, присланных Большой землей.

— Фуры?

— Сбросили все лишнее. Сам глядел. Даже Анна Михеевна хочет идти пешком.

— Выючить верховых коней.

— Товарищ Рудаков, где ж кони? Их всего пять вместе с вашим. Разве поднимут? А мины — во! — Начхоз поднял вверх толстый палец, перепачканный в ружейной смазке. — Душа рыдает — такое сокровище оставлять!

— А что вы предлагаете?

Начхоз только развел руками.

Рудаков ожесточенно перечеркнул все, что с таким старанием нарисовал прутом на земле. Как не хватало им все это время оружия! Чинили трофейную рухлядь, добытую в бою. Подрывались на самодельных минах. А сколько смело задуманных диверсий прошло впустую из-за того, что эти самodelки в нужный момент не взрывались! Недостаток оружия и боеприпасов мешал отряду расти. И вот теперь, когда Большая земля так щедро снабдила его всем этим, оказывается — немалую часть полученного надо бросить!

— Давай ко мне коммунистов и комсомольцев! — скомандовал Рудаков адъютанту.

Он еще не решил, о чем будет говорить. Просто, по старой привычке, он в трудную минуту обращался к большевикам. Они собрались быстро, как будто сами уже ждали этого приглашения. Все они были при оружии, с вещевыми мешками. Рудаков показал им на еще не початые ящики, с которых начхоз и ремесленники срывали крышки. Под желтой жесткой вошанкой, точно коробки дорогих конфет, были рядами уложены хорошо упакованные магнитные мины, аккуратные кирпичики толовых шашек, коробки автоматных патронов.

— Вот это на подводах не разместилось, везти не на чем. Как, товарищи, быть? — спросил Рудаков.

Партизаны молчали. Каждый имел при себе, кроме оружия и патронов, еще и узелок с одеждой или скатку да мешок со сменой белья, с запасцем хлеба, с разными личными вещичками, такими дорогими и необходимыми в бесприютной, походной жизни. Карманы у многих топорщились от гранат, а минеры, народ пожилой и хозяйственный, сверх того были нагружены взрывчаткой, которую они несли в мешках наперевес.

Все знали: поход предстоит тяжелый. Оставляя лагерь, старались захватить все, что

возможно. И Рудаков понимал: нельзя требовать от людей нести больше того, что они уже несут.

Начхоз умоляюще смотрел на партизан. В колонне утром рассказывали, что этот толстый, румяный мужчина с пышной бородой плакал, как маленький, когда Карпов прилаживал фугасы под устои его базового склада, построенного еще в до эвакуационные времена. Бородач уже спешился, навьючил ящиками своего коня и успел набить военным добром и свой собственный вещевой мешок. Это было все, что он мог сделать.

— Так как же, товарищи? Как же? — растерянно бормотал начхоз, с надеждой поворачивая взгляд то к одному, то к другому.

— Что ж, взрывать будем? — спросил Рудаков.

Начхоз метнулся к ящикам, точно хотел прикрыть их своим телом.

Тогда из ряда задумчиво переминавшихся с ноги на ногу людей вышел Кузьмич. Он положил к ногам автомат, сорвал с себя аккуратный брезентовый «сидор» и, взяв его за углы, вытряхнул на траву все его содержимое.

— Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец!

И, должно быть для того, чтобы пресечь раздумья и колебания, он расшвырял ногами какие-то сверточки, вещички, завернутое в бумагу белье. Только толстый мешочек с махоркой он пощадил и, подняв, бережно запихал в карман.

— Я девица красивая, меня и без приданого замуж возьмут, — подмигнул Кузьмич своим зеленым глазом и протянул начхозу пустой мешок: — А ну, политическая экономия, клади сюда свои конфеты!

И сразу точно прорвало людей. Со смехом, с шутками, будто совершая что-то веселое, они принялись опустошать свои вещевые мешки. На земле валялись полотенца, зеркальца, котелки, запасные ботинки, скатки байковых одеял, сапожный инструмент, даже книжки, которых в отряде было так мало, что они делились порой на несколько частей, чтобы больше людей могло их читать одновременно.

А вместо всего этого начхоз, задыхаясь от усердия, накладывал в опустевшие мешки магнитные мины, коробки с патронами, запасные диски, картонки с толом.

Заметив, что коммунисты и комсомольцы что-то делают возле ящиков, прибывших с Большой земли, остальные партизаны подходили поближе. Понаблюдав за происходящим, поколебавшись, они вскоре поддавались общему порыву и тоже начинали освобождать свои вещевые мешки.

— Не жалея, товарищи! Фашиста прогоним, вернется советская власть — все будет! — ликовал Кузьмич, поправляя на плече потяжелевший груз. — А без советской власти не надо нам ничего, и жизни самой не надо! — И подмигивал Рудакову: — Как, хозяин, не плохое я внес рационализаторское предложение? А? Кузьмин, он хоть и об одном глазу, однако видит повострее некоторых, что полным комплектом глядят.

Между тем Муся и Николай уже откопали заветный мешок и присоединились к партизанам, хлопотавшим у ящиков.

В ворох валявшихся на земле вещей полетели и заветное пестрое платье и лаковые туфли-лодочки. Из всего своего личного добра Муся оставила только расческу — память заботливого Митрофана Ильича.



— Во! Видал-миндал, все и разобрали! — шумел Кузьмич. — Ух, фашистам-утильщикам пожива будет! Доползут сюда, подумают — в рай попали: все под ногами лежит — собирай, как ягоды.

Рудаков рассеянно слушал болтовню старика и улыбался. «Да, предстоят серьезные, может быть страшные испытания. Но пусть даже загорится болото, пусть фашисты зажгут все вокруг — эти люди не дрогнут, не пропадут. Такие прорвутся, выйдут, победят!»

...Через полчаса отряд снова двинулся на север. На месте его стоянки остались только доски от ящиков, густо провазелиненная упаковочная бумага да кучи партизанского добра, разбросанные меж кустов. Горький дым уже обволакивал все вокруг. Солнце тонуло в бурых густых облаках. Над болотом стояли душные сумерки.

Идя пешком в авангарде колонны, покашливая, поминутно протирая слезящиеся глаза, Рудаков благословлял в душе этот дым, прикрывавший отход отряда. И одна мысль неумолчно, как часовой маятник, стучала в его мозгу: «Скорее, скорее, скорее!»

28

Муся и без того была уже достаточно нагружена: мешок с ценностями весил немало. Но, увидев, что даже старенькая Анна Михеевна, надев очки, озабоченно накладывает в свой чемоданчик коробки автоматных патронов, девушка тоже не сдержалась и, выбросив все свои последние вещи, положила поверх ценностей две компактные, но очень тяжелые коробки. И вот теперь она еле шла позади госпитальной фуры, сгибаясь под тяжестью непосильного груза.

Кровь толчками билась в висках. В ушах шумело, будто к ним приставили по большой раковине. Ослабевшие ноги подкашивались, и все труднее становилось отрывать их от земли.

Несколько раз Анна Михеевна предлагала ей сесть на подводу или хотя бы освободиться от своего мешка. Но Муся только отрицательно качала головой. Ведь и другие несли не меньше.

Она скорее упадет на этот сухой, истоптанный мох, чем воспользуется возможностью незаметно освободиться от добровольно взятого груза. Даже сама мысль об этом приводила ее в негодование.

Солнце, скрытое в дыму, продолжало все же нещадно сушить землю. Головной отряд поднимал такую густую пыль, что ничего не было видно. Южный ветер, резко дувший в спины спутникам, смешивал эту пыль с дымом.

Воздух как бы густел. Дышать становилось все труднее. А передние, которых возглавлял, как говорили, сам Рудаков, все убыстряли шаг.

Иногда Мусе казалось, что она теряет сознание. Это было страшнее всего. Конечно, не затопчут, поднимут и груз, наверное, понесут. Но как же тогда она, комсомолка, будет смотреть в глаза товарищам? Нет, нет, она не может ни отстать, ни упасть! Чтобы отогнать от себя предательскую слабость, заставить себя забыть про острую боль в пояснице, в коленях, Муся начинала что-то напевать. Это средство, столько раз помогавшее ей еще в походе с Митрофаном Ильичом, теперь не действовало. Когда перед глазами начинали вдруг роиться сверкающие круги и тошнота подступала к горлу, а земля точно уходила из-под ног, девушка

крепко закусывала губу, и острая боль отгоняла обморок.

Перед Мусей, покачиваясь, как лодка, плыла в волнах пыли последняя госпитальная фура. На ней, вцепившись руками в деревянные борта, лежали пожилой партизан Бахарев, Мирно Черный и Кунц, которого, по требованию Черного, перенесли на их подводу. Каждый резкий толчок причинял им страдания. Немец, лежавший без памяти, скрежетал зубами и тоскливо постанывал. Должно быть, для того чтобы не слышать этих стонов и скрыть свою собственную боль, партизаны бесконечно тянули старинную песню со странным припевом «веселый разговор».

Отец сыну не поверил,

Что на свете есть любовь,

— потихоньку заводил Черный.

Мусе все время казалось, что глубоко запавшие глаза Черного неотрывно следят за нею. Последнее слово Мирко растягивал, и Бахарев, мучившийся в тифу, распаренный, потный, точно только что из бани, тихо и хрипловато подхватывал:

Эх, что на свете есть любовь...

В густом буром месиве дыма и пыли раздавались два голоса:

Веселый разговор...

Затем оба голоса, то сливаясь, то обгоняя друг друга, грустно пели:

Взял сын саблю, взял он остру

И зарезал сам себя.

Эх, да развеселый разговор...

Песня эта, неторопливая и вовсе не грустная, а, скорее, даже озорноватая, отлетев недалеко, сразу гасла в плотном, душном воздухе, но тотчас же возникала вновь.

Девушка слушала бесконечно повторявшиеся куплеты и, стараясь не обращать внимания на взгляды Черного, думала об этих людях, умевших самоотверженно воевать и мужественно переносить страдания. Думала, и ей становилось стыдно оттого, что в голову, помимо воли, снова и снова лезла коварная мысль, что не будет большой беды, если она возьмет да и сложит свой груз на подводу.

«Нет, не сложу, — отгоняла она, как назойливого комара, эту упрямую мысль. — Ни за что не сложу... Пусть это будет маленьким испытанием, настоящая ли я партизанка, заслуживаю ли я этого звания!»

Ноги ее, точно магнитом, прихватывало к земле. Стоило напряжения отдирать и переставлять их. Плечи и поясница ныли. Все чаще и чаще подступала к горлу тошнота, и теперь уже целые рои радужных кругов мелькали перед глазами.

Девушка вцепилась в грядку фуры и сердито приказала себе: «Иди, не падай, не падай!» И тут произошло чудо: мешок за плечами точно потерял часть своего веса. Что это? Радужные круги исчезли. Все впереди стало на место: и фура, и лошадь, и фигуры партизан, неясные в облаке пыли.

Муся оглянулась. Рядом, чуть позади, стараясь приноровиться к ее маленьким шагам, шел Николай. Весь он был точно охрой покрыт. Только глаза оставались по-прежнему ясными и поражали своей удивительной голубизной да ряды ровных крупных зубов прохладно белели за приоткрытыми потрескавшимися губами. Он нес наперевес через плечо два ящика с боеприпасами. Они были небольшие, но, по-видимому, очень тяжелые: веревка так глубоко вдавилась в свернутую куртку у него на плече, что, казалось, перерезала ее надвое. Мокрая майка плотно облепляла его могучий торс, на котором играл каждый мускул. Пот ручейками сбегал с лица, оставляя извилистые следы.

Николай молча снимал мешок с плеч Муси. Она отрицательно покачала головой и отвела его руку.

«Милый, хороший! — подумала она. — Сам несет за троих и еще помогать хочет!» Говорить не было сил, но она не выпустила его горячую ладонь, и прикосновение рук было красноречивее слов.

Где-то высоко в небе гудел самолет. Из-за дыма и пыли его нельзя было рассмотреть, но по «голосу» партизаны угадали, что над ними, где-то очень высоко, висит тот самый вражеский двухфюзеляжный разведчик, который на фронте называли «старшиной воздуха», «рамой», а в партизанских краях — «очками» или «фрицем с оглоблями». Иногда он словно застывал в воздухе и ныл над головой, как комар. Обычно этих самолетов побаивались. Они имели скверное обыкновение во время разведок развлекаться метанием мелких бомб на скопления людей. Но здесь на него никто не обращал внимания.

Люди шли, шатаясь под непосильным грузом, спотыкаясь, падая. Шли, шли, шли, с удовольствием, как маленькую победу, отмечая каждый новый сделанный шаг.

Идя рядом с Мусей и украдкой поддерживая снизу ее мешок, Николай раздумывал над тем, что происходило, «Фриц с оглоблями» висит над их головой. В самый разгар наступления на фронте, о котором столько трещало в последние дни берлинское радио, противник принужден бросать против них, горсти советских людей, действующих в глубоком тылу, войска, артиллерию. Значит, задача партизан выполнена, и, даже отступая, они отрывают от фронта, отвлекая на себя, хоть немножко, хоть самую малость вражеских сил. Пусть база взорвана, а партизанам приходится в этой духоте тащиться без дороги вглубь пересохших болот, навстречу новым, неизвестным бедам и испытаниям, — ничего, ничего! Они продолжают воевать!

— Разве мало таких, как мы? — неожиданно для себя, сказал вслух Николай.

Муся удивленно взглянула на него и поняла: «Он думает о том же, о чем я». Она легонько пожала его руку.

— Муся, это мерзко, конечно, но я не могу побороть в себе не подленькую радость оттого, что

ты не улетела, что ты здесь, рядом.

Девушка облизнула пыльные, сухие губы и еле заметно улыбнулась.

— Ты знаешь, о чем я сейчас думала? — прошептала она. — Я мечтаю, что вдруг вот тут, среди болота, возьмет да и появится перед нами нарзанная будка, какая была у нас в городе на площади перед конторой банка. Мы в перерыв все бегали туда ситро пить... И в будке сколько хочешь зеленых бутылочек, в которых со дна поднимаются прозрачные пузырьки... Ух, здорово!

Ничего не сказав, Николай пожал ей руку и исчез в пыли. Муся снова взялась за борт фуры.

Раненые все еще тянули без слов знакомый мотив, который теперь звучал уже грустно. Огненные разноцветные круги снова поплыли перед глазами девушки. Она пошатнулась, уцепилась за фуру обеими руками. «Только бы не упасть! Тогда уже не будет сил подняться». Выждав такт, она вздохнула поглубже и, стараясь отогнать от себя оцепеняющее забытьё, тихо запела:

Отец сыну не поверил,

Что на свете есть любовь...

Последнюю ноту она растянула, и голос долго звенел в пыльной духоте.

Черный присел на фуру. Улыбнувшись Мусе, он поддержал песню, и они вместе согласно закончили:

Веселый разговор...

Анна Михеевна, дремавшая среди узлов, очнулась и удивленно посмотрела на раненого.

— Эх, сестреночка, хоть песню вместе споем... — начал было Черный.

Но Муся уже запела второй куплет.

Приподнялся на локте Бахарев. Должно быть, бессознательно подчиняясь зовущей силе девичьего голоса, он хрипло подтянул.

Немец перестал стонать и удивленно, даже со страхом смотрел перед собой, стараясь, должно быть, понять, действительно ли поют его немощные соседи по фуру и эта девушка, сгибающаяся под непосильной ношей, или это чудится ему в бреду.

Заводя третий куплет, Муся услышала, что поддерживают ее не только с фуры.

Ну да, колонна подхватила песню. Разрастаясь, ширясь, она уносилась все дальше и дальше, уходила в густую мглу. Как магнит железные опилки, стягивала песня людей туда, где звенел голос запевалы. Колонна уплотнялась. Задние подтягивались. Подле госпитальной фуры сбивалась толпа, неясно темневшая во мгле.

Песня точно свежим ветром овевала усталые лица, будто ключевой водой смачивала

пересохшие рты. Люди поправляли на плечах ящики, мешки, части разобранных пулеметов. И казалось, что груз полегчал, меньше болит натруженная спина и уже не такой душной сушью дышит болото.

Чувствуя и на себе освежающую силу песни, радуясь, что искусство, которому она мечтала посвятить свою жизнь, могущественно даже и в таких невероятных условиях, Муся, как только отзвучали последние слова старинной песни, поспешила завести новую, ту, что по вечерам с особой охотой певали партизаны.

По долинам и по взгорьям,

— почти выкрикнула она, боясь, что ее не поддержат. Но уже много голосов дружно подхватили:

Шла дивизия вперед,

И, чувствуя, что у нее устанавливается связь со всей усталой колонной, девушка закрыла глаза и уже тише и мелодичнее вывела:

Чтобы с боя взять Приморье,

Белой армии оплот.

Эти последние слова заглушил пронзительный разбойничий свист. Засунув два пальца в рот, сверкая белками глаз, свистел Черный, должно быть вовсе позабыв в эту минуту о своих ранах.

Любимая песня захватила всех. И девичий голос, взмывавший в начале куплета, тотчас же тонул в хоре хриплых, усталых голосов, которыми, как казалось, гудела сама мгла.

Чувствуя власть, которую давала ей песня, власть побеждать усталость, жару, жажду, власть бодрить, вселять уверенность, Муся старалась, чтобы песни не стихали, и самозабвенно заводила их одну за другой.

Сначала перепели любимые предвоенные песни: «Катюша», «По военной дороге», «То не тучи грозовые — облака», «Три танкиста», «В путь-дорогу дальнюю». Потом партизаны постарше завели «Кузнецов», «Отряд коммунаров», «Паровоз», «Смело мы в бой пойдем» и даже давно позабытую «Комсомольскую», в которой Муся знала один только удалой и не очень вразумительный припев: «Сергей-поп, Сергей-поп, Сергей — валяный сапог». Потом, когда и эти песни иссякли, придвинувшиеся к госпитальной фуре старики — мастера и бригадиры из депо — запели «Врагу не сдается наш гордый «Варяг», вслед — «Шумел, горел пожар московский», «Златые горы», а дальше уже пошли стародавние солдатские песни с припевками вроде «чубарики-чубчики».

Некоторые из этих песен девушка даже и не слыхивала. Запевали уже другие. Песни,

казалось, рождались сами, и Муся, схватив мотив, подтягивала без слов, думая о том, как хорошо все-таки, что она настояла на своем и пошла в музыкальное училище: как славно быть певицей у такого певучего народа!

Давно ли девушка, как переспевший колос, клонилась к земле под непомерной ношей? И вот она уже идет бодро, прямо, даже не держится за грядку фуры, идет, позабыв о предстоящих испытаниях.

Наконец прозвучала долгожданная команда: «Привал!»

Муся сбросила с себя мешок, помогла раненым и больному сойти с фуры и с наслаждением растянулась на сухом мху. Каждое движение доставляло боль, каждый мускул ныл. Стоило усилий, чтобы сдержать стон. Немного передохнув, она, как опытный пешеход, разулась, осмотрела натруженные ноги. Как ни тщательно обулась она перед походом, пятки все же были намяты и жарко горели. Сорвав седой мох, она зарыла ноги во влажный, прохладный, рассыпчатый подзол.

«Ах, если бы еще глоток воды!» — думала она.

Точно угадав это ее желание, с котелком в руке появился Николай. С закоптелых боков котелка падали светлые капли.

— Еле вас отыскал! Ни черта не видно, такая пылища! — сказал он, протягивая воду девушке.

Сбросив с себя ящики, он с легким вскриком расправил плечи.

Муся припала к котелку сухими, потрескавшимися губами. Она сделала несколько больших судорожных глотков, остановилась, чтобы передохнуть, и тут заметила пристальный взгляд немца.

Кунц молчал. Но его бесцветные глаза, жадно смотревшие из-под опаленных ресниц, казалось, были не в силах оторваться от капель, падавших ей на колени. Девушка быстро протянула ему котелок.

— Данке шен, — благодарно прохрипел Кунц, осторожно принимая котелок в дрожащие руки.

Обожженный немец пил с неистовой жадностью. Глотки шариками катились в горло, шевеля волосатый кадык.

Муся незаметно слизнула с рукава и с подола гимнастерки упавшие капли. Но когда Кунц наконец отвалился от котелка и благодарно вернул его, девушка равнодушно сказала, что уже напилась, и остаток предложила Черному. Тот сердито затряс головой:

— Пей, пей сама!

Котелок перешел к Бахареву. Больной жадно схватил его, допил и даже облизал влажные стенки.

Муся положила голову на жесткий мешок, закрыла глаза, стараясь не думать ни о воде, ни о самолете, гудевшем где-то над головой, ни о том, что снова скоро предстоит идти неведомо куда и неведомо еще сколько.

Она лежала в полной неподвижности, и каждый ее мускул радовался покою.

Отряд шел уже двое суток.

По-прежнему над однообразным, унылым болотом стояла сухая мгла. По приказу Рудакова суточный рацион был снижен до полутора сухарей, а последние личные запасы были уже доедены. Однако двигались, не сбавляя темпа. Понемногу втягиваясь в поход, люди шли даже легче, чем в первый день. Подспорьем в питании служили ягоды гонобобеля да рано созревшей клюквы, которой в этих нехоженных местах было так много, что иные кочки издали казались розовыми, а ягоду можно было собирать горстями. На привалах котелки и фляги наполнялись водой. Паровозники, привыкшие к жару топок, научили других воду эту в дорогу слегка подсаливать. Тех, что следовали этому совету, меньше мучила жажда.

Большинство шли теперь босиком, подвесив сапоги и ботинки к вещевым мешкам. Карателей по-прежнему не было слышно, и только вражеский воздушный разведчик, теперь уже не «фриц с оглоблями», а небольшой самолет, который получил в колонне прозвище «костыль», не отставал от партизан, все время кружил поблизости, должно быть легко находя колонну по бурому хвосту пыли, долго стоявшему в неподвижном воздухе.

Этот «костыль», издали похожий на журавля с поджатыми ногами, не отставал от колонны, но и не обнаруживал никаких враждебных намерений: не обстреливал, не бросал бомб и даже не приближался. Вот это-то больше всего и беспокоило Рудакова. Он чувствовал, что штаб карателей не сводит глаз с колонны и что-то, очевидно, подготавливает. Но что можно было этому противопоставить? Кругом, на сколько хватал глаз, простирался серый кочкарник, поросший маленькими, подагрическими деревцами. Зайцу и то негде было спрятаться, а не то что большой колонне с обозом и вьючными конями. Единственным спасением было — поскорее миновать открытые места, достичь леса. Командир все чаще поглядывал на карту, укорачивал отдых и торопил людей.

На заре третьего дня он послал Николая с тремя комсомольцами обратно — разведать уже пройденный пучь. Разведчики вернулись усталые, возбужденные, бронзовые от покрывавшей их торфяной пыли. Предположения командира оправдались. Вслед за колонной, отстав от нее километров на десять, двигалась в пешем строю крупная вражеская часть: это были эсэсовцы, как определил разведчик по черным мундирам врагов. Их сопровождало десятка два вьючных коней с пулеметами и минометами небольших калибров. Николай, ближе других подползавший к вражескому бивуаку, заметил, что преследователи очень утомлены, обносились, отощали, заросли грязным волосом.

Все решала скорость. Рудаков поднял своих уже расположившихся было на дневку людей и, нарушив им самим установленный порядок ночного движения, приказал немедленно выступать. Колонну он перестроил. Сильный авангард он заменил немногочисленной разведкой. Вслед за ней пошли повозки с боеприпасами, продуктами, с ранеными, затем — малобстрелянные и неопытные еще новички. Хвост колонны Рудаков прикрыл сильной, боеспособной группой из железнодорожников. Поставив колонновожатым Власа Карпова, сам он вместе с адъютантом и начальником штаба перекочевал в арьергард.

Теперь во главе колонны шагал высокий человек с маленькой белокурой девочкой на плечах. Лучшего колонновожатого Рудаков не мог и придумать. Партизаны любили молчаливого Карпова. Идя во главе колонны, он нес дочь как боевое знамя, как символ Родины.

Девочка то дремала, привалившись к голове отца, то что-то лепетала, озираясь вокруг. Отец ее не слушал. Неутомимо и широко он отмеривал размашистые, упругие шаги.

— Папа, папа же, гляди — опять самолет! Вон он, костылик вчерашний. Видишь, кружит?

Карпов вострепнулся. В этот день с рассвета навстречу колонне дул сильный и острый северный ветер. Он дышал бодрящей прохладой, относил в сторону поднимаемую ногами сухую бурю торфяную пыль. Горизонт очистился, и приближающийся самолет был хорошо виден. На старого знакомого партизаны не обратили внимания. Когда же самолет, снизившись, попытался пролететь над колонной, они открыли стрельбу из винтовок и отогнали его. Самолет отвернул в сторону и ушел обратно.

О нем уже забыли, когда вдали вновь послышался неровный нарастающий гул.

— Папа, гляди, костылик еще костыликов ведет! — радостно объявила Юлочка.

Сидя у отца на плечах, она словно бы выполняла обязанности поста воздушного наблюдения.

Партизаны оглядывались. Шесть темных черточек висели в небе над болотом. Приближаясь, они быстро росли...

— Колонна, рассыпья! — донеслась издали команда.

Но бывалые люди уже и сами разбежались по сторонам и, рассыпавшись, замерли меж кочек. Только вороненные стволы винтовок поднимались с земли навстречу приближавшимся самолетам.

Самолеты опять обошли колонну, опередили ее и вдруг пошли перед ней по широкому кругу. Они летели неторопливо, низко, и было видно, что от хвостов у них отделяется и падает что-то мелкое, едва приметное, точно бы горох. Лежа меж кочек, партизаны гадали, что все это могло бы значить. А самолеты продолжали описывать все более широкие полукружия, постепенно удаляясь на север.

Так как ничего не взрывалось, люди успокоились, поднялись. Колонна снова тронулась в путь.

Моторы уже стихли вдали, когда вдруг на местах, над которыми только что кружили самолеты, появились красноватые неяркие огоньки и серые дымки. Частокол из этих дымов как бы преградил колонне путь. Он поднимался все выше и выше. Северный ветер ломал столбы дыма, гнул их навстречу партизанам, серой лохматой шкурой расстилал дым по болоту.

К голове колонны, прилегая к шее взмыленного коня, проскакал галопом адъютант командира. Из уст в уста передавалась команда Рудакова: «Нажать, двигаться скорее!»

Дым быстро окутывал болото. Душно запахло гарью. Все поняли, что фашисты подожгли впереди колонны торф и что пожар, быстро раздуваемый ветром, наступает на них с севера, с запада и с востока, как бы беря колонну в клещи. Только сзади виднелся затуманенный горизонт, казалось — только там было спасение.

Влас Карпов нахмурился. Он бережно снял притихшую дочку с плеча, прижал ее к груди, укрыл полами куртки и быстро пошел, почти побежал навстречу разгоравшемуся пожару. Молодые автоматчики, шедшие в авангарде, двинулись за ним. Подпрыгивая на кочках, переваливаясь с боку на бок, потянулись подводы и госпитальные фуры.

Но средняя часть колонны, где шли новички, затормозила движение, сбилась в кучу. Люди то с надеждой оглядывались назад, где еще оставался не затянутый дымом проход то со страхом смотрели на группу авангарде и обоз, быстро приближавшиеся к багровой кромке огня.

Передние уже исчезали, точно таяли в дыму. Послышался конский топот.



Рудаков обводил партизан прищуренным взглядом. Он точно прицеливался — лицо было спокойное, а веки вздрагивали от напряжения.

— Вот что... — сказал он негромко. — Вот что: каждый, кто тут паникует, хочет он того или нет, помогает фашисту. Понятно? Агитировать времени нет. Паникеров буду расстреливать сам. Поняли? А теперь — вперед. За мной!

Рудаков подхватил коня за повод, бросился в направлении разгоравшегося пожара. И все, кто минуту назад толпился в страхе и нерешительности, теперь будто сорванные и подхваченные вихрем, кинулись за ним в дым, точно даже боялись оторваться от своего твердого, уверенного командира. Потом двумя четко обозначенными цепями быстрым шагом проследовала за ними гвардия отряда — железнодорожники, прикрывавшие его с тыла.

Кольцо пожара вблизи оказалось не таким уж страшным. Пока что тлел только мох. Торф не успел разгореться. Зажав рты и носы рукавами, полами гимнастерок, люди бежали прямо по низкому пламени, вздымая столбы черной золы и искр. Труднее было провести через пламя храпевших, взвывающихся на дыбы коней. Но и их в конце концов вывели.

Только надутые шины госпитальных фур полопались от жара. Раненых стало невероятно трясти на кочках. Их пришлось пересадить на верховых лошадей, привязать ремнями к седлам. Бахарева водрузили на командирского коня. На плечи ему накинули одеяло, концы которого завязали на груди. Он был в бреду, и все почему-то казалось ему, что он мальчишкой едет в ночное. Старик подскакивал в седле, бил пятками коня, которого Муся вела под уздцы. Изредка она оглядывалась на больного. Его глаза на обросшем, исхудалом лице горели мальчишеским азартом, серые губы улыбались. Девушке становилось жутко.

Недаром вражеские самолеты так долго кружили над болотом. За первой грядой еще не разгоревшегося пожара оказалась вторая, за второй — третья. Ветер раздувал тлеющий мох, кое-где уже просачивалось на поверхность красноватое низкое пламя. Горький дым густел и становился все более удушающим. Но то, что хоть раз сумеешь преодолеть или победить, уже не пугает на войне.

Партизаны, ровняясь на темневший силуэт идущего впереди, ускоряли шаг. Жгучие тучи золы и искр вздымались из-под ног. Загораживая лица, дыша через материю, люди старались не потерять направления, не заблудиться в дыму. Более крепкие вели обессиленных, несли их оружие. Некоторых пришлось тащить на руках. Шли, все время перекликаясь.

Муся, порой ничего не видя перед собой и ориентируясь на крики, вела лошадь, на которой качался тифозный. Бахарев то стонал, то скрежетал зубами, то вдруг принимался хохотать. Надо было следить за тем, чтобы он не отвязался, не упал в тлеющий мох, не задохнулся в дыму. Забота о больном и беспомощном человеке отвлекала девушку от тягот этого страшного пути.

Сколько они шли в этом горьком, жгучем дыму, что сейчас — день или вечер, девушка уже не могла сказать. Где-то, уже в конце пути, она случайно наткнулась на Николая, но отнеслась к этой встрече равнодушно.

За плечами у юноши, кроме прежнего груза, болталась еще чья-то винтовка. Обняв за плечи, он помогал идти какому-то пожилому человеку, который громко стонал:

— Ой, силов нет, внутренность дым выел! Ой, не бросай меня, парень, ноги не идут! Ой, смерть пришла!

Николай не заметил Мусю. Лицо у него было как каменное. Ведя старика, он прошел мимо скованным шагом, устремив взгляд вперед.

И снова шли, шли, шли...

Муся была в таком состоянии, что даже не помнила, как она взобралась на какую-то песчаную горку. Дым поредел. Запахло хвоей. Под ногами захрустел суховатый вереск. И только тут, вдохнув посвежевшего воздуха, девушка остановилась и огляделась вокруг. Русло почти пересохшего ручья влекло партизан к песчаному склону какого-то холма. Здесь высились стройные мачтовые сосны; янтарные стволы пламенели в оранжевых лучах заката.

А внизу, у подножия холма, темный с седыми подпалинами дым низко стлался до самого горизонта. Из этого бурого, лениво клубящегося моря, пошатываясь, поддерживая друг друга, выходили закопченные люди. Они невысоко поднимались по косогору, жадно хватали раскрытым ртом воздух и тут же падали на землю. Весь скат темнел от бессильно лежавших тел, а из мглы продолжали возникать все новые и новые фигуры.

Опять появился Николай. Он был уже один, без старика, но с ящиками, с автоматом и винтовкой. Девушка окликнула его. Голос ее был совсем слабый, Николай не услышал. Опираясь спиной о дерево, он обводил глазами скат, усеянный лежащими партизанами. «Меня ищет», — догадалась Муся и тихо улыбнулась.

Чувствуя, как и ее саму неудержимо тянет тоже опуститься на землю, она сняла больного партизана с седла, устроила его под сосенкой, хотела было привязать к дереву повод, но не хватило сил, и она прикорнула у ног коня.

Быстрые осенние сумерки стирали очертания окружающего. По мере того как тьма густела, все ярче, все острее разгорались звезды. Над самой головой Муси протянулся Млечный Путь. Потом из-за горизонта показался большой зловеще красный диск. Поднимаясь выше, он постепенно светлел. По земле разлилась чистая и острая прохлада. Точно посеребренные, выступили из тьмы стволы сосен. А под ними, далеко внизу, простерлось бесконечное болото, сплошь покрытое белесым, с живой багровой подпушкой дымом. Все еще жадно вдыхая холодный воздух, Муся закрыла глаза и сейчас же уснула. Но и во сне она продолжала идти, идти через силу, волоча подгибающиеся ноги.

30

Так шла она во сне по дороге, которой не было конца. Вдруг что-то остановило ее. Девушка испугалась. Ведь нужно же идти, идти во что бы то ни стало! Но что-то непонятное, страшное держало ее на месте, не пускало. Напрягая силы, она рванулась и... открыла глаза. Холодная луна светила в лицо так ярко, что на миг Муся зажмурилась. Когда она снова открыла глаза, над ней склонилось сердитое лицо адъютанта.

— Наконец-то! Ну и спишь ты! — говорил он. — Быстро к командиру! Я и так час тебя искал да полчаса будил.

Муся вскочила, испуганно оглянулась, ища коня. Конь, дремля, стоял тут же под сосной. Привязав повод, девушка подняла на свои натруженные плечи тяжелый мешок и пошла следом за адъютантом. Она шла, поеживаясь от холода, нервно зевая.

— В чем дело, не знаешь? — осведомилась Муся.

— Там скажут, — вздохнул адъютант, и по уклончивому его ответу девушка поняла, что ничего хорошего ее не ждет.

Костры догорали, слабо рдея углями, а иные и совсем потухли. Всюду лежали спящие люди.

Слышались тяжелый храп, непонятное бормотанье. Кто-то кричал во сне. Бодрствовали только часовые, возникавшие из тьмы то там, то тут.

У большого костра на каких-то узлах спала Юлочка. Возле, на разостланной плащ-палатке, лежал Рудаков, задумчиво грызя кончик карандаша. Даже не оглянувшись на адъютанта, приближение которого он угадал по скрипу сапог, командир проворчал:

— Вас только за смертью посылать! — И, обернувшись к Мусе, он сказал: — Садись, Волкова, длинный разговор будет.

Муся села, посматривая на Рудакова и стараясь угадать, зачем ее позвали. Но тот почему-то стал расспрашивать ее о лесном лагере «Красного пахаря», о поголовье скота, о характере урочища в районе Коровьего оврага, о дорогах, ведущих туда. Потом он развернул западный конец карты, склеенной на сгибах целлофановой бумагой, и долго рассматривал ее.

— Переходили речку вы тут? — спросил он, ткнув карандашом в голубую жилу, вьющуюся по карте.

Девушка глянула ему через плечо, прочла знакомое название деревни.

— Тут. А что?

Не ответив, командир попросил поподробнее описать подходы к броду, сам брод.

— Мы пойдем туда? — оживляясь, спросила Муся. У нее появилась надежда увидеться с Матреной Никитичной, бабкой Прасковьей, Рубцовым, о которых она теперь думала, как о родных.

— Возможно, возможно, — ответил Рудаков и, положив карандаш на карту, покосился на лицо девушки, на котором боролись тревога и радость. — И не возможно, а факт! Можешь писать письмо своей подруге. Дней через десять вручу.

— Письмо? Зачем письмо? А я?

— Ты пойдешь в другую сторону, на восток, будешь пробираться через фронт, — твердо сказал Рудаков глядя в глаза Мусе. — Последний приказ штаба гласит: доставить ценности. Второй самолет, прилетавший за ними, мы принять не сумели. Так? Ну вот, нужно их нести.

Девушка испуганно и с обидой смотрела на командира:

— А почему обязательно мне?

— Во-первых, потому, что у тебя есть опыт. Да, да, и не маленький. Во-вторых, я не хочу лишать тебя возможности довести до конца то, что ты так хорошо начала. И, в-третьих, приказ командира не обсуждается, партизанка Волкова.

Эти последние слова Рудаков произнес сухо, жестко, но, заметив, что серые глаза девушки заплывают слезами, торопливо добавил:

— С тобой пойдут этот... ну, все забываю фамилию... ну, ремесленник... как его... ну, Елка-Палка... и Николай Железнов... Железнов будет начальником группы.

Видя, как сразу засияли глаза девушки, командир заговорщицки усмехнулся:

— Теперь возражений нет? Ну, то-то! Я знаю, кого к кому прикомандировать. Вместе душещипательные романсы по дороге петь будете, чтоб веселей идти... Так вот, пиши письмо подружке. И родителям напиши... Мало ли... — Он помедлил, но сейчас же

спохватился: — Мало ли что на войне бывает, может мне вперед тебя удастся письмо доставить. — И, должно быть для того, чтобы поскорей загладить обмолвку, он сердито спросил адъютанта: — Разведчики вернулись?

— Никак нет! — вытянувшись, доложил тот.

Рудаков поморщился, точно от зубной боли.

— Ступайте. Как вернутся — доложите. А ты, Волкова, оставайся. Возьми в моем планшете бумагу и берись за письма. Тут вот и пиши, — сказал Рудаков, снова склоняясь над старой картой. — Не люблю быть один, вот просто не могу, привык среди людей толочься.

— А Николай... товарищ Железнов согласился? — поинтересовалась Муся.

— Что? — не сразу оторвался от карты командир. — Ах, Николай! Попробовал бы он не согласиться... на таких условиях... Так, говоришь, на броне грунт каменистый? Гряда на перекате широкая, фуры пройдут?

В неровном свете то затухающего, то вновь разгорающегося костра холодные звезды то тускнели, то ярко мерцали на бархатном фоне сентябрьского неба.

Разложив на командирском планшете бумагу, Муся обдумывала свое письмо.

Что написать родным? Рудакову не удалось спрятать свою обмолвку, девушка успела подумать и оценить его «мало ли что». Но и без этого она понимала, на что идет. Да, нужно написать такое письмо, чтобы и мать, и братишки, и сестренка знали, какой была она, о чем думала... Обычно девушка даже и в мыслях избегала слова «смерть». Но в эту минуту не думать о ней она не могла. «Э, что там мудрить, напишу, как получится!» — решила Муся.

Карандаш быстро забегал по бумаге. Мысли разом нахлынули, и она едва успевала записывать их.

«Дорогие мамочка, папа, сестричка Клавочка и братья Витя и Вовик! — писала она. — Я иду на важное задание, на какое — может быть, потом вы узнаете, и потому хочу поговорить с вами, дорогие мои. Вы простите меня за то, что я доставляла вам столько хлопот и огорчений, что не послушалась и не уехала с вами тогда. Но, откровенно говоря, я об этом не жалею. Ведь я не со зла так поступила, ведь я хотела учиться любимому делу, а дело прежде всего, как любит говорить папа... Дорогие мои и родные! Вы, может быть, думаете, что сумасбродная ваша Муська забыла вас? Нет, я помню о вас всегда, вы всегда со мной, и когда мне становится очень трудно, я думаю о своей родной мамочке и мысленно беседую и советуюсь с ней.

Может быть, кто-нибудь из моих эвакуированных подруг наврал вам, что я погибла, или, кто их знает, наболтал, будто я осталась с немцами. Так не верьте, это ложь. Я жива, здорова и работаю для нашей милой Родины, хотя где и как — написать сейчас не могу. Но верьте мне, потом все узнается. Я живу и борюсь, может быть, и не так, как бойцы нашей славной, героической Красной Армии на фронте борются, но тоже здорово, и делаю все, что могу, и жизни своей не жалею. Так что вы не стыдитесь своей непослушной Муськи. Характер у меня, правда, плохой, но душой я никогда не кривила, и если будет нужно для Родины, то, как член комсомола, выполню любое задание, а если надо — погибну за коммунизм...»

Муся представила себе, как мать будет читать ее письмо, читать и плакать, а вокруг нее будут стоять, хлюпая носами, братишки и эта, какая-то совершенно неизвестная сестренка, которую она видела только крохотным, только что народившимся существом. Девушке стало жалко их всех и особенно самый себя. Теплый комок подкатил к горлу. Муся упрямо тряхнула головой.

«Дорогая мамочка, папа, милые братишки и сестренка! Но вы не бойтесь, я не погибну. Я знаю, что выживу, мы победим фашистов, и я снова возьмусь за свое пение. Воевать еще придется много, и мы, наверное, долго не увидимся. Я не жалею, что попала сюда, потому что пока фашисты топчут нашу землю, какая же может быть учеба! Разве какое-нибудь пение в голову пойдет? Вот победим — и заживем счастливо. Я кончу училище и приеду к вам.

Ты представляешь себе, мамочка: приеду актрисой, везде афиши, аршинными буквами написано: «Солистка Мария Волкова». Вы сидите в первом ряду, а я выхожу на сцену в длинном вечернем платье, и папа спрашивает тебя: «Неужели это наша Муська-Ежик? Вот не ожидал!..» Ой, размечталась я! Разве об этом сейчас думать надо! Но без мечты и без поэзии, как говорил тут у нас один умный и хороший человек, ведь нельзя ни работать, ни жить, ни воевать. Правда, мамочка?..»

Муся перечитала написанное и задумалась. Нет, письмо ей не удавалось!

Снизу, от подножия холма, где курился посеребренный луной дым, несло промозглым, осенним холодом. Ледяная луна блестела в небе. Брр! Муся погрела над огнем руки, печально вздохнула и приписала:

«Крепко, крепко всех вас обнимаю, моих родных, любимых и дорогих, все время думаю о вас, мечтаю о встрече. Ваша Муська-Ежик».

Она не успела заклеить конверт, как из тьмы к костру вышел Николай. Он был такой черный, что лица его на темном фоне неба нельзя было разглядеть, и только зубы да белки глаз золотисто поблескивали отсветом пламени.

— Противник приближается к высоте вот оттуда, с юго-востока. Сейчас километрах в семи, — доложил разведчик, косясь на Мусю, на конверт в ее руке.

Девушке показалось, что от этой вести Рудаков вздрогнул и еще ниже склонился над картой, точно на спину легла какая-то тяжесть.

— Но идут медленно, по той же самой низине, что и мы шли, вдоль ручья. Свернуть им некуда, кругом горит, — продолжал Николай. — Растянулись... видать, совсем уже выматываются.

Командир вскочил на ноги:

— Адъютант, будите людей Карпова. По левому краю холма, вон там и там, копать пулеметные гнезда. Копать в полный профиль. Прочно. И чтоб у меня не спать на ходу!

Подождав, пока скрип сапог адъютанта стих, командир обернулся к Николаю:

— Смотри на карту. Мы будем сейчас отходить на запад. Вот по этой насыпи узкоколейки, по которой торф возили. Видишь? Она песчаная, ее никакой химией не подожжешь, а кругом пусть горит, даже лучше: с фланга не обойдут... Мы пойдём, а ты, она, — он кивнул на Мусю, — и это твой Елка-Палка пойдёте на восток... Ну, чего смотришь? Правильно понял: именно на восток. Вот хотя бы по этой осушительной канаве. — Он показал на карте черную линию пунктира, протянувшуюся от высоты через болото к лесу, пятна которого зеленели у самого обреза карты. — По канаве идти верней, она и сейчас полна водой, безопаснее от пожара. Понял?

Рудаков выпрямился и вдруг, как бы сразу превратившись в настоящего кадрового офицера, холодным, металлическим тоном произнес:

— Партизан Железнов, вы — начальник группы. Приказываю вам любой ценой доставить через фронт ценности. Ясно? За сохранение отвечаете головой.

Николай и Муся сразу тоже подобрались и застыли в положении «смирно».

— Есть доставить ценности, товарищ командир! — коротко отрубил Николай.

Рудаков, поеживаясь, наклонился к костру, зябко протянул худые руки. Николай сходил в лес, вернулся с охапкой хвороста, подбросил сухих веток. Костер затрещал, завихрилось желтое жаркое пламя; искры полетели к небу. Звезды погасли. А тьма, обступившая костер, сразу уплотнилась. Откуда-то с опушки уже слышались голоса, позванивали, стучаясь друг о друга, лопаты, топор гулко рубил дерево.

— А зачем же укрепления, товарищ Рудаков? — поинтересовался молодой партизан.

— Все же уйдут! — добавила Муся.

Рудаков еще ниже склонился к огню. Девушке показалось, что на вопрос этот ему тяжело отвечать.

— Укрепления? — Он вздохнул. — Укрепления для обороны. Их надо будет держать, пока мы не оторвемся от противника.

Командир выпрямился, стукнул сапогом по торчавшей из костра головне. Целый вихрь искр взмыл в ночь.

— Ну, ступайте, готовьтесь в путь. Начхоз выдаст по вашей заявке все лучшее, что имеем. Лишнего не набирайте. И еще: мальчика этого предупредите, я с ним уже говорил. Кстати, а нужен ли он вам? — Рудаков по очереди испытующе посмотрел на молодых людей.

Муся и Николай опустили глаза. Почему командир об этом спрашивает? Ну, конечно же, нужен! Этот ершистый, сердитый, пронырливый и смелый паренек может стать незаменимым товарищем в пути. Лучшего и не найти.

— Ладно, идите втроем, — согласился командир.

Пока Николай и Толя тщательно распределяли и раскладывали по мешкам багаж, Муся, уверенная, что они отлично управятся и без нее, прилегла в кустах, на подстилке из хвои, и вскоре задремала. Сквозь дрему она слышала, как спутники ее пыхтели над мешками, слышала и улыбалась. Приятно было сознавать, что кто-то о тебе позаботится.

31

Уже приближался час рассвета. Побледневшая луна опускалась за лес. Всё: деревья, трава, песок и даже одежда партизан — подернулось кристалликами инея. В этот предрассветный час коммунистов и комсомольцев позвали к командиру. Сбор состоялся у госпитальной фуры.

Муся с Николаем пришли, когда все были уже на месте. Явилась даже старенькая Анна Михеевна. Был тут и раненый Черный, которому, должно быть, кто-то помог сюда прийти. Он сидел у сосны, опираясь спиной, и сосредоточенно строгал какую-то палочку.

— Товарищи, нам предстоит еще одно тяжелое испытание, — просто сказал Рудаков. — Мы вынуждены передислоцироваться в новый район, на запад. Железных дорог там много, без работы скучать не придется. А леса там громадные, на сотни километров — их не зажжешь.

Командир остановился, потер ладонью шершавые усы. По этому жесту коммунисты, знавшие его много лет, поняли, что он готовится перейти к главному.

— Двинемся на запад по насыпи узкоколейки. Она начинается тут, за холмом. — Рудаков взглянул в лица товарищей, быстро и твердо закончил: — Но наш отход нужно прикрыть. Понимаете? Прикрыть минимум двумя ручными пулеметами. Вот с этой высоты надо преградить им выход с поймы ручья на холм. В обход их не пустит огонь. Нужно держать их, пока колонна не оторвется, пока хватит сил держать. Вот так.

Стало тихо. Только снизу, с сухого болота, должно быть очень издалека, ветер доносил гулкое потрескивание горящих деревьев. Лица у партизан были задумчивые.

— Нужно двух охотников, хорошо знающих пулемет, — тихо сказал Рудаков. — Я говорю — охотников, потому что придется биться до последнего. Это должны быть люди, которым мы верим. Вот и все.

Сердце Муси забилося. Вот подвиг, о котором она столько мечтала! Это не то, что нести по оккупированной земле мешок с этим нужным для страны, но — что поделаешь! — лично ей, Мусе Волковой, ненавистным золотом. Да, именно она спасет отряд! На нее можно положиться. Девушка взглянула на Николая — и точно в зеркало посмотрела. На широком открытом лице юноши было то же волнение, и он так же испытующе смотрел на Мусю, как она на него. Они согласно кивнули друг другу и, взявшись за руки, вместе шагнули к командиру.

И одновременно с ними, правда не с такими торжественно сияющими лицами, а буднично, деловито двинулись и другие, так что кольцо людей вокруг Рудакова стало тесным и плотным.

От костра донесся хриловатый, раздраженный голос Черного:

— Товарищ Рудаков, меня не забудь! Не похвастанься, сам знаешь: лучшего пулеметчика, чем Черный, в отряде нет.

Рудаков растроганно смотрел на сплотившихся вокруг него людей. Он хорошо знал всех их и, вероятно, даже рассчитывал на такое единодушие.

— Товарищи, товарищи вы мои... — начал было командир, но тотчас же перешел на деловой тон: — Раз все согласны, я сам выберу... Вы двое — нет: у вас другое задание, не менее важное. — Он решительно отстранил Мусю и Николая.

— Товарищ командир, давай сюда! — требовал Черный. Держась за дерево, он поднялся и стоял, прислонившись спиной к стволу. — Будь отцом, дай Мирко помереть, как партизану положено, за Родину. — И, обращаясь к остальным, худой, черный, он, сверкая белками глаз, убеждал: — Какой я, к дьяволу, теперь партизан, с такими ногами? Обуза! Таскай, води меня... Дайте, ребята, жизнь дожить на большой скорости, не обижайте. Цыган Мирко советскую власть не подведет.

На него было тяжело смотреть. Всем хотелось, чтобы он скорее сел, но он продолжал стоять, вцепившись ногтями в кору сосны.

— Ладно, будь по-твоему, останешься, — сказал Рудаков.

Командир продолжал смотреть на людей, теснившихся у костра, и каждый коммунист, на кого падал его взгляд, подавался вперед. Командир на мгновение задумывался, затем взгляд его скользил дальше и останавливался на следующем.

Взволнованная Муся, вся внутренне напрягшись, широко раскрытыми глазами наблюдала за

происходившим. Оказалось, что все эти люди, среди которых были и пожилые и семейные, так же как она и Николай, вызывались пойти на подвиг, только делали это буднично, даже как бы стесняясь того, что волнуются, и стараясь подавить это волнение. Какой славный парень этот Черный! «Жизнь дожить на большой скорости»... Да, вот такие, как он, любящие жизнь, и идут на смертный бой. А Карпов! Девушка заметила, что лицо у старого партизана сегодня какое-то особенно бледное и торжественное. Вот он ждет, когда на него поглядит командир, и, не дождавшись, сам движется к нему:

— Меня, меня оставь, Степан Титыч! Не подведу железнодорожное племя!

Все обернулись. Карпов стоял подальше от костра, чем другие. Освещено было только его лицо. Партизаны хорошо знали ненависть этого человека к оккупантам, его мрачноватую, несгибаемую волю, его каменное упорство. Люди могли спокойно уходить, зная, что пока в этом сухом, жилистом немолодом теле бьется сердце, пока стреляет его пулемет, враг не подойдет к высотке. То же, должно быть, думал и Рудаков, ласково глядевший на своего старого товарища. У костра воцарилось напряженное молчание. Оно нарушалось только потрескиванием догорающих веток да отдаленным постукиванием саперных лопат.

Но вдруг, всех растолкав, прорвался в круг Василил Кузьмич Кулаков. Выскочил и загородил собой Карпова:

— Это почему ж такое тебя, скажи на милость? У тебя и внуки и дочка, вон она спит. Тебя! Придумал! А я на что? Я, брат, один, как семафор посереде поля, в жизни торчу... Меня, меня оставляй, командир! Дай Кузьмичу на старости лет послужить народу. А то выскочил: я! Ты, брат, дочку воспитывай. Вон ответь людям, на кого Юлочку бросить собрался. Надумал, выскочил... Ишь ты, какой горячий!

Даже в эту торжественную сцену Кузьмич ухитрился внести свою комическую суетливость. Он готов был шуметь и торговаться за право идти на это опасное, может быть последнее задание. Наступая на командира, он бил себя в грудь сухонькими кулачками и, сделав плаксивую гримасу, уверял:

— Пулемет, слава те господи, изучил досконально. Вон Николку Железнова спросите, вместе изучали... Эй, Никола-угодник, ты где? Засвидетельствуй командиру. Тоже завели порядок: держать Кузьмича на затычку, а как где что серьезное, так других. Что, мне до самой смерти стрелки переводить? Хитрые! Степан Титыч, сделай милость, пусти Кузьмича на выдвижение!

Рудаков обнял старика, прижал его к себе. Всегда холодные глаза командира, заставлявшие иной раз трепетать и самых неробких партизан, растроганно вглядывались в лицо Кузьмича, точно он хотел запечатлеть каждую его черточку.

Муся не выдержала. Она отошла от костра и из неосвещенной зоны наблюдала, как по очереди прощались партизаны с Кузьмичом и Черным.

Кузьмич вдруг что-то вспомнил, хлопотливо извлек из кармана предмет всеобщей зависти — длинный, туго набитый мешочек с крепким самосадом, отсыпал себе горсть, подумал, добавил еще, а мешочек сунул в руку первому попавшемуся партизану:

— Там поделите. Всем раздай, пусть дымят да Кузьмича вспоминают: дескать, был такой кривой черт, курец отчаянный...

Николай одним из последних прощался с остающимися. Он долго обнимал Кузьмича, точно не мог от него оторваться, а стариик сердито бормотал:

— Ступай, ступай, парень. И чтоб у меня в жизни не копить, как головешка. Жми на всю



железку... Ступай, тебе пора... И еще вот что: отвоюешь — таким, как есть, оставайся, жиром не заплывай... Ну, иди, иди. Жив будешь — отцу кланяйся. Не любил он меня, грешного. Ты скажи ему — вспоминал о нем Кузьмич при прощании... Ну, иди же ты, длинный дьявол! Ну тебя...

Старик почти оттолкнул Николая и сейчас же повернулся к нему спиной.

Николай подошел к Черному, но тот смотрел куда-то вверх и не заметил протянутой ему руки.

Последней прощалась Муся. Кузьмич не удержался и спясничал, вытирая рукой рот:

— Эх, хоть в заключение жизни с хорошей девчонкой поцелуюсь!

Подмигнув зеленым глазом, он неловко ткнул Мусю губами в щеку, но девушка крепко поцеловала его в шершавые, растрескавшиеся губы.

Потом она подошла к Черному, хмуро стоявшему у дерева. Партизан крепко схватил ее руку холодными сильными пальцами и зашептал:

— И меня, и меня поцелуй! Поцелуй, девушка!.. Нет у меня никакой жены Зины, выдумал я жену Зину. Один я, как месяц в небе, никого у меня нет...

Муся невольно отпрянула, но сейчас же сдержалась, взяла Черного за плечи, заглянула ему в большие настороженные глаза.

— Не надо, уйди! — тихо сказал партизан, отводя ее руки. — Будь счастлива... Уйди...

Старый партизан, коновод Рудакова, подвел подседланного командирского коня и еще какую-то гнедую кобылу.

— Степан Титыч приказал вам оставить, — сказал он угрюмо, и в голосе его слышалось нескрываемое сожаление. — Уж вы их берегите, под пули-то не суйте... Куда привязать-то?

— А поди ты со своими конями! Ставь куда хочешь! — вспылит вдруг Черный и, подчеркнуто отвернувшись от девушки, закричал Кузьмичу: — Пулеметы и диски пусть сюда несут — сам осмотрю! А то сунут барахло какое...

Через полчаса, еще затемно, отряд быстро спустился с западного склона высоты на насыпь узкоколейки и тотчас же скрылся в горькой густой мгле. Некоторое время было еще слышно бряцание винтовок, сталкивающихся во тьме, фыркание и топот коней, дробный стук колес о шпалы, и наконец все стихло.

Николай, Муся и Толя сбежали с восточного склона, продрались сквозь заросли можжевельника и дикой малины и легко нашли глубокую осушительную канаву, прыгнули нее и быстро пошли в ту сторону, где сквозь дым уже розовел, разгораясь все ярче и ярче, холодный погожий рассвет.

Когда поднялось солнце и первые лучи его, пронзив насквозь пласты дыма, побежали по болоту, золотая маленькая скрюченная березка, жидкие, чахоточные сосенки и верхушки кочек, — с запада, с лесистого холма, поднимавшегося из дыма как высокий остров и теперь сплошь залитого розоватым светом, послышался сухой сердитый треск пулеметных очередей. Он доносился уже издалека и слышался не громче, чем отзвуки его эха. Этот механический, обычно неприятный на слух звук Муся восприняла как нежное напутствие самоотверженных друзей, как великолепный гимн непобедимости партизанского братства и торжества духа советского человека.

Пулеметная стрельба, постепенно стихая, провожала трех партизан, быстро двигавшихся на восток. Шли они по дну глубокой канавы, местами совсем сухому, местами жмыхавшему под ногой, местами поблескивавшему бурой водой, задернутой радужной пленкой ржавчины. Влажный торф заглушал их шаги, и путники, кроме собственного дыхания, слышали только эти, теперь уже отдаленные, звуки стрельбы, нарушавшие осеннюю тишину, стоявшую над болотом.

Шли молча.

Впереди размашисто шагал задумчивый, хмурый Николай, с автоматом на груди, с тяжелым мешком за плечами. За ним, то отставая, то пускаясь впритруску, семенил Толя, тоже с автоматом, с гранатами у пояса, с ножом за голенищем. Он нес мешок поменьше. Муся, належке, с маленьким офицерским «вальтером» у пояса, заключала шествие. Николай и Толя разгрузили ее от тяжестей. В рюкзаке девушки они оставили только легкую алюминиевую посуду да сверток трофейных плащ-палаток, взятых по ее настоянию.

Девушка шла легко, привычно. Думы ее были там, позади, где два самоотверженных человека вели сейчас неравный бой. Умудренная теперь в военных делах, Муся ясно представляла себе, что там происходит. Издали доносится частая беспорядочная стрельба из автоматов. Это фашисты пошли в атаку. Но тотчас же начинают бить пулеметы. Все смешивается в сплошной треск. Потом автоматы разом смолкают. Пулеметы дают несколько очередей, и наступает тишина. Только хлупает под ногами влажный торф.

Девушка облегченно вздыхает. Отбили! И она явственно рисует себе, будто видит это собственными глазами, как Мирко Черный вытирает ладонью вспотевшее лицо, коричневое от пороховой гари, как Кузьмич, подмигивая, возбужденно посмеивается, как дрожащими пальцами свертывает он две сигарки — для себя и для товарища — и бережно сыпает табачные крошки обратно в свой толстый, как колбаска, кисет... Впрочем, нет, кисет с табаком он отдал уходившим, когда прощался. От этого воспоминания у девушки начинает щекотать в горле. Но снова злобно, бранчливо бормочут вдали автоматы, снова, точно отругиваясь, упругими очередями отвечают пулеметы. И девушка опять мысленно видит Кузьмича и Черного, их злые, непреклонные лица, прильнувшие щеками к вздрагивающим прикладам.

Да, таких не сломишь! И рождается радостная надежда, что пулеметчики дотянут до темноты и что ночью, когда падет туман, они ускачут на конях, обманув противника.

К сухому, уже еле слышному треску стрелкового оружия стали примешиваться глухие короткие взрывы, будто кто-то в бочку кулаком бьет.

— Гранаты, — предположил Николай останавливаясь. — Подползли, прохвосты, и гранатами их глушат...

— Ты что — «гранаты»! — прерывает его Толя. — Разве они с гранатами к себе подпустят? Слышь, елки-палки, пулемет... Какие ж тут гранаты? Из минометов фриц ударил, вот что!

Минометы подтащили, из минометов и садят...

— Ну, минометы там — дело дохлое, из минометов новичков пугать. Видал, какие окопы им вырыли? Что им мина! Разве если только в самую маковку угодит...

Все трое, повернувшись назад, прислушиваются. Минометы смолкают. Снова возникает всполошенный автоматный треск, но опять его перекрывают пулеметные очереди, деловитые и будничные, как зудящая дробь пневматических отбойных молотков.

— Ах, как, елки-палки, бьют!

— Ну, хватит, пошли! — скомандовал Николай.

Путники двинулись дальше. Муся задумчиво проговорила:

— Вот когда врага прогоним, поставить бы на этой высотке красивый мраморный памятник. И пусть бы на нем всегда красная звезда горела. Чтоб и днем и ночью видели люди эту звезду и вспоминали о том, как сражались тут против фашистов двое партизан.

— Да! Но только очень много памятников таких пришлось бы ставить, — отозвался, не оглядываясь, Николай. — Пожалуй, и мрамора на земле не хватит...

Бесконечно отодвигались назад ровные черные откосы глубокой канавы, кое-где поросшие серенькими лапками мать-мачехи. Темно-розовые султанчики иван-чая низко склоняли свои набухшие щедрой росой головы в воротничках из пуха созревших семян. Иногда они дотягивались до середины канавы и, раскачиваясь, гладили путников по щекам. Почувствовав прохладное прикосновение, девушка вздрагивала, с удивлением оглядывалась и снова погружалась в свои думы.

Теперь перед ней вставала картина прощания партизан, которую она наблюдала из темноты. Какие все это прекрасные души, как по-братски относились они к ней, к незаметной, бездомной девчонке, случайно попавшей в их лагерь! А Рудаков! Этот словно из стали отлит. Но как он стеснялся, когда там, на аэродроме, говорил о своей семье! А как вдруг заговорил о поэзии! Вот бы стать когда-нибудь такой, как он, воспитать в себе такую волю, такое спокойствие. А с виду — самый обыкновенный человек. Встреть его где-нибудь — и внимания не обратишь, не оглянешься даже. И на кого это он похож? Ах да, пожалуй, на старого Рубцова. А может быть, на управляющего банком Чередникова? Вот ведь совсем они разные, а все-таки похожи. Чем?... Нет, такой, как они, наверное не станешь. Ну хоть бы чуть, хоть бы самую капельку походить на них!

А этот Карпов! Вот кто удивил. Мусе думалось — сухарь. А он, простившись с Кузьмичом, вдруг бросился в кусты, и было слышно, как дочка спрашивала его: «Папа, скажи Юлочке, зачем ты плачешь?» И кто бы мог подумать, что этот человек с тонкими, в нитку, губами умеет плакать! «Эх, Муська, Муська, дожила ты до девятнадцати лет, а о людях все еще судишь по их внешности: симпатичный, несимпатичный, страшный, так себе, хоть куда...»

Что это? Снова стреляют. Но пулеметные очереди звучат теперь еле слышно, будто кто-то неумело строчит на швейной машине в соседней комнате. Там еще бьются. «Вот тоже люди! А разве они одни такие? Какая же ты, Муська, была чудачка, когда там, у костра, точно примадонна в опере, выкрикнула о своем желании остаться в пулеметной засаде! Выскочила, покрасовалась, пофорсила: вот я какая! А все другие заявили о том же самом совсем спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся. Нет, где тебе, голубушка, стать такой, как Рудаков! Тебе еще у Кузьмича поучиться надо...»

Так раздумывая о тех, кто остался позади, шла Муся, не замечая, что ветер усиливается, а воздух все горше и горше пахнет дымом. Заметно мерк ясный холодный день, тускло

солнце.

2

Николай, уже давно с беспокойством посматривавший кругом, остановил товарищей и выбрался из канавы. Болото до самого горизонта было, точно огромной шкурой, покрыто сизым густым дымом. Ветер рвал эту шкуру, трепал ее по земле, раздувал огонь, гнал его на северо-восток. Если ветер не прекратится, он может направить пламя прямо наперерез путникам. Можно, конечно, свернув на север, бежать от надвигающегося огня, но тогда придется оставить спасительную канаву.

— Двинулись и дальше по канаве, — решил Николай. — Елка — первый, Муся — за ним, я — сзади. Идти как можно быстрее. Слышите, люди? Вперед!

Когда Муся обгоняла Николая, он взял ее за руку и попытался заглянуть ей в глаза. Девушка отвернулась и отняла руку. Она все еще была с теми, кто сражался на холме, и эта робкая ласка казалась ей оскорблением их подвига.

Теперь партизаны почти бежали. Ветер перебрасывал через них целые тучи гари. Порой он уже доносил жаркое дыхание близкого пожара. Воздух стал нестерпимо горьким. Кровь тревожно стучала в висках, и, что самое скверное, перед глазами Муси опять зароились искрящиеся круги. «Только бы не потерять сознания! Ведь ребята тоже из-за меня остановятся, и тогда...»

— Скорее, скорее! — торопил Николай.

Ловкая фигурка Толи то исчезала в ленивых клубках дыма, уже наполнившего канаву, то неясно маячила среди них, наконец будто и вовсе растаяла. Муся поняла, что отстает. Сквозь порывистый шум ветра уже доносились зловещий шелест, треск и приглушенное шипящее гуденье. Ветер стал таким горячим, будто дул из печи. Дышать было трудно, и казалось, что вместо воздуха в легкие вливается горький, полынью настоенный кипяток. Где-то сзади раздался голос Николая:

— Нагибайся ниже, к земле!

Под ногами чавкала вода. Муся нагнулась. Тут, над влажным слоем торфа, дышалось легче. Пробегая мимо лужицы, девушка зачерпнула горсть воды и плеснула себе в лицо. Затем она сорвала с головы марлевый платок, намочила его, приложила ко рту. Дышать стало не так горько, но бежать уже не было сил. И она, низко согнувшись, пошла шагом.

— Дыши сквозь мокрую тряпку, легче! — крикнула она Николаю.

— Теперь недалеко. Я по карте помню, тут скоро лес, — ответил он.

Пожар уже перерезал им дорогу. Горящие ветки, поднятые токами раскаленного воздуха, перебросили пламя через канаву. Целые тучи искр летели над головой партизан, тлеющая торфяная крошка точно булавками колола лицо. Теперь путники двигались по канаве, как по узкому коридору, перерезавшему горящее болото. Душный жар дышал на них с обеих сторон, одежда дымилась.

Муся почувствовала, что задыхается. Мокрый платок уже не помогал. Вовсе обессилив, она опустилась на дно канавы и несколько секунд лежала, неподвижно прижимаясь щекой к влажному торфу, вдыхая пахнущую прелью прохладу. Это вернуло ей сознание.

Над ней склонился Николай. Закопченное, потное лицо его было страшно. Но в глазах, по-прежнему голубых и чистых, девушка увидела ту же трезвую, спокойную волю, какой ее всегда поражал Рудаков. Партизан что-то кричат. Она не разбирала слов, но догадывалась, что он убеждает ее подняться. Все гудело и кружилось, но голубые глаза спокойно и требовательно смотрели на нее.

— Милый, беги! — прошептала она. — Бегите... бросьте меня... Спасайте это... в мешке.

— Не говори глупостей! — сердито сказал Николай. Охватив девушку за талию, он поднял и поставил ее на ноги. Подтолкнул: — Иди!

К удивлению своему, Муся пошла. Впрочем, шла она теперь уже почти бессознательно. Земля под ней качивалась, как доска качелей, и Мусе казалось, что вот-вот она соскользнет с нее и полетит в пропасть. И все же она шла и шла, подчиняясь сильной, поддерживающей ее руке.

Из тьмы впереди вдруг донесся предостерегающий крик Толи. Не то в бреду, не то наяву девушка почувствовала, что земля действительно выскользнула у нее из-под ног и что сама она куда-то стремительно падает.

Острая боль в ноге, и все закрылось плотной и теплой мглой.

3

Сначала Муся услышала знакомые голоса.

— Ой, елки-палки, смотри, смотри — на нас идет!.. Вон по вершинам. Бежим!

— Куда? Нужно определить направление.

Девушка почувствовала, что она как бы парит в воздухе. Тупая боль жгла, ногу где-то повыше колена. Открыв глаза, Муся увидела совсем рядом лицо Николая и поняла, что он держит ее на руках. Волосы у партизана были опалены; пот струился по его лицу, оставляя на закопченной коже розовые извилистые дорожки; растрескавшиеся губы были полуоткрыты. Юноша тяжело дышал.

— Ты заметил, куда бегут звери?

— Да туда же, туда, вон белки верхом пошли... Вон, вон... видишь?

Муся жадно вдохнула полной грудью. Хотя и здесь, в лесу, под высокими соснами, дым кипел и бурлил, точно в котле, воздух показался ей необычайно чистым, прохладным и вкусным. Вливаясь в легкие, он освежал, как ключевая вода.

— Очнулась?

Николай радостно вздрогнул и крепче прижал ее к себе.

Подгоняемый и раздуваемый ветром, огонь словно катился по вершинам деревьев, переползая и перепрыгивая с одного на другое. Ели загорались, как свечи, сосны вспыхивали с ревом, точно смоляные факелы. Пламя медленно стекало по ветвям, по коре сверху вниз. Что-то первобытное, неотвратимое, перед чем человек чувствует себя бессильным, было в этой наступающей стене огня. Два каких-то рыжих зверя выскочили из кустов, наткнулись на

партизан и скрылись в чаще леса.

— Бегом! — хрипло крикнул Николай и бросился за ними следом.

Только этот большой и сильный человек мог так легко нести Мусю, прыгая через кочки, как лось продираясь сквозь кусты. Страх вместе с дымом и ревом пламени остался позади. С Николаем ничего не страшно. Чтобы удобнее и легче было ему ее нести, Муся обхватила его шею, прижалась к нему. Ветки стегали ее по спине, цеплялись за одежду, будто хватили и пытались задержать. Дым понемногу редел, дышать становилось легче.

Вдруг Толя, бежавший впереди, остановился с таким видом, точно его что-то ударило по голове.

— Мешок... — едва слышно прошептал маленький партизан. — Я забыл мешок.

— Где? — спросил Николай.

И Муся почувствовала, как он весь вздрогнул.

— Там, где сейчас стояли.

Мгновение все трое со страхом смотрели, как вдали, настигая их, прыгает по вершинам деревьев пламя. Пожар еще шел верхом.

— Спасай ее! — крикнул Толя.

Он резким движением надвинул фуражку на уши и кинулся обратно, туда, где в кипении сизого дыма пламя медленно, как расплавленная смола, стекало вниз по коре высоких сосен.

— Бегите! — донесся голос маленького партизана из дымной мглы, в которой он сразу точно растворился. И снова, уже издали, донеслось: — Бегите! Слышите! Я догоню-ю-ю!

Николай хотел было броситься вслед за ним но Муся... Как быть с ней? Ведь ей же одной не двинуться с места. Но колебался он только мгновение.

Еще крепче прижав к себе девушку, Николай во весь дух кинулся прочь от быстро надвигающегося лесного пожара.

Даже не замечая тяжести ноши, не чувствуя, как висевший за плечами автомат бьет его по спине, партизан неся через кочки и пни туда, куда устремлялись зверье и птицы.

Муся замерла. Она видела, как по пятам с глухим, угрожающим ревом движется огненный фронт. Иногда под ударами ветра пламя делало по вершинам деревьев скачок и настигало их. Огненные костры, занимаясь над головой, осыпали их шелестящими тучами горевшей хвои. Муся крепче прижималась к сильному плечу. Иногда огонь как бы в раздумье останавливался перед какой-нибудь лесной полянкой. Густой вал дыма оставался позади. Николай переводил дух. Тогда мысль девушки устремлялась назад, к маленькому вихрастому человеку, что так отважно бросился в дым и пламя. Все существо ее рвалось к нему на помощь. Если бы были силы!

Горящие с ревом вершины деревьев, силуэты несущихся зверей — все это походило на кошмар, в котором что-то необъяснимо страшное настигает вас из тьмы. И с той же непоследовательностью, какая бывает в кошмаре, перед беглецами разом открылась болотистая низина, а за ней — ровная гладь озера с небольшим островом, накрытым пестрой шапкой тронутого осенью лиственного леса, опушенного по краям ярко-зеленым кудрявым тальником. С озера пахло влажной прохладой.

Николай дышал, как загнанная лошадь. Сердце точно увесистым кулаком колотило в грудную клетку. Он еле стоял. Земля под ним покачивалась. И все: зеленоватое равнодушное небо, яркая зелень кустов, холодная гладь чистой воды — плыло в красноватых кругах.

А пламя лесного пожара, кутаясь в бурно клубящиеся облака дыма, уже подступало к озеру. Оно уже трещало и жадно подвывало в кустах опушки; синевато курясь, бежало по высохшему мху кочек. Судорожно поводя ветвями, начинал тлеть серый ольшаник. Возле Николая, дрожа тонким мускулистым телом, стоял дикий козел. Осмотревшись, он сделал пружинистый скачок и ринулся вниз, в камыш, увлекая за собой двух самок, вырвавшихся из-за кустов. Николай бросился за ними. Стены камыша обступили его, под ногами зачавкала вода. Партизан продолжал двигаться по проложенному зверьем пути, пока камыш не расступился и ноги не ощутили твердую почву. Отсюда начиналась острая и узкая песчаная коса. Рассекая озеро, она тянулась к острову, отделенному от нее лишь небольшой протокой. Дикие козы уже переплыли протоку и, вырвавшись на пляжик, кинулись в заросли тальника.

Двигаясь по их следу, Николай думал лишь о том, чтобы не споткнуться, не уронить Мусю, теперь казавшуюся ему необычайно тяжелой. Он плохо различал, что происходит вокруг.

Но Муся, которую чистый и влажный озерный воздух окончательно привел в себя, видела, как в прибрежных камышах металось зверье, согнанное сюда лесным пожаром, видела, как на берег, вывалив языки и поджав хвосты, выскочило несколько волков, которых она приняла сначала за собак-овчарок. Тяжело поводя вспотевшими боками, волки принялись было совсем по-собачьи лакать воду, но самый крупный из них бросился к косе и увлек за собой остальных.

Волки обогнали Николая, но страха Муся не почувствовала. Было лишь удивление. Не испугалась она и тогда, когда, тяжело дыша, с астматическими хрипами, пронесся по кромке косы огромный черный кабан, косивший на людей маленьким, злым, заросшим жесткой шерстью глазом.

Но вот наконец и остров, кусты. Зеленый тальник больно хлещет по лицу. Николай делает несколько нетвердых шагов и, вдруг покачнувшись, начинает оседать. Последним усилием он опустил Мусю на траву и сам свалился тут же. Рука его никак не может найти и расстегнуть пуговицы гимнастерки.

Муся расстегнула партизану ворот и вскочила, чтобы сбегать за водой, но тут же со стоном опустилась на землю. Жгучая боль в колене или чуть выше его пронзила ее. Девушка посмотрела на свою левую ногу и с удивлением увидела, что стеганная ватой штанина вся почернела и заскорузла. Что-то скверное случилось с ногой. Девушка беспомощно огляделась. Полное безлюдье. Пожар уже подступил к озеру. Густо чадя, пылают на берегу серые заросли ольшаника. Горящие ветки, подброшенные пожаром высоко в воздух, падают и с шипеньем гаснут в воде. Головы спасающихся от огня зверей то там, то тут бороздят холодную гладь.

Николай пошевелился, начал дышать ровней.

— Елка там... Стрельни... Посигналь ему! — с трудом говорит он Мусе, не поднимая головы.

Но в это время где-то недалеко слышится короткая очередь. Муся и Николай замирают. Вдруг с шумом раздвигаются кусты тальника, из яркой зелени появляется черное, лоснящееся лицо маленького партизана. В руках у него автомат.

— Ух, и кабанище здесь! Здоровенный — ужас!

Толя с облегчением сбросил на траву тяжелый мешок. Приподнявшись с земли, Николай пощупал кожу его автомата. Он был еще теплый.

— В кого стрелял?

— В кабана. Целую очередь ему в спину врезал — он хоть бы что! Ушел...

С мальчишеским бахвальством, пренебрежительно пнув ногой спасенный мешок, Толя устало докладывает:

— Еле нашел его в дыму. Вот грузный, черт! Там что в печке, верь слову... Заяц на меня налетел, чуть с ног не сбил... Ой-ой-ой!

Толя вдруг вскочил и с воплями страха и боли начал бить себя по бедрам, точно стараясь стряхнуть ядовитых, опасных насекомых. Потом он сорвался, бросился вниз под берег, и тут же послышался судорожный плеск воды. Вернулся он несколько смущенный.

— Вот черт! От пожара убежал и чуть здесь не зажарился. Вдруг как меня куснет... Ай-яй-яй... насквозь прожгло... — Он с сожалением рассматривал две большие дыры, прогоревшие на стеганых шароварах. — А ведь мне вчера Кашей Бессмертный со склада совсем новенькие выдал... Штаны-то какие были!

Толя чуть не плакал. Его искреннее горе после только что пережитых опасностей и бед было так комично, что на черное от копоти лицо Муси помимо воли выползла улыбка.

Несколько минут все трое сидели молча, наслаждаясь свежим воздухом, неподвижностью, тишиной. В самой этой тишине было нечто гипнотизирующее, успокаивающее, бесконечно дорогое всем троим. Долго никто не смел нарушить тишину.

Николай вдруг спохватился:

— Муся, а как нога?

— Очень болит, очень... Что с ней?

— Елки-палки, что... Вы же в торфяной карьере ссыпались. Там машина какая-то стояла вроде плуга. Об эту машину как треснулись... Вот что...

Николай стал перед девушкой на колени, осторожно приподнял и ощупал ее левую ногу.

— Кость не разможило? — тихо спросил Толя.

— Как будто цела. Бинт есть?

— А то нет! У меня все есть...

Пока Толя, вымыв предварительно в озере руки, разорвал ниткой пропитанную парафином бумагу индивидуального пакета, Николай острым штурмовым ножом вспорол штанину. Сбегали за водой, смыли запекшуюся кровь. Коленка посинела и распухла, но сгибалась. Чашечка, невидимому, осталась цела. Рана выше колена была небольшая, но, видимо, задела какой-то сосуд. Кровь еще бежала тугим пульсирующим родничком.

Толя и здесь оказался молодцом. Пока Николай плескал из пузырька прямо в рану дезинфицирующую жидкость, мальчик намочил полотенце, сделал из него плотный жгут и перехватил им ногу повыше раны. Жгут был наложен так ловко, что родничок крови перестал биться и постепенно иссяк.

— Видал медицину? — хвастливо произнес маленький партизан, довольно потирая руки.

Николай осторожно приподнял раненую ногу девушки и, положив ее себе на колено, стал туго бинтовать. Муся застонала. Николай испуганно отдернул руки.



— Ничего, ничего, бинтуй.

В серых глазах девушки испуг сменился тихой радостью. Слабой рукой она прикоснулась к путаным волосам Толи и прошептала:

— Милые, милые вы мои!

Затем взгляд девушки остановился на лице Николая, закопченном, пятнистом от сажи и ожогов. Опаленные брови и ресницы белели на нем, как пух. Уловив этот взгляд, партизан почувствовал вдруг, что ему неловко оттого, что он держит у себя на колене стройную, мускулистую ногу девушки. Руки, обертывавшие ногу бинтом, задрожали. Муся, мгновение назад не ощущавшая ничего, кроме благодарности к двум своим друзьям, тоже вдруг застыдилась, покраснела и, скрипнув от боли зубами, сняла раненую ногу с колена Николая. Скаточка не размотанного бинта вывалилась у него из рук и, разматываясь, упала на траву.

— Тоже мне санитар! — пренебрежительно фыркнул Толя и, ловко действуя своими худенькими, непропорционально длинными руками, быстро закончил перевязку.

Потом, когда они собрались идти, чтобы пробраться вглубь лесистого островка, Муся взбунтовалась и запретила Николаю нести ее на руках. Пришлось наскоро из плащ-палатки и двух березовых жердей мастерить носилки.

Лесной пожар постепенно окружал озерко, замыкая вокруг него кольцо огня и дыма. Огромными кострами полыхали вершины деревьев. Пламя ползло по траве, по кочкам, плясало в курчавом кустарнике. Бурные смерчи огня и дыма, взвиваясь в небо, в опрокинутом виде отражались в гладкой воде. Казалось, и вода пылает все тем же мрачным, красным огнем.

4

До выздоровления Муси путники решили обосноваться в глубине острова, на маленькой круглой поляне, окруженной густым лиственным лесом. Продолжать путь они не могли. Место же это для их вынужденной стоянки было действительно самым безопасным. Вряд ли кому, даже из самых ярых карателей, пришло бы в голову пробираться по черной пустыне выгоревшего леса и искать партизан здесь, на острове. Все же путники приняли меры предосторожности. Мешок с ценностями на всякий случай был закопан в стороне от лагеря. Дотошный Толя даже тщательно замел следы на песчаной косе.

В зарослях малины был построен для Муси маленький шалаш. Вход в него закрывался плащ-палаткой. Сами строители первую ночь проспали на земле у костра. Но утром девушка обозвала их лентями и, пригрозив, что и она в знак протеста переберется на воздух, заставила строить второй шалаш, размером побольше.

Еда их тоже не заботила. Правда, лесные обитатели, загнанные огнем на остров, покинули его сразу же, как только в почерневшем лесу погасло пламя и перестала куриться земля, но Николай успел подстрелить козу и двух жирных зайцев. К тому же пустынный остров на лесном озере, как оказалось, служил во время перелетов этапной станцией на больших птичьих маршрутах. Каждое утро Мусю будил истерический клекот гусей, суетливый утиный крик, странные, незнакомые трубные звуки, по которым Николай, умевший и любивший читать книгу природы, угадал появление перелетных лебедей. Словом, недостатка в дичи не было.

Путники отъедались, отсыпались, оправлялись после пережитого, набирались сил для

длинного и опасного пути. Толя даже предложил назвать остров — санаторий «Три лентя».

Муся просыпалась на заре, когда из «мальчишечьего корпуса», как торжественно именовала она шалаш спутников, слышался еще безмятежный храп и сладкое сонное посапыванье. Устроившись у входа в свой шалаш, она подолгу неподвижно следила за тем, как за темными силуэтами деревьев тихо разгорается поздняя заря, как бледнеет, ступшевается в светлеющем небе горбушка луны и как, спугнув розовыми лучами последнюю зеленовато мерцающую звезду, из-за леса поднимается наконец солнце.

Погода стояла ясная, с легкими утренниками, и когда в кустах подлеска таял последний сумрак, у подножия деревьев и пней, посверкивая белыми кристаллами, еще долго лежали полотнища чистейшего инея. А воздух был так чист, что на деревьях отчетливо вырисовывался каждый листик, каждая складочка на коре, и так свеж, так густо настоен острым запахом подсыхающего листа, что хотелось дышать как можно глубже. Хорошо думалось в такие вот часы, на грани ночи и позднего осеннего утра, когда природа, точно бы зябко ежась во сне, не торопилась пробуждаться. И, думая о жизни, Муся никак не могла отделаться от странного ощущения. Ей почему-то казалось, что со дня их прощания с партизанами прошли уже недели, месяцы, даже годы, что она за это время стала старше, что она теперь совсем по-другому смотрит на жизнь, на людей и их поступки. Непоседа, она могла теперь часами, не скучая, находиться в неподвижности.

Потом уже поднималось солнце. Прыгая на одной ноге с помощью палки, Муся приближалась к костру, с вечера сложенному предусмотрительным Толей, зажигала его и принималась готовить завтрак. Чаще всего она ничего не успевала сделать. Из шалаша выглядывала заспанная, помятая рожица Толи. Зябко поеживаясь со сна и сердито сверкая черными беспокойными глазами, маленький партизан прогонял Мусю обратно к ее шалашу.

Толя никого не допускал к «кухне» и всё стряпал сам, умело и ловко, как хорошая хозяйка. Муся не раз интересовалась, откуда у него такой опыт. Но Толя отмалчивался и на все попытки разговорить его начинал отвечать мальчишескими: «а то нет», «а то да», «а раньше-то», «ну еще». Вскоре девушка поняла, что, расспрашивая его, она прикасается к какой-то болезненной, незажившей ране, и уже не пыталась интересоваться его прошлым.

Толя занимал Мусю все больше еще и оттого, что после злополучного эпизода с перевязкой ноги из ее отношений с Николаем исчезли непосредственность и простота. Девушка не терпела теперь, чтобы он видел ее неприбранной, неумытой, стеснялась при нем причесываться, а когда наставала пора бинтовать рану, Николай изгонялся, и всю операцию производил маленький лейб-медик.

5

Впрочем, партизан, чувствуя эту перемену, и сам избегал оставаться с Мусей с глазу на глаз. Все чаще он уходил подальше от шалашей и один бродил по острову, высматривая, не появились ли на песке следы врагов, или из засады наблюдая жизнь и поведение перелетных птиц, их привычки.

Николай чувствовал, что сердце его переполнено любовью, чувствовал, что он бессилен с этим бороться, и искренне негодовал. Он добросовестно убеждал себя, что это глупо, никчемно, что чувство это неуместно в дни войны. Он сердито распекал себя за малодушие и отсутствие воли, но по мере того как он, возвращаясь, приближался к знакомой полянке, сердце его билось чаще, радостней, тревожнее, а шаги ускорялись сами собой.

Муся испытывала то же противоречивое чувство. Услышав шум знакомых шагов, она точно вся загоралась изнутри. Но партизан выходил на полянку, и она встречала его равнодушным взглядом, с безразличным видом, задавала насмешливые вопросы, сердито подшучивала над ним, сама гневно вспыхивала в ответ на каждую его шутку и придирчиво искала обиду в его словах и поступках. Обоим было друг с другом тягостно и неловко.

Только об одном — о природе могли они теперь толковать свободно. Муся до войны не знала названий многих деревьев даже из тех, что росли на бульварах и обрамляли улицы ее родного города. Но в дни лесных скитаний родная среднерусская природа властно пленила городскую девушку, дала ей новые, неизведанные ощущения. Муся полюбила леса, луга, реки и постигала их тайны с той жадностью, с какой человек, выучившийся грамоте в зрелом возрасте, с одинаковым интересом читает подряд все попадающиеся под руку книги.

Николай же был предан природе всей душой, предан с детства. Разговорами о природе, о ее красотах и тайнах оба они заглушали в себе досаду от вынужденного бездействия, на которое обрекла их Мусина рана, и свое с каждым днем растущее нетерпение, с каким они ждали часа, когда наконец можно будет продолжать путь.

Недалеко от шалаша Муси стоял невысокий и совсем трухлявый березовый пенёк. Он был покрыт зеленым мхом и до того уже гнил, что держался только прочными обручами бересты. Пенёк как пенёк. Муся как-то присела было на нем погреться на солнышке, но муравьи согнали ее. И вот однажды, выбравшись из шалаша, она застала Николая возле этого пня. Он лежал на животе, подперев голову ладонями, и глядел на пенёк с тем живым интересом, с каким завзятые театралы смотрят талантливый спектакль. Муся рассмеялась: уж очень забавным показалось ей это внимание к ничем не примечательной, трухлявой развалине. Николай недовольно покосился на нее.

— И чего смеешься, сама не знаешь! — проворчал он и вдруг, весь точно загоревшись, пояснил: — Ведь это же целый мир. Какой материал для наблюдений! Смотри, дерево спилено семь лет назад. Пенёк сгнил, ветер принес на него землю, и, видишь, появился уже слой мха. Мох скрепил землю, чтобы ее не сдуло. Кстати, вот за эти молоточки мох этот зовут «кукушкин ленок». Хорошо, правда? Ты видишь, на мху — две березки. Этой вот три года, а эта — малышка, ей и годочка нет. Смотри, как крепко вцепились они корнями в трухлявую массу. Вот развалится пенёк, труха осядет, а они уже будут сильные, сразу встанут на крепкие ноги. Лет через десять-пятнадцать на месте этой старухи раскинет крону вот такая девушка. — Николай показал на стройную белую березку, всю сверкавшую на солнце золотом своих длинных кос. — Ну что, разве не материал для раздумья о вечности материи, о силе жизни, мало ли о чем... Кстати, знаешь, эта березка напоминает мне тебя: такая же тоненькая, строимая... — Николай густо покраснел и сердито добавил: — и кудлатая.

Пропустив мимо ушей неуклюжий комплимент, Муся какими-то новыми глазами смотрела на этот такой обычный с виду, ничем не примечательный пенёк. Действительно, над ярко-зеленым плюшем мха с желтенькими молоточками на тоненьких ниточках поднимались два маленьких деревца. Их ярко-зеленая листва сохраняла летнюю свежесть и была бархатисто шершава с тыльной стороны. Деревца эти, по-видимому, отлично чувствовали себя на пне. Они почему-то напоминали Мусе белокурую Юлочку. Где-то она теперь? Удалось ли Рудакову вывести свой отряд из кольца пожара? Может быть, они уже добрались до Коровьего оврага, до Матрены Никитичны. Вот, наверное, была встреча!.. Все друзья воюют, сражаются, каждый их день наполнен борьбой, а они — пожалуйста, наслаждаются природой... Какая тоска!

Муся даже застонала вслух от этой мысли.

— Что, рана? — встревожился Николай.

— Нет, нет, говори, я слушаю. Это очень интересно. Ну, ну...

— Ты глянь на этот пенёк вблизи. Эта же целый городок с очень густым разнообразным населением, — продолжал Николай. — Утром после заморозка он кажется мертвым, а сейчас солнце пригрело — и смотри, какая суета.

Действительно, два муравья, помогая друг другу, деловито тащили куда-то толстую сосновую иглолку. Один налегке стремительно неся им навстречу, поглядел на трудящихся друзей, пошевелил усиками и помчался обратно. Он померещился Мусе десятником какой-то муравьиной стройки, ринувшимся на место работы, чтобы обдумать, куда положить это новое бревно...

— Гляди, как все они трудятся для общего дела. А мы тут...

Николай досадливо махнул рукой, но тут же спохватился.

Муся гневно смотрела на него сузившимися, похолодевшими глазами:

— Что же, по-вашему, это я нарочно вас задерживаю?

— Что ты, что ты! — испугался партизан. — Я хотел сказать...

— Вы, товарищ Железнов, может быть, думаете, что я притворяюсь? Вы это хотели сказать? — непримиримо продолжала девушка; уголки губ у нее подергивались, глаза заплывали слезами.

— Да с чего ты взяла? Я просто хотел сказать, что мы часто не замечаем в природе самого интересного.

— Нет, верно, только об этом? Да? А я подумала... Ой, Коля, почему так медленно заживает эта проклятая нога? Почему?

— Заживет, заживет, всё в своё время... Вот смотри сюда...

Николай указал на растерзанную сосновую шишку, крепко забитую кем-то в пенёк, в лунку, выдолбленную между корой и стволом. Много таких совершенно размочаленных шишек и чешуек от них валялось на земле. Оказалось, что это кузница дятла. Это он таскал сюда свою добычу и зажимал в своеобразных тисочках, чтобы легче и удобнее было ему обрабатывать ее длинным клювом.

— А помнишь, как ты рассказывал об этом растении, что мух ловит? — спросила Муся, понемногу успокаиваясь.

— О росянке, да? — обрадовался партизан. — А как ты мне пуговицы пришивала, помнишь?

— Я тогда глядела на тебя и думала: «Как смеет предатель смотреть такими ясными глазами? Под ним земля гореть должна, ему каждое дерево проклятие шлет, каждый куст над ним насмехается...» А ты что думал? Ну, не отворачивайся, говори прямо: что тогда думал?

— Я то же самое о тебе думал, точь-в-точь... Кузьмич жужжит в ухо: «немецкие овчарки», «шпионки», а я не верю... Вопреки всему не верю, злюсь на себя, а не верю... Эх, Кузьмич, Кузьмич!..

Рванул ветер. С тонкой березки посыпались золотые червонцы и, покрутившись в воздухе, легли на бурую траву.

— Да, Кузьмич... — задумчиво отозвалась Муся.

Оба вздохнули.

Тяжело было думать, что, вероятно, уже никогда не услышать им больше дребезжащего тенорка старика, не увидеть хитрого мерцания его одинокого зеленого глаза...

И показалось Мусе, что Василия Кузьмича Кулакова знала она давным-давно, что много лет назад прошел через ее жизнь этот маленький, ершистый, противоречивый человек, многому ее научивший и на многое открывший ей глаза.

6

Обреченная на бездействие и неподвижность, Муся изо дня в день наблюдала, как менялся пейзаж вокруг их шалаша. Теперь, осенью, каждое дерево имело свой цвет, даже свой голос. Ярко-красными пятнами пламенели вершины осин. Червонным золотом убрались длинные космы березки, частой скороговоркой перешептывавшейся под ветром. Бурели листья приземистых липок, крупная листва орехового подлеска, который уже наполовину облетел, устилала подножия кустов яркими шуршащими коврами. Только крепкий, росший в низинах ивнячок был по-прежнему буйно зелен. Наперекор осенним ветрам и утренним заморозкам, он озорно махал своими еще пышными ветвями.

Девушка, часами сидевшая на своем пенечке, так изучила лес, что когда однажды после крепкого утренника, высушившего траву и густо посолившего ее инеем, бурно потекла с деревьев листва, она, не глядя, по шороху могла определить, падает ли это с бумажным шелестом сморщенный лист липы или, вертясь, как веретенца, летят листочки ив.

Быстро менявшиеся краски леса как бы отмечали время, проведенное партизанами в вынужденном бездействии. И когда Муся хотела загасить в себе одолевшую ее тоску, она отворачивалась от буйно ярких теперь лиственных деревьев и смотрела на неизменно зеленые сосны да на синие ели с запасом желтых шишек в пазухах ветвей на вершинах, где неустанно трудились хлопотливые, аккуратные белки, осыпая покатые плечи деревьев буроватой шелухой.

Внезапно открывшиеся перед девушкой богатство и красота среднерусской природы неразрывно связывались в ее сознании с понятием Родины. И чем больше нравилась девушке окружающая ее природа, тем нетерпеливее ждала она дня, когда наконец заживет проклятая рана и можно будет вновь продолжать трудный и опасный путь.

Однажды, вернувшись с озера с большой щукой, которую удалось без особого труда выловить в тине высыхающей заводи, Толя застал Мусю в слезах. Маленький партизан, очень гордый своей ловецкой победой, сразу вдруг растерялся. Пятнистая рыбина, висевшая у него на ивовом пруте, тяжело шмякнулась в траву. Для Толи Муся стояла где-то между героиней Отечественной войны 1812 года старостихой Марфой Кожиной и летчицей Полиной Осипенко. И вот, нате вам, сидит на пенечке, и слезы текут у нее по щекам! А лицо распухло, покраснело, оно даже как-то сразу стало некрасивым. Девушка не вытирала своих слез.

Толя постарался скрыть разочарование. Он сделал вид, что занят щукой и ничего не замечает, но понемногу в нем проснулась жалость. Почему она плачет, что ее расстроило?

Толя оставил щуку, сел на землю возле своей приятельницы. Муся по-детски шмыгнула носом.

— Сейчас пролетел караван журавлей... огромный, — глубоко вздохнув, сказала Муся. —

Насчитала шестьдесят и сбилась. Косяком летели, ровным-ровным, и я подумала: вечером, наверное, будут там, за линией фронта, где всё как раньше и нет фашистов. Мама там, братья, сестричка... Вот и реву, как дура, — так туда хочется. Журавлям хорошо: поднялся повыше и лети — курлы-курлы-курлы... — Муся вытерла ладошкой щеки. — А тебе, Елочка, хочется домой? У тебя где мама с папой?

Толя вздрогнул, точно от удара; загорелое его лицо как-то даже сразу посерело.

— Мама там, — он махнул рукой на восток, — а отец... отца у меня нет... умер. — Вдруг он вскочил и вызывающе взглянул в лицо девушки. — Вру я! Отец жив, он нас бросил и не живет с нами. Понятно? И всё! Какой разговор!

Так вот в чем разгадка болезненной обидчивости этого порывистого паренька! Вот откуда грусть в его беспокойных, не по-детски серьезных глазах...

Муся попыталась притянуть Толю за руку:

— Чего же ты стыдишься, чужак!

— Я стыжусь? Вот еще! — Толя гордо поднял голову, но тотчас же печально опустил ее. — Вру я, стыжусь... У всех отцы, а у меня... Я всем говорю, что папа убит в финскую войну. Я только вам расскажу, ладно?

И, должно быть, мучимый желанием облегчить душу от тяжести, которую он обычно так мужественно скрывал, Толя скороговоркой, даже без своего обычного присловия «елки-палки», стал рассказывать печальную семейную историю, рассказывал и все время настороженно озирался, нет ли поблизости Николая.

7

Толя Златоустов — до войны ученик ремесленного училища — был сыном техника, работавшего на большом заводе. Были у него еще младший братишка и совсем маленькая сестричка, и жизнь их поначалу ничем не отличалась от жизни других ребят заводского пригородного поселка. Толя старательно учился, свободное время проводил в заводском пионерском дворце, на лето выезжал с лагерем на дачу и однажды, как отличник учебы и пионерский активист, побывал даже в Артеке, на берегу зеленого, шелковистого, ласкового моря.

Целиком поглощенный школой и детскими своими делами, он долго не замечал, как что-то неладное стало твориться в семье. Отец, бывший раньше домоседом, начал исчезать по вечерам. Мать, как-то сразу осунувшаяся и постаревшая, ходила с заплаканными глазами и иногда вдруг застывала у кухонного стола или у окна с иголкой в руках, да так и сидела часами, тихо вздыхая, глядя куда-то в пространство.

Однажды Толя вернулся домой необычайно возбужденный. Был очень интересный пионерский вечер — встреча со знаменитым арктическим летчиком, прославленным Героем Советского Союза. И мальчик горел желанием поскорее рассказать своим об этом вечере и о собственном желании стать полярником. Но, войдя в комнату, он увидел, что мать, точно неживая, лежит на кровати, смотрит в потолок и даже не замечает, что братишка с сестренкой старательно разрисовывают чернилами клеенку на столе.

Толя бросился к матери:

— Что с тобой? Заболела, да? Позвонить в поликлинику? Врача?

Она не ответила, даже не повернулась к нему. Мальчик кинулся к телефону.

— Я позвоню папе в цех, ладно?

Губы матери дрогнули, подбородок съежился. Крупные слезы побежали по бледному виску, запутались в волосах.

— Не звони, сына, папа не придет. Папа нас бросил, мы теперь одни, — тихо сказала мать и, уткнувшись лицом в подушку, вся затряслась.

Толя застыл у телефона. Он любил отца, и то, что сообщила мать, казалось ему настолько неестественным, обидным, что он сперва даже не поверил ей. Может быть, это ошибка? Может, мама понервничала, погорячилась, сказала это в запале после какой-нибудь ссоры?

Но отец не пришел домой ни в этот вечер, ни в следующий. Потом он поймал Толю, когда тот возвращался из школы. Человек, который всегда казался сыну примером мужества, краснея, пряча глаза, запинаясь, бормотал о том, что Толя уже большой и должен его понять и что если мать отдаст, он готов взять всех троих ребят в какую-то новую семью. А если не отдаст, они будут жить по-прежнему в своей квартире, ни в чем не нуждаясь: он будет отдавать им половину заработка. Мальчику было страшно, в голову невольно лезла странная мысль: может быть, это не отец, а какой-то чужой, незнакомый человек, только внешне похожий на отца, бормочет жалкие, фальшивые и такие страшные слова? Нет, это он! И родинка на щеке, и рубашка на нем та же, что мать вышила ему ко дню рождения. Так как же он смеет?...

И тут в Толе, до этого дня беспечном, жизнерадостном мальчугане, впервые обозначился его настоящий характер. Он зло посмотрел на семенившего за ним человека, сказал только одно слово: «Уйдите!» — и бросился от него прочь, размахивая портфельчиком с книжками. В этот день Толя по-взрослому рассудительно поговорил с матерью. Отец ушел — пусть, такого отца им не надо! Идти жить к нему? С ума он сошел! И денег его не брать, ничего от него не брать. Проживем и без него.

Мать думала то же самое. Она вернулась к чертежному столу в заводское конструкторское бюро, где работала до замужества. Толя перешел учиться в вечернюю смену и добровольно принял на себя часть забот о домашнем хозяйстве. Он научился вставать раньше всех, грел матери чай, жарил картошку, отводил малышей в детский сад, на обратном пути забежал в магазин. Когда мать была занята сверхурочной работой, Толя сам стряпал, стараясь все делать так, как и соседка, обвертывал кастрюльки газетой и одеялом, чтобы мать, вернувшись из своего бюро, нашла горячий обед.

Зная, как мать волнуется за его учебные успехи, он занимался теперь с особым, недетским усердием и часто за полночь просиживал над тетрадями. А когда мать однажды заболела, он научился мыть полы, стирать и даже сам зашивал малышам одежду, штопал для них чулки.

Как-то раз, когда он хозяйничал на общей кухне, почтальон принес перевод на довольно крупную сумму. Мальчик обрадовался неожиданным деньгам, так как в семье теперь считали каждую копейку. Но, узнав почерк отца, он сразу потерял к ним интерес. Мать, повертев в руках извещение о переводе, пристально посмотрела на сына и, к радости мальчика, решительно вернула повестку обратно. Таким же образом были возвращены еще два-три перевода. Отец пробовал звонить по телефону. Услышав знакомый голос, Толя, не слушая, клал трубку. Деньги перестали приходить.

Жить покинутой семье становилось трудно. Мать, привыкшая к высоким заработкам мужа, едва сводила концы с концами. Обращаться в завком или в кассу взаимопомощи она стыдилась. Из комнаты исчезло несколько вещей, расставаться с которыми было так же

грустно, как со старыми друзьями. Перейдя в седьмой класс, Толя дал матери табель с отличными отметками и очень твердо, совсем по-мужски заявил, что учебу он решил бросить и хочет поступить на завод. Мать только вздохнула и, отвернувшись, долго смотрела на темный квадрат на обоях, где когда-то висел портрет отца.

Утром, одевшись по-праздничному, Толя отправился в отдел кадров завода. Посмотрев метрику, ему заявили, что таких юных на завод не принимают, и посоветовали кончить семилетку. Толя забрал бумаги и пошел прямо к директору. Пожилая секретарша выслушала его, сочувственно повздыхала, но к директору не пустила. Она пояснила, что в отделе кадров правы.

Но Толя не сдался. Выйдя из директорской приемной, он остановился в коридоре у пожелтевшей стенной газеты. Управленческие «новости» были для него совершенно неинтересны, но он упрямо читал заметку за заметкой, то и дело оглядываясь на дверь кабинета.

Наконец дверь открылась, и появился высокий, массивный человек. Он торопливо шел по коридору, роняя на ходу сердитые, отрывистые фразы двум пожилым служащим, едва поспевавшим за ним. Догадавшись, что это и есть директор, Толя, весь цепенея от застенчивости, ринулся вдогонку, сбивчиво бормоча свою просьбу, протягивая табель с отличными отметками. Занятый разговором, директор вряд ли даже уяснил, чего от него хочет этот мальчик.

— В кадры, в кадры, в кадры! — нетерпеливо сказал он и, не оглядываясь, стал сбегать с лестницы.

Перед тем как вернуться домой, Толя забрел в дальний уголок заводского парка и вдоволь выплакался на траве. Домой он явился с сухими глазами и, ни о чем не рассказав матери, пошел в чулан, где уже много лет валялся кое-какой слесарный инструмент, сохранившийся еще от деда.

Смышленный, упорный во всех своих делах, мальчик быстро усвоил начатки несложных домашних ремесел и качал подрабатывать, запаивая соседям кастрюльки, чиня керосинки и примуса, проводя электричество, немножко столярничая. Обитатели огромного заводского дома охотно поручали ему мелкую работенку. Впрочем, главное здесь было не в его мастерстве, а в сочувствии соседей.

Однажды в воскресенье по чьей-то дружеской рекомендации маленького монтера позвали в квартиру к самому директору, жившему в том же доме. Жена директора, полная и веселая женщина, спросила у Толи, не возьмется ли он к вечеру сделать электрическую проводку к новой люстре, которую она купила мужу в подарок ко дню рождения. Фокус заключался в том, что лампочки в люстре должны были включаться не сразу, а ярусами. Толя смело принял заказ. Он сбегал за инструментом, за проводами, приволок стремянку, застелил газетами натертый паркетный пол и, засучив рукава, принялся за дело. И тут его ждал позор. Укрепив ролики, натянув провод, он убедился, что знаний и навыков для этой незнакомой и сложной проводки у него не хватает.

Ему стало жутко, захотелось все бросить и бежать. Но он не сдался. Крепко сжав зубы, он упрямо комбинировал подключение проводов, стараясь опытным порядком достичь нужной последовательности. При каждом стуке сердце у него замирало от страха. Пот лился по его лицу. Но когда расстроенная хозяйка заходила в комнату, она видела маленького монтера погруженным в дело. Лицо у него было растерянное, руки дрожали, и у раздосадованной женщины не хватало духу выбрать и выгнать самозванца, сорвавшего ей сюрприз.

Сидя на лестнице под потолком, Толя видел, как к подъезду подошла машина, видел, как выскочил из нее знакомый большой человек, слышал, как задребезжал в передней звонок и



раздался хрипловатый рокочущий басок, который когда-то так равнодушно произнес: «В кадры, в кадры, в кадры!» Мальчик уже решил, что его с позором выгонят, и теперь хотел только одного: скорее бы прекратилась пытка ожидания, наступил конец.

Впрочем, даже предчувствуя приближение катастрофы, Толя не переставал искать нужную комбинацию, перебирал провода, подключал, переделывал все снова и снова. За этим занятием на вершине стремянки под потолком и застиг его директор. В пижаме, в домашних туфлях, с розовым после умывания лицом и мокрыми волосами, он несколько минут молча наблюдал за мальчиком, и в узких глазах его светились насмешливые и, как казалось Толе, безжалостные огоньки. Возясь с проводами, мальчик старался не глядеть вниз — старался и не мог. Насмешливый взгляд притягивал, как притягивает пропасть. Наконец нервы маленького монтера не выдержали, плоскогубцы выскользнули у него из рук и, вrostучав по ступенькам, грохнулись на пол.

— А ну, слезай! — пророкотал снизу директорский басок.

Директор, скинув пижаму, сам полез на стремянку. Он сел там верхом и начал отрывисто командовать, требуя подать то отвертку, то молоток, то плоскогубцы. А через полчаса был торжественно повернут выключатель, и, загораясь ярус за ярусом, люстра победно засияла под потолком. Директор опустил рукава шелковой рубашки, застегнул запонки и вдруг с силой притянул к себе незадачливого монтера своей большой рабочей рукой:

— А ну, выкладывай, зачем халтуришь, почему не учишься?

У этого человека оказалось замечательное умение все понимать с полуслова. Он только переспросил у Толи его фамилию и осведомился, не сын ли он начальника токарного цеха. Узнав, что сын, директор тихонько свистнул и произнес многозначительно: «Так, так, так!» Потом он заявил, что на завод мальчику поступать действительно рановато, но обещал зачислить его вне общего набора в школу ФЗО. На прощанье он по-мужски пожал худенькую холодную руку мальчика и велел ему завтра же приходиться оформляться. А вечером в комнату Златоустовых, в стенах которой уже завелось было эхо, вдруг пришли незнакомые женщины с кулечками: принесли съестного, отрез, куклу и мишку для маленьких. Они посидели с полчаса, попили чайку и, как заметил Толя, несколько раз как будто бы невзначай спросили у матери, отчего ж она до сих пор не обратилась в завком.

Прощаясь, старшая из женщин взяла с матери слово не чураться коллектива.

Вскоре Толя был принят в ФЗО. Мать ловко пригнала ему по фигуре новенькую форму. Маленький рабочий, понятливый, прилежный, исполнительный, как-то сразу врос в жизнь цеха. Быстро освоившись с токарным станком, он увлекся работой, требовавшей смекалки и быстроты, догнал, а вскоре и перегнал однокашников. Старик-инструктор из заводских кадровиков, наблюдая, как точно движутся ловкие руки способного новичка, довольно кричал и сулил мальчику большую производственную славу. И хотя душевная рана не заживала, Толя, встречаясь с отцом в цехе, как можно небрежней прикладывал дрожащую руку к козырьку форменной фуражки и с самым равнодушным видом проходил мимо.

День, когда ему выдали первую получку, был днем его величайшего торжества. Он все до копейки отнес матери. Теперь есть у нее помощник, и не будет она плакать по ночам, уткнувшись в подушку! В этот вечер всей семьей пили торжественно чай. Весело сверкала праздничная, подкрахмаленная скатерть, пыхтел электрический чайник, малыши старательно уминали розовые плюшки, купленные старшим братом. Все было, как в самые лучшие времена. Толя сидел в отцовском кресле чинно и важно, в гимнастерке с ясными пуговицами, с туго затянутым ремнем. Уж он покажет отцу, что они и без него отлично проживут! Он кончит школу досрочно. В свободное время он будет работать, в цехе, он сумеет помогать маме.

Мать, в новой красивой вязаной кофточке, извлеченной ради такого случая со дна комода,

веселая, разливала чай. Лишь изредка, когда взгляд случайно падал на темный квадрат на обоях, на лицо матери набегала тень печали, но она быстро переводила взгляд на сияющую физиономию ремесленника, и в глазах ее снова загоралось материнское горделивое торжество.

Мальчик вернулся в цех окрыленный и как-то сразу повзрослевший. Отказывая себе в кино, хмуро отворачиваясь от соблазнов заводского буфета, Толя все деньги относил семье. Но дело было не только в этом. Мальчик все больше и больше увлекался работой, и по мере того как к нему приходило настоящее мастерство, он открывал в ней необыкновенные радости. И вот, когда из их комнаты начало выветриваться горе, а Толя уже мечтал, как, окончив школу, он станет у автоматического станка и будет соревноваться с лучшими заводскими токарями, началась война. Она сразу разрушила с таким трудом восстановленную было жизнь. Ребята из школы ФЗО единодушно выразили желание присоединиться к заводским добровольцам, отправлявшимся создавать оборонительные рубежи. Директор, помнивший о Толе, хотел было задержать мальчика на заводе. Но Толя даже рассердился. Он настоял на своем и отправился вместе с добровольцами.

Случилось так, что немецкая танковая армия, прорвавшись к Литве, обошла район старой границы, где среди тысяч других добровольных строителей, восстанавливая укрепления, трудился и Толя с товарищами. Ребята оказались сразу в глубоком тылу немецких армий. Инструктора, приехавшего с ними, убило осколком снаряда. Когда испуганной стайкой, растерянные, подавленные, ребята собрались у песчаного бруствера уже ненужных теперь укреплений, именно этот маленький, худой подросток, прозванный товарищами «Елкой-Палкой», подал мысль не разбредаться и организованно пробираться к своим через фронт вражеской армии. И хотя среди ремесленников были возрастом и постарше Толи, все они сбились вокруг своего маленького товарища. Без долгих рассуждений и споров ремесленники тронулись в путь по неведомым проселочным дорогам.

Их-то и увидела Муся в начале своего странствования. Остальное о них она уже знала и знала, что Толя и в партизанском отряде оставался вожаком своей юной гвардии...

— И молодцы же вы, ребята! — сказала она, ласково поглядывая на своего маленького друга.

— Это я только вам рассказал. Ведь вы такая, особенная... Дяде Николаю не передавайте, не надо... Я ведь всем говорю — отца на финской убило. Не расскажете? Ладно?

Муся молчала. Этот маленький человек, ощетинивающийся, как еж, от малейшего неосторожного прикосновения, боевой партизан Елка-Палка с печальными, недетскими глазами стал ей с этого часа по-братски близок. Она взяла в ладони мальчишескую голову со спутанными жесткими волосами и поцеловала Толю в лоб...

8

В последние дни Николай стал часто и надолго исчезать из лагеря. Он возвращался черный, как трубочист, и Муся догадывалась, что бродит он не по острову, а уходит в лес и странствует где-то там среди пожарищ.

Так оно и было. С каждым днем нетерпение все больше одолевало молодого партизана. Ну как же! Где-то там, на северо-востоке, Советская Армия один на один сражается со всеми силами фашизма; на западе в лесах отряд Рудакова и другие партизанские части и соединения подтачивали тылы фашистских войск, посильно помогали Советской Армии. А он,

Николай Железнов, крепкий, здоровый человек, комсомолец и кандидат партии, в эти дни, когда решаются судьбы Родины, живет, как в доме отдыха.

Дисциплинированный партизан, он беспрекословно согласился выполнить сложное, опасное задание командира — переправить ценности через фронт. Не рассуждая, он тогда ответил Рудакову: «Есть». Но теперь, когда остановка из-за Мусиной раны затягивалась, тоска по боевой деятельности совершенно измучила партизана. Умом он сознавал, что действует правильно, что иначе поступать и нельзя, но сердце томилось и день ото дня все настойчивее звало вперед.

Николай видел: Муся мучается не меньше его. Не раз он из чащи подлеска наблюдал, как она, опираясь на палочку, упорно тренируется в ходьбе. Не раз, когда в небе летели косяки перелетных птиц, перехватывал он тревожный и тоскующий взгляд, которым девушка провожала их.

Боясь снова невольно выдать свое нетерпение, Николай покидал теперь лагерь иногда на целый день. Он переходил протоку, уходил далеко от озера, ища какую-нибудь дорогу, где можно было бы подстеречь вражескую машину, найти и перерезать телеграфную линию или, на худой конец, напасть на какого-нибудь беспечного вражеского солдата. Партизан не имел карты. Он не знал, что огонь загнал их в дебри большого государственного заповедника, и поражался тем, что, бродя по окрестностям, ни разу не видел ни проезжей дороги, ни жилья, ни свежего человеческого следа.

Опустошенный пожаром лес был однообразно черен и мертвенно тих. Пепел и угли сухо хрустели, будто стонали под ногой. Точно вороново крыло, лоснились обгорелые стволы сосен. Хвоя редких, уцелевших от огня вершин пожухла и с шелестом осыпалась при малейшем ветерке. Деревья не издавали того приятного, мелодично шуршащего звона, который ухо привыкло слышать в бору. Они словно онемели. В зловещей тишине иной раз на целый километр, как стон, как скрежет зубовой, раздавался скрип мертвого соснового ствола, раскачиваемого ветром. Бесплодные поиски не успокаивали, а, наоборот, растрavляли нетерпение Николая. В нем начинало расти глухое раздражение и против командира, пославшего его в такое боевое время с необыкновенным поручением, и против Муси, невольно задержавшей выполнение задания, и против собственной беспомощности. Лес, сожженный фашистами, напоминал ему о «мертвых зонах». Николай понимал, что Гитлер, отчаявшись одолеть в бою Советскую Армию, искоренить партизан, сломить гордый дух непокоренного населения оккупированных территорий, стремится всю страну сделать такой вот черной пустыней. И партизан с тоской и злостью думал о том, что он вынужден сидеть сложа руки, в то время как фашисты, быть может, уже штурмуют Москву.

Угрюмый, раздраженный, возвращался он на остров и в этот раз. Стоял один из тех капризных и пестрых дней, какие иногда бывают в этих краях в последнюю пору бабьего лета. С зеленоватого прохладного неба неярко светило солнце. Порывистый ветер торопливо подстегивал обрывки белых невесомых облаков. Озеро, открывавшееся перед Николаем за черной гарью леса, остро посверкивало чистой и мелкой рябью. Оно было по-осеннему пусто, и даже зеленые листья купав, еще недавно лежавшие на воде, куда-то исчезли, и только султанчики водяной гречихи, с черными бусинками переспевших семян, зябко покачивались на торопливой ряби. Зато остров, озаренный солнцем, пышно и ярко сиял над холодной водой своими разноцветными красками. Партизан невольно залюбовался им.

Есть в природе особая, всё покоряющая красота, которая хоть ненадолго, хоть на миг заставляет человека забывать любые невзгоды. Минут десять простоял Николай на узкой песчаной косе. Вода лизала песок у его ног, с острова доносилось торопливое перешептыванье подсыхающих листьев, сухой шелест еще зеленой осоки, да издали слышалась сердитая перебранка опустившейся на отдых перелетной гусиной стаи.

После густой тишины горелого леса здесь было очень хорошо. Грудь дышала вольно. Аппетитно похлюпывала прозрачная мелкая волна, и партизану вдруг захотелось выкупаться. Ведь уж давно, с тех пор как огонь выгнал их из центрального лагеря, не был он в бане. Тело тосковало по мочалке и мылу. Эх, была не была! Сразу повеселев, Николай нарвал сухой травы, сделал из нее подобие мочалки, быстро разделся и прямо с берега бросился в озеро. Поначалу вода обожгла и словно вытолкнула его. Вскрикнув, он стал быстро плавать, кувыркаться, нырять и так разогрелся, что ему стало хорошо, радостно забилось сердце.

Николай вырос недалеко от такого вот озера. Бывало, как только весенний ветер ломал и отгонял от берега лед и очищал воду, станционная детвора открывала купальный сезон. Ребятишки раздевались рядом с жухлыми льдинами, с шелестом таявшими на солнце. И вот сейчас ледяная вода напомнила партизану беззаботное детство. Стало весело и легко. Он выскочил на косу, попрыгал, греясь, и, поддев песку на самодельную мочалку, стал крепко тереть покрасневшее тело. Прозрачная осенняя вода постепенно бурела вокруг его крепких, мускулистых ног.

Увлечшись мытьем, Николай не заметил, как день быстро менялся. Солнце по-прежнему еще сияло, но большая черная с седоватой гривой туча торопливо надвинулась с севера, из-за щетки горелого леса. Ветер рванул, засвистел, закружил шелестящий пепел и пеструю листву, взвихрил и поднял все это над озером, а потом сразу опал, и на взволнованной поверхности воды испуганно запрыгали тысячи пестрых кружочков. Заметив, что палый лист льнет к ногам, Николай оторвался от мытья и осмотрелся. Ветер предостерегающе дохнул ему в лицо запахом снега. Партизан торопливо окунулся. Уже не чувствуя радостных токов горячей крови, ощущая только противную зябкую дрожь, он начал торопливо напяливать белье. А кругом все быстро темнело, гасли буйные расцветки леса на острове. Целые стаи листьев, порхая и крутясь, неслись над головой, липли к взлохмаченной воде. Потом вдруг зашелестело, и Николай, едва успевший натянуть рубашку, почувствовал тонкие уколы снежной крупки, замелькавшей в воздухе. Она летела на землю густыми вихрящимися облаками.

Кое-как одевшись, партизан побежал вдоль узкого песчаного пляжа, стремясь унять зябкую дрожь. Он бегал, пока снова не запульсировали во всем теле горячие токи крови, пока опять не ощутил в себе веселый подъем сил. Как-то сразу спала метель, исчезла свинцовая сумрачность, в воздухе посветлело, на вновь поглубевшем небе вспыхнуло солнце.

Но пейзаж уже резко изменился за эти несколько минут. Озеро, забросанное палой листвой, походило на пестрый ковер. К побледневшим осенним краскам ощутимо примешивалась еще одна — холодная, сверкающая, белая. Снежная крупка мягкими подушками лежала на траве, на ветках хвойных деревьев. Только кусты прибрежного ивняка, оттененные ватной опушкой, стали еще зеленей. Все посветлело, но прежний грустноватый осенний уют исчез из леса.

А в небе вслед за тяжелой, свинцовой, с седыми космами по краям тучей уже тянул продолговатый треугольник журавлиного косяка. Крылья птиц сверкали на мрачном фоне уходившей метели.

И опять нахлынула на партизана тоска.

Николай вернулся в лагерь, когда снежок уже стоял, всё кругом: и трава, и деревья, и серые пирамиды шалашей, и знаменитый пенёк со своими березками — все сверкало.

Муся и Толя накинулись на своего друга:

— Наконец-то! Ну где ты бродишь? Нужно ж идти, мы давно уже уложились.

В самом деле, возле пня Николай увидел мешки, плотно и прочно упакованные хозяйственным Толей. Под мокрой плащ-палаткой вырисовывались автоматы. Стараясь не

выдать радости, партизан испытующе взглянул на своего маленького друга, на девушку.

— Муся, а как нога? — спросил он.

Вместо ответа девушка пробежалась по мокрой поляне, потом легко, как коза, вскочила на пенек, прыгнула с него. Вот тут-то Николай не сдержал своей радости. Он схватил Мусю подмышки и, оторвав от земли, закружил ее по поляне:

— Ты молодец, Муська! Ах, какой молодец!

— Пожалуйста, без глупостей, пусти! Слышишь, пусти, медведь! — сердилась девушка, беспомощно болтая в воздухе ногами.

Но Николай продолжал ее крутить, пока она не сменила гнев на милость и не улыbnулась. Тогда он бережно усадил ее на пенек, смяв обе березки, и оглядел товарищей счастливыми глазами:

— Ребята, здорово вы меня надули! — И, подмигнув Толе, добавил: — Елки-палки!

Николай облапил и расцеловал маленького партизана, подступил было и к Мусе, но та, сердито сдвинув брови, густо вспыхнула, точно ягодным соком облилась.

— Но, но, без глупостей, пожалуйста! — проворчала Муся, бережно выпрямляя березки, примятые на пенке. — Совсем с ума сошел, чуть не поломал такие славные деревца... Ну ничего, растите себе, этот медведь завтра уйдет отсюда...

9

Трогаться в путь решили с рассветом и потому, поужинав, засветло забрались в шалаши. Свернувшись клубочком и прижавшись к своему большому другу, Толя сразу уснул. Николай тоже добросовестно закрыл глаза и постарался дышать глубоко и ровно. Но сна не было, в голове мелькали мысли о завтрашнем дне. Наконец-то в путь!

А там месяц, в крайнем случае полтора, и они — у своих. Как-то живут сейчас советские люди там, за линией фронта? И где он сейчас, фронт? Ведь столько дней они не читали сводки... Может быть, Советская Армия уже наступает? Двигается им навстречу? Может быть, не так далеко до нее идти?

Думалось Николаю, что, не случись война, сидел бы он сейчас в светлой институтской аудитории, слушал бы лекции, читал интересные книги, работал в биологическом кабинете, ставил опыты, помогал профессору экспериментировать. «Профессора, книги, биологический кабинет — ах, как это теперь далеко!.. А как здорово было! И главное, даже никто и не замечал всей прелести и полноты свободной, социалистической жизни, как сильный, здоровый человек не замечает обычно красоты и мощи своего тела... Неужели эти мерзавцы смеют думать, что мы все это уступим, что им удастся дать истории задний ход?... Глупцы, глупцы!.. Но сколько они уж сожгли, вытоптали, изгадили, сколько пролито крови!..»

Перед глазами Николая вдруг явственно вырисовываются ободранные, израненные клены и за ними страшная пустота — там, где стоял маленький деревянный железновский домик; проплывает платформа последнего эшелона, и на ней согбенная фигура матери, уставившей куда-то под ноги тупой, невидящий взгляд; руины вокзала, и в них, как в декорациях, худенькая маленькая телефонистка, и все вокруг нее забрызгано кровью...

Чувствуя, что ему от гнева трудно уже дышать, партизан осторожно, чтобы не разбудить Толю, повертывается на другой бок. Теперь, когда под утро бывали уже крепкие заморозки, партизаны на ночь поверх плащ-палаток, которыми они накрывались, накладывали для тепла еловые лапки. В шалаше стоял запах свежей хвои. Он напоминал Николаю о детстве, о новогодней ночи, которая всегда торжественно отмечалась в семье машиниста-наставника, о богатом праздничном столе, об отце с длинными расчесанными и нафабранными по случаю праздника усами, о матери, сияющей и радостной, проворно носящей из кухни новогодние яства, о громкоголосых братьях, о веселом, хмельном шуме, всегда наполнявшем в этот день чистенький домик, где в углу комнаты, которую по-старинному звали светелкой, стояла большая, пестро украшенная елка.

Интересно, понравилась бы Муся его старикам? Николай живо представил себе, как является он на семейное новогоднее торжество вместе с девушкой; с любопытством смотрят на нее мать, отец задумчиво разглаживает усы, вежливо покашливает сосед Карпов, неизменный почетный гость Железновых... Как все это далеко!..

Холодный свет луны, проникая в ходок шалаша, серебрит тонкие кристаллики инея, уже посолившего еловые ветви. «Наверное, холодно сейчас Мусе?... Интересно, какой-то она была до войны?»

Чувствуя, что сон окончательно ушел, Николай тихонько выбирается из-под плащ-палатки, получше укутывает маленького партизана, набрасывает на него еловые лапки и тихо вылезает из шалаша. Заиндевелая трава точно курится голубоватым светом и хрустит под ногами. Тоненькая, стройная березка, возвышающаяся над шалашом, задумчиво покачивает длинными космами. Потяжелевший от инея лист срывается с ее ветвей при каждом прикосновении острого, пронзительного ветерка. Кажется, что деревце ознобно вздрагивает. Может быть, одеяло съехало, и девушка вот так же вздрагивает там, у себя в шалаше? Озабоченный партизан тихо приближается к Мусину жилью, заглядывает в него.

Когда глаз привыкает к темноте, он видит девушку. Она зябко съежилась под одеялом. Николай осторожно стаскивает с себя ватную куртку и, оставшись в одном свитере, покрывает девушку с головой. Он делает это очень осторожно, но вдруг чувствует, как маленькая сильная рука крепко берет его руку.

— Не надо, мне тепло.

— Ты не спишь?

— Нет. Никак не могу уснуть, все думаю.

— О чем?

— Так, обо всем... О тебе вот тоже...

Они говорят шепотом, и это как-то сближает их. Осмелев, Николай делает попытку забраться в шалаш, но сам он так велик, что голова его раздвигает жерди, и вдруг все рушится. Откуда-то из-под путаницы ветвей и палок он слышит приглушенный, но очень задорный смех.

— Ну и медведь! Пригласи такого в гости!

Муся выкарабкивается из-под развалин шалаша, потирает руки, дует в них. Смущенный партизан продолжает сидеть на месте, не поднимая головы. Шалаш что, его можно быстро поправить! Жалко темноты, прошитой тонкими прядями лунного света, жалко сближающего шепота.

— Может, тебя ветками придавило? Может, помочь? — смеется Муся.

Она стоит под березой, живая, стройная, легкая, как это белое деревце, облитое лунным светом. Николаю сразу приходят на ум стихи лирического поэта, и, подчиняясь колдовскому обаянию голубоватой ночи, он говорит:

— Стой так, стой и слушай.

Её к земле сгибает ливень,

Почти нагую, а она

Рванётся, глянет молчаливо —

И дождь уймётся у окна.

И, в непроглядный зимний вечер

В победу веря наперёд,

Её буран берет за, плечи,

За руки белые берет.

Николай все еще сидит среди развалин шалаша, полузакрытый его ветками. И читает он неважно, растягивает слова. Но в его голосе звучит что-то такое, что заставляет девушку замереть под деревом, что наполняет сердце ее теплом, взволнованной радостью.

— Ну, ну! — заторопила она, когда Николай остановился.

— А дальше я забыл.

Партизан с нарочитой неторопливостью поднимается на ноги, старательно отряхивает хвойный мусор. Муся нетерпеливо посматривает на него и требовательно говорит:

— Николай, врешь. Дальше!

— А дальше ни к чему. Ну, если ты хочешь...

Но, тонкую, ее ломая,

Из силы выбьются... Она,

Видать, характером прямая,

Кому-то третьему верна...

— Всё?

— Всё.

— Это чьи стихи?

— Щипачева. Это прямо о тебе. Это ты березка — вот такая, как эта, красивая, стройная, гордая, сероглазая...

— Березка сероглазая?

Они посмотрели друг на друга и засмеялись, зажимая рот и косясь на шалаш, где спал Толя.

— А я Щипачева как следует и не читала. Мне все казалось, у него стихи — семечки, простенькие-простенькие... Как это: «Но, тонкую, ее ломая, из силы выбьются...» Здорово! Всего перечитаю обязательно!

— Правильно, придешь завтра в библиотеку и спросишь: «Дайте мне полного Щипачева».

Николай поднял холодные руки девушки и стал греть их в своих ладонях. Она сунула их ему в рукава.

— Ты же говорила, что не любишь лирики. Почему?

— Так, не знаю... Нет, знаю: поэзия должна поднимать, заряжать. «Эй, кто там шагает правой?левой!левой!..»

Вынув руки из рукавов Николая, отодвинувшись от него, девушка, озорно блеснув глазами, вполголоса запела:

То не тучи грозные — облака

По-над Теремом за кручей залегли.

Кличут трубы молодого казака,

Пыль седая стала облаком вдали...

Голос ее точно раздвинул предутреннюю тишину леса, и столько в нем было юного, сверкающего задора, бурлящей молодости и веры во все лучшее на земле, что песня сразу захватила партизана, и вдвоем, улыбаясь, весело переглядываясь, они тихонько пели куплет за куплетом.

— Вот песня! Под такую хорошо идти... Ты помнишь, Николай, как тогда по болоту с песнями шли, а? Это поэзия!.. Нужно, чтоб каждая строчка пелась, строила, стреляла, а что это: розы — грезы, родная — золотая... Но о березке это ловко. О березке сероглазой... Ты что-нибудь еще из Щипачева помнишь?

Николай, грея своим дыханием Мусины руки, отрицательно покачал головой:

— Ничего. У меня память скверная. Я и это не помнил, но тут как-то само на ум пришло. Он хорошо пишет, Щипачев, но ты права — очень просто... А вот у Тютчева-постояй, постояй... Эх, забыл! Ты читала Тютчева? Вот мастер-то! В каждой строчке мастерство...



— А по-моему, настоящее мастерство — это когда его вовсе и не чувствуешь. Да, да, что ты думаешь? Вот чистый воздух — дышишь и не замечаешь, что он хороший. Просто хочется глубже дышать. А когда запах, приятный или плохой, — это уже не то...

Помолчали. Вдруг Муся прыснула со смеху.

— Ты что? — настороженно спросил Николай и даже отодвинулся от нее.

— А вот сказать нашим девчонкам в банке, о чем мы сейчас разговариваем. Партизаны, перед походом... Не поверят, слово даю.

— Почему не поверят? А помнишь, Рудаков: «Без поэзии ночь — только тьма, хлеб — только род пищи, а труд...» Забыл, как про труд... Хорошо он тогда сказал!

— Где-то он сейчас? Как-то они там?...

Оба вздохнули, смолкли.

Сетчатая тонкая тень от березы ушла вправо. Окружавшие поляну деревья понемногу выступали из синеватого мрака, трава еще больше белела и серебрилась от загустевшего инея.

Николай с Мусей стояли, тесно прижавшись; глаза девушки мерцали где-то совсем рядом и казались партизану огромными. Эта ночь еще больше сблизила их. Они стояли так тесно, что Николай чувствовал своей щекой холодок щеки Муси. И было им хорошо и немного жутко.

Николай убеждал себя поцеловать Мусю — ведь нужно сделать только маленькое движение вперед и коснуться ее губами. Но именно теперь, в эту ночь, после их разговора, сделать это движение было почему-то необычайно трудно, и сердце партизана билось так, как если б он стоял над пропастью, хотел и не решался заглянуть в нее.

Луна, совсем побледнев, опустилась за деревья. В поредевшей тьме уже довольно четко обозначался знакомый, но точно вылинявший, потерявший прежние краски, густо припудренный инеем лес.

Наконец Николай легонько притянул к себе девушку, губы его неловко ткнулись ей в щеку где-то возле уха. Муся чуть отпрянула, высвободила кисти рук из его рукавов. В ее отдалившихся глазах Николай не увидел ни радости, ни укора. В них была грусть. Чуть нахмутив брови, она тихо сказала:

— Не надо!

Если бы она возмутилась, оттолкнула его, может быть даже ударила, партизану не было бы так тяжело, как от этого простого «не надо». Сразу же услышал он сухой хруст инея под своей подошвой, ознобная дрожь прошла по всему телу, нижняя челюсть мелко задрожала. Он ударил кулаком по белому стволу березки; деревце вздрогнуло и осыпало их инеем.

— Ух ты, сколько! — вскрикнула Муся, отряхивая сухие кристаллики. — Вот так подарила нас сероглазая березка... — Девушка лукаво взглянула на огорченного партизана. — Николай, ты помнишь, как я тебе пуговицу к кителю пришивала? Помнишь, еще Матрена Никитична меня о чем-то предостерегала?

Большие круглые глаза по-мальчишески вызывающе смотрели в упор на Николая.

— Ну как же! Сердце, мол, его не пришей.

— Ну?

— И пришила! Крепко. Навсегда.

— И свое тоже, — тихо произнесла Муся. Произнесла и засмеялась задумчиво, едва слышно.  
— Ну, вот и не о чем больше говорить. Все ясно. Да?

Она смело глянула в глаза партизану и, привстав на цыпочки, крепко поцеловала в губы. Но прежде чем он успел ее обнять, она выскользнула у него из рук, отскочила в сторону и, улыбаясь издали, сказала подчеркнуто обычным тоном:

— Пора собираться. Я разложу костер, а ты буди Елочку. Идет?

Николай, вздохнув, покорно пошел к уцелевшему шалашу.

Через полчаса в котелке кипел взвар из брусники. На трех аккуратных берестинках лежали изрядные куски вяленой зайчатины. Плотно закусив, напившись взвару, друзья тронулись в путь.

При переходе через протоку произошло замешательство. Вода была мелкая, но все же перелилась бы за голенища маленьких Мусиных сапог. Девушка задержалась у кромки пляжа. Николай перенес через протоку Толю, мешки и нерешительно остановился перед Мусей. Девушка сама обняла его за шею, и, весь просияв, он бережно понес ее над холодной рябоватой, точно гусиной кожей покрытой, водой.

10

Прямо от озера путники взяли на восток, розовевший прозрачным холодом скупой осенней зари. Чтобы не утруждать девушку, которая заметно прихрамывала, Николай вовсе освободил ее от груза и пропустил вперед.

Шли неторопливо, но споро. Муся старалась не сбавлять шаг. Но что-то странное стало твориться с Толей. Не прошло и часа, как маленький партизан, обычно такой легкий на ногу, заявил, что сбил пятку, и уселся переобуваться. Потом пошел вприпрыжку, каким-то смешным заячьим скоком и затормозил движение. Попрыгав таким образом еще час, он решительно сбросил свою кладь и опять потребовал отдыха. Николай выбранил его и велел как следует подвернуть портянки. Но паренек, обычно такой обидчивый, только стоически вздохнул, потирая ногу.

Но кому остановка пришлась по сердцу, так это Мусе. Идти ей было трудно, хотя, конечно, она ни за что не призналась бы в этом спутникам. Рана ныла. При каждом шаге она точно стягивала поврежденные мускулы. Нога немела, плохо слушалась и болела, будто к ней прикасались чем-то горячим.

Отдохнув минут десять, Толя встал и опять неторопливо заковылял вперед. Но когда Николай, желая облегчить его, попытался взвалить себе на плечи и его мешок, мальчик покраснел до слез, отнял поклажу и продолжал нести сам. Так, делая из-за Толи частые остановки, путники шли до самого обеда. Вторая часть пути далась Мусе уже легче, и все же, когда Николай скомандовал остановиться на ночлег, она без сил опустилась на опаленную землю, думая только о том, как бы не выдать своей усталости и боли.

Ночевать они решили под открытым небом, возле большой, поваленной ветром обгорелой сосны. Они обложили ее сушняком и, слегка окопав землей, подожгли. У этого неторопливо, с сипением тлевшего костра они и собрались провести ночь.

Разводя огонь, Николай то и дело поглядывал на Толю. Мальчик действовал с обычным своим проворством, совершенно при этом не прихрамывая. Взгляд Николая становился все более хмурым. Когда сосна наконец разгорелась, распространяя вокруг благодетельный жар, он подошел к маленькому партизану, занятому приготовлением ужина, схватил его за плечо и сердито приказал:

— Разувайся!

Толя вспыхнул и, испуганно оглянувшись, поджал под себя ноги.

— Разувайся! — повторил Николай уже зло. — Сбил ноги — проветри их, дай им отдохнуть! Не знаешь, что ли? Что ж, опять нам из-за тебя тащиться, как гусеницам?

Толя продолжал прятать ноги. Николай вышел из себя. Он попытался было схватить паренька за ногу, но тот вскочил, царапнул партизана злым взглядом и, сжал кулаки, зашептал побледневшими, вздрагивающими губами:

— Попробуй, только посмей! Только попробуй, посмей!

Муся бросилась между ними.

С минуту Николай сердито смотрел на маленького упряма, потом усмехнулся и молча улегся у медленно горевшего бревна. Он не понимал, что случилось с мальчишкой. «Неужели он притворяется? Зачем, для чего?»

Позже, когда Николай уснул у огня, Муся тихонько встала, подошла к Толе. Щадя его самолюбие, она мягко уговаривала его послушать совета опытного товарища и разуться. Толя упрямо уклонялся от разговора и по-мальчишески отпирался:

— А какое ему дело? Что он лезет?... Я к нему не пристаю, пусть он не лезет... Пусть попробует, пусть только тронет!

И он сердито косился на безмятежно спавшего Николая.

Бревно тлело всю ночь. Спутники отлично выспались, встали бодрые, вчерашнее недоразумение, казалось, было забыто. Но как только тронулись в путь, Толя опять стал маяться из-за стертой ноги, замедлял движение, требовал остановок. Николай только сердито мотал головой, но ничего не говорил, Муся же втайне радовалась, так как поспевать за остальными ей было все еще трудно.

К вечеру вышли из горелого леса, подавлявшего путников своей тишиной. Впереди, за травянистым болотом, перед ними открылся не тронутый пожаром лес, пестрый и яркий.

Николай поправил на плечах тяжелую кладь и бросился бегом через болото навстречу этому живому лесу. За ним с обычной резвостью, совершенно перестав хромать, пустился Толя. Когда Муся, очень от них поотставшая, добралась до первых зеленых деревьев, Николай отчитывал Толю за притворство. Маленький партизан ничего не отвечал и только беспокойно поглядывал на приближающуюся девушку.

Лес звонко шумел, славно пахло прохладной осенней прелью, грибами, мхом. Глубоко вдохнув чистый воздух, Муся расправила плечи, счастливо улыбнулась, оглядывая буйную зелень не тронутой осенью хвои:

— Товарищи, как все-таки здорово жить! А?

— Мне кажется, когда мы перейдем фронт, мы сразу почувствуем то же, что и сейчас, выбравшись из этой проклятой гари, — ответил Николай. — Мне кажется, что и воздух там

должен быть какой-то другой, и земля, и лес особенные.

— Вот-вот, и мне почему-то так думается! — воскликнула Муся.

— Точно. Мне, елки-палки, кажется, что и солнце-то как-то хуже светить стало с тех пор, как фашисты сюда пришли.

После однообразных траурных пейзажей горелого леса здесь было так хорошо, так привольно дышалось, что как-то сама собой возникла казачья песня, которую Муся и Николай пели ночью на островке. Толя шутливо начал подсчитывать шаги. Все трое подхватили мотив и, бодро шагая, допели до конца.

— Разве плохо, товарищ лирик? — спросила Муся.

Лес, солнце, зеленая хвоя, песня, свежий воздух, воспоминания о последней ночи, проведенной на острове, — все это радовало и бодрило девушку, будило ощущение собственных сил, молодости, красоты.

— А разве плохо: «Рванется, глянет молчаливо, и дождь уймется у окна»?

— Это о чем вы? — подозрительно спросил Толя.

Муся и Николай посмотрели друг на друга, немножко смутились и не ответили. Им было приятно, что у них завелась общая тайна.

Отвлекаясь от раны, которая еще давала себя знать и мешала идти, Муся думала о том, что же изменило леса за эти двое суток, пока она с друзьями шла по черной пустыне. Только когда Николай скомандовал привал, девушке удалось уловить эту разницу. Убитый последним, особенно сильным заморозком, лист буйно тек с ветвей. Лиственные деревья полысели, погас яркий пламень их красок. Сосны и ели теперь как бы выступили вперед, прикрыв своей синей хвоей наготу берез, осин, ольх и орешника. Только низенькие корявые дубки еще поддерживали честь своих облысевших лиственных собратьев. Рыжими, ржавыми пятнами выделялись они в хмуроватом однообразии хвои.

Когда Николай ушел поискать свежей дичи к обеду, а Муся начала собирать бруснику, от изобилия которой краснели солнечные полянки, Толя наконец разулся и развесил портянки на кустах. Вернувшись с полным котелком тронутых морозом, мягких и сладковатых ягод, девушка неслышно подошла к стоянке и пристально осмотрела ноги своего маленького спутника: на них не было и следа потертости. Сначала девушка рассердилась. Потом, вспомнив, как Толя испугался, когда Николай хотел понести его груз, вдруг поняла, для чего он притворялся.

Муся почувствовала большую нежность к этому колючему, упрямому пареньку.

Услышав приближение девушки, маленький партизан быстро спрятал ноги.

На следующий день они двигались заметно быстрее.

Однажды под вечер сквозь ровный привычный лесной шум вдруг донеслось до них пение петуха. Все трое мгновенно замерли. Лес поднимался сплошной зеленой стеной, хмурый и неприветливый. Он шумел глухо, ровно. Но путникам показалось, что они уже улавливают

легкий запах дыма, и дыма не горького, одно воспоминание о котором вызывало у них содрогание, а теплое, жилого, в котором чувствуется близость людей, сытный дух приготовляемой пищи. И вдруг снова, даже не очень далеко, точно спросонок, хрипловато прокричал петух.

Партизаны переглянулись.

Жилье! Это обрадовало и испугало. Оно могло означать уютное тепло, отдых под кровлей, хлеб, по которому они так стосковались, но, может быть, таило и засаду, схватку с врагом, новые испытания.

Решено было, что Муся с Николаем засядут в кустах, а Толя пойдет на разведку. Мальчик сбросил мешок и, изобразив на своем подвижном лице жалостную гримасу, засунув руки в рукава, весь зябко съежившись, скрылся в кустах. Через некоторое время густо залаял пес. Послышались голоса. Муся прижала кулаки к груди и вся точно оцепенела. Девушке показалось, что прошло много времени, прежде чем появился Толя. Подмышкой у него была увесистая краюха хлеба.

— Пошли! — едва выговорил он: рот его был набит хлебом.

Толя разломил краюшку и протянул спутникам по половинке.

От кислого аромата у Муси даже голова закружилась. Что может быть лучше, чем вонзять зубы в душистый, нежный, еще теплый хлеб, должно быть только что извлеченный из печи! Несколько минут они сосредоточенно жевали, испытывая несказанное наслаждение.

Наконец, доев свою долю, Толя стряхнул с одежды крошки, бросил их в рот и стал рассказывать:

— Лесник живет. Старый. Пускать не хотел: кто да что, да не велено немецким старостой никого пускать. Да подавай ему немецкую бумагу. Гонит, а вижу — вроде ничего, вроде свой. Я ему и так и этак — ни в какую: «Много вас тут шляется. Из-за таких вот фашист мирного жителя и палит». Я, елки-палки, рассердился и прямо ему бряк: «А разве лучше, если свои расстреляют, а?» Он на меня уставился: «От партизан?» Я говорю: «Точно». Он сразу вроде переменялся. «А из чьих будете?» Я ему: «Тебе не все равно? Не из здешних». Он еще поломался, в затылке поскреб: «Ну, черт с вами, идите. Только не по дороге, а по задам, от леска подходите». Тут я у него хлебушка попросил. Хлеба у него этого в доме напечено — ужас! На скамье чуть не под потолок хлебы лежат.

Ценности закопали под приметным султаном можжевельного куста, осыпанного сизыми ягодами, посорили сверху хвоей и, взяв автоматы в руки, осторожно пошли за Толей.

Лесник встретил их у плетня, огораживавшего садик. Он делал вид, что чинит покосившийся тынок, но по его настороженному взгляду и по тому, как держал он топор, было ясно, что тын тут ни при чем.

Николай решил действовать прямо.

— Здорово, дед! — сказал он, шагая к старику с протянутой рукой.

— Здравствуй, внучек, — ответил тот, отводя за спину руку с топором и половчее перехватывая при этом топором.

Они настороженно осмотрели друг друга. На миг взгляд старика задержался на советском автомате, висевшем на груди партизана. Автомат был новенький, отливал синим гляncем воронения. Будто невзначай старик пощупал пальцем лезвие топора, переложил его в левую руку и старческой скороговоркой зачистил:

— Здравствуйте, страннички! Откуда и куда бог несет?

Взгляд лесника еще раз задержался на автомате, скользнул по лицу Николая, с ног до головы смерил Мусю.

Только после этого старик протянул партизану костлявую, морщинистую руку.

— Но коли так, давай и за руку подержимся. Вы кто будете-то, милые мои? — спросил он, меняя тон.

Николай заметил интерес старика к своему автомату. Это было оружие новейшей советской конструкции, из тех, что самолет доставил с Большой земли. Партизан понял, что старик не так уж прост, как хотел казаться. Оружие служило в те дни на оккупированной земле неплохим удостоверением личности. Партизан показал леснику новенькую казенную часть автомата:

— Видишь: «СССР... 1941 год». Смекаешь? Только что с конвейера, тепленький.

— Занятная вещица! — ответил лесник уклончиво и насмешливо прибавил: — Ох, и оружия нынче на руках ходит всякого: и немецкое, и итальянское, и французское, и даже вон финское, какого только нет... А вы что, ищите, что ль, кого или идете куда, иль просто по лесу плутаете?

Безбородое, безбровое, очень морщинистое лицо старика Мусе не понравилось. Именно такими представлялись ей предатели. Но обманчивый облик Кузьмича отучил девушку судить о человеке по внешности. Да и окажись лесник предателем, что бы он мог сделать один с топором против трех вооруженных людей?

— А если, например, мы из окружения выходим, что тогда? — спросил Николай, пытливо поглядывая на лесника.

Водянистые глаза старика совсем спрятались в путанице глубоких морщин.

— С новыми автоматами? Понятно. Ну что ж, «окруженцы», ступайте в избу, что ль, а то вон и дождь пошел... Так, стало быть, из окружения. А знаете ли вы, распрекрасные «окруженцы», что господин районный фельдкомендант приказал вашего брата задерживать, за шкуру брать да к нему водить?

От этих слов Муся было попятилась, но Николай решительно ввел ее в низкие, полутемные сени. Скрипнула обитая тряпьем дверь. Из избы густо ударил чудесный запах печеного деревенского хлеба, самый жилой и уютный из всех человеческих запахов. В переднем углу на скамье рядами, матово лоснясь коричневыми корками, лежали свежие круглые караваи. Они «отходили», прикрытые еловыми ветками. Из печи тянуло все тем же жарким хлебным духом. Рядом с печью стояла большая деревянная квашня, прикрытая рядом.

— Большая у вас семейка, ишь хлеба едят сколько! — усмехнулся Николай, зорко высматривая все углы темноватой избы, заглядывая за печку.

— Уж какая есть, что чужое-та считать, — отозвалась возившаяся у печи тощая старушка.

Возле старушки, как-то вся поджавшись, точно собираясь взлететь, стояла худенькая молодая женщина. Она была похожа на эту высохшую клювоносую старушку, как новенький, сверкающий свежим никелем и четкостью своего рисунка гривенник на тусклую, истершуюся монету. На руках молодой был грудной ребенок. Должно быть, она только что его кормила и теперь стояла, загораживая ладонью свободной руки незастегнутую блузку. Лицо у нее было привлекательное, но болезненно бледное и очень печальное.

Женщины тревожно смотрели на Николая, сразу заполнившего собой всю переднюю половину избы, на воинственного Толю, обвешанного оружием. Но когда через порог переступила Муся, они переглянулись и точно облегченно вздохнули. Золотистый жар мелодично потрескивал в печи, с хлюпающим болотным звуком лопались пузыри в опаре.

— Помогай вам бог, — сказала Муся, усвоившая от бабки Прасковьи кое-какие правила сельской вежливости.

— Спасибо, коли не смеетесь, — тихо ответила молодая.

И по голосу и по тому, как она произносила эти нарочито народные слова, Муся догадалась, что женщина эта — интеллигентная, городская и, скорее всего, гость в лесной избушке.

— Что ж, мать, покормить странников надо, — тоненьким, бабьим голоском сказал лесник. — Есть там у нас щец, что ли? А вы садитесь, чего стоять.

Скинув мешки, партизаны сели к столу, но автоматы положили на лавке возле.

— Смотрите, — шепнул Мусе Толя, потихоньку указывая на стену.

Девушка подняла глаза и увидела в углу большую цветную фотографию, вырезанную, должно быть, из какого-то журнала. На ней была изображена Матрена Никитична, обнимавшая пестрые телячьи мордочки. Широкая белозубая улыбка была на лице женщины. И на миг Мусе показалось, что она видит не засиженный мухами, пожелтевший лист бумаги, а далекая подруга улыбается ей в этом незнакомом жилище. На душе у девушки сразу стало хорошо, спокойно.

Старуха молча принесла котелок щей, вылила их в глиняную миску, перед каждым положила по деревянной ложке и тихонько произнесла:

— Кушайте на здоровье.

— Много вами благодарны, — ответила Муся.

— Вот и сразу видно, что вы не деревенская. В колхозах так уж давным-давно не говорят, — усмехнулась бледными губами молодая хозяйка, появляясь с ребенком в дверях и с любопытством посматривая на гостей.

— Нет, отчего же, Зочка, это где как, — политично смягчила старшая и покосилась на автоматы.

Николай и Толя не могли сдержать улыбку, а сконфуженная Муся дала себе слово больше не прибегать к дипломатическому словарю бабки Прасковьи.

Лесник, в валенках, в заплатанном, залоснившемся полушубке, стоял, скрестив руки, у входной двери, с усмешкой наблюдая за тем, как быстро пустела объемистая миска. Прежде чем старуха успела принести вареную картошку, с такой же быстротой исчез и целый, еще теплый каравай хлеба.

Николай и Толя ели картошку прямо руками, макая ее в блюдце с солью. Только Муся пыталась есть вилок. Но отвыкшие руки дрожали, и раз вилка, выскользнув из пальцев, даже упала на пол. Картошка была съедена так же быстро, как и щи. Собрав и отправив в рот последние разварившиеся кусочки, Николай улыбнулся:

— Всё уничтожили, как саранча. Вы уж извинит? нас...

— Кушайте себе, лишь бы на пользу, — сказала старушка.

Она набрала в опустевший котелок еще картошки и сунула его в печь.

Чувствуя в теле приятную сытость, партизаны распустили пояса.

— Наверное, удивляетесь на таких едоков? — спросил Николай.

— А чему удивляться, все теперь вот так-то: придут и едят... Раньше-то к нам только охотники и заглядывали, и то больше весной да под осень, к первой пороше, а теперь... — старушка громко вздохнула, — теперь много народу с места стронулось да по лесам бродит, как звери дикие. Война. Слезами земля умывается.

— Вы ступайте-ка в клеть, мне со странничками потолковать надо, — сказал лесник, отделяясь наконец от дверного косяка.

Старуха, взглянув в печь, пошевелила кочергой горячую золу и, взяв под руку дочь, вышла с ней из избы.

Лесник достал из-за печи поллитровку с мутной жидкостью, заткнутую зеленой еловой шишкой, вынул из висевшего на стене шкафчика четыре разномастные кружки, все это поставил на столе.

— Ну, открывайтесь, «окруженцы»: кто такие? Этот... — он указал на Толю, который от сытости начал уже дремать, — этот «окруженец» в гвардии, что ль, служил?

На безволосом лице старика появилась косая усмешка.

— А вы что ж, в полиции, что ль, у немцев? Вам все знать надо? — отозвалась Муся и, будто поправляя гимнастерку, расстегнула кобуру пистолета, висевшего на поясе за спиной.

— Зачем в полиции! А если мне знать охота, кто у меня сидит, кого кормлю-пою, — отозвался старик, и выразительные морщины на его лице собрались в пучки насмешливых лучиков. — А ты, милая, пистолетик-то оставь — не пугай: не боязливый я что-то нынче стал. Парнишка сказал, будто вы от партизан разведчики, и оружие у вас подходящее. Вот и пустил я вас. А то бы... Оттуда, что ли? — Он показал на небо. — Может, не там приземлились или ищите кого... Всяко бывает.

Николай собрал со стола крошки себе в большую ладонь, отправил их в рот и с удовольствием пожевал. Лесник принес еще один каравай, разрезал его на крупные ломти и положил на стол. Со стариковской неторопливостью он ждал ответа. Гости опять принялись за хлеб.

— Видать, наголодались. Долго ищите, что ли? — спросил лесник.

Николай переглянулся с Мусей. Хотя внешность лесника с первого взгляда мало располагала, надо было, по-видимому, действовать начистоту. Окажись лесник предателем, вряд ли смог бы он вызвать в сторожку полицию. Да и хозяйки, такие обе разные и такие похожие друг на друга, очень располагали к себе тихой деликатностью.

— Он, — Николай кивнул в сторону Толи, — он правду сказал. Мы — партизаны. Нам нужно перейти фронт.

Партизан произнес все это, глядя старику прямо в глаза. Так всегда поступал Рудаков, желая узнать, что творится на душе у человека.

Морщины хозяина разбежались, на губах мелькнула горькая усмешка:

— «Перейти фронт»... А до фронта-то сколько идти, знаете?



— А вы знаете? — спросила Муся. Уловив тоскливую ноту в голосе лесника, она вся похолодела от страшного предчувствия. — Неужели Москва?...

Старик вздохнул:

— Фашисты вон в листках своих пишут: не только Москва, а будто и Ленинград взят. Наши будто бы к Уралу отходят. Старостам на сходках велено было об этом пароду объявлять... Листки для партизан по дорогам расклеивают: выходите с повинной, карта ваша бита.

— Врут, подлецы! — вскрикнул Николай и вскочил с такой стремительностью, что стол приподнялся и все, что было на нем: ложки, кружки, — покачнулось, а миска упала на пол и разбилась.

Разбуженный шумом, Толя схватился за оружие.

— Кто? Где? — тревожно спрашивал он, осматриваясь спросонья.

— И я так полагаю — врут, так что посуду-то громить вроде незачем, — спокойно ответил лесник. Все бесчисленные морщинки опять пучками сбежались к его глазам, и глаза точно сразу помолодели, по-доброму улыбнулись. Собирая с полу черепки, лесник продолжал: — И я так полагаю: не только они не взяли, а и не взять им ни в жизнь Москвы, хоть всю свою гитлерию переведи на мясо... Ходит по лесу слушок, будто город Калинин взял он, будто и еще к Москве приблизился, а тут ему: «Стой, полно, шабаш!» И к Ленинграду, говорят, будто подошел, и тут ему опять: «Нет тебе дальше ходу!» Будто там он, фашист-то, теперь кровью и исходит в затяжных боях.

— Откуда знаете? — быстро спросил Николай.

У хозяина собралась на лбу целая гармошка морщин.

— Это уж вроде и не твое, парень, дело. Я у вас не спрашиваю, как вас звать, к кому с чем посланы. Сейчас, брат, паспорт не важен, сейчас надо знать, кто ты есть — честный советский человек ай стрекулист из гестапы... Ты, брат, за спиной у немцев гуляя, эти слова: «кто», да «где», да «сколько» — забудь. А то как раз от честных людей и схлопочешь себе пулю в затылок. Ты не спрашивай «откуда», а слушай. Ходит еще по лесу слушок, будто Советская Армия такую для них мясорубку завертела, что в ней сукин сын фашист весь, со всеми своими железками, перемелется. Вот как!

Ловким ударом лесник выбил из горлышка шишку, разлил по кружкам мутную жидкость.

— За самого, что ли, выпьем, товарищи страннички? Дай ему бог здоровья и долгих лет!

Лесник привычно плеснул в рот жгучую влагу, морщины его легли вокруг рта полукружиями.

— Эх, не такую бы пакость за него пить! Ну, да успеется, фрица турнем — бог даст, белую головку за победу откроем.

Николай разом осушил свою кружку. Муся хлебнула, подавилась, закашлялась. Толя отодвинул чашку и спокойно, но твердо заявил:

— Не пью.

Лесник повел на него повеселевшими глазами, ткнул его пальцем под ребро:

— Ишь, «не пью»... А какой же ты партизан, коли не пьешь! Лесному человеку без того нельзя. Уж не агент ли ты из гестапы? А ну, открывайся!

Язык у хозяина заметно развязался. Он кликнул женщин. Они молча вернулись в избу и принялись возиться с новой партией поспевших хлебов. Старшая тонкой лопатой ловко выхватывала из печи караваи, младшая смачивала верхнюю корку водой, а потом, перекидывая с руки на руку, несла к окну и прикрывала еловыми ветками. Делали они это привычно, умело, не обращая внимания на гостей. Видно было, что не впервой им печь такую гору хлеба и не впервой видеть в своем доме незнакомых вооруженных людей.

Придя в конце концов в отличное расположение духа, лесник решил:

— Вот что, ребята: что-то вы чешетесь очень. Должно, фашистов развели тьму, по лесам-то скитаясь. Давайте-ка я вам баньку схлопочу.

И пока, разомлев от жары, от сытости, от сухого избяного тепла и жилого уюта, путники дремали, привалясь друг к другу на скамье, лесник истопил баню, натаскал воды. Николай с Толей были приглашены помыться «по первому парку».

Увидя, что партизаны берут с собой оружие, хозяин пошутил:

— Это что ж, заместо мочалки с веником? — Но, заметив, как гости сразу насторожились, поспешил добавить: — Ладно, ладно, это я так, смеху ради! Правильно, парень, среди волков живешь — по-волчьи и выть надо. С зубами-то и на ночь не расставайся, а то самого как раз и слопают.

12

В ожидании своей очереди Муся уснула тут же, на скамье. Кто-то осторожно поднял ее голову и подложил подушку. Сквозь теплую стену сна глухо доносились женские голоса.

— Молоденькая совсем. Ишь ты, ей бы в куклы играть, а она вон по дебрям да по трущобам с оружием лазит... Мужики уж ладно, а такие-то вот на что... девчонка ж... Ох, ох, ох, времечко!..

Чья-то рука покрыла Мусю теплой шубой. Ей хотелось благодарно пожать эту руку, но не было сил пошевеливаться, и она только повела губами, думая, что говорит спасибо.

— Видать, интеллигентная. Еще школьница, наверное, — отозвался другой голос. — Вон какие воюют! Все воют, весь народ поднялся, а вы меня не пускаете.

Старческий голос зачастил испуганно и раздраженно:

— Думать не смей! Маленького от груди не отняла, а тоже... Ребенка воспитывай, да хлеб пеки, да белье стирай — вот и вся твоя война, и на том спасибо. Войне-то, ей не только пули — ей и хлебушко нужен. Гляди: бедная, все чешется во сне-то. Ты уж, Зоюшка, свою станушку для нее захвати. Ей, поди, и переодеться не во что...

Потом голоса удалились, расплылись в пестрой мгле видений, и Муся, наслаждаясь теплом и покоем, заснула так, что через час ее с трудом разбудили вернувшиеся из бани спутники, распаренные, красные, потные и счастливые. Возле Муси с тазом, со свертком белья, по-деревенски обмотанная платком, в пестром от заплат полушубке стояла дочь лесника — Зоя.

— Что ж, пошли и мы, наша очередь. Соскучились, наверное, по бане?

Муся не помнила разговора, слышанного сквозь сон, но в душе осталось безотчетное чувство благодарности к этой тоненькой, хрупкой женщине. Девушка доверчиво прижалась к ней, и они, как старые подружки, весело побежали по протоптанной меж гряд огорода дорожке в курную баньку.

Все дальнейшее: льдистую прохладу предбанника, жаркую горечь банного воздуха, упругие облака пара, шипенье и плеск воды и непередаваемо приятное прикосновение жесткой мочалки — все это слилось потом в памяти Муси в радостное ощущение уютной домашности, по которой так истосковалась ее душа.

Потрескивая и задыхаясь, коптила в углу маленькая керосиновая лампешка. В клубах пара неясно белел силуэт тоненькой женщины, худенькой и стройной, как подросток. Сквозь плеск воды и шипенье пара на раскаленных камнях слышался ее тихий, печальный голос. Пока Муся ожесточенно терла себя мочалкой, ее новая знакомая, упершись подбородком в острые девические колени, пространно рассказывала о том, как очутилась она здесь, в избе лесника, у родителей.

Зоя была женой командира-пограничника. Весь гарнизон в первый же день войны оказался отрезанным от своих колоннами вражеских танков. Пограничники решили сопротивляться до последнего. Засев в блокгаузах и дотах, они стойко отбивали непрерывные атаки. По ночам жены командиров уносили раненых в подвал заставы, превращенный в госпиталь. Под бомбежкой и обстрелом бинтовали и выхаживали их. Гарнизон редел в неравном бою. На пятый день обороны умер от раны муж Зои — лейтенант, последний защитник северного блокгауза. Раненый, он целый день вел бой, и Зоя, добравшись сюда ползком, чтобы перевязать мужа, заряжала для него пулеметные ленты. Он умер у нее на руках, и она сама принесла начальнику заставы его ордена и партийный билет.

На восьмой день круговой обороны, когда от личного состава маленького гарнизона оставалось всего девять человек, из которых шестеро были ранены, начальник, тоже раненый, продолжал руководить боем. Он вызвал женщин, имевших детей, и приказал им ночью уходить через овраг.

— Я спросила его: «А как же раненые?» — звучал из парной мглы печальный женский голос. — А он, капитан, сказал мне, что все, и здоровые и раненые, решили сражаться до конца. Я сказала ему, что у меня еще нет ребенка и поэтому я останусь при раненых, а он ответил: «Ребенок у тебя, Зоя, скоро родится, и ты должна уйти вместе с матерями». Я сказала, что никуда не уйду от могилы мужа, что желаю умереть здесь так же, как умер и он. Капитан в ответ пошутил, что если все солдатские жены будут так рассуждать, то в будущую войну некому будет защищать родину. Я сказала, что все-таки никуда не уйду от раненых, а капитан ответил, что он — начальник заставы и я должна его слушаться. Я пошла на могилу мужа. Его ночью закопали рядом с развалинами домика, где мы жили... А потом начальник прислал за мной бойца. «Идите, пока темно, так приказал капитан», — сказал мне боец. И я пошла. Они все могли бы тоже уйти, но не хотели, решили сражаться до конца. И сражались. А я добралась сюда, до своих, и вот все жалею, зачем я ушла: ведь лучше бы мы все погибли там вместе и я лежала бы рядом с мужем. Правда? Ведь правда?

Мусе казалось, что голос женщины доносится откуда-то издалека. Печальную эту историю она слушала как-то вполслуха, ожесточенно действуя мочалкой, плеща на себя маслянистый мутный щелок, обливаясь из шайки водой, и только между делом роняла сочувственно:

— Да, да... Ай-яй-яй...

Но худенькая женщина, должно быть, и не ждала ее ответов. Просто неудержимо рвалось наружу то, что эти тяжелые месяцы она носила в себе.

— Мне все мерещится он, Коля мой, как перенесли его из блокгауза. Весь в крови, бледный, и

только волосы у него, мягкие-мягкие, как чесаный ленок, ветер шевелит. Волосы шевелятся, а мне думается — жив он, утомился и спит... А тут мальчишка один, начальника заставы сынишка, тербит его: «Дядя Коля, вставай! Дядя Коля, проснись!..» И я все теперь думаю: зачем от него ушла, не надо было уходить! Лежали бы вместе... А сейчас я что? Так, палый лист. Все маме вот говорю: «Пусти к партизанам». А мама: «И думать не смей, у тебя ребенок!» А что ребенок? Победим — без меня хорошим человеком вырастет, а не победим — зачем ему жить! Разве при фашистах жизнь? Правда?... Я себя страшно ругаю, что тогда ушла. Но ведь начальник сказал «приказываю», а в пограничных частях, знаете, строго...

13

Потом Муся, покрасневшая, сияющая, одетая в старинную, из грубого, домотканого полотна, крестиком вышитую хозяйкину кофту и в полушубок, вместе с Зоей вернулась в домик. Толя уже сладко посапывал на лежанке. Николай с лесником сидели за столом перед пустой и початой бутылкой. Лесник, весь красный, оживленно размахивал руками и тоненьким своим голосом кричал на всю избу:

— ...Вот ты, парень, как в баню шли, взял автомат. Почему взял? Не доверяешь мне? А мне не обидно, нет! Почему не обидно? Потому, я знаю: значит, парень настороже... значит, парень этот самый фашисту двойной урон сделает... Значит, валяй, не доверяй. Вот! Я, милый, знаю, мы тут все фашиста щиплем только. Бьют-то его, собаку, там: Красная Армия его лупит. Однако щипки тоже не без пользы. Вот! Спать ему, сукину сыну, не давать ни днем, ни ночью, чтоб он покою не знал. А такого, исщипанного, пуганого да невыспавшегося, его и там, поди, бить легче. Это, парень, стратегия, боевое взаимодействие сил. Так, что ли, оно у вас по уставу-то называется? Нет?

Увидев вошедших, Николай радостно вскрикнул:

— Муся, ты знаешь, хозяин говорит, что Совинформбюро передавало... — но не закончил, с восхищением уставившись на свою спутницу.

Лицо девушки, отмытое от копоти, полыхало ярким румянцем. Отросшие за дорогу волосы вились тугими кольцами. Даже лесник залюбовался ею.

— А ну, партизаночка, присядь с нами, — пригласил хозяин.

Муся хмуро покосилась на бутылки.

— Спать надо, вот что! — коротко бросила она, проходя мимо Николая, и вслед за Зоей скрылась за ситцевой занавеской.

Здесь стояла узенькая девичья кровать, а рядом в плетеной корзинке, висевшей на толстой, прилаженной к потолку пружине, раскинув ручки, спал маленький розовый человечек, тот самый, что, еще не родившись, принимал участие в бою на границе своей сражающейся Родины.

Обе женщины быстро разделись и легли, обнявшись, как сестры. Только сейчас, когда Зоя прижалась к Мусе, спрятала свое лицо у нее на груди, девушка поняла всю горечь того, о чем та рассказывала. Ей стало очень жаль эту женщину, похожую на подростка. Муся, как маленькую, стала гладить ее по голове, а Зоя, теснее прильнув к ней, тоскливо и бесшумно заплакала.

Из-за занавески продолжали доноситься возбужденные голоса.

— Фриц, он что? Он привык на танках по Европам разгуливать, а у нас не разгуляешься, нет!  
— шумел лесник. Гремели чашки, булькала наливаемая жидкость. — Он, собака, как думал? Танком проползу — бац! — и земля моя. Виселицу на площади вкопал, комендатуры и подкомендатуры всякие организовал, шушеру-мушеру в бургомистры да в подбургомистры посадил — нате вам, пожалуйста, «новый порядок»... А вот это самое он видел? Хо! Он предполагает, а мы располагаем. Он вон по саму маковку оружием обвешался, а от одного слова «партизан» его медвежья болезнь хватает... Фронт-то, вон он где, а он тут на ночь тужурку да портки снимать боится. Так, одетый, с автоматом в обнимку и спит... Тут ему, парень, не Западная Европа, не больно разгуляешься. Вот!

— А что, хозяин, партизан-то много у вас?

— Опять «сколько» да «где», «кто» да «что»! Говорю, не спрашивай. Видишь хлеб на лавке? На два дня не хватит. Понял? Ты вопросов не задавай, ты слушай... Догадка у меня есть: может, и не зря мы их так далеко пустили, а? Может, у командования у нашего есть такой план: дескать, пусть фашист в боях-то истреплется, а тут его как раз по башке и бац... Не слыхал, как у нас весной на медведей на выман охотятся?... Может, это одни мои глупые слова, допускаю, однако есть там не этот, так другой какой-нибудь секретный план. Уж это, парень, точно есть. Вот!

— Что там верховное командование думает — это нам неизвестно, — заметил Николай. — А что мы в Берлине войну кончим, вот это я знаю. Уж это обязательно...

— О! Правильно! Именно в Берлине. Нет такой силы, чтоб нас ломать. Вот они сейчас по всем дорогам к себе «нах хауз» сплошняком санитарные машины тянут. И день тянут, и ночь тянут, и конца им нет. Мы, брат, хоть мы и оккупированные, а знаем — нас большевистская партия не забыла, помнит о нас, не сегодня — завтра выручит.

— Спать бы шел и гостю б покой дал... агитатор! — донесся с печки тихий голос хозяйки. — Как вина хлебнет, так пошел языком воевать. Ложились бы и вы, с дороги-то. Я вам на лавке постелила.

— Пстой, мать, пстой!.. А ты, парень, слушай, ты молодой, а я две войны воевал и за две войны два раза германца битым видел. Драпал он от нас. А тогда какие мы были, кто мы были? Ну? А сейчас какие стали, а? То-то и есть!..

...За занавеской под стеганым, из лоскутов сшитым одеялом шел другой разговор:

— Я не знаю, кто вы, и не спрашиваю. Тут приходят из лесу, забирают хлеб, привозят белье стирать — я тоже ничего не спрашиваю: пеку, стираю. Наши — и всё. Но я прошу вас, очень прошу: возьмите меня с собой. Я не трусливая. Там, на границе, я сидела в блокаузе вместе с Колей, ленты ему заряжала, а потом, когда второму номеру голову осколком снесло, за второго номера у мужа была... Возьмите! Ну хоть сестрой милосердия или кухаркой. Я не могу тут. Сюда ж немцы заезжают, а я жена... вдова командира. Если я отсюда к вам не уйду, я, наверное, сделаю какую-нибудь глупость и погибну без пользы... Возьмите, родная, возьмите!

Худенькое тело женщины сотрясалось от рыданий Муся, которая была значительно моложе, чувствовала себя рядом с ней пожилой, умудренной. Она тихо гладила Зою по голове:

— Зачем же плакать? Каждый воует как может, и хлебы печь и белье стирать — дело. Лишь бы сложа руки не сидеть, не ждать. Я бы тоже с радостью осталась в отряде...

Муся закусила губу. Собеседница сразу от нее отодвинулась. Она будто вся похолодела и смотрела теперь на девушку настороженно.

— ...если бы мне не поручили другого задания, — поспешила поправиться Муся.

И вдруг загремел цепью, залаял пес. Сквозь лай прорвался отдаленный гул мотора. Зоя разом вскочила и, опустив босые ноги, напряженно вытянула шею. Мотор то стихал, то слышался вновь. С каждой минутой он звучал все слышнее и слышнее.

— Они, одевайтесь! — прошептала Зоя.

Лесник задул лампу, но синий свет фар уже бил в ставни. По избе тревожно метались огромные черные тени. Вся одежда Муси еще выпаривалась в бане. Соскочив с кровати, девушка заметалась, ища впотымах полушубок или хотя бы кофту. Николай расталкивал Толю, но, разомлев от непривычного домашнего уюта, маленький партизан, обычно такой чуткий в лесу, никак не хотел просыпаться и только отмахивался и мычал. Наконец он открыл глаза и, соскочив с лежанки, сразу же схватился за оружие.

На промерзшем крыльце уже скрипели и гремели шаги. Пес захлебывался лаем. Стук в дверь раздавался в притихшей избе оглушительно, как канонада.

— На чердак! — шепнул старик, распахивая дверь в сени.

Муся и Толя бросились туда и стали взбираться по приставленной лестнице. Николай колебался, видимо не очень доверяя леснику.

— Не сомневайся, не сомневайся! — с отчаянием шептал лесник, подталкивая его к лестнице. — Я же связной, партизанский связной, мне себя выдавать нельзя. Мне с немцами компанию водить велено.

В дверь бухали все нетерпеливее. Чем-то тяжелым колотили в ставень. Лай собаки поднялся до самой высокой ноты, но глухо хлопнуло несколько выстрелов, и он сразу осекся.

— Ой, горе, Дружка застрелили!.. Да сейчас, сейчас, носит вас по ночам! — громко ворчал лесник, силой толкая Николая к лестнице.

— Смотри, в случае чего — вместе на небо полетим, — шепнул партизан.

Упругими прыжками гимнаста он поднялся наверх и сейчас же втянул за собой лестницу.

14

Луна просовывала в слуховое окошко холодный толстый луч. Николай, Муся и Толя, тесно прижавшиеся друг к другу, видели в его свете пыльный кирпичный боров, березовые веники, парочками висевшие на шесте. Взволнованное их дыхание морозным облаком срывалось с губ и, переливаясь, уплывало в полутьму.

Партизаны захватили все свое оружие, но одеться никто из них не успел. Николай был одет теплее других: в ватных шароварах, в гимнастерке. На Мусе была всего лишь длинная ночная сорочка. В первые минуты, слишком взволнованные, все трое не замечали холода. Сжимая оружие, они прислушивались к голосам, просачивающимся сквозь щели потолка, и старались угадать, что это: случайный приезд незваных гостей или засада, устроенная им лесником?

Доносившийся до них снизу разговор понемногу убедил их, что приезд немцев случаен, что хозяин вовсе не собирается выдавать. Напряжение схлынуло. Вот тогда-то льдистая стынь крепкого ночного заморозка и впиалась в их разгоряченные баней и непривычным избяным

теплом тела. Неодолимая зябкая дрожь овладела их мускулами, зубы помимо воли стали выбивать противную дробь. Грея один другого, партизаны все время прислушивались к тому, что происходит внизу.

Судя по голосам и звукам шагов, в избе находилось пять-семь немцев. Часть из них осталась в кухне, за переборкой, а двое, в том числе и человек, говоривший на ломаном русском языке, прошли в горницу, расположенную как раз под тем местом, где, скорчившись, сидели партизаны. Объяснявшийся по-русски, по-видимому переводчик, говорил с лесником. Партизаны поняли, что машина с солдатами возвращалась из какой-то «особой экспедиции» и озябшие немцы просто зашли погреться. Тот, что разместился в горнице, по-видимому был начальником. Он говорил в нос, растягивая слова. Переводчик обращался к нему: «мейн офицер». Офицер попросил лесника, как выразился переводчик, «сделать воду теплой». Солдаты, расположась в кухне, стучали консервными банками, резали хлеб да подшучивали над дочерью лесника, которая, судя по стуку ковша, наливала самовар.

Потом от печного борова потянуло вкусным дымком. Кирпич начал чуть нагреваться. Нащупав место, которое теплело быстрее остальных, Николай устроил на нем Мусю и Толю.

Натянув рубашку до пят, девушка сжалась в комок и дышала себе в согнутые колени. В темноте чердака, пронзенной ледяным лучом, она напоминала маленький сугроб. Девушка тряслась, ее бил тяжелый озноб. Толя улегся на потеплевших кирпичках. Николай уселся в углу, там, где боров переходил в трубу.

— Мальчишкой я, елки-палки, мечтал ехать в Арктику. Вот был дурак-то! — стуча зубами, шепнул ему Толя.

— А теперь состарился и решил не ездить. Правильно, ну ее к черту, пусть там белые медведи мерзнут, — усмехнулся Николай, обнимая мальчика.

— Тише вы... Ох, кабы Зоя догадалась печь пожарче растопить! У меня душа в ледышку превращается, — отозвалась Муся. Сорочка не грела. Девушке было хуже всех.

Они шептали все это почти бесшумно. Густые курчавые парки по очереди срывались с их губ, клубясь в холодном синеватом луче.

Перед домом, стуча сапогами по подмерзшей земле, ходил часовой. Лунный свет медленно двигался по чердаку, он осветил содержимое большой плетеной корзины, до половины наполненной стеклянными шариками мороженой клюквы. Толя, оторвавшись от теплых кирпичей, стремительно, как синица, порхнул к корзине, вернулся с целой пригоршней ягод и роздал их товарищам. Партизаны стали жевать клюкву, такую кислую и холодную, что от одного ее вида немел язык. Теперь, когда нагревающиеся кирпичи уже ощутительно дышали благодатным теплом и удалось победить в себе противную ознобную дрожь, всё их внимание сосредоточилось на звуках, доносившихся снизу.

В горнице, судя по стуку ножей, вилок, хлопанью пробок и звону чашек, офицер пил и закусывал в обществе своего переводчика. В кухне, с шутками, со смехом, насыщались солдаты.

— Ой, заморозят нас, гады! — шептал Толя, обнимая руками печную трубу.

Разговор в горнице становился все более шумным. Опасаясь за Зою, Муся со страхом прислушивалась к спору, но все время надрывно плакал ребенок, и слова терялись в его заливиستم плаче. Только по тону можно было догадаться, что хриплый голос переводчика уговаривал Зою пить, а она отказывалась. Но вот наконец ребенок стих.

— Господин офицер заявляет, пусть пани не пьет водка, пусть пани опрокинет, перевернет

при нас рюмка французий коньяк Мартель... Мартель, о-о-о! Очень ценный напиток.

— Скажите ему, я не пью коньяка, я ничего не пью — у меня грудной ребенок, видите? Мне доктор... понимаете вы, доктор запретил, — слышался тоскливый голос Зои.

— Господин офицер просит добрейшую пани хозяйку сажать саму себя за наш стол. Господин офицер имеет желание рыцарски пить здоровье пани. Пожалуйста, просим, убедительно умоляем.

— Ой, мука какая... Да не могу я... понимаете, нельзя мне! Видите, у меня ребенок болен!.. Да понимаешь ты, идол: ребенок, сын, зон по-вашему. Вот он.

Послышались звуки падающего стула, звон разбитой тарелки, залиvistый плач малыша. Муся догадалась, что они силой тащат Зою к столу. Чтобы случайно не вскрикнуть, девушка закусилла мякоть руки. Смешанное чувство страха, омерзения и беспомощности, какое испытывала девушка, прячась в домике Митрофана Ильича, чувство, напоминавшее ей переживания героя фантастического романа, снова овладело ею. Мусе казалось, что худенькую печальную Зою схватили механические щупальца пришельца из иного мира, не понимающего ничего человеческого. Ей почему-то вспомнилось, что там, в этой комнате, висит вырезанная из журнала фотография Матрены Никитичны, и от этого ей стало еще страшней.

— Что же делать? Что же делать?... Нужно же что-то делать! — тоскливо шептала она.

— Сунуть им туда пару гранат! — возбужденно прошептал Толя посиневшими, дрожащими губами.

Николай наклонился к доскам под ногами и, приставив к уху сложенную раковинкой ладонь, слушал. Он уже не чувствовал холода, но весь дрожал. Иной озноб тряс его. Враги рядом! Нужно действовать. Мысль лихорадочно работала... Ну, часового под окном, наверное, нетрудно снять сверху удачной очередью. Потолочины не прибиты, их можно поднять. Пары гранат будет довольно. Но как с хозяевами? Ведь и они погибнут. И еще: в последнюю минуту старик шепнул, что он — связной от партизан. Можно ли, завязав драку, обрывать партизанскую связь? Можно ли лишать на зиму неведомый отряд хлебопекарни и прачечной?

Еще работая в комсомольском комитете, Николай приучался чувства и порывы свои проверять доводами разума. И он подавил жгучее желание сейчас же, внезапным ударом, расправиться с непрошеными гостями. Прислушиваясь к звукам, доносившимся снизу, он бросал в рот кислые ягоды и механически с хрустом жевал их.

— Давай бросим, а?... Давай! — шептал Толя. Он уже вложил запалы и вертел гранаты в руках. — Как старуха с молодой выйдут, так и жажнем! А? Ну что тебе стоит?...

— Дай сюда! — приказал Николай.

Отобрав гранаты, он осторожно положил, их рядом на боров дымохода. Потом, подумав, пощупал рукой теплый кирпич и сложил их под ноги.

Лунный луч, завершив свой путь, исчез. Только слуховое окно сияло голубовато и холодно, и от этого на чердаке было еще темнее. Партизаны сидели на остывавшем кирпичном борове, тесно прижавшись друг к другу. Муся чувствовала, что медленно коченеет. И нельзя было даже двигаться, чтобы согреться.

Четко скрипели на дворе по промерзшей земле шаги часового, внизу гудели голоса вражеских солдат, да слышно было, как мерзлая клюква скрипит на зубах Николая.



Сколько они так просидели, Муся не знала. Когда же внизу наконец послышалось движение, раздался скрип двери, топот шагов в сенях, она не смогла даже выпрямиться и продолжала сидеть скрючившись. Тело не слушалось, руки и ноги неудержимо тряслись.

На дворе зачихал, зафыркал, заревел мотор, зашуршала под шинами замерзшая земля. Несколько раз машина гукнула вдали. Затем все стихло.

Николай помог Мусе подняться на ноги. Толя, свешиваясь на руках с края сруба, уже прилаживался спрыгнуть в сени.

— Живы вы там?... Давай слезай, унесло их, — звал снизу взволнованный голос хозяйки.

Лестница была мгновенно спущена. Пока Муся, еще не оправившаяся от своего окоченения, неуклюже сходила по ней, Николай спрыгнул вниз и вместе с маленьким партизаном, держа оружие наготове, вошел в избу.

В кухонной половине, еще недавно такой чистенькой и прибранной, все было разбросано, засорено обрывками бумаги, объедками, пеплом. Густо пахло смесью плохого, не нашего табака, размокшей искусственной кожи и чего-то еще острого и непонятного — словом, тем, что Муся с первой встречи с чужими солдатами считала вражеским запахом.

Пока партизаны обшаривали углы, девушка вбежала в горницу. Тут, у стола с остатками более богатой еды, в позе немого отчаяния, опустив руки, сидела Зоя, бледная и неподвижная. Тупой тоской были полны ее большие глаза.

Муся, маленькая, кудрявая, с посиневшими щеками, в длинной белой сорочке, стала возле новой знакомой, боясь ее потревожить. Наконец Зоя подняла голову. Глаза их встретились, обе бросились друг к другу, обнялись и зарыдали горько и шумно. Появившиеся было в дверях партизаны, увидев их, остановились. Потом Николай тихо попятился, шепнув Толе:

— Дело женское, без нас проплачутся.

— Не могу, больше не могу... Вы же видели! Они же часто сюда заезжают, — шептала худенькая женщина, вся сотрясаясь от рыданий.

Муся пыталась ее утешать, но зябкая дрожь так колотила ее, что она не могла издать ни одного членораздельного звука.

— Они тут сидят, пьют, чавкают, хохочут, а вы там, на морозе, в одной сорочке!.. Я слышала, как вы по потолку ходили, испугалась даже, что они заметят. Потом затихли... Я думала: «Неужели замерзли?...» Ужас! Что я пережила! — Молодая хозяйка придвинулась к девушке; ее тоскливые, встревоженные глаза умоляли, просили, требовали. — Вы меня возьмете с собой? Слышите? Вы не смеете меня тут оставлять: я — вдова пограничника...

Старая хозяйка стояла возле и все пыталась накинуть полушубок на плечи Муси:

— Да оденьтесь же вы! Такая стужа. Вот ребята самогоночки хлебнули, и вы б погрелись... Я тут за вас вся измаялась.

Из соседней комнаты донесся встревоженный вопрос:

— Хозяйка, а где старик?

Николай стоял уже одетый, туго перепоясанный, заполняя собой всю дверь. Он строго и испытующе смотрел на старуху. Из-за его спины выглядывал Толя, тоже уже одевшийся по-дорожному.

— А он их, этих, до перекрестка провожать поехал, — просто ответила старуха.

Выйдя из-за занавески, где торопливо одевалась Муся, Зоя пояснила:

— Вы не сомневайтесь, пожалуйста. У отца задание такое, ему приказано с немцами поддерживать отношения... Это хуже, чем воевать, — поддерживать с ними отношения. Проклятая работа... Люди о нем что думают? Он как прокаженный какой.

В глазах маленькой женщины, бездонных, черных, светился такой искренний ужас, что напряжение растаяло как-то само собой.

Из-за полога вышла Муся. Складная, подтянутая, с густой шапкой русых кудрей, она больше чем когда-либо напоминала хорошенького задиристого парнишку.

— Вы меня возьмете с собой, да? — спросила Зоя.

Муся опустила глаза, потом медленно подняла их и, глядя прямо в лицо молодой женщине, с трудом, но твердо выговорила:

— Нет!

Увидя, как слезы мгновенно заволокли страдающие глаза, она добавила мягко:

— Не можем, не имеем права: мы выполняем важное задание...

— Муся! — предостерегающе произнес Николай.

— ...важное задание, — твердо повторила девушка, — и мы не можем никого брать с собой, даже самых лучших, самых преданных.

Зоя сразу как-то вся поникла. Уйдя за занавеску, она некоторое время возилась там, потом вернулась, неся старую черную шаль и новенькие валенки.

— Возьмите. У вас нога маленькая — будет как раз, — сказала она, кладя все это перед Мусей, и для матери, которая, строго поджав губы, неодобрительно смотрела на нее, добавила: — Им нужнее... слышишь, мама?... нужнее, чем мне.

В сенях раздались мягкие шаги. Николай двинулся к двери и застыл у косяка, положив пальцы на рукоять гранаты. Появился лесник. Покосившись на партизана, он усмехнулся невесело и устало:

— Отставить, вольно...

Он бросил рукавицы на лавку, расстегнул полушубок и выпил без передышки целый ковшик воды. Осмотрев уже одетых гостей, он сказал:

— Собрались? И правильно... Этот переводчик... ух, язва!.. все про хлебы меня пытал: дескать, зачем столько напекли? Я сказал: торговлю, мол, открывать собираюсь. Мол, частная инициатива и все такое... Они это любят... А уж поверил он, нет ли — не знаю... Ступайте-ка вы от греха. Вот!

Пока старик растолковывал Николаю дорогу, а Толя ходил в лес выкапывать мешок, Муся

задумчиво сидела на лавке и все посматривала на портрет Матрены Никитичны, Потом не выдержала, подошла к хозяйке:

— Подарите мне это, пожалуйста... Очень прошу...

— Да на что ж? — удивилась старшая, но ответа ждать не стала: сняла со стены прилепленную хлебным мякишем, густо засиженную мухами пожелтевшую страницу из журнала и протянула девушке.

Уже в дверях, когда прощались, лесник вдруг снял с головы Николая пилотку и надел на него свой лохматый, из заячьего меха треух. Подумал — и добавил рукавицы, большие, все в заплатках, с торчащими клочьями ваты.

— Передайте там: дескать, держится народ. Ждет. Часы и минуты считает. Вот! Поскорей бы уж...

В темных сенях Зоя обняла Мусю, прильнула к ней, шепнула в ухо горячо и взволнованно:

— Я все равно уйду! Вот из леса за хлебами приедут — я с ними и уйду. А? Как?

Девушка молча пожала ей холодные тонкие пальцы.

На повороте дороги Муся оглянулась. В тусклом свете малокровного осеннего утра, сковавшего крепким заморозком посоленную инеем землю, на крыльце лесниковой избы стояла худенькая печальная женщина. Поза у нее была задумчивая. Она рассеянно смотрела куда-то вниз. Потом, точно решив для себя что-то важное, она вдруг вся выпрямилась, гордо закинула голову.

Муся приветливо помахала ей рукой.

16

Должно быть, у лесника действительно имелись правильные сведения о положении на фронтах. Когда через несколько дней путники миновали нелюдимое урочище заповедника, где на девственной пороше виднелись только волчьи, лисьи да заячьи следы, и вышли в населенную местность, пересеченную проезжими дорогами, они сразу увидели зримые отзвуки той великой битвы, которую Советская Армия вела на гигантском фронте.

Иногда, пробравшись по густым кустам к подмерзшим дорогам, они наблюдали издали два встречных грузопотока. Правой стороной шли на восток окрашенные бело-бурыми пятнами танки, утюгоподобные грузовики, машины всех европейских систем и марок. Растянувшись на целые километры, двигались пехотные части. Навстречу им тянулись машины тех же марок, тех же систем. Но что с ними стало? Огромные тягачи влекли за собой бессильные туши подбитых танков. Дизельные грузовики несли на могучих спинах остатки изувеченных бронетранспортеров. Медленно покачиваясь на отвердевших от мороза ухабах, тянулись крытые автофуры... На брезентовых шатрах были кое-как, неумело и наспех, намалеваны красные кресты.

Да, все-таки прав был лесник! Где-то там, много восточней, Советская Армия вела гигантское сражение, и все, что по одной стороне-бревенчатых дорог — полное сил, мощи, новенькое, блестящее, — самоуверенно рвалось на восток, туда, на поля боев, то по другой стороне тех же дорог тянулось обратно — избитое, изувеченное, изломанное.

Друзья иногда подолгу следили за этим встречным движением, и им казалось, что это тянутся две ленты какого-то одного гигантского конвейера. И партизанам становилось радостно: будто видели они своими глазами победные дела Советской Армии.

В этой радости они черпали силы и бодрость.

Настоящего снега еще не было. Но первая пороша, покрывшая обледенелую землю, держалась стойко и не стаивала уже и днем. Чернотроп кончился, каждый шаг четко отпечатывался ясно различимым следом. Партизаны уже убедились, что в лесах немцы не отклоняются в сторону от дорог. Чтобы двигаться быстрее и не пробираться чащей, Николай предложил идти вдоль вражеских коммуникаций, держась от них на таком расстоянии, чтобы не быть замеченными. Это было выгодно еще и потому, что следы, случайно обнаруженные поблизости от дороги, не обратили бы на себя особого внимания. На ночлег, чтобы можно было жечь костер, друзья уходили от дороги в сторону километра на три, на четыре и располагались где-нибудь в овраге или забирались в густые заросли.

Теперь им приходилось все время быть настороже. Ложась спать, они оставляли дежурного. Дежурный поддерживал огонь, следил за тем, чтобы костер не горел слишком ярко, заставлял спящих поворачиваться с боку на бок, оберегал от искр их одежду. Вахту несли по очереди по два часа.

Муся любила это время. Где-то далеко всю ночь выли машины. Их белесые огни иногда отсвечивали на низко висевших облаках, выхватывали из тьмы вершины высоких сосен. Следя издали за холодным мерцанием этих огней, Муся живо представляла себе, как, сжимая в руках холодную сталь, со страхом вглядываясь в лесную темь, трясутся в кабинах чужие солдаты, как в морозную ночь прыгают у костров часовые, выставленные с пулеметами на дорожных перекрестках. Девушка слушала отдаленное завыванье чужих моторов и думала о своем великом народе, который, единственный в мире, сумел дать отпор страшному фашистскому нашествию и теперь в гигантской битве перемалывает вот эти гонимые на восток потоки солдат, боевых машин, боеприпасов.

Сидя у костра, Муся не чувствовала себя одинокой, затерянной в бесконечных лесных чащах, как это бывало на первом этапе пути. Нет, теперь, когда они каждый день могли видеть бесконечные процессии разбитой техники эти вещественные результаты единоборства советских войск со всеми силами фашизма, в ней крепло радостное ощущение, что и она как-то участвует в этой богатырской борьбе.

Девушка подбрасывает хворост в костер, крепче подвязывает устроенный из плащ-палатки экран, загораживающий пламя, чтобы его не было видно с дороги, и отражающий тепло на спящих, поправляет под головой Николая мешок, потом задумывается, и во тьме леса вдруг возникает едва слышная мелодия.

Расцветали в поле цветики,

Расцветали в дни весенние,

— поет под отдаленный вой вражеских машин партизанка в закопченном ватнике, в ветхой старушечьей шали и прожженных штанах. Нежная ария из оперы «Добрыня Никитич» чуть слышно звучит в озябшем темном лесу. Вершины сосен аккомпанируют ей своим задумчивым шумом.

Часы дежурств, когда, оставшись один на один с темной морозной ночью, можно без конца

думать о том, как будет житься после победы, об учебе вокальному искусству, о своих отношениях с Николаем, о многих других приятных вещах, которые днем не приходили в голову, — эти часы так нравились Мусе, что она не на шутку сердилась, когда друзья, чтобы дать ей выспаться, умышленно затягивали свои вахты.

Странные отношения установились у девушки с Николаем с той ночи на острове, когда он читал ей стихи про березу. Днем на марше или на отдыхе Муся не делала никакого различия между ним и Толей. Она обижалась, когда он пытался выполнять за нее какую-нибудь работу или взваливал себе на спину и ее мешок. Ночью же, когда партизан засыпал, девушка проникалась к нему большой нежностью. Она могла часами смотреть на его лицо, на его пухлые губы, в которых было еще так много детского, на белокурый пушок, курчавившийся на щеках и на верхней губе. Она прикрывала спящего своей старушечьей шалью. Когда свет костра беспокоил его и он начинал морщиться во сне, она садилась так, чтобы загородить его лицо, и могла подолгу сидеть неподвижно в неудобной позе. Но стоило Николаю проснуться, все это как-то само собой глубоко пряталось. Перед партизаном был боевой товарищ, и даже самые робкие попытки Николая напомнить о последней ночи на озере этот товарищ безжалостно отражал насмешкой, колючим, едким словом.

Николай все это понимал по-своему. Сказанное там, на острове, казалось ему теперь капризом своенравной девушки. Да и что особенного она тогда ему сказала? Какую-то глупую примету о пришитом сердце — больше ничего! И, конечно, она права. За что, скажите, пожалуйста, его любить? Ну что он собой представляет?... Насмешничает, язвит — ну и пусть, она права, так ему и надо, поделом. Не влюбляйся в такую девушку!

И оба они не понимали, что большое и светлое чувство, возникшее у них в трудные дни жизни, само оберегает их от ложных шагов.

17

Однажды Мусе приснилось — в морозный день бежит она что есть духу на лыжах по залитой солнцем, остро искрящейся снежной равнине. Бежит к горе, с которой она должна съехать. Вот и гора, крутая и гладкая, отполированная ветрами. Лыжи перескочили через гребень и, все убыстряя ход, стремительно несут ее вниз. Ветер свистит в ушах. От бешеного движения захватывает дух. И вдруг чувствует Муся, что лыжи выскальзывают из-под ее ног. Вот-вот она упадет, стукнется о снег затылком, разобьется. Делая судорожное усилие устоять, она цепенеет от страха. И вдруг крепкая рука поддерживает ее за талию. Муся знает, чья это рука, и ей приятно опираться на нее. Они несутся вместе. Страх исчез. Пусть еще круче гора, пусть лыжи убыстряют бег, пусть острая снежная пыль жалит лицо и нечем дышать, — девушка знает, что рука, на которую она опирается, не даст ей упасть, проведет через все опасности...

Девушка проснулась с тревожно бьющимся сердцем, с ощущением большой радости. Костер горел, но пламени не было заметно. Кругом было необыкновенно светло и тихо. Падал крупный снег, чертя на темном фоне хвои прямые отвесные линии. Он уже покрывал пушистыми подушками все: и горку заготовленного с вечера хвороста, и землю, и ветви деревьев. Он точно кусочками белого кроличьего меха покрыл и Николая, свернувшегося у костра. Толя отбывавший дежурство, сосновой веткой деловито сметает снег со своего большого друга.

Радость, оставленная сном, стала еще светлее от этой внезапно открывшейся белизны и тишины, от падающего снега. Муся вскочила на ноги и, осмотрев изменившийся лес, весело воскликнула:

— С зимой, Елочка!

— С праздником двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции! — серьезно отозвался тот.

Нет, как же это Муся сразу не вспомнила о событии, о котором они столько говорили на ночь? На свежей скатерти снега, на кусках бересты Толя уже разложил тремя ровными кучками завтрак. Ради праздника маленький партизан расщедрился: выдал двойную порцию вяленой зайчатины и разделил остатки последнего из караваев, пожертвованных лесником. Липовый цвет, которым снабдила их на прощанье лесничиха, кипел в котелке, распространяя медовый аромат лета.

Умывшись свежим снегом, друзья с удовольствием уничтожили роскошный завтрак и бодро тронулись в путь.

Немецкие машины, буксуя в мокром снегу, стонали сегодня на особенно высоких, пронзительных нотах. Партизаны опять двигались параллельно дороге, и отдаленный вой моторов неотвязно сопровождал их.

— Мне кажется, сегодня на фронте произойдет что-нибудь особенное, историческое, — сказала Муся.

— Нужно бы, товарищи, и нам отметить праздник. Давайте сделаем засаду на машины, а? — предложил Николай.

— Точно! — воскликнул Толя, весь загораясь, и даже радостно подпрыгнул, совсем уж по-мальчишески.

Он с раннего детства привык отмечать этот день каким-нибудь подарком: в детском саду — старательно нарисованной картинкой, на которой изображался пышущий огнем танк с красноармейцем в островерхом шлеме, с ногами-палочками и руками, похожими на грабли; в школе — отличной отметкой в таблице; а в прошлом году — большим перевыполнением нормы в цехе. Маленький партизан больше всех обрадовался, что и тут, в лесу, оторванные от своих, они сохраняют верность славной традиции советских людей и присоединятся к тем, кто будет праздновать великую дату за линией фронта.

Муся радовалась по-своему. Хороший сон, еще продолжавший неясно жить в ее памяти, как бы перешел в этот сверкающий день. По-новому, незнакомо билось сердце, когда она украдкой, искоса посматривала на плечистого партизана, шагавшего чуть впереди ее. Николай шел размашисто. Старенький треух из заячьего меха был сбит набок, развязанные «уши» его торчали в разные стороны. Русый вихор пошевеливался на ветру.

Всё сегодня радовало Николая: и великий праздник, и молодой мягкий снег, и роскошный завтрак, которым накормил их экономный Толя, и то, что Муся как-то по-особенному весела, напевает, ласково на него смотрит. Партизан не замечал, что давно уже настроение спутницы, словно в зеркале, отражалось в его собственной душе.

А день действительно был так хорош, что даже завыванье моторов, едва доносившееся с дороги, было бессильно его омрачить. Когда желтое солнце поднялось над деревьями, небо совсем расчистилось. Но легкий морозец не дал снегу стаять, и он лежал белый, нетронутый, ослепительно сверкая в острых лучах. Точно мех, устилал он землю. Мягкими подушечками покрыл он ветки кустов, сучья деревьев, пеньки. Снизу снег чуть подтаял, образовалась ледяная прослойка, и когда Муся смотрела сквозь ветви на солнце, деревья казались ей сделанными из фарфора и хрусталя.

И тишина кругом стояла такая, какая бывает только при первом снеге. Лишь отдаленные

звуки чужих машин призывали быть настороже.

Понимая, что на фоне заснеженного леса их легче заметить, Николай повел сегодня свой маленький отряд подальше от дороги.

Теперь, когда меры безопасности были приняты и можно было об этом больше не думать, Муся постаралась позабыть о близком вражеском соседстве и начала по сохранившимся в памяти отрывкам восстанавливать взволновавший ее сон. Понемногу она вспомнила его весь и поняла, что он как бы перекинул мостик в будущее. Закончится война, вернется прежняя жизнь, и можно будет по воскресеньям, надев теплые байковые костюмы, на легких, хорошо натертых лыжах бежать за город вот в такой чудесный лес. Как это все далеко! Но ведь это же будет, не может, не быть. И вот тогда она, наверное, выйдет замуж за Николая. Ну да, что же в этом особенного? Они будут вместе учиться, вместе проводить вечера за любимыми книгами, спорить о поэзии, ходить в театр, вместе воспитывать ребятишек... Чувствуя, что от мысли этой щекам и ушам стало горячо, девушка смущенно сказала вслух:

— Фу, Муська, совсем ты с ума спятила! — и боязливо оглянулась.

Убедившись, что спутники не слышали ее восклицания, она снова принялась рисовать картины будущего.

Ну и что ж, что они — разные люди, не беда! Пусть он себе увлекается переселением всех этих бобров, выдр, ондатр и енотов, пусть, а она будет петь. Вернувшись с какого-нибудь удачного концерта, станет рассказывать ему, как хорошо ее встретили, как вызывали снова и снова, какой подарили букет. А потом, когда она все расскажет, он будет говорить не особенно ей понятные и немного, конечно, странные, но все-таки интересные вещи о плане своей экспедиции в далекие края... Нет, пусть не экспедиции... экспедиция — это надолго расставаться... а о какой-нибудь необыкновенной экскурсии в заповедник со своими учениками.

Нет, лучше даже не с учениками, а со студентами. Ведь он, конечно, не ограничится институтом, он будет учиться дальше, станет доцентом, профессором. Он умный, упорный, талантливый. А как он знает природу! Мусе все время кажется, что у него какое-то свое, дополнительное зрение, свой, особый слух и обоняние. В лесу он видит, слышит, чувствует то, чего не замечают другие. Для него лесная чаща как бы прозрачна...

Ну вот и прекрасно: пусть он будет профессором, а она певица и профессорша. Разве плохо?... И почему бы этому всему не быть? Ведь они не какие-нибудь слюнтяи и умеют добиваться своего... Но чтобы могла осуществиться эта мечта, нужно выиграть войну. Да, только выиграть войну: ни больше, ни меньше.

Мусе вдруг вспоминается, как будущие певица и профессор, раздетые, разутые, дрогли на чердаке, слушая, как внизу хозяйничают чужие солдаты. «Фу, куда заплыла! Разве ж можно о чем-нибудь мечтать, пока эти ходят по нашей земле! — Девушка хмурится. — Перенести через фронт ценности — вот о чем нужно думать, а не всякие там глупости про концерты...»

Хорошо бы, сдав ценности, вместе с Николаем вернуться к Рудакову и так, не расставаясь, воевать до победы или, может быть, попасть в какую-нибудь воинскую часть, только обязательно вместе: тогда никакая война не страшна, с таким, как Николай, ничего не страшно. Вон он шагает, как какой-нибудь былинный витязь, — огромный, плечистый, небрежно неся на плече мешок, тяжести которого он, похоже, и не замечает. Ишь, напевает что-то! Но слух у него... мамочка, какой скверный слух! Ведь угораздит же человека родиться с таким слухом...

— Соло на самоварной трубе исполняет непревзойденный мастер этого жанра Николай Железнов! — объявляет Муся.

— Юморист и сатирик Мария Волкова в своем репертуаре, — невозмутимо парирует Николай. При этом он, действительно, должно быть, не замечая тяжести, одной рукой перебрасывает с плеча на плечо промасленный брезентовый мешок.

«Нет, товарища Железнова сегодня не смутишь. Железнов еще сегодня себя покажет», — думает о себе Николай в третьем лице. Он уже давно хотел доказать этой насмешнице, что он что-нибудь да стоит, только все как-то не выходило. В лагере случилось так, что с появлением Муси кончилась его боевая деятельность: он строил аэродром. Велик героизм — как кроту, ковыряться в земле, командовать тетками и ребятишками, засыпавшими песком болотные мочажины! Но сегодня — его день. Раз решено сделать подарок стране, сделает его он, Николай Железнов.

Партизан шел, обдумывая план. Нужно дождаться сумерек. По руслу какого-нибудь лесного ручейка, какие им в этом лесу то и дело приходится пересекать, незаметно подобраться к дороге, разрушить мосток, засесть и ждать в засаде, пока подойдет одинокая легковая машина. Шофер и пассажиры непременно вылезут посмотреть объезд. Вот тут-то и свалить их очередь. Чем не план, а главное, верное дело: уж кто-кто, а он, Железнов, походил по тылам, знает вражеские повадки. Фашистский солдат в строю действительно воин, и неплохой, стойкий воин, но настигни его где-нибудь вне строя — куда только все девается! Сколько раз вражеская растерянность, порой просто беспомощность при внезапном нападении служила предметом удивления партизанских начальников. На совещаниях и командирских разборах Рудаков всегда выставлял внезапность и быстроту как основу партизанской тактики. Вот сегодня Николай и покажет Мусе, что такое рудаковская школа...

Была у Николая и еще одна тайная думка. По опыту он знал, что вражеские офицеры любят передвигаться с комфортом — с запасами продуктов, с вином и закуской. Удачная диверсия могла пополнить оскудевшие запасы путников. И кто знает, может быть, черт побери, удачный налет позволит ему сегодня угостить товарищей настоящим праздничным ужином. Вот было бы здорово! Ведь уже сколько дней они питаются впроголодь, довольствуясь маленькими кусочками вяленой зайчатки. «Нет, нет, уж сегодня-то товарищ Железнов покажет себя!»

18

В этот день им действительно везло. Под вечер они наткнулись на лесной ручей, тихо журчавший на дне глубокого оврага, заросшего малиной и ольшаником. Снежные подушки все еще покрывали кусты и деревья, но с земли снег почти стаял. Чистые струи звенели в тонких ледяных закрайках.

Напившись из ручья, путники присели отдохнуть. Николай обнародовал свой план. План был хорош, но Муся и Толя единодушно восстали против того, чтобы налет совершал один Николай. Это ни на что не похоже! Праздничный подарок они должны сделать сообща, все втроем. Партизан обратился к разуму спутников. Конечно, и он за то, чтобы всем участвовать в вылазке. А золото? Все вместе они просто не имеют права рисковать.

— У золота оставим Елочку и пойдем вдвоем, — заявила Муся.

— А почему оставить меня? — возмутился маленький партизан. — Вот новости!

На это ответить было трудно. Николай решил — на диверсию пойдут двое. Кого ему взять, пусть решит судьба. В шапку Николая были брошены две пустые гильзы от автоматных патронов: одна — зажигательная, с красной каемкой вокруг пистона, другая — бронебойная, с



зеленой. Зажигательная означала: идти. И хотя Толя, тащивший первым, долго звенел гильзами в шапке, тщательно ощупывая каждую из них, бронебойная досталась ему. От досады он далеко забросил гильзу и, слушая, как она свистит на лету, с сердцем плюнул ей вслед. Потом он убежал в кусты и не вышел оттуда, пока Муся и Николай не скрылись в зарослях ольшаника. Только когда шаги товарищей стихли, он появился из кустов, огляделся и изо всех сил зло пнул ногой тяжелый мешок.

Муся приближалась к дороге без всякого страха. Только как-то особенно сильно, даже весело пульсировала кровь. Все в этот час: и сумеречная голубизна, и звезды, густо выпавшие на быстро темневшем небе, и снежные подушки на ветвях, которыми пестрел лес, — все это было празднично хорошо. Не хотелось думать об опасности.

На подходе к мосту Николай оставил девушку и сам бесшумно скрылся во мгле. Кто знает, может быть напуганные партизанами оккупанты охраняют даже и такие вот мостишки. Через некоторое время из полутьмы донесся осторожный свист. Муся двинулась по дну оврага. Мелодично позванивала вода о льдистые закрайки. Сверху слышался глухой топот ног. Это Николай хозяйничал на мосту. Дойдя до ослизлых бревенчатых устоев, девушка вскарабкалась по откосу. Партизан, наклонившись, осматривал бревна. Они были плотно сдвинуты, а сверху прижаты толстым байдаком.

— Добрая работа, черт бы ее побрал! — ворчал Николай.

Он исчез в кустах и вернулся с длинной жердью.

Поднять бревна без инструментов было невозможно. Но некоторые из них, расшатанные колесами и гусеницами, лежали уже непрочны и даже «ходили» в гнездах. Вот их-то Николай с Мусей и стали вытаскивать с помощью жерди из общего ряда, как карты из колоды. Это отняло порядочно времени. Оба с ног до головы перепачкались в липкой холодной грязи, обломали ногти, исцарапали руки. И все же добились своего: одно бревно с глухим гулом рухнуло в канаву. Другое, оказавшееся более упорным, наполовину вышло из ряда. На мосту открылся зияющий провал, через который не могли бы пройти колеса. Конечно, для верности следовало бы вытащить и еще одно или два бревна, но по вершинам придорожных сосен уже бродили яркие белые отсветы.

Машина! Переглянувшись и безмолвно поняв друг друга, партизаны быстро сбежали в овраг. Они засели метрах в пятидесяти от моста, в чаще ольшаника. С дороги их нельзя было заметить. Им же из тьмы, сгустившейся в овраге, насыпь и мост, освещенные поднявшейся луной и обильными звездами, были отлично видны. На мосту отчетливо различалось каждое бревно, подпущенное сбоку мерцающей подушкой снега.

Напряженно, надрывно гудел мотор. И по тому, как дрожали отсветы фар, то выхватывая из тьмы верхушки сосен, то зажигая кусты, росшие вдоль дороги, понятно было, что машина идет медленно, трудно, буксуя в глубокой раскисшей колее.

Стоя в засаде, партизаны испытывали не страх, а цепенящее возбуждение, какое ощущает охотник у берлоги крупного и опасного зверя. Пальцы Муси, вцепившиеся в деревянное ложе автомата, онемели от напряжения. Николай, который в таких делах не был новичком, нетерпеливо переступал с ноги на ногу.

По звуку мотора было ясно, что идет грузовик. В нем могло ехать много солдат. «Ну пусть и много! — прикидывал партизан. — Это даже и лучше». Муся должна увидеть, на что он способен. Численного превосходства Николай не боялся. Сколько раз он уже убеждался, что при таком вот внезапном ночном ударе один, невидимый врагу, хладнокровный, умелый боец стоит двух десятков противников, растерявшихся и находящихся у него на виду.

Другое сомнение мучило его теперь все больше и больше: правильно ли он поступает,

устроив эту засаду? Имеет ли он право, выполняя важнейшее задание командира, идти на риск, пусть даже на самый маленький, на ничтожный? А если в бою его или Мусю убьют, даже пусть только ранят?

Что же делать? Отступить? Сейчас, когда дело налажено, бросить его? Что тогда подумает о нем девушка? Как он посмотрит после этого в глаза товарищам? Боязнь прослыть трусом заглушала в нем голос разума. Так он ничего и не успел решить. А уже не отсветы, а прямые острые огни лизали грязевые волны разбитой колеи. За снопами яркого света двигалось что-то темное и очень большое.

— Грузовик! — шепнула Муся, чувствуя, как всю ее охватывает внутренний холод.

— Восьмитонный «демаг», — уточнил Николай взволнованным голосом. Отступить было поздно, и он даже радовался, что это избавило его от необходимости принимать решение. — Целься в брезент. — Став на одно колено, он приготовился стрелять. — Боя не принимать. Обстреляем и бежим, — обернулся он к Мусе.

И вдруг придорожные кусты, сосны и приближавшийся к мосту грузовик осветило белым электрическим светом. Снова зажглись синие, холодные огоньки на подушечках снега, лежавших на ветках.

— Что это? — шепотом спросила Муся. Ствол ее автомата ходил из стороны в сторону, и она никак не могла его остановить.

— Еще машины... Колонна, — огорченно отозвался Николай.

Он опустил оружие. Запас радостной энергии сразу иссяк.

Как быть? Будь он один, он, конечно, обстрелял бы и колонну — обстрелял и скрылся во мгле. Но он не один. С ним самый дорогой для него человек. И не это главное, не только это. Теперь вылазка была явно рискованной, и было бы преступлением отважиться на нее.

Но как, как скажет он об этом Мусе?

Пока партизан думал так, первая машина остановилась на мосту, словно уткнувшись в невидимую преграду. Все произошло, как Николай и предполагал. Шофер и провожающие вылезли из кабины. Задвигались лучи карманных фонарей. Самая бы пора ударить по врагу, но подошли уже и вторая, третья... пятая машины. Теперь много темных фигур толпилось на мосту, возле провала. До засады отчетливо донеслись испуганные восклицания, брань. Среди чужих, непонятных слов часто звучало одно знакомое: «партизанен», «партизанен». И хотя солдат на мосту толпилось много, все они с опаской поглядывали на лес. А моторы вдали всё выли и выли, бледные сполохи бродили по вершинам сосен. Это была громадная автоколонна.

Прильнув к земле, дрожа от страха, холода и волнения, Муся наблюдала за тем, что творилось. И ловко же выбрал Николай позицию для засады! Дать бы отсюда две-три длинные очереди — и мало бы кто уцелел из всей толпы, толкущейся на мосту, как на сцене. Девушке до того захотелось нажать спусковой крючок и стрелять в эти темные фигуры, что она поспешила опустить автомат. Она понимала, что делать это сейчас нельзя. Понимала и мучилась. «Эх, который уж раз приходится ради этих ценностей поступаться своим личным, подавлять свои самые лучшие желания!»

Муся вздохнула.

— Пошли, — шепотом сказала она, дотягиваясь до руки спутника и понимая, что должен сейчас переживать ее товарищ.

Он легонько пожал ей пальцы, но не двинулся. Должно быть, сам не имел сил оторвать взгляд от скопища врагов. Моторы гудели теперь уже и вдали. Казалось, что весь лес полон напряженного воя и мерцания фар.

— Да идем же, идем! — шептала Муся, чуть не плача от досады.

Партизаны с трудом оторвались наконец от заманчивой цели и поползли прочь по дну оврага, где во тьме лесной ручей сверкал черным чешуйчатым гребешком. Но они не проползли и нескольких десятков метров, как их остановил незнакомый, басовито рокочущий, упругий звук, стремительно и властно ворвавшийся в лес. В следующее мгновение они поняли — это самолет. Но по звуку он не походил ни на один из ночных бомбардировщиков, какие им довелось слышать. Он не подвывал прерывисто, как немецкие «юнкерсы» и «хейнкели», и не звенел на высокой ноте, как моторы советских воздушных кораблей, ходивших по ночам на бомбардировку Германии. Кроме того, звук тех и других плыл обычно сверху издалека, казалось от самых звезд. А этот, хриплый и упругий, возник сразу, точно вырвался из-под земли. От него дрожал воздух и снег сыпался с потревоженных ветвей.

Муся и Николай едва успели обменяться недоуменными взглядами.

С дороги донесся дикий, полный животного ужаса вопль:

— Шварцен тодт!

И сразу ночь наполнилась панической суетой, испуганными криками, топотом ног. Действительно, в звуке, нараставшем со стремительностью урагана, было что-то неотвратимо страшное. Муся с Николаем, прижавшись друг к другу, невольно окаменели перед неизвестной опасностью. И прежде чем они успели понять, в чем дело, черная тень мелькнула над мостом на фоне яркой звездной россыпи, исторгая два ряда острых красноватых молний. Стремительные рубиновые огни осветили дорогу, лес, колонну крытых брезентом автофургонов, неподвижные фигуры солдат, которые, точно клопы, темнели, прильнув к откосу насыпи. За первой тенью мелькнула вторая, третья и еще сколько-то. Они пронесли так быстро, что их нельзя было и сосчитать.

Партизаны лежали на мокрых палых листьях, инстинктивно стремясь вдавиться в сырую, холодную землю, не в силах отвести глаз от происходящего. Молнии, извергнутые самолетами, таили в себе и еще какую-то опасность. Звук их моторов уже стих, но в буром дыму, окутавшем дорогу, продолжали вспыхивать острые огни, похожие на мерцание электросварки. Потом над дорогой взвился желтый столб пламени. Послышался раскат дробного недружного взрыва.

Николай сразу узнал этот звук, запомнившийся ему еще с того вечера, когда он принимал боевое крещение у себя на железнодорожном узле. Это начали рваться боеприпасы, которыми, по-видимому, были нагружены машины.

Партизан вскочил и, позабыв всякую осторожность, захлебываясь от радости, крикнул:

— Наши!

Муся дернула его за руку:

— Тише! С ума сошел!

Страха у девушки как не бывало. На миг почудилось ей, что фронт близко, что они у цели. Ну, пусть даже далеко, пусть, и все же они слышат звуки родного оружия. Рука Советской Армии протягивается уже и сюда, в эти леса, в глубокий тыл фашистских армий. И оттого, что тут, рядом, свои самолеты только что нанесли врагу удар, девушка снова ощутила радость, точно

не шум удивительных каких-то пушек, изрыгнувших на врага страшные малиновые огни, а могучий, уверенный голос самой Советской Армии подслушала она, сидя в засаде. «Но не терять же из-за этого голову! Ведь вон они, враги, рядом, а Николай кричит, как мальчишка».

— Молчи! — шепчет она.

— Мусенька, родная, милая, ведь это же наши, это же те самые штурмовики, о которых, помнишь, рассказывал тогда летчик! Они стреляют реактивными снарядами. И мы, мы с тобой им помогли! Вот здорово-то, а! Помогли своим! Красной Армии помогли!

Мусе вспомнился дикий вопль, раздавшийся на дороге.

— «Шварцен тодт»! Ты знаешь, они там кричали: «Черная смерть». Коленька, милый, как они нас боятся!

Пока они перешептывались, над дорогой все выше вставало зарево. Ночь начала отступать, и все окружающее стало вырисовываться из тьмы. Паника на дороге росла. Темные фигуры металась меж горящих машин. Слышались стоны, ругань, истерические крики командиров, кто-то в кого-то стрелял. Судорожно ревели моторы. Должно быть, шоферы, что были духом покрепче, еще, пытались выдернуть уцелевшие машины из горящей колонны.

Но опять, теперь уже с другой стороны, возник грозный хрипловатый рев. На этот раз, зная, кто и с какой целью летит, Муся с Николаем уже спокойно, с интересом наблюдали, как во второй раз над дорогой очень низко пронеслись штурмовики. В багровых отсветах пожара партизаны даже успели разглядеть темные звезды на крыльях. И опять странные снаряды оторвались от самолетов, полетели, оставляя дымные хвосты, и начали рваться на земле, зажигая и поражая все вокруг.

Отсветы зарева освещали уже и партизан. Глаза Николая возбужденно горели. По лицу Муси текли крупные слезы. Свои! Ведь это ж подумать только: свои! Могла ли она сегодня даже и мечтать о такой радости!

Юноша и девушка, обменявшись взглядами, без слов друг друга поняли, поднялись и пошли, не маскируясь, зная, что следить за ними некому. Подарок, который они готовили к празднику, блистательно поднесли вместе с ними советские летчики. Они шли не оглядываясь, шли как хозяйева, понимая, что тот, кто мог бы заметить или преследовать их, лежит там, на дорожных откосах, обугленный или разорванный в клочья, а если и уцелел, то не скоро придет в себя от страха.

Да, сон был в руку! Сколько радости принес этот праздничный вечер! И она позабыла о том, что, на дороге находится враг, позабыла о сосущей пустоте в желудке, не чувствовала ни острого беспокойного ветра, ни промозглого холода ночи.

Было очень хорошо идти вот так, рядом, по темному, тускло мерцавшему лесу, ощущая тепло дружеской руки, задыхаясь от избытка озорной радости, от того, что можно не прятаться, не озираться, не скрываться, чувствовать себя хозяевами на этой оккупированной земле...

Голос Советской Армии, прозвучавший в глухой час праздничной ночи, путники с тех пор слышали часто. Пробираясь лесом или заброшенными полевыми проселками, они то и дело видели теперь стройные крестики голубоватых бомбардировщиков, в ясные дни оставлявших за собой в морозной синеве неба белые, долго не расплывавшиеся хвосты. Издали, с

магистральных шоссе, с железных дорог, доносились иногда глухие взрывы, торопливое таракхтение автоматических зениток, негромкое погрохатывание воздушного боя. Порой на горизонте пестрели пушистые барашки разрывов, и над сверкающими снегами, там, где они сливались с кромкой бледного зимнего неба, вставали черные шевелящиеся горы дыма.

Несколько раз видели путники и те самые самолеты, что помогли им в праздничную ночь поднести подарок стране. Небольшими группами — парами, четверками, шестерками — они неожиданно вырывались из-за кромки леса и, потрясая окрестности басовитым ревом, пронеслись над головой, тотчас же сливаясь с мутным зимним горизонтом.

Советские самолеты, теперь уже нередко появлявшиеся над оккупированной землей, казалось, несли усталым путникам привет далекого родного мира, к которому те стремились день и ночь.

А продвигаться становилось все труднее. С тех пор как в праздничное утро путники доели остатки вяленой зайчатины и по-братски разделили последнюю краюху хлеба, пищей их стала только противная жесткая каша из мелко изрубленной коры молодых лип да мороженая картошка, которую им с трудом приходилось выкапывать из-под снега на брошенных колхозных полях.

Однажды на перекрестке дорог партизаны увидели большую черную доску, прибитую к столбу. «Мертвая зона» — значилось на ней по-русски и ниже указывалось, что каждый из «цивильных» людей, кто вступит без специального пропуска на территорию «мертвой зоны», подлежит, по приказу командования, расстрелу без суда и следствия. Николай и Муся равнодушно прошли мимо этого объявления. Только Толя не удержался и повесил на нем сочный плевок. Путников не испугало ни страшное название, ни угроза. Они только поняли, что дальше идти им станет еще труднее.

И действительно, деревни здесь были выжжены. Селения, лежащие у дорог, еще сохранились, но жителей в них не было. Дома занимали оккупанты. Здесь отдыхали, переформировывались разбитые, обескровленные части. В походных мастерских ремонтировалась разбитая, искореженная техника. Сюда стягивались новые дивизии для готовившегося наступления, подходили резервы, двигавшиеся из тыла, из Западной Европы. Весь этот обширный район был превращен в огромный военный лагерь. По дорогам, которые, подобно траншеям, были выкопаны в глубоком снегу, взад и вперед сновали военные машины. Чтобы обезопасить дороги от партизан, саперы вырубали возле них леса и кустарники, в лощинах у мостиков устраивали минные поля, опоясывая их колючей проволокой.

Пробираться через район, где не было гражданского населения, можно было только по ночам, да и то лесами. За сутки удавалось пройти не больше пяти-шести километров. Теперь мороженую картошку иногда приходилось есть сырой. Не всегда можно было разводить костер. Только раз посчастливилось им наткнуться на пепелище лесной избушки, принадлежавшей, по-видимому, объездчику. Поодаль, на огороде, Толя нашел на грядках окостеневшие от мороза кочаны капусты. Путники жадно набросились на них, выкопали из-под снега и, не имея терпения дожидаться, пока закипит вода, ели сырьем. Тугая мороженая капуста скрипела на зубах. Когда капуста наконец сварилась, они съели не только ослизлый лист, но и с наслаждением выпили воду. Она показалась им вкуснейшим из супов.

Мороженая капуста, которой они набили свои опустевшие мешки, некоторое время поддерживала путников. Но силы их заметно иссякали. Все трое так ослабели, что каждое движение давалось им теперь с трудом. Мускулы пыли, точно избитые, и когда в сумерки Николай после дневного отдыха поднимал товарищей в путь, они вставали с ворчаньем и стоном.

— Вы знаете, ребята, кабы не этот наш груз, ни за что бы не встала. Лежала бы и лежала, смотрела на небо, дремала. Как хорошо никуда не двигаться! — призналась однажды Муся.

Две большие чистые слезы остановились на грани ее запавших, потемневших глазниц.

Николай с испугом посмотрел на девушку. В следующее мгновение она уже деятельно гасила костер, увязывала мешок и даже что-то напевала себе под нос. Но не так легко было обмануть Николая. Он знал, что слова эти вырвались не случайно, — ведь его и самого порой сковывало чувство вялого безразличия ко всему. Всю ночь, прокладывая товарищам путь по снежной целине, продираясь сквозь кустарник, перелезая через завалы бурелома, он думал, как и чем зажечь ему друзей, влить в них веру в свои иссякающие силы.

Когда они остановились на дневку в лесном овражке и весело затрещал костер, Николай, задумчиво сидевший у дерева, вдруг выпрямился:

— Знаете, ребята...

Муся, начавшая было дремать, открыла глаза, с удивлением посмотрела на него, не понимая, что с ним случилось. Ей показалось даже, что сквозь густую копоть от костров и тяжелый зимний загар румянец проступил на щеках молодого партизана. Голубые глаза сияли в запавших глазницах.

— В одной из статей у товарища Сталина есть хороший образ, — продолжал Николай. — Буря захватила рыбаков на Енисее, злая, жестокая буря... И вот одни напугались, сложили весла, легли на дно баркаса: неси, куда вынесет. И их разбивает о скалы...

Николай на минуту смолк. У костра было тихо, только, сочась влагой, сипела в огне сырая ветка.

— А другие — наоборот: как налетит первый шквал, крепче берутся за весла и гребут навстречу ветру, наперекор течению, против бури гребут. Гребут до последнего дыхания... И они побеждают бурю... Это он о большевиках, о настоящих революционерах...

Сырая ветка лопнула в огне. Над костром взмыл пучок искр, растворившихся в холодной темени.

— Ты это для меня рассказал, да? — с горечью спросила Муся.

— Нет, для всех. Наша буря еще и не начиналась. Приближается только первый шквал.

Партизаны задумались. Метель, шурша, перетаскивала полотнища сухого снега. Муся сидела, обхватив колени руками, уткнувшись в них подбородком, и ясно было, что мысли ее где-то далеко.

Николай подвинулся к девушке:

— Ты о чем думаешь?

— А вот представляю себе бурю на Енисее. Черные волны величиной вон в ту сосенку, и крохотные лодчонки качаются на них, как семена одуванчика в ручье. И всё против них: и волны, и ветер, и ночь, а они плывут и доплывают до цели. Несмотря ни на что. Потому что в лодках — люди, а у людей этих мужественное сердце, крепкая воля и вера, в свои силы...

— Воля большевика может преодолеть все, мне кажется — даже смерть.

В этот вечер партизаны поднялись раньше обычного и прошли больше, чем в предыдущие ночи. И долго еще, когда, перелезая через сугробы, они выбивались из сил и им начинало казаться, что идти больше уже невозможно, кто-нибудь из троих напоминал про енисейских рыбаков — и усталость отступала под новым напором воли.

Но силы их таяли с каждым днем.

К удивлению друзей, первым стал подаваться Николай. Он как-то быстро осунулся, лицо его потемнело, обтянулось, на заострившемся носу даже обозначилась вдруг неприметная до сих пор железновская горбинка. По утрам он подолгу натирал десны снегом и сплевывал в кусты кровавую слюну. Движения его становились вялыми, тягучими, неточными. Он быстро уставал. Мешок с ценностями, тяжести которого Николай раньше, казалось, вовсе и не чувствовал, теперь он поднимал с трудом, обливаясь потом. Раз Муся видела, как под вечер, когда было еще совсем светло, он наткнулся на дерево.

Николай по-прежнему вел свой маленький отряд. Дух его был еще крепок и упрям. Партизан никогда не ложился, не убедившись, что товарищи хорошо размещены у костра, распределял время дежурства и сам дежурил перед закатом, когда почему-то особенно хотелось спать. И все же было заметно, как крупное тело его все больше ослабевает.

Толя тоже начал сдавать. Его смуглое личико заострилось, теперь оно как бы все состояло из уголков, среди которых мерцали строгие, недетские глаза, ставшие несоразмерно большими. Мальчик стал молчаливым.

Муся держалась бодрее всех. Она еще была легка на ногу, быстра, деятельна, но и она сильно похудела и больше чем когда-либо походила на хорошенького мальчишку, чуть ли не Толиного сверстника. Она в совершенстве ориентировалась на лесных тропах, словно выросла не в городе, а где-нибудь в сторожке лесника. Не хуже покойного Митрофана Ильича умела она в ненастный день, в туман определять направление, не хуже Николая отыскивала удобные места для дневков, не хуже Толи разводила костры.

Но что особенно было важно для маленького отряда, блуждавшего в лесах меж вражеских постов и засад, — Муся не теряла бодрости духа. Хотя и у нее по вечерам, когда приходилось отрываться от живительного тепла костра, кружилась от слабости голова и подламывались колени, она все же находила в себе силы и пошутить и посмеяться.

Однажды Муся, видя, как ослабел Николай, взвалила его мешок себе на спину. Юноша не на шутку рассердился. Он почти силой отнял у нее свою кладь и сделал вид, что груз ему нипочем. Но обильный пот разом покрыл его лоб, переносицу, побежал по шее. Партизан зашатался и даже ухватился за дерево, чтобы не упасть. На лице у него появились растерянность и тоска, которых он не сумел скрыть.

«Плохо, очень плохо!» — подумала Муся, следя за его неверным шагом. По вечерам, просыпаясь раньше других, она, с трудом преодолев вяжущую апатию, подбрасывала в костер сушняку и, грея худые руки с отчетливо обозначившимися синими жилками, ломала голову над тем, как же теперь быть. Вот и запасы капусты иссякли. Дорога опять шла через лесные урочища. Жилые места попадались редко. Немногочисленные деревни, оставленные оккупантами целыми, были так густо забиты вражескими войсками, что солдаты размещались даже в колхозных сараях, ригах, на скотных дворах, рыли у околиц землянки и жили в них. Путникам нечего было и мечтать не только о ночлеге под крышей, но даже о возможности подобраться к картофельному полю, к брошенным огородам или стогам.

Да и враг стал не тот. Исчезла его прежняя самоуверенность, беспечность первых дней. Хотя жители давно были выселены из этих районов и вокруг на десятки километров простирались пространства обезлюдившей земли, фашисты, становясь на постой, спешили окружить свое жилье секретами и пулеметными гнездами, оплетали подходы колючей проволокой, выставляли часовых. Над уцелевшими деревнями с вечера до утра трепетали зеленоватые ракеты. Они озаряли окрестности мертвым мерцающим светом. Днем по дорогам курсировали взад и вперед броневики. Ночью же все движение прекращалось, дороги словно вымирали. Только у мостов да на больших переездах, где были возведены маленькие крепостцы, враг рисковал оставлять солдат на ночь под открытым небом.

Не раз, подобравшись к картофельному полю, которое и ночью легко было угадать по торчащим из-под снега бурым метелкам вялой ботвы, партизаны, не успев выкопать ни одного клубня, подвергались неожиданному обстрелу вражеского секрета. Приходилось уползать, прятаться. Близость пищи только обостряла голод.

Сначала путники не понимали новой вражеской тактики. Казалось нелепым, что в момент ожесточенного сражения столько сил и боевых средств тратится попусту. Потом Николай определил ее так:

— Фашисты по поговорке действуют: «Пес, чего лаешь?» — «Волков пугаю». — «Чего хвост поджал?» — «Волков боюсь».

Чрезмерная осторожность пуганого врага затрудняла трем друзьям и без того невероятно тяжелый путь. А тут еще начались вьюги. За какие-нибудь три-четыре недели леса завалило пухлыми сугробами. Двигаться по целине уже не было сил.

Николай решил в своих интересах использовать страх оккупантов перед народной мстостью. Теперь по ночам путники выбирались на малоезжие дороги и шли прямо по ним. Шли иной раз всю ночь, ломая по пути указатели, унося или переставляя дорожные знаки. Выбившись из сил, они сворачивали в лес и отдыхали среди сугробов. Надежда набрести на партизан, связаться с каким-нибудь из действовавших здесь отрядов все время не покидала их.

Но в этом им решительно не везло. То там, то тут видели они взорванный мост, остов грузовика, валявшегося вверх колесами, свернутый набок танк с перебитой гусеницей, облупившийся и красный, как панцирь вареного рака. Иногда где-нибудь в укромной балочке у дороги они натыкались на целые кладбища автомобильных скелетов. Все это путники сначала принимали за следы партизанской работы.

Впрочем, они скоро научились отличать партизанскую работу от результатов налета советских штурмовиков, которых немцы звали «черная смерть». Партизаны громили врага обычно в лесу, на поворотах дороги, предварительно взорвав мост или преградив путь поваленной сосной. В этих случаях вокруг разбитых и сожженных машин на снегу видно было много человеческих следов. Самолеты же накрывали колонны чаще всего на открытых местах, в пробках, образовавшихся у переправ или в траншеях занесенных снегом дорог, в выемках, в лощинах. Машины торчали из сугробов там и сям, как разбежавшееся в испуге стадо. И если колонна была разгромлена теми хвостатыми снарядами, что мерцали ночью, как малиновые кометы, снежную белизну покрывала черная гарь.

Зрелище этих кладбищ вражеской техники, все чаще и чаще попадавшихся на пути, вливало в путников новые силы. На стоянках они подолгу толковали об этих следах жестоких схваток в тылу врага, и все больше крепла в них надежда, что Советская Армия уже перешла в наступление и движется им навстречу.



Давно уже был потерян счет дням. Муся даже перестала заводить свои часики. Знать время не было нужды. Жизнь определялась сменой дня и ночи. Путники привыкли спать днем и просыпаться, когда начинало темнеть. Сначала это им давалось с трудом, но постепенно организм приспособился. Днем все трое испытывали острую резь в глазах, освещенная солнцем снежная целина казалась им до боли яркой.

По мере того как слабели их силы, к усталости и голоду, никогда не оставлявшим их, теперь прибавилась еще и постоянная сонливость. Муся и в этом была крепче других. Она брала на себя самые трудные, утренние часы дежурств, когда спутники ее, утомленные дорогой, засыпали каменным сном. Устроившись поудобней у огня, она старалась не расходовать энергию ни одним лишним движением.

Кругом причудливо громоздились сугробы. Метели одевали лес снегом так щедро, что ветви клонились вниз. Снежный груз сгибал тонкие березы до самой земли, и то там, то здесь виднелись опушенные белыми подушками арки. Мелкие сосенки и елочки совершенно зарылись в сугробах. Когда холодное солнце пряталось за облака и гасла сверкающая белизна, они походили на солдат в маскхалатах, рассыпавшихся по лесным полянам. Когда же солнце сияло в льдистом зеленоватом небе и возле деревьев на снегу лежали густо-синие тени; мелколесье, покрытое снегом, походило на сборище фантастических фигур, и усталый глаз Муси ясно видел то свернувшегося медведя, сосущего лапу, то острый профиль Митрофана Ильича, то оленью голову, то флажок комсомольского значка, то арифмометр.

Девушка закрывала глаза, дремала, приходила в себя от острого холода, подкладывала ветки в костер, поправляла брезентовый экран плащ-палатки, заставляла спящих спутников поворачиваться и снова озиралась кругом, смотря сквозь решетку ресниц.

Заботы не покидали Мусю. Хватит ли сил подняться? Сможет ли Николай тащить свой мешок? Удастся ли им пройти те сто километров, что, по их расчетам, отделяли их теперь от фронта? По мере того как расстояние это сокращалось, все трое двигались все труднее, все медленнее. Чуть ли не каждый час приходилось сворачивать в лес, отдыхать. Привалы увеличивались, а отрезки пути, которые им удавалось пройти, становились все короче и короче.

«Неужели не дойдем? Неужели придется умереть тут, в снегах, умереть попусту, не выполнив своего задания? А кругом так красиво... и так хорошо жить... — Девушка торопливо гнала от себя мрачные мысли: — Нет, нет, быть этого не может! Должны дойти!»

Муся чувствовала, как та же, что и у Николая, страшная, неизвестная ей болезнь начинает одолевать и ее. Тягучая вялость точно резиновыми путами стягивает все тело. Голова кружится так, что иной раз приходится хвататься за дерево, чтобы не упасть. В ушах все время звенит. Но что хуже всего — кровоточат десны. Зубы шатаются. Ноги пухнут и подламываются в коленях. «Нет, нет, не поддаваться, не поддаваться! Не складывать весла. Грести против ветра, навстречу буре, грести из последних сил», — убеждала себя девушка, вспоминая енисейских рыбаков.

Но не собственная болезнь пугала ее. У нее еще есть силы. Она еще может идти. А вот Николай, он совсем плох. Иногда вдруг взгляд у него становится равнодушным, отсутствующим. Вчера во сне он снова обморозил уже обмороженную щеку. Заметив белое пятно возле старой, уже посиневшей болячки, Муся схватила ком снега и начала оттирать. Николай проснулся, открыл глаза, и в них не было ни испуга, ни удивления, ни благодарности. Голова его покорно покачивалась, как у куклы. Сердце Муси затосковало: «Что это, неужели всё?» Испугавшись, она принялась тормошить и трясти юношу. Николай дергался, как неживой. Но перед сумерками он сам очнулся, поднялся на ноги. По дороге он

признался Мусе, что слышал, как она его теребит, но не имел сил преодолеть сонливость.

Как-то само собой получилось, что командирские обязанности постепенно начали переходить к девушке.

«Только бы не раскиснуть, не распусться самой, не поддаться этой страшной слабости! Ведь скоро же, скоро!» Даже из фашистских афиш, которые они видели иногда на дорожных знаках, исчезло хвастливое вранье о взятии Москвы. «Значит, дела у них плохи. Значит, Советская Армия уже наступает. Осталось немного!.. Мамочка, милая, что же делать, как поступить, чтобы не потерять волю и в эти последние дни?»

И против ее воли все чаще и чаще в часы бессонницы возникала перед девушкой картина: накрытые пуховиками сугробов мелкие сосенки и среди них, у серого пятна погасшего костра — три занесенные снегом фигуры. И в голову приходила мысль: а там, за линией фронта, уже давно ждут партизанских посланцев с их драгоценным грузом, там, заложив назад свою единственную руку, тяжелой походкой расхаживает товарищ Чередников, расхаживает и сердито бубнит: «Митрофан Ильич, да, это был настоящий патриот! Но кому пришло в голову доверить такое важное дело этой девчонке?»

От таких мыслей Мусе становилось жалко себя до слез. Ведь товарищ Чередников и все банковские так никогда и не узнают, сколько жертв принесла, сколько сил положила «эта девчонка», чтобы выполнить поручение. Иногда, раздумывая об этом, девушка начинала тихо плакать от обиды, но чаще всего сердилась на себя, на Рудакова, на Чередникова, на всех и, рассердившись, наливалась энергией, начинала безжалостно тормозить спутников, поднимать их.

Маленький отряд продолжал двигаться на восток.

22

И вот наступил момент, которого Муся боялась больше всего. На закате, когда лес еще розовел и серые скорые сумерки только вступали в чашу, где путники устроили свою дневку, Муся решила, что пора подниматься. Толя долго не просыпался. Потом, очнувшись, он вскочил, обтер лицо снегом и даже попытался проделать гимнастические упражнения, но потерял равновесие, покачнулся и еле устоял на ногах.

Потом вдвоем они стали поднимать Николая. Партизан был очень тяжел. Тело его покорно моталось из стороны в сторону, но тотчас же, как только они выпускали его из рук, бессильно оседало. Мусе стало страшно. Она умоляла, убеждала, грозила. Ничто не помогало. Только после того, как она натерла Николаю грудь снегом, партизан медленно открыл глаза и слабо улыбнулся, увидев перед собой худое девичье лицо. Он задержал руку Муси у себя на груди. Прошла минута-две. Николай сел. Осмотрелся. Друзья со страхом следили за его медленными движениями.

— Буксую, — тихо сказал он, силясь улыбнуться. — Насос сдает, поршни поизносились, не тянут...

Он сидел под деревом, большой и беспомощный. Девушка упала на колени, прижала голову Николая к груди, стала гладить ее дрожащими руками:

— Родной, не надо, не надо! Мы дойдем, слышишь? Дойдем, обязательно дойдем... Мы победим, будем счастливы... Ой, как мы будем счастливы, если бы ты только знал!..

Голова партизана лежала как неживая. На его потемневших, потрескавшихся губах дрожала все та же удивленная и чуть виноватая улыбка.

— Ты слышишь, что я говорю? — спросила Муся и пристально посмотрела в его печальные глаза.

Он утвердительно кивнул головой. Мусей овладело отчаяние. Что же делать, как разбудить энергию в этом большом ослабевшем теле, подточенном неведомой болезнью?

Сумерки уже окутывали заснеженный лесок. Одинокая, неправдоподобно яркая звезда зажглась в зеленоватом небе. Пора идти.

— Железнов, — сказала девушка сердито и властно, — ты что ж, хочешь, чтобы ценности попали к фашистам, да? Ты этого хочешь?... Вставай сейчас же!

Николай поднял глаза. Мальчишеское лицо девушки отражало упрямую, непреклонную волю. Ласковая улыбка задрожала на губах партизана.

— Ты хорошая, Муся... — ответил он и, опершись на локоть, стал подниматься.

Ноги его скользили, руки дрожали. Он поднимался мучительно медленно. Тяжело было видеть этого богатыря таким немощным. Муся и Толя начали помогать ему. Но Николай уже преодолел оцепенение. Он сердито отстранил друзей, сам встал на ноги, грузным шагом подошел к сугробу, где был зарыт его мешок, Постоял, будто собираясь с силами, сапогом сбил снежный холмик, нащупал лямки, но поднять мешок не смог. Весь напрягаясь, партизан попытался рывком взвалить мешок на плечи — и опять неудачно. Покачнувшись, он чуть не упал но, постояв, опять взялся за лямки.

— Я запрещаю тебе, слышишь? Я понесу! — решительно сказала Муся, пытаясь вырвать мешок из его дрожащих рук.

Николай нахмурился.

— Нет! — процедил он сквозь зубы, упрямо покачал головой, и на его широком добром лице появилось непреклонное выражение.

Поглубже вздохнув, точно перед прыжком, он снова схватил мешок и отчаянным усилием перебросил его за плечи. Спутники помогли ему продеть руки в лямки. Было темно. Отзвуки движения, весь день слышавшиеся с дороги, уже стихли. Муся первая направилась по вчерашнему следу, Толя тронулся за ней.

Сзади послышалось падение тяжелого тела. Муся оглянулась. В сугробе темнела неподвижная фигура. Николай лежал навзничь, даже не пытаясь освободиться от лямок.

— Оставьте меня... Идите... Берите это и идите... Идите одни, приказываю... Слышите: приказываю!.. Так надо... — торопливо шептал он.

Бесконечная жалость охватила девушку при виде крупных и, как ей казалось, густых капель, бежавших по его вискам. Но тут же жалость сменилась приступом жаркого гнева:

— Уйти? Бросить тебя?... Да кто же мы, по-твоему?... Как ты смеешь!.. — Она быстро освободила его от лямок мешка. — Вставай! Вставай сейчас же!

Николай продолжал лежать все в той же позе, втиснутый в сугроб.

Девушка рванула его за воротник, но поднять не было сил. Сам он ей не помогал. Мусю охватило бешенство:

— Поднимайся! Да поднимайся же!

Николай лежал бессильный, безучастный. Тогда она стала безжалостно теревить его, дергать, толкать в бок. Наконец в его глазах, печальных и равнодушных, появилось удивление.

— Встанешь ты или нет? Ты вспомни об енисейских рыбаках... Гребут навстречу ветру, наперекор буре гребут. Гребут до последнего вздоха, до последнего удара сердца... А ты, большевик, сложил весла. На все наплевать? Неси, куда вынесет? Так?... Не выйдет, не позволю. Не дам! Слышишь ты: не дам, не дам!..

Николай ничего не ответил. Он начал медленно подниматься. Сначала перевернулся на живот, потом встал на четвереньки, поднялся на колени и, разогнув спину, балансируя руками, сделал попытку встать. Друзья подхватили его подмышки. Теперь он стоял. Колебался, покачивался, но стоял.

— Иди вперед! — приказала девушка.

И он покорно, не оглядываясь, пошел по вчерашнему следу.

Потом, движимая все тем же нервным подъемом, девушка схватила мешок и, оторвав его от земли, смело продела руки в лямки. Она почувствовала тяжесть только тогда, когда груз лежал уже на спине. Толя поднял оба автомата. Быстро догнали Николая. Он шагал, как лунатик, но в движениях его уже появилась твердость. Он даже протянул было руку, чтобы освободить Мусю от груза, но та ласково и настойчиво отвела ее:

— Не надо, милый! Иди...

Они выбрались на дорогу. По плотному, вылощенному шинами снегу, громко хрустевшему под каблуками, идти было легче. И странное это было дело: чем дальше уходили они от места ночлега, тем увереннее становился их шаг.

— Ведь тебе лучше, правда? — спросила Муся, с надеждой взглянув на Николая.

— Да, да, лучше, — ответил он хриплым шепотом, не оборачиваясь.

Однако и он заметно приободрился. Только походка у него была по-прежнему какая-то деревянная. Все движения его казались механическими.

Муся, сгибаясь под тяжестью груза, шла впереди. Николай брел следом, глядя ей в затылок, и все старался ступать в такт ее шагам. Тихая улыбка мерцала на его потрескавшихся губах. Чтобы забыть о тягостной боли, о скользкой бесконечной дороге, об остром мерцании холодных звезд, которые, как казалось, светом своим кололи его воспаленные глаза, партизан твердил про себя стихи, пришедшие ему на ум при первой встрече с этой девушкой: «Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты...»

Воспоминания наполняли его теплом, заставляли усталое сердце биться энергичней. Они отвлекали мысль от острой боли, от вялых мускулов, не подчинявшихся велению мозга... Снова, молодой и сильный, шел Николай Железнов по залитому солнцем лесу, полному летних ароматов и пения птиц, и было ему хорошо и легко. А Муся, быстрая, как синичка, перепрыгивая с кочки на кочку, точно плыла над изумрудными полями, облаком проносилась сквозь кусты и деревья и звала, звала его за собой...

Хрипый, страшный голос вдруг раздался в морозной тишине: партизан что-то невнятно пел. Муся догадалась, что именно он поет.

Девушка обернулась. Толя бросился к товарищу. Николай шел все тем же деревянным шагом, подтягивая ноги. На его пожелтевшем, худом лице дрожала улыбка. «Бредит!» — подумала Муся. В невнятном бормотанье, прерывавшем пение, часто повторялось ее имя. Она старалась не слушать. Неужели он умрет, придется бросить его здесь в снегу, и тело его станет добычей волков и лис? Нет, нет, этого не может, не должно быть! Она не даст, она спасет Николая, даже если бы для этого пришлось пожертвовать своей жизнью.

Толе было страшно от этого хриплого пения, от этой счастливой улыбки на измученном лице друга, и он испуганно теребил партизана за руку.

— Не трогай, пусть, — сказала Муся.

— Что с ним?

— Он бредит. Пусть. Ему, наверное, хорошо, — ответила девушка, догадываясь, что болезнь Николая вступает в какую-то новую стадию.

23

Так, с небольшими остановками, они прошли несколько часов. Сколько — никто из них определить бы не мог. Да и зачем было им наблюдать за временем сейчас, когда они измеряли свою жизнь не часами, а километрами, приближавшими их к линии фронта!

Девушка уже приноровилась к тяжести мешка, привыкла к боли натруженных плеч. Вся воля ее теперь сосредоточивалась на том, чтобы заставить себя и товарищей двигаться быстрее. Весь окружающий мир исчез. Осталась только эта тускло сверкавшая под луной накатанная дорога и чувство, что необходимо во что бы то ни стало идти по ней.

Но все они были солдатами, и хорошими, опытными солдатами. И как только где-то, еще очень далеко, послышался нервный треск мотора, все трое разом вышли из оцепенения и насторожились. Счастливая улыбка на лице Николая погасла, в глазах забрезжила настороженная мысль. Точным движением он вырвал у Толи один из автоматов, метнулся с дороги через кювет за кусты. Спутники бросились за ним. Прячась в снегу, Муся искоса смотрела на Николая. Забытья точно не бывало, он действовал разумно, отчетливо, точно. Треск мотора нарастал. По его нервному тембру было ясно, что это мотоцикл.

Николай почти механически вскинул автомат, спустил предохранитель, перевел бой на непрерывную стрельбу. То же успел сделать и Толя. Как раз в тот самый миг, когда мотоцикл с коляской, рокоча, как ракета, мелькнул перед ними, две красноватые точки вспыхнули в кустах сердитыми, дрожащими огнями.

Прежде чем мягкое зимнее эхо успело пронестись по лесу, мотоцикл, пролетев по инерции метров двадцать, сорвался в кювет. Две черные фигуры мелькнули в воздухе и исчезли в туче снежной пыли. Толя первым бросился к ним, держа автомат наизготовку и крича что есть мочи: «Хенде хох!» Но руки поднимать было некому. Водитель, в замасленном меховом комбинезоне, лежал неподвижно ничком у подножия сосны. Черное пятно медленно расплывалось вокруг его вмятой в снег головы. Пассажир, валявшийся чуть подальше, по-видимому, без сознания, легонько стонал. Толя склонился над ним.

— Не стреляй, услышат, — предупредила Муся.

Девушка, держа в руке свой «вальтер», остановилась над пассажиром в офицерской форме. Что делать? Оглушенный падением, враг может оправиться, поднять тревогу, навести погоню

на их след. Разве у них, ослабших, обессиленных, есть хоть какая-нибудь надежда скрыться и спастись, если фашисты их обнаружат и пойдут по пятам?

Муся была озадачена. Офицер лежал в забытьи, но и в этом состоянии с лица его не сходило выражение животного страха. Девушка сняла с его пояса пистолет. Невдалеке торчал из снега тонкий ремешок. Она потянула за него и вытащила планшет. В нем были карта и пакет, засургученный по краям зелеными печатями. Значит, офицер был связным, он вез какой-то приказ. Вопреки правилам, введенным в последние недели на вражеских военных дорогах, он ехал ночью. Стало быть, приказ срочный и важный. Девушка сунула карту и пакет себе за пазуху, с сожалением посмотрела на пистолет и забросила его подальше в снег.

Потом она стала обыскивать офицера. В знаках различия она не разбиралась, но по меховой подкладке шинели и по тонкой материи кителя она догадалась: это штабник. Ей хотелось найти его документы. Вдруг рука ее нащупала в кармане небольшой узелок с чем-то твердым, крепко приколотый к сукну английской булавкой. В свертке оказалось двое старых женских часиков на поношенных кожаных браслетках, пять золотых сережек самой незатейливой работы, два обручальных кольца с надписями:

«Вера» и «Степа», выгравированными на внутренней стороне, и, наконец, какие-то блестящие, странной формы комочки. Только рассмотрев при свете луны, она поняла, что это золотые зубы и коронки с зубов. Несколько секунд она остолбенело смотрела на кусочки золота, дрожавшие у нее на ладони. Откуда они могли у него взяться?

И вдруг до ее сознания дошло, что лежавший перед ней фашист содрал все это с живых людей, ограбил каких-то Веру и Степу, быть может вырвал эти серьги прямо из чьих-то ушей. А коронки... Это было слишком омерзительно.

Размахнувшись, Муся бросила золото в бесчувственное лицо офицера. Так чего же она колеблется? Разве можно позволить этому фашисту подняться, вылечиться, чтобы опять рвать серьги из чьих-то ушей, грабить неизвестных Вер и Степанов, выдирать золотые коронки из чьих-то ртов!

Девушка с омерзением посмотрела на лежавшего перед нею гитлеровца и решительно выхватила из-за голенища трофейный тесак, которым они на дневках рубили хворост для костра...

...Откуда-то — как показалось Мусе, очень издалека — донесся радостный голос Толи.

— Ребя, ребя, сюда! — звал он.

Стоя у опрокинутого мотоциклета, он торжественно чем-то потрясал над головой. Муся подошла к нему.

В руках у маленького партизана были какие-то свертки. От них слабо тянуло запахом хлеба. В глубине прицепной калоши Толя отыскал сумку с едой: буханку хлеба, флягу с какой-то жидкостью и котелок, герметически закрытый прилегающей крышкой, банку консервов.

Не утерпев, он сорвал с буханки целлофановую обертку, и сразу, как подумалось Мусе, на много километров вокруг разнесся буйный запах черного заварного хлеба.

У девушки закружилась голова. Она принуждена была схватиться за дерево, чтобы не упасть. Но и острые спазмы в желудке не заставили ее забыть об опасности. Нужно уходить, заметать следы. Ведь в случае даже самой пустой погони они не сумеют скрыться.

Но что делать с Николаем? После нервной вспышки, вызванной встречей с противником, им овладела еще более тяжелая апатия. Он сидел в сугробе, привалившись к дереву, хрипло

дышал и не проявлял ни малейшего интереса ни к результатам операции, ни к продуктовым трофеям.

Муся быстро отвинтила пробку с фляги и попробовала содержимое. Она сейчас же сплюнула и, гадливо передернувшись, схватилась за рот. «Спирт», — догадалась она.

Переглянувшись с Толей, она поднесла флягу к губам Николая. Тот покорно глотнул, поперхнулся, закашлялся. Жидкость, точно кипятком, ошпарила ему пищевод. Она вызвала в желудке острую резь, и все же странное тепло хлынуло по всем мускулам. В глазах партизана появилось осмысленное выражение. Точно испугавшись, Николай торопливо бросил в рот комок снега, потом сплюнул и стал подниматься, хватаясь за дерево.

Муся приказала Толе выдать по куску хлеба. Тот проворно разделил буханку на три ломтя. Девушка велела уменьшить порции вдвое. При виде трофеев в ней самой проснулся звериный аппетит. Захотелось набить рот и есть, ни о чем не думая, съесть все до последней крошки. Но она твердо сказала:

— Этого хватит!

И снова потянулась дорога, накатанная, прямая, точно ударом сабли просеченная в густом лесу. Деревья мрачно молчали, тяжело обремененные снежным убранством. Заснеженные кусты, как лазутчики в маскхалатах, подползали к самой дороге. Небо точно лихорадило от далекого мерцания осветительных ракет, то и дело вспыхивавших за лесом. Эхо далеко несло скрип шагов, и Мусе время от времени начинало казаться, что впереди их кто-то идет, кого они никак не могут догнать.

Иногда вдруг на дорогу вылетал заяц. Поднявшись столбиком, он застывал, наострив уши, и долго с удивлением смотрел на странные существа, медленно приближавшиеся к нему. Потом, поняв, что это люди, он делал резкий скачок, перемахивал за придорожную канаву и начинал петлять по залитой луной поляне, оставляя на снегу замысловатые вздвойки и сложные сметки. Где-то вдали все время лениво подвывали сытые волки.

Так прошли они несколько километров до перекрестка. Девушка понимала, что с зарей, как только двинутся в путь первые автоколонны, трупы мотоциклистов будут найдены и, вероятно, вдоль дороги организуют облаву. Поэтому, когда показался перекресток, она приказала свернуть на юг, на малоезжую, местами совсем перекрытую снежными переметами дорогу и, по возможности, подальше уйти от основной магистрали.

Так они и сделали. Прошли по проселку километра два-три и тут расположились на дневку. Местом стоянки на этот раз был выбран скат глубокого, поросшего лесом оврага, на дне которого под пухлявыми сугробами угадывался бойкий ручеек. Кое-где он прорывался сквозь лед наружу и словно подмигивал бойкими струями, задорно сверкавшими в льдистых промоинах. Промоины густо курились, и все вокруг них обросло пышными снежными кристаллами.

Путники расположились под большим сосновым выворотнем. Здесь было тихо. Можно было разложить большой костер, не опасаясь, что его заметят с дороги. Натянули брезентовый экран, набрали изрядный запас сушняку. Потом Муся разрешила Толе выдать еще по куску хлеба.

В это ясное утро все трое, в том числе и Николай, чувствовали себя значительно бодрей. Голубые глаза партизана следили за девушкой с ласковым одобрением.

— Эх, была не была, давай, Елочка, что у них там в котелке-то есть! — сказала вдруг Муся.

С помощью тесака мальчик быстро открыл прочно задраенную крышку и весь просиял от удовольствия. Под нею оказался рис, сваренный со свежим салом. Котелок поставили на угли, и все трое стали с голодным нетерпением следить, как, отогреваясь, начинает маслянисто мерцать крупный разваренный рис, напоминавший цветы персидской сирени.

Наконец Толя прямо руками выхватил котелок из костра и, вывалив содержимое на плащ-палатку, разделил рис на три кучки. По обычаю, заведенному еще в отряде, он заставил Мусю отвернуться и, показывая на кучки, спрашивал: «Кому?» Рис исчез мгновенно, и еще долго после этого Толя очищал пальцами котелок, подносил его к лицу, наслаждаясь ароматом пищи.

Охмелев от еды, партизаны заснули, убаюканные шелестом поземки, и проспали весь день и половину ночи. Сквозь сон чудился им то нарастающий, то затихающий, то близкий, то далекий грохот, будто бы прерываемый порой знакомым хриплым ревом моторов. Но не грохот этот разбудил их — они проснулись от холода. Луна обливала все льдистым светом, снег кругом фиолетово сверкал, промоины на ручье курились густыми клубами пара. Этот пар, вершины сосен, росших по обочинам оврага, озябшие облачка, торопливо пробежавшие мимо луны, были озарены багряными отсветами.

Партизаны молча смотрели на это необыкновенное явление.

— Зарево, — сказала наконец Муся.

— Неужели, елки-палки, лес подожгли?

— Зимой лес не горит, — хрипло отозвался Николай. Поднявшись на локоть, он тоже смотрел на небо. — И чего им под боком у своего фронта лес жечь?... Наши, наши это...

— Мальчики, неужели наши? Мамочка! А мне все во сне казалось, будто слышу канонаду.

— И тебе? — обрадовано встрепенулся Николай. — Я тоже слышал. И самолеты слышал... да, те, наши, «черную смерть».

Николай, упираясь рукой в землю, приподнялся и сел. Толя бросился к нему на шею и, широко раскрыв рот, приглушенно закричал:

— Ура!

Тяжелое малиновое мерцание становилось заметнее по мере того, как темнела ночь. Теперь оно не казалось партизанам зловещим. Чудилось, будто огромная дружеская рука, поднявшись над лесом, махала партизанам, сулила выручку. Мусю охватила жажда деятельности. Теперь надо беречь силы. Подбросив в костер сушняку, она щедро разделила остатки хлеба. И хотя глаза спутников молили о добавке, она спрятала консервную банку — последнее из захваченных запасов — в мешок. Подумав, она отвинтила пробку с фляги и дала друзьям хлебнуть по глотку спирта, который Толя уже разбавил снегом.

— И вы, и вы! — настаивал маленький партизан.

— Эх, праздник так праздник! — Преодолев отвращение, Муся сделала маленький глоток. — Этак я с вами пьянчужкой стану...

Спирт был ей по-прежнему противен, но теперь она не считала себя вправе отказываться от



своей доли. Нужно любыми средствами поддерживать силы.

Поспешно уложившись, они тронулись в путь, радуясь, что чувствуют себя крепче. Толя, первым вскарабкавшийся наверх, застыл на гребне оврага. Там, где за лесом была дорога, он увидел мерцание электрических фар. Голубоватые огни отчетливо просвечивали сквозь вершины деревьев. Происходило что-то новое: вопреки обыкновению, вражеские машины двигались ночью.

Дорога была занята, а идти целиной по глубоким сугробам нечего было и думать. Другьям ничего не оставалось, как спуститься обратно, запалить костер и, свернувшись, уснуть подле него, дышащего благодатным теплом.

Содержимое консервной банки поддерживало силы партизан еще сутки. Но пища разбудила аппетит. На следующее утро все трое почувствовали такой голод, что долго не могли уснуть, а в сумерки Муся проснулась с острой резью в пустом желудке, с ощущением тяжелой слабости во всем теле.

Открыв глаза, она сделала попытку подняться и почувствовала, что ее тело словно примерзло к земле. Упираясь в снег руками, она наконец села. Костер давно догорел, было темно. Косая сетка пухлых, неторопливо пролетавших снежинок скрывала все окружающее. Не сумев встать, девушка на четвереньках подползла к своим друзьям. Они лежали обнявшись. Слой сыроватого снега уже покрыл их ровной белой пеленой, виднелись только лица с запушенными бровями и ресницами. «Мамочка! Неужели они замерзли? — подумала Муся и начала будить. — Нет, живы, живы!» Партизаны, не открывая глаз, сонно мычали, но не просыпались. Тогда, собравшись с силами, девушка подняла и усадила Толю. Недоуменно осмотревшись, он снова закрыл глаза и повалился на прежнее место. Мусе стало жутко. Она опять начала теревить его, терла ему уши, дергала за нос, за руки.

Наконец Толя очнулся. Он долго смотрел на нее, потом спросил:

— Что с вами?

У девушки было заплаканное лицо.

— Я думала, что вы оба...

Толя потянулся и сладко зевнул.

— Ой, и спать же хочется, елки-палки! — и опять было стал клониться к земле.

Муся сильно встряхнула его за плечи и крикнула сердито и повелительно:

— Не смей!

Вдвоем они разбудили Николая. Тот долго сидел, болезненно потирая лоб, потом сделал резкое движение, явно стремясь вскочить, и бессильно растянулся на снегу.

— Мне больше не подняться, — сказал он.

Слова его прозвучали так тихо, что их почти скрыл шелест летящего снега.

— Ничего, ничего, пойдешь, непременно пойдешь! Теперь близко, немного осталось! — зашептала Муся, дрожащими пальцами отвинчивая тугую пробку заветной фляги.

— Ребята, ребята! — взволнованно позвал Толя.

Прислонившись щекой к сосне, он сквозь редкий тюль летящего снега смотрел на восток. Над

лесом качалось еще более мощное зарево, чем в прошлую ночь, даже падавший снег не мог закрыть его. А с дороги сквозь приглушенный свист ветра, шум сосен и шелест метели по-прежнему слышалось тягучее завыванье моторов.

— Слышите, товарищи? Слышите? — шептал маленький партизан.

— Опять едут. Ночью едут, — тихо отозвался Николай.

Всем было ясно: на фронте происходит что-то такое, что заставило фашистов позабыть свой животный страх перед партизанами. Не помня уже о страшной слабости, об острой рези в пустом желудке, все трое смотрели в сторону дороги.

— Куда идут машины? — прошептал Николай.

Муся тоже старалась это угадать. А между тем забытая фляга лежала опрокинутой, и жидкость, на которую она возлагала столько надежд, медленно выливалась на снег. Этого так никто и не заметил.

За сеткой падающего снега трудно было что-нибудь рассмотреть. Но Мусе казалось, что белые сполохи, вспыхивающие иногда на вершинах деревьев, подсвечивают их слева. «Машины идут на запад? От линии фронта? Что же это значит?... Да ведь отступают! Конечно же, отступают!..» Радость слишком велика. Прежде чем сообщить друзьям свою догадку, девушка долго проверяла себя. Разочарование было бы страшно. Но деревья действительно снова и снова подсвечивались слева.

Наконец Муся оторвалась от созерцания сполохов и наклонилась к спутникам, которых опять стало заносить снежком. Она хотела сказать им, что машины врагов движутся на запад, что они идут сплошным потоком, что, наверное, Советская Армия разбила фашистов и гонит их, но теплый комок подкатил к самому горлу, она без сил упала возле товарищей и, зарыв лицо на груди у Николая, заплакала. Слезы были красноречивее слов.

И опять, всячески умеряя свои голоса, почти беззвучно все трое закричали:

— Ур-а-а!..

А потом, обнадеженные, приободренные, они сидели, тесно прижавшись друг к другу, смотрели на электрические сполохи, которые становились все виднее по мере того, как редела сетка снежинок. Стало быть, не приснилась им прошлую ночь канонада. Недаром полыхало на востоке зарево. Все это было так хорошо, что даже мысль, что спасение придет слишком поздно, которая жила в каждом из них и которую они тщательно скрывали друг от друга, отступила на второй план. Но именно сейчас Муся, чувствовавшая теперь себя вожакom, решила заговорить об этом:

— Ребята, а вдруг мы не дождемся!.. Мы несли... несли честно, ведь да?... Ведь нам не стыдно? Так давайте, на случай, если не сможем идти... давайте напишем им, тем, кто сюда придет... Пусть там знают — мы свое сделали... сделали все, что могли...

— Зачем? — одними губами спросил Николай.

— Повесим записку на видное место...

— Не надо. Прочтут записку — найдут мешок, перепрячут или прикарманят что-нибудь, — с сомнением сказал Толя.

— Это кто ж прикарманит? Фашисты? Да они сюда ни в жизнь не сунутся! Они вон как от Красной Армии удирают. А свои — пусть. Им и напишем. Это ж государственные ценности, кто их возьмет? — тихо сказал Николай.

Он неподвижно лежал на спине, голос его доносился точно из-за стены. Было видно, что лежать ему неудобно, но у него, должно быть, не было даже сил повернуться, улечься получше.

— Эх, елки-палки, далеко от дороги! Наши тоже стороной пройдут.

— Не сейчас, так после. Не зимой, так летом. Не этим летом, так через год, через два. Золото не заржавеет, — вздохнула Муся.

Слезы показались у нее на глазах. Ей вдруг живо представилось: ясный летний день; потоки солнца, пронизывающие зеленую хвою; веселая птичья щебетня; голубое небо, мягкие облака, пушистые, легкие, позолоченные... и три скелета в лохмотьях здесь, под этим выворотнем. Девушке стало жаль себя, друзей, и чтобы не давать себе раскисать, она сердито решила:

— Хватит болтать!

Она достала из кармана гимнастерки маленькую записную книжечку и, повернувшись спиной к холодной луне, вовсю сиявшей на очистившемся небе, задумчиво спросила:

— Ну, что писать?

Рука у нее мелко-мелко дрожала. Карандаш вываливался из пальцев. Спутники не отозвались.

— «Товарищ, который найдет эту Книжку! — не раздумывая, вывела девушка непослушной рукой, подчеркнула написанное двойной жирной чертой и продолжала, бормоча вслух: — К тебе обращаемся мы, три советских партизана... — Подумав, она зачеркнула слово «партизана» и написала «человека», потом вывела: — Когда ты это найдешь, нас не будет в живых...»

— Перечисли фамилия, — прошептал Николай.

— И адреса... Пусть маме сообщат, пусть всем родным сообщат, — добавил Толя.

— Правильно.

— «Мы все трое: Николай Железнов, комсомолец со станции Узловая; Мария Волкова, комсомолка, работавшая в отделении Госбанка, — тихо шептала Муся, по мере того как карандаш с мучительной медлительностью нетвердо выводил на бумаге буквы, — ...в отделении Госбанка и...» Елочка, как твоя фамилия?

— Анатолий Николаевич Златоустов, комсомолец из школы ФЗО при машиностроительном заводе имени Орджоникидзе, — подсказал Толя с обидой.

И Муся сама удивилась, как это она по сей день, и, может быть, по самый последний день своей жизни, не удосужилась даже узнать фамилию своего маленького друга.

— Обязательно «Николаевич» напиши, у нас в поселке еще один Толька Златоустов есть, рыжий, так чтобы не перепутали.

— «...при машиностроительном заводе имени Орджоникидзе, — дописала Муся. — Обращаемся к тебе, товарищ, и просим тебя известить наши организации... — Муся поискала слова и после некоторого колебания написала: — что мы до последней своей минуты выполняли боевое задание по доставке государственных ценностей через линию фронта».

— Не об этом, не о себе бы сначала-то надо писать...

— Ты напиши ему, пусть он, елки-палки, затылок не чешет, а сразу ноги в руки, да и несет мешок начальству.

— «Мы просим тебя, товарищ, взять спрятанный...» Здесь я потом поставлю, где именно, «...мешок с ценностями, принадлежащими государству, и доставить его...» Куда доставить? — спросила Муся, не очень опытная в этих делах.

Голова у нее кружилась, буквы ложились вкривь и вкось, точно их несло порывами ветра.

— Доставить в ближайшую партийную организацию, вот куда. Пиши: пусть отнесет в парторганизацию, там уж разберутся.

— «...в ближайшую партийную организацию». Написала

Поставив точку, Муся подумала, разберет ли неизвестный адресат это их послание, и вдруг с безжалостной отчетливостью поняла, что на этом клочке бумаги они, вероятно, в последний раз говорят с теми, кто там, за линией фронта: с матерью, с отцом, с подругами и товарищами, со всеми знакомыми и незнакомыми людьми, населяющими родную страну. Теплый комок снова начал подниматься к горлу. Девушка, стараясь сосредоточиться на письме, с быстротой, на которую только были способны ее огрубевшие дрожащие пальцы, стала класть строку за строкой:

— «И мы, комсомольцы, просим тебя, товарищ, передать наш последний привет нашим дорогим родителям, и доблестной Красной Армии, и нашему Ленинскому комсомолу, и большевистской партии. Передай им, что мы сделали все, что могли, и не выполнили задания только потому, что заболели, ослабли и не было уже сил. И передай, что в последнюю минуту мы думали о нашей милой Родине, что мы верили, знали, что Красная Армия скоро придет и выручит нас, но не сумели дождаться».

Муся перечитала конец записки. Слова «не сумели дождаться» она зачеркнула. Затем девушка прочитала все письмо вслух. Спутники одобрили. Каждый подписался внизу, причем, когда расписывался Николай, карандаш выскользнул у него из рук, и пришлось долго искать его в снегу. Решено было в самую последнюю минуту, когда станет ясно, что идти больше уже нельзя, указать в письме местонахождение мешка и положить книжку на видное место. Потом Николай и Толя задремали, а Муся стала следить за дорогой — не иссякнет ли поток машин, нельзя ли будет двинуться в путь.

Но до зари движение не прекращалось, а когда над лесом поднялось желтое, прозрачное, как янтарь, утро и от мороза стали громко трещать старые деревья, скрежещущие звуки машин на дороге слились в сплошной, непрерывный гул.

В лесу было тихо, лишь изредка падала, сорвавшись с ветки, тяжелая снежная подушка и потом с шуршащим шелестом тянулся за нею иней.

Мороз крепчал. Спать становилось опасно. Муся разбудила спутников. Экономя угасающие силы, они сидели неподвижно, грея друг друга. Когда кто-нибудь начинал дремать, Муся будила его самым безжалостным образом. Ее саму всё время клонило в сон, но она помнила: уснуть на морозе — это смерть всех троих. И она поддерживала огонь в костре и всеми средствами, вплоть до щипков и колотушек, отгоняла сон от товарищей.

Мысль о том, что их жизнь теперь в ее руках, ни на минуту не оставляла девушку. Веки слипались. Она то и дело терла глаза снегом, жевала ветку сосны, принимала самые неудобные позы, а когда сон все-таки начинал одолевать, до крови кусала себе руку.

Но силы заметно иссякали. Сон отгонять еще удавалось, но сознание работало уже нечетко. Все в голове путалось. Иногда, точно очнувшись, Муся делала попытку встать, размяться, но

ноги уже не держали. Под вечер ей показалось, что сквозь отдаленный вой моторов она опять слышит канонаду. Ясность мысли вернулась к ней. «Чудится, что ли? Или вправду глухо гремит там, далеко за лесом?» Решив, что, наверное, это стучит кровь в ушах, Муся опять погрузилась в полусон.

Мысли текли лениво. Снова и снова почему-то возникала в памяти фраза, сказанная однажды Рудаковым тяжело раненному партизану: «Большевик, брат, не смеет умирать, не сделав всего, что он может сделать». Когда Муся слышала это в госпитале, ей показалось — командир шутит, чтобы подбодрить больного. Теперь эта фраза была полна глубокого смысла. Разве Муся и ее товарищи имели сейчас право умирать? Но что же делать, что? Ведь человек не властен над смертью; проклятые машины всё тянутся по дорогам, а по целине, по глубокому снегу, не сделаешь и двух шагов.

Оставалось одно — ждать. Но машины всё шумели, и тяжелая дрема точно мягким и теплым пуховиком снова начинала закрывать от Муси окружающий мир.

Ее вывело из полузабытья смутное ощущение близкой опасности. Какие-то бесшумные фосфорические огоньки, то исчезая, то появляясь вновь, маячили в полутьме. «Опять чудится?... Да нет же, это волки... вон они! Самые настоящие волки, только и всего», — подумала девушка и даже успокоилась от этой своей догадки.

Сколько раз, идя ночью, видела она эти парные зеленоватые точки, то мерцавшие издали из-за кустов, то звездочками метавшиеся в лесной чаще. Путники обычно не обращали на них внимания. В эту зиму лесные хищники были сыты. Вороны с трудом, тяжело, как гуси, снимались с полей сражений. Вероятно, только любопытство заставляло разжиревших волков выходить иногда из чащи на звуки шагов.

Все же зеленые огоньки, неясно мерцавшие по скатам оврага, отогнали тяжелую дрему. Ухо уже различало хриплое дыхание зверей, доносилось глухое угрожающее ворчанье. Тихо поскрипывал снег под осторожными лапами. Неясные тени все время перемещались.

Волки не уходили. Их становилось все больше. Опасность окончательно взбудрила Мусю. Головы друзей лежали у нее на коленях. Луна закрыта облаками, но голубоватое мерцание сугробов позволяет разглядеть, что снежинки тают в потемневших глазницах Николая, на заострившемся носу Толи. Они живы. Опасность угрожает им, беспомощным и неподвижным. Муся перепробовала все способы, стараясь разбудить спутников. Они не просыпались, даже не открывали глаз. Тогда она решила прибегнуть к самому верному средству и стала искать флягу.

Пустая фляга с незавинченной пробкой валялась в снегу.

Вот тут-то девушка и почувствовала настоящий страх. Вместе со страхом пришла слабость. Девушка поудобнее прижалась спиной к сосне и закрыла глаза. Снег поскрипывал уже близко. И опять почему-то ярко представились ей холодная водная пустыня, вздыбленная огромными серыми волнами, и лодка, маленькая, хрупкая, на этих волнах, и люди в ней, гребущие наперекор буре. Она так ярко вообразила себе этих людей, что ей почудилось, будто она видит вздувшиеся от напряжения вены на их в кровь исцарапанных руках, видит лица с полужакрытыми глазами и с тем злым, непреклонным выражением, какое бывает у человека, остановить которого может лишь смерть. И снова в ушах девушки прозвучала фраза: «Большевик не смеет умирать, не сделав всего, что он может сделать». Разве она сделала всё?

Успокоившись, Муся оттолкнулась от дерева, подняла автомат. Он показался ей необыкновенно тяжелым, будто весь был отлит из свинца. Она положила оружие себе на колени, отвела предохранитель. От сухого, металлического щелчка тени в овраге метнулись прочь, зеленоватые огоньки на мгновение погасли и снова возникли уже далеко внизу, у

куращихся промоин ручья. Послышалось глухое свирепое рычание. Волки опять стали приближаться. Зеленых точек было много. Вздрагивая во тьме, они широким, почти правильным полукругом охватывали, точно осмысленно оцепляли выворотень, служивший приютом для партизан. Середина этого полукруга шевелилась на дне оврага, концы поднимались до самого его гребня.

«Какая чепуха! Преодолеть столько настоящих опасностей и где-то у самой цели погибнуть от волков, как глупым, беспомощным телятам!.. Нет, нет! Это просто нелепо!»

Муся снова принялась изо всех сил трясти спутников. Головы их безжизненно мотались, глаза были закрыты, даже дыхания не чувствовалось. Девушке пришло в голову — не старается ли она оживить мертвых? Но нет, снежинки же тают на лицах. Она расстегнула куртку Николая — рука ощутила живое тепло. Прижалась губами к виску Толи — под холодной кожей ритмично пульсировала какая-то жилка.

Живы!

Но эти, в полутьме, они нагледят, они приближаются. Огненно-зеленые глаза не отрываясь следят за ней как прожекторы, поймавшие в ночном небе самолет. Девушке кажется, что она начинает физически ощущать на своем лице эти жадные взгляды. С каким бы удовольствием влепила она в эту хищную, трусливую, но с каждой минутой наглежащую свору очередь, другую, третью! Но машины, машины гудят на дороге. Выстрелы привлекут зверей куда более страшных. Нет, лучше волки! Ждать до последнего. Может быть, рассветет.

«Ну что ты боишься, чудачка? — убеждала себя девушка успокаивающими интонациями Митрофана Ильича. — Что такое волк? Большая собака, он боится человека. Он отваживается нападать на людей только большими стаями». Стаями! А сколько их там, в кустах? Черные тени приблизились, все отчетливее их очертания. Глаза погасли, но Муся видит уже осторожные силуэты зверей, слышит хруст наста под сильной лапой, тяжелое дыхание, сухое клацанье зубов. А что, если они бросятся на нее все сразу?

Нельзя рисковать. Пора. Может быть, это и есть последние минуты. Но почему напряженным громом, точно летом в грозу, раскатисто гудит лес? Это кажется? А почему молодой снег тихо падает с вершин сосен?... В ушах от слабости такой звон, что трудно, невозможно разобрать, что явь, а что мерещится.

Пора!

Муся дрожащей рукой достает записную книжку и карандаш. Она вписывает в завещание пропущенную строку, потом вытаскивает из-за голенища штык. Услышав шорох, волки, угрожающе заворчав, отскакивают вниз. Еще боятся!

— Кыш, фашисты проклятые! — кричит девушка и замахивается на них автоматом.

Не выпуская оружия, она медленно подползает к сосне. Цепляясь за шероховатую кору, поднимается на колени. Пробует встать — и не может, нет сил. Убедившись в этом, она вытягивает руки как можно выше, размахивается и ударом штыка пригвозждает к дереву раскрытую записную книжку с завещанием.

Больше сил уже нет. Руки сорвались. Она упала на снег. Теперь записная книжка будет обязательно замечена теми, кто обнаружит их тела. Тела?... Как странно это звучит. Нет, еще не тела! Еще бьется сердце. Плохо, но еще слушаются руки. «Большевик не смеет умирать, не сделав всего, что он может сделать». Блокнот крепко пригвожден к дереву. Он далеко виден на бурой шершавой коре. Но еще не все сделано, нет, еще бьется сердце, а раз бьется, надо бороться за себя и товарищей... Да что же это так бухает? Неужели чудится? И опять снег сыплется с веток. А вдруг действительно близко стреляют?... А сердце еще

бьется. Нет, нет, еще не все сделано... Вот...

Муся садится на прежнее место, под защиту выворотня, кладет неподвижные головы спутников к себе на колени. Ей кажется, что так друзья ее больше защищены. Теперь с тыла они прикрыты не только от ветра и метели. На все это уходят остатки энергии. Но ночь уже побледнела. Ближайшие деревья вышли из полутьмы.

«Рассвет!» — догадывается Муся. Может быть, солнце спугнет, прогонит их, этих... Нет, злые морды маячат в сугробах совсем близко. Оскаленные рты. Кристаллики инея осели на щетине усов. Желтые клыки порывисто cedят взволнованный парок. Большой лобастый зверь с белесо лоснящейся шерстью, нервно поводя широкими боками, осторожно выступает вперед. Он уже совсем рядом. Вот он, не сходя с места, как-то весь подобрался, точно в снегу утонул, и глаза у него сощуренные, будто целятся. Вся стая теснится чуть позади, не выходя из кустов, ворча, огрызаясь. Утренний ветерок доносит до Муси запах псины.

Снег резко скрипнул под лапами лобастого. Усилием указательных пальцев обеих рук Муся нажимает спусковой крючок. Резкий слитный треск длинной очереди гремит в овраге, эхо гулко раскатывается по лесу, и с вершины сосны неслышно сыплется сухой, колючий, искрящийся снежок...

25

...Была на исходе уже третья неделя с того дня, когда Советская Армия, перейдя в гигантское контрнаступление, неожиданно обрушилась на основные ударные силы, стянутые фашистами в район Москвы, разгромила их и, принудив их остатки к беспорядочному отходу, начала победоносно двигаться вперед, нанося врагу новые и новые удары нарастающей силы.

Сбылось то, о чем мечтали миллионы советских людей в тылу, на фронте и за линией фронта, на оккупированной земле. Тугая пружина разжалась, и удар был так сокрушителен, что до основания потряс не только немецко-фашистскую армию, но и все разбойничье гитлеровское государство.

Дивизия генерала Теплова, находившаяся в авангарде одной из армий Калининского фронта, успешно прорвала вражеские укрепления, перешла замерзшую реку и одной из первых на этом участке ринулась преследовать противника. Ни временные оборонительные рубежи, наспех воздвигавшиеся врагом на пути наступления, ни арьергардные бои, которые немцы то и дело затевали на лесных опушках, у придорожных высоток, возле балок, ручьев, у околиц деревень, ни танковые засады, ни постоянные контратаки с земли и с воздуха не могли ее остановить.

Все воины дивизии, начиная от самого генерала Теплова, высокого, широкоплечего, сидящего человека с большими руками молотобойца, с просторным лбом ученого, до телефонистов, не устававших передавать в батальоны приказы об ускорении движения, до ротных поваров, научившихся готовить пищу на марше, до письмоносцев полевой почты, сгибавшихся в эти дни под тяжестью наспех нацарапанных солдатских «треугольничков», заключавших в себе хорошие вести, — все были кровно озабочены развертыванием этого трудного наступления.

Наступали днем и ночью, без сна и часто даже без отдыха. Полевые кухни, с готовым варевом двигавшиеся в колоннах, источали сытные запахи. Но останавливаться было некогда, обеды стыли, и солдаты подчас довольствовались сухарем да горсткой снега,

съеденными на ходу. Лишь бы не замедлить это победоносное движение, лишь бы не дать врагу оторваться, опомниться, привести себя в порядок!

Нравственный подъем, вызванный радостью великой победы, был так могуч, что люди, позабыв о себе, были способны на невероятное. Когда пушки, автомашины с боеприпасами и продовольствием застревали на дне заснеженных оврагов так, что стальные тросы, протянутые к ним от вспомогательных тягачей или тракторов, лопались и не могли вырвать их из снежной пучины, люди на руках выхватывали из сугробов и выносили буксовавшую технику.

Вслед за артиллерийскими дивизионами шли, вытянувшись цепями по обочинам снежных дорог, вереницы мирных жителей — старики, женщины, подростки. В мешках, перекинутых наперевес через плечо, они несли снаряды. Это жители освобожденных деревень посильно помогали своей армии наступать по глубоким снегам.

Да, это были славные дни! Дивизии двигались по дорогам, прокопанным в сугробах, как траншеи, и вежами на них служили им полузанесенные снегом трупы врагов, брошенные противником пушки, повозки, сожженные машины. Шли по деревням, которые можно было угадать лишь по надписям на дорожных указателях. В редкую свободную минуту варили пищу из концентратов в печах, стоявших, как казалось, среди чистого поля; пили воду из колодцев, журавли которых говорили солдатам о том, что здесь, где сейчас ветер беспрепятственно гоняет снежные вихри, издавна были селения, уничтоженные врагом.

Самый вид этих мертвых мест поднимал в солдатах яростную неутомимость.

Так, с непрерывными боями, дивизия генерала Теплова прошла на запад десятки километров, пока не наткнулась на прочный рубеж, который вражеским саперам удалось организовать здесь, в лесном краю, по крутому берегу знаменитой русской реки, недалеко от ее истоков.

Река эта была здесь невелика. В засушливое лето дикие козы перебежали ее по камням перекатов, даже не замочив брюха. Но берег, который неприятельское командование выбрало для того, чтобы приостановить наступление, был высок, обрывался вниз желтыми песчаными откосами, такими крутыми, что стрижи, зная, что ни зверю, ни человеку на них не забраться, выкопали на верхней их кромке глубокие гнезда.

За обрывом, у самого его гребня, начинался сосновый бор. Немецкие саперы повалили его, из бревен настроили доты. Огонь их был организован так, что можно было держать под обстрелом каждую точку низкого левобережья. Там же, где крутизна обрыва, подмытая и обрушенная внешними водами, была более отлога, саперы обледенили ее. Скаты эти, представлявшие наиболее уязвимые места обороны, превратились в скользкие горы, по которым невозможно было вползти не только искусному стрелку, но и дикому зверю.

Вот на этом-то запасном береговом рубеже противнику и удалось задержать дивизию генерала Теплова, наступавшую в первом эшелоне.

Проведя разведку боем, генерал Теплов сразу же понял, что брать эти укрепления штурмом и думать нечего. Он выждал ночи и под покровом метели бросил в атаку специальные подразделения лыжников. Но враг уже успел организовать на подходах к оборонительным рубежам сигнализацию. Атака была отражена. Дивизия остановилась. С каждым часом гас боевой порыв, цена которому известна всем, кто бывал в наступлении.

Гонцы из штаба армии один за другим привозили приказы: немедленно наступать. Сам командующий фронтом, хладнокровный, опытный, талантливый полководец, которого Теплов уважал еще за смелые операции у Халхин-Гола, вызвал комдива к телефону, сердито выбранил его за преступное топтание на месте и посоветовал «поднажать на хитрость».



Поднажать на хитрость! Об этом думал и сам комдив, имевший навык лесных боев еще с дней сражения с белофиннами. Он выпросил у командующего несколько артиллерийских дивизионов, поставил их против наиболее уязвимых участков вражеского рубежа; ближе к реке подтянул все имевшиеся в тылу дивизии автомашины и тракторы и приказал в течение ночи двигать их по рокадным дорогам низины, реветь моторами, греметь гусеницами и намекнул при этом начальникам колонн, что не следует очень взыскивать с водителей за плохую маскировку фар. Между тем лыжники и все разведывательные подразделения дивизии были сведены в одну часть, снабжены маскхалатами, вооружены автоматами, гранатами, легкими пулеметами, штурмовыми ножами и сосредоточены в леске, против самых неприступных участков берега.

Темной декабрьской ночью по вражеской обороне ударили все подтянутые сюда орудия. Над ледяными откосами заметались огни разрывов. Будто огненные капли, которые стряхнули с гигантской кисти, с глухим рокочущим громом пронеслись за реку реактивные снаряды. Земля задрожала, застонала. Артиллерия всю свою мощь обрушивала на более уязвимые участки укрепленного рубежа.

А в то же самое время, значительно левее, без единого выстрела, без шума, молча, вырубая себе топорами, лопатами, штурмовыми ножами ступеньки в мерзлом песке, цепляясь за обнаженные сосновые корни, за выступы, упорно карабкались на крутой берег солдаты в маскхалатах. Артиллерия еще продолжала грохотать, когда передние бойцы, невидимые в снежной мути, уже перевалили через гребень. И тут-то в полную меру постигли солдаты суть полководческой хитрости своего генерала. Здесь, на неприступном участке берега, куда артиллерия не послала ни одного снаряда, их не ждали.

Все силы неприятеля были оттянуты правее, на оборону тех участков рубежа, где бушевал артиллерийский шквал. Там ожидалась атака.

Почувствовав какую-то неловкость оттого, что труднейшая задача решена так просто и что на этом крутояре не с кем даже сразиться, передние сбросили вниз веревки и без помех подняли на обрыв остальных людей. «Штурмовой батальон», как была названа в приказе эта сводная часть, проник вглубь оборонительного пояса, и когда стихли последние раскаты артподготовки, бойцы сводного штурмового батальона с тыла атаковали вражеские траншеи, огнем автоматов выкашивая стрелков, бросая гранаты в двери дотов.

Так была пробита брешь в речном рубеже вражеской обороны. Дивизия, выбросив вперед авангарды сибиряков-лыжников, всеми своими силами вошла в прорыв, открывая путь своей армии.

Наступление возобновилось.

26

Приняв успокаивающие сводки об успешном продвижении полков за рекой, вглубь лесистого края, подписав донесение о богатых трофеях, взятых на береговых укреплениях, и отдав последние распоряжения, генерал Теплов наконец прилег впервые за дни, проведенные перед речным вражеским рубежом.

Командный пункт генерала расположился в просторных блиндажах, где до того жили немецкие инженеры, руководившие строительством запасного оборонительного рубежа. Лесу они для себя не пожалели. Вокруг блиндажей были устроены палисаднички, скамеечки, затейливые крылечки, галерейки. Все это было сделано из молодых березок с белой, не

ободранной корой. На козырьке того блиндажа, где разместился генерал и где до него жило, по-видимому, фашистское начальство, из осколков разбитого зеркала была выложена сверкающая надпись, гласящая по-немецки: «Сансуси». Блиндаж был широк, удобен. Из чьих-то квартир фашисты натаскали сюда разнокалиберную мебель: жесткий давай с прямой спинкой, креслица, даже старый умывальник с овальным зеркалом, вделанным в серую мраморную доску.

И хотя вся эта мебель была своя, советская, хотя ординарец генерала начисто ободрал со стен открытки и литографии из немецких журналов, собственноручно выковырял зеркальную надпись «Сансуси» и даже место, где она была, засыпал снегом, а полы и стены блиндажа были тщательно вымыты и продезинфицированы карболкой, генералу все время казалось, что в блиндаже стоит какой-то особый, неуловимый враждебный запах.

Генерал ворочался с боку на бок, закрывал глаза, начинал ровно дышать, но и сквозь сомкнутые веки виделось ему движение пехоты, артиллерийских упряжек, машин. Он слышал хриплые голоса ездových: «Марш, марш, марш!» и завыванье моторов. Он видел перед собой свою потрепанную карту, испещренную синими овалами с номерами немецких частей, пересеченную красными стрелками наступающей Советской Армии. Неясные разрывы мельтешили в глазах. Бесшумно тянулись через снежные поля колонны пленных, оборванных, заросших, в какой-то невероятной одежде, напяленной поверх плохонького обмундирования. Усталый мозг никак не мог успокоиться. Сон все не шел, и виной этому, как казалось генералу, был необъяснимый чужой запах, которым пропахли даже стены этого подземного жилья. А спать было нужно, нужно во что бы то ни стало. Завтра с рассветом начинался новый боевой день, и кто знает, когда еще там удастся прилечь отдохнуть.

Генерал вздохнул, слез с нар, сунул ноги в бурки и, не одеваясь, только накинув на плечи бекешу, вышел из блиндажа. Часовой у входа вытянулся. Метель улеглась; сугробы, вылизанные морозным ветром, источали мягкое фосфоресцирующее сияние. Над кромкой крутогорья, развороченной снарядами, остро посверкивали холодные звезды. Генерал жадно вдохнул чистый воздух.

— А заснуть все-таки надо, — сказал он вслух.

— Так точно, товарищ генерал, — подтвердил из тьмы голос часового.

Спустившись в блиндаж, генерал зашел в отсек, где помещался его повар — старый усатый солдат. Тот спал, лежа навзничь, тяжело всхрапывая и что-то невнятно бормоча. Опасливо покосившись на повара, генерал наклонился, пошарил под койкой, достал из ящика бутылку коньяку. Наполнив первый попавшийся под руку стакан, он плеснул в рот острую, припахивающую дубовой клепкой жидкость.

В это мгновение он почувствовал на себе удивленный взгляд. Повар проснулся и, протирая глаза, с недоверчивым недоумением смотрел на своего генерала. Он воевал с генералом от самой границы и успел твердо усвоить, что начальство его не пьет. Коньяк же, присланный шефами дивизии еще на Октябрьские праздники, свято хранился поваром для почетных гостей.

Генерал гадливо передернул плечами, сунул бутылку повару и, ничего не сказав, скрылся за брезентовым пологом.

Он забрался на нары и закрыл глаза. Теперь, когда тепло быстро разливалось по телу, чужой запах как бы отступил.

В приятной дреме замаячили образы жены — веселой толстушки, сына — высокого, тощего паренька с длинными руками, удивительно напоминавшего мать, несмотря на свою худобу, и дочки — веселого черноглазого карапузика. Чувствуя приближение желанного сна, генерал

лег поудобней, натянул на голову одеяло и только тут по-настоящему почувствовал, как он устал. «А все-таки здорово фашистов под Москвой рубанули!» — подумал он напоследок и точно бы погрузился в теплую воду...

...За занавеской, отгораживавшей койку порученца, будто летящий майский жук, зажужжал телефон. Требовательный, упрямый звук зуммера, раздаваясь ночью, всегда приносил что-то новое, чаще всего тревожное и неприятное. Он сразу отогнал сон. Только усилием воли генерал заставил себя остаться на постели. «Кто это звонит? Ведь просил же телефониста соединять только в случае крайней необходимости и всех, кто требует комдива, приключать к начальнику штаба». Телефон зуммерил напористо, настойчиво. Никто не брал трубку. «Ну и спит! — подумал генерал про порученца. — Эх, молодость, молодость!» Он уже хотел было сам идти к телефону, но послышался зловеще приглушенный шепот порученца:

— Кто, кто?... Не могу, товарищ двенадцатый, первый отдыхает. Звоните третьему... Я вам говорю, товарищ первый трое суток даже не прилег. Не просите — не могу, товарищ двенадцатый. Не приказано.

Двенадцатым по дивизионной телефонной номенклатуре значился тот самый смелый, боевой майор, которого генерал направил с авангардным отрядом лыжников-сибиряков на лесную дорогу для форсированного параллельного преследования отступавших вражеских частей.

— Соединяйтесь с третьим, товарищ двенадцатый... Не могу... — упорствовал порученец.

Шепот его снизился до зловещего шипения.

Сон уже совсем отлетел. Сбросив одеяло, генерал сел на нарах, нащупывая ногами бурки. Майор был опытный и дисциплинированный офицер. Он не стал бы настаивать по пустякам. Подходя к телефону, генерал удивился, увидев, что обледеневшая стенка земляного колодца, в который выходило единственное окошко блиндажа, ярко освещена оранжевым светом. Значит, все-таки он успел изрядно поспать.

— Первый слушает, — сказал генерал, отбирая у порученца телефонную трубку.

— Докладывает двенадцатый, — заклекотал веселый, энергичный голос. — Простите, товарищ первый, я бы не стал вас беспокоить, но у меня ЧП, очень важное... Совершенно особого свойства.

— Чрезвычайное происшествие?... В батальоне?... Нет?... Напоролись на засаду? Застряли?

— Никак нет, наступление развивается нормально. Основные силы, двигаясь по дороге, вышли на рубеж сторожки. Мои лыжники, ведя целиной параллельное преследование, в пять пятьдесят минут достигли высоты «пятьдесят восемь», южнее топографической вышки «сорок один». Сейчас они значительно западнее.

— Молодцы! — крикнул в трубку командир дивизии.

Следя по карте, генерал уже отмечал красным карандашом район сторожки и вышки. Ясно! Сбитый с укреплений резервного оборонительного рубежа, враг снова принужден начать беспорядочный отход.

— Молодцы! — повторил генерал, удлиняя красным карандашом стрелу, врезавшуюся в расположение вражеских частей. — Продолжайте преследование. К двенадцати ноль-ноль выйти основными силами в район... вот сюда, в район переезда через железную дорогу. Авангарду лыжников направиться в обгон немецких колонн и занять «Бол. Самарино». Нашли «Бол. Самарино» на своей карте?... Вот его. Понятно? Исполняйте... Да, вы сказали — ЧП. В

чем дело?

Бодрый, уверенный даже в минуты боевых неудач, голос майора дрогнул. В нем зазвенели азартные мальчишеские нотки:

— Ой, товарищ первый, ЧП совершенно особенное! Мои лыжники, двигаясь параллельно дороге, в двух километрах севернее топзнака «сорок один» взяли целый мешок золота...

— Что? Повторите, что взяли? Не понимаю. Передайте по буквам.

— Золото... Зинаида, Ольга, Лена, вторая Ольга, Тарас, третья Ольга. Поняли?... Вот-вот, именно золото, много золота, товарищ первый.

— Слушайте, вы, третья Ольга, ни черта я у вас не понимаю! — Генерал начал сердиться.

Еще в дни обороны, когда части дивизии отбивали атаки врага, закопавшись на левом берегу Волги, за городом Калинином, как-то сам собой возник в них эдакий самодельный внутренний и довольно неуклюжий шифр для телефонных переговоров. По шифру этому звались: танки — лапти, пушки — гавкалки, снаряды — огурцы, самолеты — птички и так далее. Конечно, все понимали, что такая фраза, как: «У немцев на левом фланге лапотки завелись», или запрос прислать для гавкалок семидесятишестимиллиметровых огурчиков звучали не бог весть как конспиративно. Однако и сам генерал, посмеивавшийся над этим шифром, порой прибегал к нему при переговорах. Приняв теперь по буквам слово «золото», он никак не мог вспомнить, что же, собственно, оно могло означать.

— Пшеница, что ли? — предположил он.

— Никак нет, именно золото, товарищ первый, — ответил ему бодрый голос.

— К черту эти ваши дурацкие выдумки! Мы не в обороне, докладывайте по-русски, чего вы там захватили.

— Виноват, товарищ генерал, именно золото, самое настоящее золото, драгоценный металл, а также бриллианты и еще какие-то камни. Мною золота, целый мешок. Его несли партизаны, их нашли в лесу. Из их письма явствует...

— Какого письма? Откуда письмо?

— Оно было написано в записной книжке, приколото немецким штыком к дереву. Их письмо, товарищ первый...

Происшествие, действительно, было не из обычных. Генерал забыл, что стоит в одном белье в блиндаже, из которого за ночь выдуло все тепло. Он машинально запахнул бекешу, накинутую ему на плечи порученцем, присел на стол.

— Читайте письмо. Постойте... там сказано, откуда взялись эти ценности?

— Так точно, товарищ первый. — Майор назвал город и отделение Госбанка.

Этот город был хорошо известен генералу. Полк, которым он командовал в начале войны, отступая с боями от границы, вместе с другими частями занял оборону как раз на рубеже этого города, недалеко от вокзала, и почти четыре дня сдерживал наступающих немцев, пока вражеские танки, прорвавшись севернее, не зашли ему в тыл.

— Этот город был взят в конце июня, а сейчас декабрь. Это же почти в шестистах километрах отсюда, — с сомнением произнес генерал, перед которым все это пространство вставало как бесконечная цепь тяжелых арьергардных боев его полка, а затем дивизии. — Как же эти

ценности попали сюда? Тут что-то не так. Кто из вас путает?

— Никак нет, все правильно. Вот в письме прямо сказано, что они несли их оттуда.

— Шестьсот километров по немецким тылам?

— Так точно.

— Да читайте же письмо, какого черта!

Где-то на другом конце провода сквозь звон и потрескивание необычно торжественно зазвучал голос майора:

— «Товарищ, который найдет эту книжку! К тебе обращаемся мы, три советских человека. Когда ты это найдешь, нас не будет в живых...»

— Они погибли?

— Никак нет, живы, товарищ генерал! — Голос майора опять сорвался на мальчишеский веселый тембр. — В том-то и штука — живы! Все живы!

— Где они?

— Направил на медпункт. Находятся в тяжелом состоянии.

— А кто такие?

— Два парня и девушка. Один парень — совсем мальчишка. Дивчина тоже вроде подростка. Она в сознании. Рассказывала, что несет ценности от самого того города. Такая чудесная девушка, товарищ первый... У нее глаза...

— Ладно, читайте записку.

— Слушаюсь... Ну, тут они перечисляют свои имена и адреса. Вот: «Мы просим тебя, товарищ...» Это они обращаются к тому, кто их найдет, «...взять спрятанный под корневищем мешок с ценностями, принадлежащими государству, и доставить его...» — Голос майора сорвался.

— Ну, ну, «и доставить его»... Что вы, не разбираете, что ли?

— Никак нет, разбираю, «...и доставить его в ближайшую партийную организацию». И еще они тут в письме просят передать последний привет доблестной Красной Армии, Ленинскому комсомолу, большевистской партии. Они просят сказать... вот это замечательное место я вам прочту: «...мы сделали все, что могли, и не выполнили задания только потому, что заболели, ослабли... ослабли...»

Трубка смолкла. В ней слышался сухой шорох взволнованного дыхания.

Генералу почудилось, будто холодная пластмасса жжет ему ухо. Бурые доски блиндажа, обмерзшая стенка земляного колодца, позолоченная солнечными лучами, померкшая кисточка ацетиленового пламени, бесполезно дрожавшего над настольной лампой, стол, точно скатертью покрытый исчерченной рабочей картой, — все это смазалось в теплом тумане. Рядом неясно маячила фигура порученца.

Генерал резко отвернулся.

— Чего стоите, погасите лампу! — сердито буркнул он. Только после этого ворчливо, но каким-то новым голосом он сказал в трубку: — Довольно. Немедленно под надежным конвоем

направьте ценности сюда, ко мне на КП. Ну да, пункт прежний. С ценностями направите подробное донесение об обстоятельствах дела, приложите эту записную книжку. Людей немедленно перевезти в медсанбат при враче, беречь как зеницу ока, головой отвечаете... Стойте, насчет людей отставить. Я пошлю за ними свою машину с подполковником медслужбы.

Генерал отдал адъютанту соответствующие распоряжения и, когда тот исчез, снова прильнул к трубке:

— Слушайте! Это опять я, первый. А какие они, эти люди? Опишите.

— Девушка очень молоденькая, очень милая, похожая на подростка... кудрявая... прекрасные серые глаза... Вы знаете, товарищ первый, такие глаза...

— Тьфу! Вам сколько лет, майор?

— Двадцать пятый, товарищ генерал.

— Вот и видно, что двадцать пятый. Глаза! Я разве о глазах спрашиваю? Как эти люди выглядят?

— Очень истощены, ослабли. Парни почти не говорят, а девушка...

— Опять девушка!

— Виноват, я только хочу сказать, что девушка рассказывает, что они шли до самого позавчерашнего утра, шли будто бы по ночам, а потом, когда на дорогах началось ночное движение, углубились в лес. Трудно поверить, но, кажется, это так. Девушка передала мне немецкую карту с дислокацией войск противника в этом районе, теперь устаревшую, и секретный пакет из штаба «Центр» командиру группы неприятельских войск.

— Так какого же черта вы молчите? Какой пакет? С чем пакет?

— Срочный пакет, товарищ первый. В нем командующий группой «Центр» передает категорический приказ ставки Гитлера остановить наше наступление. Решительно. Немедленно. Любой ценой...

— Дата приказа?

— Он передан пять дней назад.

— Ну, цену они уже заплатили хорошую, — усмехнулся генерал. — Пакет и карту ко мне.

— Выслал часа два назад, товарищ первый. Сейчас получите.

— Так, значит, «решительно, немедленно, любой ценой»? Круто, баском командует... Да, кстати, откуда у партизан этот пакет?

— Девушка рассказывает, что они четыре дня назад перехватили немецкого офицера связи.

— Истощенные? Еле живые?

— Так точно, товарищ первый.

— Гм... Где же вы их нашли?

— Нашли случайно. Капитан Сурков двигался в обход параллельно дороге. Вдруг в лесу — автоматная очередь. Одна, другая, третья. Думали — засада, осторожно обошли. Видят —

лежат в снегу неподвижно трое, их совсем уже замело, товарищ первый. У девушки на коленях автомат. Над головой к дереву пригвождена штыком эта самая записная книжка. Девушка сначала и говорить ничего не могла, только плакала да трогала у бойцов полушубки, винтовки... Ей казалось, что она нас во сне или в бреду видит, честное слово! Потом рассказала, что о нашем наступлении они только догадывались, но думали, что до фронта остается еще километров сто. Она в волков стреляла, товарищ первый, вот как... Совсем худенькая, но лицо прекрасное, точно из слоновой кости выточено, и глаза огромные, серые, как две фары сияют...

— А врач... что врач говорит?

— Врач, товарищ первый, ничего не говорит. Врач пожимает плечами. Он не верит, что можно идти в цинге, в такой степени истощения, да еще нести тяжести... А девушка, ее звать Муся...

— Эх, майор, майор, думаете вы, как младший лейтенант! Чепуха у вас всякая в голове! — проворчал генерал. — Неужели, кроме серых глаз, вы ничего в этом так и не увидели?... Ну ладно, хватит болтовни. Высылайте ценности, донесение. И чтобы у меня в двенадцать ноль-ноль выйти к указанному пункту. Понятно? Исполняйте. Мы им покажем «решительно, немедленно, любой ценой»!

Генерал положил трубку и несколько мгновений, улыбаясь, смотрел в угол блиндажа. Потом, точно встряхнувшись, вскочил и бросил ввалившемуся в блиндаж розовому с мороза порученцу, у которого брови и ворс шинели уже успели покрыться утренней изморозью:

— Вот что: немедленно ко мне комиссара. Скажите — прошу его срочно, очень важное дело... Потом соедините с командующим армией и с членом Военного совета фронта... Пойдите. И еще вызвать сюда начсандива. Чтобы перед тем, как явиться, приказал приготовить вот здесь, в моем блиндаже, три госпитальные койки со всем оборудованием. Быстро!

Генерал пощурился на желтовато-лимонный свет зимнего утра, потоками стекавший в обледеневший земляной колодец за окошком, крепко, с удовольствием потер руки. Его усталые глаза сверкнули радостно и хитровато. И он сказал, обращаясь к золотым солнечным лучам:

— Так, стало быть, «решительно, немедленно, любой ценой»... Неплохо начался у нас с вами денек, очень неплохо!

27

А через день к подземному поселку из блиндажей, безжалостно украшенных ходами, переходами и террасками из юных березок с неободранной, белой корой, прибыли три машины.

Первой пришла уютная «эмочка», расписанная, как арбуз, косыми зелеными и черными полосами. Она прикатила из-за реки, с запада, откуда теперь еле-еле доносились сюда звуки далекой уже канонады. Из нее вылез генерал Теплов, который еще вчера на заре перенес свой командный пункт на другой берег, вперед, в пустовавшую лесную сторожку.

— Ну, как у вас тут? Как они? — спросил он у пожилого часового, который при виде своего генерала браво вытянулся у входа в землянку и взял автоматом на караул.

— Порядок полный, товарищ генерал. Отдыхают.

— Никто из начальства не приезжал?

— Никак нет, вы первый.

Генерал сошел в свое недавнее жилье, и почти тотчас же с востока по снежной дороге, утрамбованной до фарфоровой крепости и блеска подметками и колесами прошедших здесь дивизий, подкатили к блиндажу два сильных длинных штабных вездехода, покрытых серебристой алюминиевой эмалью.

Из первого легко выскочил маленький, щуплый, но крепко сбитый и весь какой-то пружинистый человек в защитного цвета бекеше и генеральской папаче, стоявшей на нем трубой. Из другой неторопливо выбрался плотный человек в бурках, в черном пальто с поднятым меховым воротником. «Уши» пыжиковой шапки были опущены, и из рамки рыжего пушистого меха глядело широкое, немолодое, полное лицо, щедро разрумянненное морозом, с глубокими волевыми складками на пухлых щеках.

Командир дивизии, вышедший на звук моторов, встретил приехавших у входа в блиндаж.

— Здравия желаю, товарищ член Военного совета! — молодежато приветствовал он человека в бекеше.

— Здравствуйте, генерал... Знакомьтесь: секретарь обкома партии, — представил тот штатского. — Ну, где они у вас?

— Разместили пока здесь, в блиндаже, — ответил комдив.

В присутствии начальства он весь как-то подтянулся, помолодел, точно сразу скинул с плеч годков пятнадцать.

— Ну, и как они, как со здоровьем? — спросил секретарь обкома и удивил комдива своим не по фигуре звонким, юношеским голосом, своими молодыми, очень живыми глазами, которые так и бегали, так и шарили кругом, должно быть все, все замечая.

— Они не жалуются. Ваш приказ, товарищ член Военного совета, выполнен. Начсандив, подполковник медицинской службы, находится неотлучно при них. Самолет со спецмедикаментами вчера прибыл и был принят.

— А ценности? — спросил секретарь обкома.

— С самолетом, привезшим медикаменты, вчера прилетел ваш человек из банка, этот безрукий... Они там вместе с моим начфином и с особистом колдовали всю ночь. Утром докладывали: по предварительным данным — колоссальные ценности. Я-то здесь со вчерашнего дня не был. Ведь наступаем, товарищ член Военного совета, некогда. Сутки коротковаты стали.

— Ну что ж, пошли в блиндаж? — спросил приезжий генерал и гостеприимно уступил дорогу секретарю обкома.

Сойдя вниз, они поначалу ничего не могли разглядеть, кроме каких-то неясных фигур, вскочивших и вытянувшихся при их появлении. Потом, приглядевшись, различили в полутьме у стола, освещенного затененной карбидной лампой, двух офицеров и третьего — пожилого штатского человека с сухим морщинистым лицом. Пустой рукав темной полувоенной гимнастерки был у него засунут за ремень.

На столе, перед которым те стояли, тускло сверткала груда драгоценных вещей.



— Ну, показывайте ваши сокровища, товарищ комдив, — сказал член Военного совета, снимая папаху и приглаживая ладонью серебристый бобрик, придававший его небольшой голове угловатую форму.

Генерал Теплов молча повел рукой в сторону драгоценностей.

— Не туда смотрите, товарищи генералы! — звонким голосом сказал секретарь обкома.

Он лишь мельком скользнул взглядом по груде золота, подошел к двухэтажным нарам, и молодые, цепкие глаза его так и впились в полутьму. На широком, полном и очень подвижном и выразительном лице его были и забота, и любопытство, и осторожное уважение.

— Эй, кто тут живой, откликайся! Дайте хоть посмотреть на вас, что ли!

Верхние нары занимала девушка. На белом фоне свежей, еще как следует не обмятой наволочки худенькое лицо четко вырисовывалось такими тонкими и строгими линиями, будто действительно было вырезано искусным мастером из старой слоновой кости. Девушка спала, но веки ее нервно вздрагивали, на бледных, увеличенных общей худобой губах дрожала тень успокоенной улыбки.

На просторных нижних нарах, рядом, обнявшись, как братья, лежали очень крупный человек, до того худой, что возраст его трудно было определить, и подросток, почти мальчик, с угловатым густо-смуглым лицом. И было похоже, что этот крепко спавший богатырь прикрывает младшего собой от опасности и непогоды.

Все трое дышали ровно. Секретарь обкома долго стоял над ними. В юности, которая казалась ему очень далекой, он окончил медицинский институт, и ему, как врачу, было необыкновенно приятно слышать их спокойное, ровное дыхание. Он прикрыл одеялом ногу меньшего, такую худую, что можно было угадать ее костное строение.

— Поднимете их? — спросил он у немолодой строгой женщины в военном, в петлицах которой рядом с тремя шпалами золотели медицинские эмблемы.

— Состояние тяжелое, но пульс уже наладился. Сделали два вливания. Вчера вечером и сегодня утром они приняли бульон. Девушка эта у меня совсем молодец, даже пробует подниматься... крепкая... Все пытается говорить. Вот только что перед вашим приходом уснула.

— Ну, что тут медицина предсказывает? — спросил член Военного совета.

Уже без папахи и бекешы, в простом кителе с тусклыми звездами защитного цвета на полевых петлицах, этот маленький человек пружинисто переваливался с каблуков на носки, и его до блеска начищенные сапожки при этом легонько поскрипывали.

— Медицина надеется, товарищ генерал-лейтенант. Молодость, одухотворенная молодость все побеждает, — по-штатски ответила женщина-врач. Поправив строгую прическу, она взглянула на спящих. — Было бы слишком несправедливо: преодолеть такие невероятные, просто нечеловеческие трудности, выполнить долг — и умереть.

— Бывает. На войне, к сожалению, случается и так, — сказал член Военного совета. Резко повернувшись на каблуках, он пошел было к столу, но с полдороги вернулся. — Товарищ подполковник медслужбы, командующий фронтом лично просил вас передать: сделайте все возможное для их спасения. Если возможного мало, сделайте невозможное. Ведите сражение за их жизнь всем оружием медицины. Ничего не жалеть. — Он подошел к столу: — Ну как, учитываете?

— Тут нечего учитывать, тут все учтено. Просто принимаем по инвентарной описи, —

отозвался штатский с пустым рукавом. — Вот опись ценностей, составленная по всем правилам. Мы только сверили ее с наличностью и сейчас вот актируем государственный прием.

— Сошлось?

— Грамм в грамм, камешек в камешек! — гордо ответил человек с пустым рукавом. — Да иначе и быть не могло: ее составлял старый, опытный банковский работник. Прекрасный служащий, я его знал...

— Почему «знал», а не «знаю»?

— Он умер, товарищ генерал. Умер в дороге, неся эти ценности... Он же и вынес их из оккупированного города вдвоем вон с той девицей, с Марией Волковой.

— Ты и ее знаешь? Это тоже твоя сотрудница? — живо обернулся секретарь обкома, отрываясь от описи, составленной Митрофаном Ильичом, которую он внимательно рассматривал. — Ну и что она, товарищ Чередников?

Штатский сделал своей единственной рукой смущенный жест:

— Вот то-то, что ничего особенного! Машинисткой работала... Хорошая машинистка, обыкновенная, ничем не примечательная девушка.

— Обыкновенная девушка... Так, так, так... Ничего особенного... — задумчиво протянул секретарь обкома и, обернувшись к генералам, весь сияя своей юношеской живостью, которой у него, казалось, было с избытком, широко улыбнулся белозубой улыбкой: — Вот то-то и есть, что ничего особенного! Обыкновенная, ничем не примечательная девушка, обыкновенные парни, обычный случай. В этом самое необыкновенное... Вот, товарищи генералы, полюбуйте-ка на этот документ. Тоже обычный документ и по форме, вероятно, составленный. Но на чем? На «листках ударника» и на «похвальных грамотах». Где? Во вражеском тылу, в лесной глуши. У человека капитализма в таких условиях, наверное бы, клыки и хвост выросли. А они опекали ценности, которые им никто не поручал... Погодите, станем богаче, восстановим областной музей, который фашисты сожгли, — я прикажу этот документ на самой видной витрине положить. Под стеклом хранить как интереснейший документ военных лет.

— А вы о их завещании не слышали? — спросил комдив, вытаскивая из планшета старую записную книжку с продолговатой дыркой, проколотой штыком. — Тоже вот возьмите для вашего музея. Учтите, что все это написано людьми, умиравшими от цинги и голода, без всякой надежды на то, что их выручат.

В записную книжку был вложен засиженный мухами портрет колхозницы, прижимавшей к себе пестрые телячьи мордочки.

Член Военного совета на миг залюбовался красивым женским лицом, ласковым и в то же время строгим.

— Кто это?

— Девушка говорит, это какая-то колхозница. Она тоже несла ценности, а потом их приняли вот эти партизаны, — пояснил командир дивизии, указав на людей, спавших на нижних нарах.

— Эстафета! — усмехнулся секретарь обкома, разбирая каракули в блокноте.

Один из офицеров придвинул ему карбидную лампу.

— Молодцы! Аж в слезу шибает, когда читаешь, — сказал секретарь.

С верхней полки раздался глубокий вздох, послышалось шуршание жестких простынь. Тихий, но звучный голос спросил:

— Доктор, вы здесь?... Как они, как их здоровье?

— Спят, спят, моя хорошая, спят. И вы спите, не разговаривайте, — ответил звучный алыт врача. — Не думайте о них, им уже лучше.

— Нет, вы правду говорите? Ой, кто это там?

Находившиеся в блиндаже, как по команде, обернулись на голос. Член Военного совета, сверкающий серебряным, аккуратно подстриженным бобриком, и полный секретарь обкома, и высокий комдив, и банковский работник с пустым рукавом, и офицеры, и часовой — все бывалые, много выдавшие, много пережившие люди смотрели туда, где над бортиком нар поднялось худое девичье лицо, где в полутьме из-за длинных, с загнутыми концами ресниц светились большие, круглые усталые девичьи глаза.

Секретарь обкома и генералы двинулись было к нарам, но были остановлены строгим взглядом врача.

— Эти товарищи приехали по поводу ценностей. Не беспокойтесь, родная, спите себе... Ваши вне опасности, — сказала подполковник медслужбы и погладила девушку по голове.

— У нас в областном городе еще не восстановлены электросеть и водопровод. Придется, пожалуй, для дальнейшего лечения отослать их в Москву, — задумчиво сказал секретарь обкома.

— О Москве и слышать не хотят, — усмехнулся комдив. — Я говорил с ними, когда их сюда привезли. Предлагал с санитарной машиной отправить на аэродром, прямо с колес — на крылья, туда. Где там! Все трое в один голос: «Никуда с фронта не поедем!» Просят сразу же, как только поправятся, забросить их обратно в лес, к партизанам, в их отряд... И всё просили радировать командиру отряда, что задание его они выполнили и ценности доставлены.

— Ух, народ! Эти жить будут! — громко произнес член Военного совета, но, боязливо оглянувшись на нары, снизил голос до шепота: — А из какого они отряда? Где этот отряд дислоцируется и действует, не узнавали?

— А вот разрешите доложить, — тем же больничным, осторожным шепотом ответил комдив. — Я тут отметил на карте. Это за разгранлинией нашей армии, на пути у правого соседа... Говорят, сосед за эти дни здорово рванул на запад?

Стараясь действовать как можно тише, он стал разворачивать необжитую, новую часть карты, сухо хрустевшую жесткой гляцевитой бумагой.

— Тут вот, в лесу, у этой балки. Здесь близко гурты какого-то колхоза зазимовали. Так вот они рассказывают: когда отряд, действовавший вот здесь, в районе Узловой, был оттеснен со своих баз лесным пожаром, командир взял направление вот сюда, за реку, к колхозным гуртам. Та красавица, что на снимке, — оттуда...

— Позвольте, какие гурты? О каких гуртах речь? Не о колхозе «Красный пахарь»? — живо спросил секретарь обкома, заглядывая в карту через плечи военных.

— Возможно, названия не помню, — ответил комдив, очерчивая на карте лесную балку. — Вот здесь разместилось стадо, и сюда направлялся партизанский отряд. Это последнее, что они могли о нем сообщить.

— А отряд не железнодорожников? Не Рудакова с Узловой, не помните? — допрашивал секретарь обкома, все более и более оживляясь.

— Вот это помню: точно железнодорожников, точно Рудакова! — обрадовался комдив. — Этот, высокий-то, партизан Железнов, как раз из этого отряда...

— Так этот район еще третьего дня освобожден частями вашего соседа, — задумчиво сказал член Военного совета.

— Правильно, — подтвердил секретарь обкома. — И мы уже получили со связным через линию фронта от Игната Рубцова — председателя того колхоза, что гурты в лесу прятал, — сообщение, что все они живы и их знаменитое стадо цело... Это один из лучших наших колхозных вожаков, замечательный мужик, балтиец, старый большевик. Кронштадт штурмовал!..

Девушка, приподнявшись на локте, всматривалась в незнакомые доброжелательные лица. Казалось, она все еще старалась решить: в действительности или в хорошем сне видит всех этих людей, слышит разговор, знакомые имена?

Ну да, это была действительность! Полного, широкоплечего человека девушка даже помнила. Она видела его однажды в первом ряду кресел во время итогового смотра самодеятельности, происходившего в областном центре. Вот у кого надо попросить, чтобы всех их не отправляли ни в какой столичный госпиталь, а дали возможность поправиться здесь и потом отослали назад к Рудакову, чтобы с его людьми воевать до самой победы.

Опасливо оглядываясь на строгого врача, девушка стала сбивчиво излагать секретарю обкома общую просьбу троих друзей. Секретарь, улыбаясь, слушал ее и все время победно оглядываясь на члена Военного совета, точно гордясь перед этим седым, бывалым генералом людьми своей области. Когда девушка кончила, он заговорщицки подмигнул:

— Слышали? Ой, народ! Ну народ!.. Милая девушка, куда же вас забрасывать, когда весь рудаковский отряд уже с боем прорвался через фронт и вышел из леса? Узловую не сегодня-завтра возьмут. Вашего Рудакова туда секретарем горкома посылаем. Надоело ему, небось, там все взрывать да разрушать. Пусть отдохнет, строя да восстанавливая.

Тихий девичий голос мелодично произнес:

— Он тоже жив?... Ой, как все хорошо!..

Голова девушки упала на подушку, улыбающиеся губы поджалась, подбородок съежился. Послышался тонкий, точно детский плач.

— Вот тебе и раз! — растерялся секретарь обкома. — Ну, полно в блиндаже сырость разводиться. У меня к тебе дело. Обком решил представить вас за спасение государственных ценностей к правительственной награде. — Секретарь достал из бокового кармана гимнастерки записную книжку и карандаш. — Сообщи о себе некоторые данные, я запишу... Имя, фамилия, отчество?

Девушка медленно приподнялась и села на нарах. В глазах ее еще стояли слезы, но глаза счастливо сияли.

— Запишите, пожалуйста: Корецкий Митрофаи Ильич...

— Это тот старый кассир?

— Да, да! Это все он. Если бы не он, я бы ничего не сумела сделать... Это такой человек... Запишите еще одну замечательную женщину — она этот мешок дважды, рискуя головой,

спасала: Рубцова Матрена Никитична.

— Какая Рубцова? Наша знатная животновод?

— Да, да... Чудесная женщина!.. Потом — Рубцов Игнат Савельич. Он нам все организовал... Потом одну колхозницу из деревни Ветлино... Ах, беда, не знаю фамилии! И еще сынишку ее, Костю...

— Разрешите обратиться? — донесся с нижних нар слабый мужской голос.

Все наклонились вниз. Рослый партизан, не поднимая с подушки головы, смотрел на секретаря обкома огромными голубыми глазами:

— Надо обязательно отметить Кулакова Василия Кузьмича, стрелочника с Узловой, и Черного Мирко Осиповича, оттуда же. Они, может быть, жизнь свою отдали...

— Кабы не они, нам бы этот мешок, елки-палки, ни в жизнь не унести! — донесся из глубины нар ломкий мальчишеский басок.

Секретарь обкома расхохотался:

— Что-то очень много получается! И себя вы еще не назвали...

— Ее запишите, она настоящая героиня. А мы что... мы приказ выполняли, — сказал рослый партизан.

— И не донесли бы, если бы Красная Армия нас не выручила, — добавил тот же мальчишеский басок.

— Вот что: прекратим этот разговор, им нужно отдыхать, — решительно заявила женщина-врач и, выдвинувшись вперед, загородила собой нары.

Наступила тишина. Член Военного совета, поскрипывая сапогами, ходил по блиндажу. Вдруг он резко повернулся на каблуках и, остановившись перед секретарем, сообщил ему как какую-то новость:

— С таким народом войну обязательно выиграем! И не только эту — любую!

Все вновь оглянулись на партизан, но те, утомленные разговором, уже крепко спали, сладко посапывая. Вскоре послышалось и ровное дыхание девушки.

— Хорошая это штука — юность, товарищи полководцы! — сказал секретарь обкома, и вокруг рта у него вдруг легли удалые, добродушные, совсем молодые складки. — А ведь и я когда-то «Сергей-поп» певал, и белобандитов с чоновцами по лесам гонял, и галстуки с трибуны осуждал, и по ночам электростанцию восстанавливал... Все было!

— А я, думаете, нет? — спросил член Военного совета и провел рукой по серебряному бобрику. — Эх, ребята, даже самому не верится, что меня когда-то всей ячейкой с завода в «комсомольский набор» до военкомата провожали: «Наш паровоз, вперед лети, коммуна — остановка»... Помните, ребята? — Он подмигнул секретарю обкома и комдиву.

— Иного нет у нас пути,

В руках у нас винтовка...

— приятным голосом подхватил генерал Теплов, и по лихому тону, каким он это пропел, стало ясно, что и этот солидный и, казалось, уже пожилой человек побывал в комсомоле.

— Великое дело — юность! — повторил секретарь обкома. — А помните...

Дверь блиндажа вдруг распахнулась. В клубах морозного пара предстал молодой офицер. Ушанка, полушубок, юношеский пух на его лице и маленькие усики — все было покрыто налетом инея. Вбежав в блиндаж, он вытянулся и замер, приложив руку к козырьку:

— Разрешите обратиться, товарищ генерал? Офицер связи лейтенант Васильев со срочным пакетом к члену Военного совета.

Он вынул из планшета пакет и протянул генерал-лейтенанту. Тот сорвал печати. Минуту колючие глаза его бегали по строчкам телеграммы. Потом он поднял взволнованное лицо и сказал:

— Из Москвы. Самый верх запрашивает об их здоровье. Семенов запрашивает... А Семенов знаете кто?

И по тому, как сразу притихли и будто бы даже вытянулись и офицеры, и генералы, и секретарь обкома, и банковский работник с пустым рукавом, стало ясно, что все они знают или догадываются, кто это, именуемый по коду генерального штаба Семеновым, запрашивает о здоровье трех простых молодых советских людей, крепко и безмятежно спавших на нарах вот в этом самом блиндаже.

1945–1950